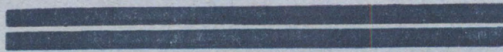


НОВЫЙ
МИР

НОВЫЙ МИР

5



1973

1973

Н(О)ВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIX

№ 5

Май, 1973 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАРА ГРИЕЗАНЕ — Русский хлеб, стихи	3
• ЮРИЙ ТРИФОНОВ — Нетерпение, роман. Окончание	8
• ПАВЕЛ НИЛИН — Дурь, рассказ	91
ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО — Дом учителя, роман. Продолжение	105
МАРАТ КАРТМАЗОВ — Таежная тишина, стихотворение	159
• МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Человек и время, воспоминания. Часть третья. Дом Феррари. Продолжение	169
ГЕНРИХ БЕЛЬ — Групповой портрет с дамой, роман. Продолжение. Перевела с немецкого Л. Черная	187

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ — Дело всей жизни. Продолжение.	228
---------------------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГРИГОРИЙ БРОВМАН — Судьбы людские	255
Б. САРНОВ — Семена, летящие на асфальт	263

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	277
-------------------------------	-----

Д. Гранин. Кольцевой бой.— Н. Анастасьев. В поисках Америки.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	284
А. Иванов. От хроники к исследованию.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Р. Португальский. — К. С. Москаленко. На юго-западном направлении. 1943—1945. Воспоминания командарма.	
◆ Ник. Равич. — Фабиан Гарин. Запоздалое письмо. Историческая повесть	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

МАРА ГРИЕЗАНЕ



РУССКИЙ ХЛЕБ

Хлеб, Каравай,
сытный, насущный, единый, —
бьет через край
дух молодой и былинный.
Вот из печи
выплыло русское диво...
Что ж, хлопочи,
смейся легко и счастливо,
старая мать,
скатертью стол покрывая, —
время встречать
сладостный День Каравая.
Круг обойдет —
символ — заздравная чара:
сельский народ
ухнет могуче и яро.
И полетят
(будто в Латгалии в детстве)
песни крестьян
с праздничным ветром в соседстве.
...Добрый мой Хлеб,
тульский, орловский и курский,
ты — словно герб
солнечной осени русской.
Красной строкой
вписан ты в дни золотые.
Жаркий какой!
Щедрый, как сердце России.
Так же теплы,
так же смуглы и лучисты
руки крестьян —
руки колхозной отчизны.
...«Хлебом клянусь!»
В с е — в этой сдержанной фразе.
«Хлебом клянусь!» —
так говорят на Кавказе,
«Хлебом клянусь!» —
деве своей черноокой.
«Хлебом клянусь!» —
в бой отправляясь жестокий.
...Добрая Русь,

я под седым твоим небом
Хлебом клянусь...
Жарким, живым твоим Хлебом...

ДЕТСКАЯ БЫЛЬ

Было мне всего лишь восемь.
Это лето (или осень) —
где-то вдалеке.
Провисало небо мглисто.
Хоронили коммуниста
в нашем городке.
Он лежал — костистый очень.
Длинный — гроба не короче.
Желтый, как свеча.
На подушке в изголовье
у седой косматой брови —
орден Ильича.
Бабы горестно сморкались,
бабы горестно шептались:
«Давний... из стрелков...
И фашистских гнал бандитов...
И кулацких бил наймитов —
тех лесных волков...»
Прикипели к трубам губы —
зарыдали в голос трубы:
спи, товарищ наш!..
Подтянулся дед мой кровный,
застегнул пиджак огромный —
сорока не дашь!
И, нагнувшись, хрипло, глухо
задышал мне прямо в ухо:
«Не робей, сморчок!..»
И поправил с нежной силой
октябрятский пятикрылый
махонький значок.
И уже на этом свете
я была за все в ответе —
невесомая, что ветер
или шальный лист, —
постигала в общем горе
необъятное, как море,
и всесильное, как море,
слово «коммунист».

В КАРАУЛЕ

Ночные тени, мягкие как дрема,
спустились на недремлющие башни,
на лобный круг с табличкой для туристов,
на камень, отшлифованный веками,
гудящий под ногами как живой.
Осенний ветер, ласковый и дряхлый,
кряхтит среди бессонных строгих елей —
устал, наверно, странник бородатый,
решил прилечь у тверди вековой.

Над миром на вершине свежей ночи
 могучие рубины запылали,
 как бы сердца неведомых героев
 вдруг ожили под звездами Руси.
 Огонь бессмертья молодо играет,
 полуночные земли озаряя,
 роняя искры, жгучие как память...
 Такой огонь попробуй погаси!
 А Мавзолея плиты-самоцветы
 грядущий день спокойно возвещают,
 спокойно отражают день ушедший
 прозрачным светом, светом изнутри,
 как будто эти плиты, эти стены
 в себя вобрали русскую бескрайность,
 седую мудрость отчего заката,
 живую силу утренней зари...
 Ударили полночные куранты,
 напоминая каждому, что Время,
 обыденное, быстрое, земное,
 идет вперед — и нет ему преград.
 Ударили полночные куранты...
 Ударили полночные куранты,
 как будто эти гулкие секунды
 вступили на торжественный парад.
 Мы все стоим в почетном карауле:
 араб в просторных шелковых одеждах,
 седой кореец в командирской форме,
 шотландец в юбке клетчатой... И я,
 девчонка угловатая, латвийка...
 На наших лицах отсвет Мавзолея.
 Мы все стоим в почетном карауле
 на площади — скрещенье света, ветра,—
 одна большая, дружная семья.
 В тиши трепещут яркие рубины —
 горят сердца неведомых героев.
 А Мавзолея плиты-самоцветы
 спокойным светом светят изнутри...
 Вот караул сменился. И, как прежде,
 не шелохнутся юные курсанты.
 Застыли башни — воины седые,
 совсем иных времен богатыри.

ТРУБЫ ВЕТРОВ

Эйжену Веверису

1. Учитель народный

Ты выстрадал право
 учить нас любить эту жизнь:
 и волны, и травы,
 и неба слепящую высь.
 Ты выстрадал право
 простые слова понимать:
 «отвага», «расправа»,
 «чужбина», «отечество», «мать».

...Внезапны удары
коварной, трусливой судьбы.
Барачные нары
тверды и тесны, как гробы.
Забором колючим
обшит этот рейховский рай.
Над флагом паучьим —
ворон ожидающих грай.
Эй, кто там — о смерти?
Мы — смертники? Подлая ложь!
Нет смерти на свете,
коль правильной жизнью живешь.
...Учитель народный,
родимой земли ученик,
ты — словно природный
прозрачный целебный родник.
Ты — совести голос,
спокойная щедрость души,
серебряный колос,
вечерняя песня в тиши.
Как славно поется,
когда безмятежен народ!
Но ежели солнце
за черную тучу зайдет,
звучнее набата
строки благородный металл.
Сам Райнис когда-то
поэта в тебе угадал.
Заботная доля —
никак не уложишься в срок.
Вот в жизненной школе
ведешь ты обычный урок.
А полдень так светел,
что впору и старость забыть.
И учатся дети
родимую землю любить.

2. Саласпилс

Над Саласпилсом — снег
мятежен и могуч.
Над Саласпилсом — бег
ночных косматых туч.
Отважно, грудь на грудь,
сшибаются ветра.
Заказан людям путь
до самого утра.
Схлестнется, ухнет здесь —
откликнется в лесах.
И Лагерь Смерти весь
в летучих голосах.
И снежных семь ветров,
вздымая круговерть,
как бы рокочут: «Кровь!»,
как бы грохочут: «Смерть!».

Над Саласпилсом — ночь,
часов хрустальный звон.
Дела и мысли — прочь:
в права вступает сон.
Обычный мирный сон,
блаженная пора...
Но с четырех сторон
в жилье стучат ветра...
Обычный мирный год.
Обычная зима...
Зачем же вьюга бьет
в уснувшие дома?!
Ее седой кулак —
то, как пружина, сжат,
то трахнет в рамы так,
что стекла дребезжат...
О, этот страшный стук:
«Не смейте, люди, спать!..»
Ребенок вскрикнет вдруг...
Пугливо вздрогнет мать...
Увечный фронтовик
зубами заскрипит...
А ветер — словно крик:
«Вставайте! Кто там спит?!»
Седьмую ночь подряд
метет, метет, метет...
Седьмую ночь подряд
людей метель гнетет.
Сквозь ближние леса
седьмую ночь подряд
погибших голоса
с живыми говорят...
О, снежных семь ветров,
о, память-круговерть,
бессмертно слово «кровь»,
бессмертно слово «смерть»,
но в давние года
растоптан змий войны.
А сильные — всегда
спокойствием сильны.
Хочу я в поздний час
дремать — не горевать,
не открывая глаз,
дремотно напевать...
Потом глаза открыть
на зорьке голубой
и солнечную нить
увидеть над собой...
А ветры — грудь на грудь,
круша глухую ночь.
А ветры: «Не забудь!»
А ветры: «Слышишь, дочь?!»



ЮРИЙ ТРИФОНОВ

★

НЕТЕРПЕНИЕ*

Роман

ГЛАВА VII

Вот откуда все покатилося: с того дня, 2 февраля, когда он признался насчет Кропоткина. Разумеется, они знали превосходно, и теперь уже он догадывался, что сам вручил им это знание через Федьку, сам себя сгубил, но ведь он мог запереться, все отрицать — и, однако, признался и подписал. Ночью в одну секунду возникла ярчайшая мысль: да, признаться, подписать, но раскрыть на суде причины, для всего мира очевидные. Рассказать об избиении студентов Харьковского университета, о насилии над арестантами в харьковской тюрьме. Мир содрогнется! И твердо заявил Добржинскому:

— Подпишу только в том случае, если дадут возможность обратиться с открытым призывом к русскому правительству.

— Что значит с открытым призывом? — спросил Добржинский. — С каким именно?

— Призывом крайне простым. Прекратить братоубийственную войну, то есть террор, — это первое. И дать конституцию — второе.

Добржинский как бы несколько смутился, побледнел, но затем подвинул лист бумаги и сказал:

— Пожалуйста, в конце вашего показания можете изложить. А мы передадим в Петербург.

Гришка так и сделал. Призыв к правительству удался на славу, не в тоне мольбы или увещевания, а в тоне резкого, благородного требования. Через три дня пришло известие о взрыве в Зимнем дворце. Добржинский был в ужасном волнении. Он кричал:

— Вы понимаете, господин Гольденберг, как сейчас нужны России ваши знания, ваша помощь!

Известие о взрыве Гришку оглушило. Он тоже кричал:

— Я требую доказательств! Мне нужны гарантии! Ни один волос не должен упасть!

Были дни недоумения и сумбура. Полковник Першин и Добржинский выглядели растерянными дураками. Ждали перемен. Гришке разрешили покупать в лавке вино. Разрешили свидание с матерью. Старуха плакала, целовала руки жандармам, умоляла Гришку смириться, признаться, пожалеть отца, и ей позволили несколько дней жить в Гришкиной камере. Ни одной ночи старуха не спала. Возбужденный вином, Гришка ходил по камере — не ходил, а бегал, иногда кричал, размахивал руками — и произносил громовые речи: «Господа судьи! Позвольте в кратких словах обрисовать картину, от которой

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 3, 4 с. г.

спирает дыхание и кровь стынет в жилах...» Мать, забившись в угол, смотрела на Гришку глазами, полными слез. Наконец Добржинский объявил:

— Ваше обращение, господин Гольденберг, передано лицам, власть предержажим. Имею вам конфидентно сообщить, что оно принято благоприятственно и с особым интересом. В Петербурге громадные перемены. Создана Верховная распорядительная комиссия, во главе граф Лорис-Меликов, известный своей умеренностью. Я же говорил, я предсказывал,— и тряс пальцем в радостном возбуждении,— что наверху не одно мракобесие, есть силы разумные. Теперь одна задача: им надо помочь! Потому что предстоит титаническая борьба...

Итак, новая петербургская власть во главе с Лорис-Меликовым ждала от него, Гришки Гольденберга, помощи. Теперь это было очевидно. Почти о том же умоляли Гришку мать и несчастный отец, письмо которого мать привезла: шестеро детей и приемная дочь киевского купца оказались в ссылках и в тюрьмах, семья разгромлена, молодые жизни загублены, старики на пороге одинокой смерти. Ради чего столько страданий? «Россия — великая страна, пускай о ней заботятся русские юноши», — говорила мать. «Судьба российской молодежи, а стало быть, судьба России сейчас в некотором смысле в ваших руках, господин Гольденберг!» — говорил Добржинский. Гришка попросил чернила и бумагу. Половину февраля и начало марта он беседовал с Добржинским, обсуждал, спорил, разъяснял — тот ничего не записывал, записывал сам Гришка вечерами. 9 марта Гришка представил обширную рукопись, семьдесят страниц, мелко исписанных, — рассказ обо всех делах, начиная с дела Засулич. Затем написал на семидесяти четырех страницах приложение: характеристику известных ему революционных деятелей, их взгляды, труды, заслуги, особенности характера и даже внешность, что помнил. А помнил он, как оказалось, очень много. Сам удивлялся. Вспомнил и описал с т о с о р о к т р е х человек! Да кто в России, кроме него, Гришки, мог бы похвалиться таким кругом знакомств в революционной среде? Всех этих людей нужно было спасти от неминуемых казней, от бессмысленного разрушения собственных жизней. Гришка писал о них, прекраснейших людях, любовно, восторженно. Желябова назвал «личностью необыкновенною и гениальною».

Добржинский сообщал, что работа Гришки высоко оценивается людьми, которые ведут т и т а н и ч е с к у ю б о р ь б у, что Россия не забудет Гришке его заслуг и в скором времени он будет вызван в столицу для личного разговора. В начале апреля подтвердилось: требуют в Петербург! Спешно собрались. Добржинского требовали тоже. Единственное, что несколько озадачивало: отправляли Гришку как невесть какого важного и опаснейшего преступника — в кандалах, под конвоем одиннадцати человек. Гришка обратился к полковнику Першину: я, мол, удивлен и нельзя ли снять кандалы, — на что Першин с неожиданной злобной усмешкой ответил:

— Что ж удивляться? Вы убийца и обязаны быть в кандалах. Удивляется, хорош гусь!

Слава богу, этот мерзавец и солдафон оставался в Одессе, а с Гришкою поехал Добржинский. Прокурор объяснил: усиленный конвой придан в видах возможного нападения, отчаянные головы не дремлют, это естественно и не должно смущать. Ну, а кандалы — формальность. Не стоит обращать внимания.

— И кроме того, — шептал Добржинский, — мы же с вами знаем, что не все разделяют наши взгляды. Все вытерпеть, все снести — ради великой цели...

Гришка был согласен с умным человеком, готов был терпеть, но возникла тревога: а все ли поймут как нужно? На душе было как-то нудно, в дороге не спал, мучился жаждой, страхами — ни нападения, ни смерти, ничего не боялся, а только того, что не поймут. И от этого страха отвязаться не мог. Четверо суток катили в Питер, 13 апреля, в холодный синий день — даром что весна, — загремели по мостовой, запахло гарью по-петербургски, в щели мелькала солнечная пестрота, и Гришка, задрожав, чуял запах трактиров, жаренья, немецких сигар, пива — всей этой навсегда отрезанной красоты, которой он дышал вместе с милыми товарищами еще год назад на этих улицах. Приезжали в крепость, в Трубецкой бастион. Сняли кандалы, доставили собственные, отобранные при аресте вещи, арестантский халат заменили штатским платьем и — бумагу и перья.

Добржинский, с неприятным, застылым блеском в глазах, казенным тоном — будто стал здесь, в Питере, другим человеком, очень смешно, Гришка внутренне потешался над этой переменной бедного провинциала — объяснил, что времена пустой болтовни кончились, надо готовить формальные показания для суда.

— Который имеет быть когда? — поинтересовался Гришка.

— Это вам знать не нужно, — отрезал Добржинский.

Гришка, не сдержавшись, воскликнул:

— Я главная фигура суда, а мне знать не нужно? Да я требую, чтоб вы мне ясно сказали!

— Вы ничего требовать не можете, — тем же тоном ответил Добржинский.

У Гришки что-то двинулось и упало в глубине живота. Ах, в сущности, чепуха — разве важно, когда начнется суд? Нет смысла поднимать шум. Он прибыл сюда не для бесед с полячишкой — хватит, набеседовались! — а для переговоров с важным лицом. Может, даже с самим графом. Добржинский намекал. Стали разговаривать о том, как нужно записать по правилам — годно для суда — сведения о людях. Добржинский диктовал, Гришка записывал. Работали долго. Камера была просторная, метров шесть в длину, метра три в ширину, изолированная — ни с одной из сторон, ни сверху, ни снизу не доносилось ни малейшего звука.

Когда кончили трудиться, Гришке померещилось, что Добржинский стал прежним, одесским: все может понять. И он строго погрозил прокурору пальцем:

— Но имейте в виду, господин Добржинский, если хоть один волос упадет с головы моих товарищей, я себе этого не прощу!

— Уж не знаю, как насчет волос, а то, что много голов слетит, это верно. — И ушел, не прощаясь. Впрочем, всегда уходил так.

Гришка остолбенел от этих слов. Шутка, что ли? Дурацкая, неуместная. Он барабанил в дверь, звал, требовал. Добржинский не возвращался. И только на другой день — а ночью-то каково! — прокурор явился как ни в чем не бывало, ни сном ни духом, улыбающийся, и подтвердил, что сказанное давеча было шуткой. В среду состоится высокое посещение: его сиятельство граф Лорис-Меликов. Нужно продумать, как и что отвечать. Граф знаком с показаниями. В своей борьбе он, несомненно, будет опираться на них, но необходимы дополнительные сведения. Особо в связи с покушением Соловьева...

Граф был смуглый кавказец с большими и пушистыми черновато-седыми усами. Похож на кота. И разговор был кошачий, вкрадчивый, холодный. Запахнувшись в плащ, держась от Гришки в отдалении — разумеется, не от страха, а от брезгливости, — сидел не на стуле, а на краю железного котельного листа, вделанного в виде стола в стену, покачивал лакированным сапогом и, сверля Гришку

неморгающим угольным взором, задавал вопросы. Гришка начал было о конституции:

— Граф! Убеждение государя в том, что без дарования конституции...

Лорис-Меликов прервал мягким движением руки:

— Сей материи мы коснемся в другой раз.

Гришке понравилось: голос, мягкое движение и «в другой раз». Он согласился: как угодно, ваше сиятельство. Да есть ли хоть один политический арестант в России, к кому в камеру пришел бы запросто и сидел бы на столе, ногой качая, граф Лорис-Меликов? Не любопытства ради, а как истинный интересант. Гришка ему нужен, а не он, граф, Гришке. И хотя гордость и ликование переполняли Гришку, он душил свою обычную скорострельную речь, заставляя себя говорить медленно, веско, сидел на железной кровати в небрежной позе, привалившись спиною к стене, ногу на ногу, и одной ногой в казенной растоптанной туфле без шнурков и без задника тоже покачивал.

Говорили о предстоящем суде, на котором Гришке надлежало выступить. Нет, не свидетелем, не дай бог, — объяснителем, пророком, Моисеем, который выведет заблудший народ из пустыни горестной к обетованной земле, к миру, успокоению.

— Мы с вами не коренные российские граждане, — говорил граф, сверля глазом, — тем выше наша ответственность. Сделать все мыслимое ради покоя этой страны. Каждый на своем посту.

— Но я бы хотел... еще раз... подчеркнуть... — Гришкин голос слегка дрожал, паузы были внушительные. — Мои товарищи должны быть в неприкосновенности... Это неперемное условие.

— Вас не убедило то, что за три месяца никто из ваших товарищей-революционеров не пострадал?

— А казнь Розовского и Лозинского в Киеве?

Об этой казни, происшедшей в начале марта, Гришка слышал от надзирателя в Одессе.

Лорис-Меликов, улыбаясь в усы, отчего его лицо стало еще более кошачьим, сказал, разведя руками:

— Какие же это революционеры? Мальчишки, несмышленные дураки. Они потерпели от своей глупости. Я повторяю! — Он возвысил голос. — За время деятельности Верховной распорядительной комиссии никто из нас и не пострадал. И не пострадает, если вы будете себя разумно вести. Вы, вы! Именно от вас сейчас зависит судьба ваших друзей.

Потом были расспросы о деле Соловьева, о съездах, обо всем, что Гришка изложил на полутора страницах, но графу многое казалось недостаточно ясным. Он вникал в разные тонкости, удивлявшие Гришку. Например, о приготовлении динамита. Гришка написал со слов уж не помнил кого, то ли Алхимика, то ли еще кого-то, что динамит делается из глицерина и магнезии. Теперь изволь точно сказать: в какой пропорции, какой глицерин и какая именно магнезия, черная или белая. Особо интересовали графа харьковские дела, где как раз полгода назад он губернаторствовал, многих лиц, упоминаемых Гришкой, хорошо знал и подробно о них расспрашивал. И еще допытывался: откуда ведом факт, будто революционеры задумали напасть на государя посредством подкопа в столице на улице Малой Садовой? Гришка и сам забыл. Оказывается, он дал такое сведение в конце декабря, в январе передали в Питер, а откуда это Гришке залетело в ум — теперь уж не знал. Видно, кто-то давно говорил, предполагалось, запомнилось, пустое, до дела не дошло.

— Молодежь должна себе уяснить, что страна сворачивает на новую колею. Если не будет понято — тогда катастрофа.

— Молодежь готова понять, граф!

— Открытое разъяснение. Если хотите — покаяние. И в результате — примирение всех сословий, успокоение, труд во имя счастья и процветания России. Не правда ли, таким видится суд?

— И возвращение сотен наших товарищей из тюрем и ссылок. Уничтожение централов, Третьего отделения...

— Все это как результат суда. Суд как прилюдное, всенародное — по русскому обычаю, перед миром — разбирательство должен разрубить этот гордиев узел, в который стянулись несчастные российские обстоятельства.

Когда Лорис-Меликов вместе с сопровождавшими его двумя важными господами, один, кажется, был из Петербургской судебной палаты, а другой — седоусый полковник, покинули камеру, прокурор Добржинский, до этого напряженно молчавший, с внезапным восторгом, хотя и очень тихо, стал стучать ладонью в ладонь, изображая аплодисменты:

— Bravo, bravo вам, господин Гольденберг! Мы победили! Можем поздравить друг друга! — И он действительно схватил Гришкину руку и стал трясти. — Вы понимаете, что это значит: первое доверенное лицо государя посещает вас в камере! Я не верил до последней минуты! Какой фурор! Все злопыхатели, интриганы, которые нам с вами рогатки ставят и волчьи ямы копают, теперь, слава создателю, заткнут уста...

Гришка и сам испытывал радостное волнение. Ведь то, к чему стремились, что единственное могло спасти Россию — взаимное понимание власти и молодежи, — кажется, только что произошло. На втором этаже, в камере для подсудимых Трубецкого бастиона. Добржинский даже остался в камере, когда смотритель принес вечерний чай — две глиняные кружки — и трехкопеечную французскую булку. Чай всегда носили в двух кружках.

— Принеси-ка еще булку! — приказал Добржинский смотрителю.

Видно, проголодался. Прихлебывая чай и жуя булку, достал левой рукой из кармана пакет, развернул его на котельном листе и сбросил веером фотографии. Пальцем указал на одну: кто? Гришка узнал Сашку, Александра Первого. Так и сказал: Квятковский. Смотритель пришел со второй булкой, и Гришка тоже стал рвать зубами хлеб, жевать жадно и хлебать чай.

На другой день Добржинский доложил Лорис-Меликову письмом:

«Гольденберг, как человек до крайности самолюбивый, был польщен посещением Вашего сиятельства и, видимо, еще больше стал убеждаться, что им интересуются... Подметив в Гольденберге болезненное самолюбие, я пользовался этой стороной его характера, внушая ему, что он рассматривается не как доносчик, а как человек, сознавший свои ошибки и желающий искупить их услугой обществу, раскрыв всю преступную организацию... Гольденберг уже начинает свыкаться с мыслью открыто, путем показания при дознании и на суде, сознаться и изобличить своих помощников. Он уже начинает заговаривать о том вступлении, которое сделает к своему показанию, и о той речи, которую произнесет на суде в защиту себя против упреков сообщников за сделанное им разоблачение».

То, что Гришка назвал Квятковского, показалось Добржинскому значительным поворотом дела, и он немедленно сообщил Лорис-Меликову, а тот — в докладе государю. Александр II сделал пометку на докладе: «Считаю это весьма важным открытием».

От Клеточникова пришло известие, что Гольденберг уже с середины апреля в Петербурге, в крепости. Дает обширные показания,

Значит, одесситам не удалось ни обезвредить, ни припугнуть иуду. В Одессе ничего не удалось, все кончилось конфузом: вовремя не узнали о приезде царя, не успели приготовить. Одесских работников ждали со дня на день. А кто виноват? Несчастное безденежье, чтоб они провалились, проклятые деньги! После гибели Лизогуба с его громадным состоянием отпал главный источник средств. Не было денег, чтобы снять нужную квартиру, изобразить богача, приобрести новейшие аппараты, завербовать дорогостоящих шпионов, например из дворцовой челяди. Высчитывали по копейкам, выгадывали на своем жалком житье-бытье...

Андрей бежал на квартиру курсистки Даниловой, где, по сведениям, были накануне Пресняков с Окладским. Ванечка не так уж нужен, главное — Пресняков. Посоветоваться с «грозой шпионов»: нельзя ли как-то достать сукиного сына Гришку?

Пресняков последнее время всюду ходил с Окладским. Здоровенный, мрачный, угрюмо баящий Пресняков и малорослый, смешливый, вертлявый, но ловкий и быстрый во всякой работе чертенок — Ванечка Окладский. Где они жили постоянно, никто не знал. Кажется, жилья не было. Раза два вечерали вместе в трактирах, и на улице, когда прощались, Пресняков говорил Окладскому:

— Ну, Ванюха, пойдем искать логово!

Да ведь и все так... Окладский вызывал нерадостные чувства. Ничего дурного, просто воспоминания: александровские хляби, крик «жарь!», неудача. Встречался с ним редко и к делам близко не привлекал.

Но сегодня оба были нужны, и Пресняков — крайне.

Аня Данилова, серьезная девица в пенсне, медичка и литераторша — писала какие-то рассказы из народного быта, — саратовская подруга Степы Ширяева, встретила Андрея привычной конспираторской полуулыбкой:

— Я догадываюсь: вы не ко мне. Их нет.

— Будут?

— Трудно сказать. Вчера заходили. Подождите полчаса, если до восьми не придут, значит...

Андрей прошел в комнату. Данилова знала Андрея под именем Захара, считала его рабочим, близким к революционной партии, может быть, даже к ее верхушке, но подробнее — ничего. Как все политически воспаленные девицы радикального толка — Андрей узнал таких в Питере много, — Данилова несколько преувеличивала свою революционность. Она тут же с места в карьер затеяла острый разговор, даже в некотором роде с претензией: чего партия ждет? Почему наступила пауза? Почему нет ответа на казнь Розовского и Лозинского? Розовский совсем мальчик, казнен ни за что: нашли какой-то литографированный листок и список некрасовской поэмы «Пир на весь мир». А Лозинский погиб за одну прокламацию. И партия молчит!

— Вот у нас на курсах, когда профессор Трапп — тот самый, что приводил в чувство Соловьева, он читает у нас фармакологию, — вздумал рассказать об этом случае, о том, как цианистый калий разложился и Соловьев не смог себя умертвить, — знаете, что мы сделали?

— Что же?

— Все не сговариваясь встали и покинули аудиторию!

Было сказано очень гордо. Андрей едва подавил улыбку.

— Вы прекрасно поступили. Но, может быть, и партия не теряет времени даром?

Теряет, теряет. В Александровске потеряли, в Одессе потеряли.

Радикалы кипятятся попусту, но в чем-то правы. Уходит драгоценное время, мы ждем каких-то фантастических благ от Лорис-Меликова, но ведь ни черта не будет, умные люди это понимают.

— Пауза, я думаю, вызвана тем, что общество — ну, я имею в виду толпу, читающую газету, — пока загнипнотизировано обещаньями Лорис-Меликова. Но через полгода блеф обнаружится.

— И партия начнет действовать? — Ее глаза под стекляшками пенсне, добрые, близорукие, горели нетерпением.

Подумал: и эта милая женщина торопит убивать, взрывать, по д а т а л к и в а т ь и с т о р и ю. Что же такое: мода? Потребность души? Или же громадная, всеобщая невозможность жить по-прежнему?

Он усмехнулся.

— Два месяца нет покушений, никого не убивают — и уже скучно? Что за безобразие, да? — Все больше веселился. — Почему бездельничают? Совсем разленились в этом своем подполье!

— Вы пародируете одну мою знакомую, — сказала Данилова. — Я к таким идиоткам себя не отношу. Но правда вот в чем: да, мы привыкли к существованию этой силы. Скажу больше: мы ее мистифицируем. Как древние мистифицировали силы природы. Нечто неотвратимое, роковое. Летом должна быть гроза, блистать молния, гром должен поражать грешников. Вот и удивляешься: почему нет грозы? Я знаю многих, которые причастны к этим небесным явлениям, — знала Степана, знаю Преснякова, Ваню, вас, других, — но какая странность: отношусь к вам как к обыкновенным людям. Не могу поверить, что вы громовержцы!

— Мы и есть обыкновенные люди. Громовержцы — это другие.

— Ну-ну! — Она погрозила пальцем. — Не приbedняйтесь. О вас, Захар, я ничего не могу сказать, но о Преснякове знаю точно: он убивает шпионов. Одного из тех, кого он прикончил, я даже хорошо знала: Жаркова, наборщика. Ничтожный человек, жалкий какой-то, нервный. В Саратове его звали Суслик. И все же когда представляю, как ражий Андрей Корнеевич где-то его сграбастал и стал душить, такого щуплого...

Тут доброжелательная болтуня понесла вовсе вздор: да, Жарков выдал типографию, смерть по заслугам, но само убивание, мольбы жертвы — Пресняков рассказывал, что тот даже не сопротивлялся, — представить невыносимо. Вот они, наши радикалы: жаждут большой крови, а от малой падают в обморок. Почему-то особенно обозлился Пресняков. Расписывать свои подвиги перед курсистками; что может быть глупее?

И когда в девятом часу оба приятеля явились, Андрей был с ним сух. Пришла и подруга Даниловой, курсистка Макарова, сели пить чай. Окладский принес какие-то сласти, банку меда, колбасу — видимо, тут было принято ужинать в складчину, потому что никто его не благодарил, наоборот, девицы помыкали им как прислугой:

— Ваня, самовар! Ваня, нарежь хлеб, только не по-извозчицы!

Окладский все делал проворно, летал из комнат на кухню, из кухни на двор, выносил мусор, прочищал газовую горелку, балагурил, дурачился, а его здоровенный друг сидел на кушетке нога на ногу, в смазных сапогах, и мрачно смолит папироску. Улучив минуту, Андрей сказал Окладскому:

— Завтра будь здесь утром, придет Дворник, ты ему нужен. Станок наладить.

— Будет сделано, ваше благоустройство! — выпучивая глаза и козыряя, выпалил Ванечка.

Подруга Даниловой хохотала. Ванечка ее потешал. Да, тут веселая компания, и он вроде бы пятый лишний. Пресняков тоже поте-

шал, по-своему. У Даниловой оборвался шнурок от пенсне, Пресняков сделал из него петлю, накинул на шею и стал затягивать. Девицы с гневом на него набросились:

— Что вы делаете? Перестаньте сейчас же!

— А что? Привыкать надо,— был невозмутимый ответ.

Ванечка в восторге хохотал. Поговорить о деле не удавалось. Андрей сделал Преснякову знак, вышли.

— Слышь, тезка! Ты зря болтаешь о своих подвигах на невском льду.

— Кому болтаю? Степан об Аннушке говорил как о родной сестре...

— И сестрам знать не нужно. Ну ладно, дело твое. Не маленький. Сам знаешь, ищут тебя днем с огнем.

Самолюбивый Пресняков побледнел от выговора, и Андрей положил ему руку на плечо.

— Я тебя по другому делу ждал. Вот, от нашего агента. По твоему ведомству.

Протянул листок с фамилиями: Клеточников передал сведения о фабричных шпионах. Преснякову, который знался только с рабочими, якшался с ними по трактирам Петербургской стороны и Васильевского острова, иметь такую бумажку было необходимо. Схватил ее и при свече в коридорчике читал, скрипя зубами. Андрей спросил:

— Знакомые есть?

У Преснякова было свойство не отвечать сразу.

— Ну! Есть, что ли?

— Есть вроде. Двое...— Опять пауза, скрипенье зубами, рассмотрение бумажки. Тяжелый человек Андрей Корнеевич, все у него пудовое: кулаки, мысли, молчание.— Но я об них догадывался.

Аккуратно свернул бумажку тяжелыми пальцами, засунул куда-то за пазуху тщательно.

— Еще к тебе, Корнеич, дело. Богородский не знаешь где? Богородского третий день не можем найти...

В квартире снимали две комнаты какие-то люди, в коридоре говорить не дело, спустились по черной лестнице вниз. Андрей рассказал недавно услышанное от Клеточникова: о Гольденберге, о том, что готовится процесс, где будут судить Степана, Квятковского, Зунда, вероятно, и типографчиков, очень скоро, летом, и Гришка намерен выступить с большими разоблачениями. Как воспрепятствовать? Это сейчас первейшее дело. Заткнуть Гришке рот. Казнить его там, в Трубецком бастионе, теперь уж, верно, не удастся. Андрей произнес «верно», потому что глупо надеялся на то, что Пресняков, самый избретательный и беспощадный из «громовержцев» — еще три года назад организовал особую группу для казни шпионов,— вдруг скажет: «Почему же не удастся?» Нет, Пресняков молчал, даже голову опустил, соглашаясь. Гришку там не достанешь. Напугать? Он не из пугливых. В этом деле есть какая-то тайна. Не просто предательство. Зная Гришку с его пузырящимися мозгами, можно догадаться, что тут возникла путаница, включилась в действие некая сила, невидимая со стороны. Словом, нужен Богородский: установить с Гришкой связь. Через Зунда, который там же, в Трубецком бастионе. Сначала пригрозить, трахнуть кулаком. Пускай он очухается. Потом открыть дураку глаза...

Пресняков сказал, что Богородский может быть на одной квартире на Васильевском, двенадцатая линия. Они разговаривали во дворе. Был одиннадцатый час, но светло, как днем.

Пресняков стиснул руку Андрея, от порывистого могучего пожатия вся Андреева злость на Преснякова — за его хвастливость, пусто-

мельные вечера с курсистками — исчезла. Этот парень сделает все: возможное и невозможное.

— Пойду попрощаюсь. И надо топтать на Васильевский! — И он побежал к двери на черную лестницу.

«И чай пить не станет», — подумал Андрей. Подождал две минуты: верно, Пресняков, грохоча сапогами, сбегал вниз.

После долгих поисков Дворник присмотрел квартиру на Подольской, где поставили новую типографию. Хозяевами назначили Кибальчича и Паню Ивановскую под фамилией супругов Агаческуловых, прислугою, под видом бедной родственницы, — Лилочку Терентьеву.

Андрей часто заходил на Подольскую, в дом одиннадцать: он был нужен там как помощник, советчик, дело налаживалось туго, станок скверно работал, первый номер «Листка «Народной воли» никак не мог выйти, да и отношения между «супругами» и между «хозяином» и «прислугой» складывались не гладко. До того как сойтись на Подольской улице для совместного житья, женщины в глаза не видели Кибальчича, а между собою были едва знакомы. Дворник со смехом рассказывал, как он «сватал» Кибальчича, устроил «смотрины»: женщины приехали крайне взволнованные, нарядились, нафарфорились, желая не столько понравиться своему будущему сожителю, сколько понять, что он за человек. Еще бы, жить взаперти втроем много недель! Кибальчич держался каким-то небрежным букой, едва цедил слова, куда-то торопился; женщины были обескуражены. Ну, ясно, Техника надо узнать, чтобы полюбить. Он слишком углублен в себя, в свои идеи, фантастически непрактичен, а со стороны может показаться — равнодушен, даже не очень умен. Вот это равнодушие и напугало.

Лилочка Терентьева, которую Андрей немного знал по Одессе, призналась в один из первых дней:

— Ваш Николай Иванович, может быть, добрый человек, но немножко... какой-то тупой.

Андрей расхохотался:

— Николай Иванович тупой? Ну, Лила! Да он один из блестящих умов России! — Говорил искренне, хотя, наверно, перехлестывал. Просто за последние месяцы близко сошелся с Кибальчичем и даже как-то увлекся им. — Живи он не в такое гнилое время, он был бы Декартом, Ломоносовым!

— Возможно, но как господин Агаческулов он вовсе не образец: всегда молчит, всегда в своей скорлупе, в книгах, в бумагах...

Так было вначале, когда «семейство» еще только обосновывалось, теперь отношения стали лучше, и женщины, кажется, смирились с характером Кибальчича и лишь подшучивали над ним. Он был на редкость неловок в домашних делах, не умел ни поставить самовар, ни приготовить еду, в его комнате был постоянный хаос, женщин он туда не пускал, говоря, что растеряют его бумаги. Но теперь, в конце мая, главной заботой было не сглаживание отношений в «семье», а то, что станок работал худо. Настоящая печать — такая великолепная, чистая, какая выходила у типографщиков на Саперном, — никак не получалась.

Станок представлял собою тяжелую стальную раму с оцинкованным дном. Гранки с набором вдвигались в раму и укреплялись в ней туго с помощью винтов. Рама весила пуда три, и Паня с Лилой любили рассказывать о тринадцатом подвиге Геракла: Баранников однажды подъехал — они видели из окна — к дому на пролетке в непривычной для него морской офицерской накидке, легко спрыгнул, легко прошел мимо каких-то стоявших у подъезда людей, поднялся

на третий этаж, а в квартире, покачнувшись, едва не рухнул. Оказывается, он пронес под тальмой эту самую трехпудовую раму. На шрифт, смазанный краской, набрасывался лист бумаги, по нему катали тяжелый, обтянутый сукном вал — и вся мудрость. Но черт знает почему набор получался пестрый, с проплешинами, в каких-то ужасных пятнах. И в чем дело — понять никто не мог. Ведь настоящих наборщиков не осталось. Подряд провалились три типографии: в Саперном, затем чернопередельская, выданная Жарковым, и затем еще одна, устроенная рабочими. Каждый раз гибли десятки людей, знающих дело. И вот: Паня, Лилочка и Коля Кибальчич, голова которого занята не типографией, а расчетами, высокой философией. Три дня возились со станком все кому не лень, Андрей тоже. Даже Тигрыч давал советы и высказывал догадки, хотя в качестве механика он, как и Андрей, впрочем, представлял нулевую величину. Но Тигрыч написал большую статью для «Листка», единственную, другого в «Листке» не было, и очень волновался: хотел, чтоб радикалитет, как он выражался, поскорей со статьей познакомился. Все хотели того же. Тигрыч зло написал о Лорис-Меликове. Это было крайне нужно, полезно, чем скорее появится, тем полезней: промыть идеалистам мозги. И вообще, партия жива, пока жива печать, а тут молчание затянулось на пять месяцев — почти уже гробовое...

Но толку от всех стараний не было: набор выходил неудобочитаемый. И только в последний день мая, вечером прибежав на Подольскую, Андрей увидел веселое, раскрасневшееся, как когда-то в Одессе, когда дурачились на Ланжероновской, лицо Лилочки Терентьевой:

— Ура! Поздравляйте нас! А мы — вас! — И она вдруг быстро обняла его и поцеловала. Поспешно втягивая его в квартиру, зашептала: — Набор идет замечательный. Еще лучше, чем в Саперном. Завтра с утра начинаем печатать.

— Кто же наладил станок?

У Лилочки блестели глаза, и она всегда улыбалась, когда смотрела на Андрея. Замечательно красивая русая коса. И вообще, замечательная девушка. Если бы не...

Она все еще держала его за руку и вдруг резко отпустила.

— С тех пор как Соня Перовская уехала в нашу милую Одессу, — сказала Лилочка, — вы стали со мной очень сухи. В чем дело? Должно же быть наоборот.

— При чем тут Соня Перовская?

— Ну просто так, я болтаю. Соня на всех действует немножко как дама-патронесса, а когда ее нет — можно чуть-чуть рассупониться, правда же? А то что за оказия: я на него бросаюсь, обнимаю, как наяда, целую горячо, а он стоит каменным и спрашивает: «Кто починил станок?»

И Лилочка, устав изображать обиду, расхохоталась и побежала по коридору. Милейшее существо! Удивительно, как на ней сохранился одесский загар. Все одесситы давно полиняли, а она по-прежнему смугла, руки смуглы, ноги смуглы, и только русые волосы поблекли.

— Все-таки кто починил станок? — крикнул ей вслед.

— Ванечка! Окладский!

В комнате сидели человек пять. Дворник и Тигрыч, не удостоив Андрея ни кивком, ни взглядом — так были увлечены, — спорили о каких-то строчках статьи, кажется, той самой, тихомировской. Кибальчич был на стороне Дворника. Уговаривали снять особо ругательные слова.

— Не в этом же дело, Лев. Еще одна брань, еще один сукин сын — это никого не убедит...

— Ладно, соглашайся! Читай, как будет без этого...

Тигрыч чем хорош: не стоит насмерть. Поспорит, поспорит и, вняв разуму, соглашается.

— Итак, читаю с этого места, — сказал Дворник. — Тарас, садись, не засть света! Слушай внимательно, завтра идет в печать.

Андрей сел на кушетку рядом. Дворник, слегка запинаясь, но громко и внятно читал:

— «Вместе с тем Лорис ловко эксплуатирует лакейское чувство разных газетчиков, милостиво допуская их до разговоров с собой: убытку ему никакого, а газетчики млеют и рады на стену лезть ради доброго барина. Отрывая от нас либеральную партию, Лорис намеревается то же сделать и относительно молодежи. Недавно вышедшее правительственное распоряжение сулит не только помилование, но даже полное возвращение прав ссыльным по студенческим историям. Со студенчеством Лорис заигрывает и лично, призывая к себе их представителей...»

— Представителей непременно в кавычках! — сказал Тигрыч.

— Да, в кавычках, далее: «...обещает разные льготы. То же распоряжение, очевидно, имеет целью внести разделение в ряды самой радикальной партии, открывая возможность отступления всякому изменнику, всякому слабому духом. Нужно думать, что в скором времени Лорис разделит радикалов на более и менее опасные фракции и начнет покровительствовать более мирным революционерам. Что ж, политика не так глупа! Сомкнуть силы правительства, разделить и ослабить оппозицию, изолировать революцию и передуть всех врагов порознь — недурно! И заметьте, что всех этих воробьев предполагается объегорить исключительно на мякине, не поступившись ничем».

— Насчет мякины — это прекрасно, Тигрыч! — сказала Ивановская.

— Дальше идет пассаж, который мы вычеркиваем. Так? — спросил Дворник. — Насчет гнусного лицемерия, собачьих мозгов и так далее. Ты согласен?

— Согласен, чиркай. Братцы, вы не представляете, как трудно нам, пишущим в легальной печати, находить верный тон! Я вспомнил случай с Кривенко... — Тигрыч засмеялся. — Помните, он писал для нас статейку о маковском циркуляре? В первом варианте ни черта не получалось, одна площадная ругань. Спрашиваем: Сергей Николаевич, что с вами? А я, говорит, когда почувствовал свободу от цензуры, так переполнился злобой к правительству, что не мог найти других выражений, кроме отборной брани!

— Ну хорошо, не отвлекай анекдотами, поехали дальше, — сказал Дворник. — Дальше все без изменений. А концовка теперь выглядит так: «Увенчается ли политика армянского дипломата успехом? Это, конечно, зависит от количества ума и гражданского чувства, какое окажется в наличности у российских людей. Политика Лориса вся построена в расчете на глупость и своекорыщность общества, молодежи, либералов, революционеров. Мы сильно надеемся на то, что расчет окажется неверным, что общество не поведешь одними обещаниями, что молодежь не подкупишь стипендиями и предоставлением карьеры, что революционеры сомкнутся теснее, чем когда-либо». Ну и далее весь абзац как был. Сразу затем — Тарас, слушай, ты этого не знаешь, вчера получено! — пойдет письмо Шмидта, начальника Третьего отделения.

Письмо, которое прочел Дворник, было кратким посланием

Шмидта начальнику одного из губернских жандармских управлений. По-видимому, распространялось секретно по всем губерниям. Смысл такой: в обществе ходят слухи о каких-то якобы намечающихся преобразованиях, об упразднении некоторых государственных учреждений (читай: Третьего отделения!), и господин Шмидт по поручению Лорис-Меликова спешит сообщить, что все это измышления, не имеющие ничего общего с правительственными намерениями. Великолепно! «Листок» выходил хорошенькой бомбой, которая взорвет надежды некоторых тупоумных мечтателей, расплотившихся за последние месяцы бессчетно, как вороны.

Лила из соседней комнаты звала пить чай. Все были возбуждены, веселы: партия опять на коне и завтра подаст голос! За чаем Лила рассказывала, как проворно, толково Ванечка наладил станок. Дворник привел его в десять утра, а в четверть двенадцатого работа была закончена и пошел отличный набор.

— Но должна вам сказать, Григорий,— она называла Андрея по одесской привычке Григорием, впрочем, иногда и Тарасом и Борисом,— этот ваш Ванечка — занятный фрукт. Моя бабушка умела опеределять людей по носам. И вот таких, как Ванечка, остроносых называла «хитрый нос». Ух он и каналья, этот Ванечка!

И опять, глядя на Андрея и как будто рассказывая ему одному, она улыбалась, и глаза ее блестели.

— Почему же каналья? — спросил Андрей.— Он, кстати, обладает профессией, чего нет ни у кого из нас...

— Ванечку не обижайте. Он мой воспитанник,— сказала Паня Ивановская.

Все знали, что ее брат, доктор Василий Великий, нашел Ванечку лет восемь назад среди фабричных мальцов, взял в свою школу-комму, и с тех пор Окладский воспитывался среди революционеров как приемный сын.

— Воспитание ты ему дала не блестящее. Все норовил меня потискать, — сказала Лила, шутливо подмигивая, — тоже этак проворно, умело, как унтера тискают прислугу в сенях.

— Ой! Когда же это? — испугалась Паня.

— Знаем когда. Ты не заметила. Но я не об этом. Это как раз ничего, допустимо.

— Нет, это совершенно недопустимо! — возвысил голос Дворник.— Я ему уши надеру, сморчку.

— Да вы с ума сошли. Бог с вами! Господи, я еще доносчицей вышла. Человек нас выручил, исправил станок...

— За это ему спасибо, а за то получит по сусалам.— Дворник показал кулак.

— Дворник, не смейте! Я на вас смертельно обижусь, если вы что-либо предпримете. Все это вздор. А вот что мне действительно не понравилось, так это его постоянное «жарь! жарь!». Чайник ставит на стол — «жарь!». Станок запускает — «жарь!». Ведро с мусором попросила вынести, он возвращается, протягивает пустое ведро — «жарь!». Ну что за дурачок, скажите на милость!

Кибальчич вдруг заговорил — как у него это бывало, без всякой связи с предыдущим — о выкупе частных железных дорог государством в Пруссии; разговор об Окладском прекратился. Но Андрею история с «жарь!» тоже не понравилась.

На улице вышли поздно втроем: Тигрыч, Дворник и Андрей. Правилom было втроем по возможности не шататься, Тигрыч быстро отпал, растолкал сонного ваньку, поехал к себе на Литейный. И Катенька, наверно, места не находила, нервничала. Дворника и Андрея никто не ждал. Они шли медленно, дышали белой ночью: похоже

было на ранний сумеречный вечер, и только пустые улицы и темные окна домов говорили о полночи, о сне города. Дворник рассказывал, как днем встретился с Богородским — Пресняков вчера его отыскал — и передал задание насчет Гришки.

Богородский был сыном смотрителя Трубецкого бастиона полковника Богородского. Через него, сына, удавалось иногда сноситься с заключенными: он доставал для тюремной библиотеки книги, и в некоторых делались особые знаки, наколки иглой. Потом, на свиданиях, сообщалось, какую книгу взять. Зунделевичу надлежало взять роман Писемского «Взбаламученное море».

На другой день Андрей забрал пачку только что отпечатанных номеров «Листка «Народной воли» и понес на квартиру Ани Корба: к вечеру все разлетится оттуда по рабочим и студенческим кружкам. Мог бы не брать на себя роль носильщика, послать кого угодно из новых друзей, хоть Вальку Коковского. Но тянуло самому: показать, изумить. Приехал на извозчике. Кожаная сумка, с какими ходят питерские мастеровые, держа в ней инструменты, была набита тяжелой бумажной кипой, а сверху насыпано чуток картофельной черно-гнилой мелочи: Паня дала для маскировки.

Отворилась дверь, и по сияющим глазам Ани — в их наивной открытости все отпечатывалось мгновенно — угадал какую-то радость. Нет, не «Листок», что-то другое, внезапное.

— Тарас, а знаешь... — запела Аня.

— Пока не знаю!

Из комнаты вышла Соня. И как тогда, осенью, когда встретились после двухмесячной разлуки, с одного взгляда на это лицо, обращенное только к нему, его лицо, почувствовал удар теплой волною в грудь. Она протянула руку, он пожал.

— Тарас, здравствуй. И опять ни с чем...

Он обнял ее. Щеки были горячие, она похудела, стала совсем легкая, волосы и руки были влажные. Два часа как с вокзала, только что приняла ванну. В коридоре почему-то никого не было. Они оказались одни. Она обнимала его очень сильно крепкими руками, прижималась к его груди, опустив голову, и он поцеловал ее в макушку, в пшенично-блестящие, влажные, пахнущие мыльным детским запахом волосы, сразу все поняв: страданье, несчастье, любовь.

За ужином Соня рассказывала: как Верочка Фигнер раздобывала деньги, как покупали бурав, бакалейный товар для лавочки, как сняли помещение на Итальянской, мучились с буравом, почва глинистая, бурав двигался с громадными усилиями, как Саблин заболел, Грише Исаеву при взрыве запала оторвало три пальца и он угодил в больницу, остался в Одессе, Баска ходит за ним, Верочка тоже там, но из последних сил, просит ее сменить, разрешить вернуться в столицу. Приехали пока двое: она и Саблин, «супруги Прохоровские».

Андрей вдруг почуял, как шевельнулось едва ощутимое, неловкое — к Саблину. Было как-то внове. Он спросил:

— Жили-то дружно?

— Кто? — спросила Соня.

— Супруги Прохоровские.

— Конечно! А разве мыслимо жить с Колей недружно?

— Коля человек положительный, благородный, но может при случае уморить, — сказала Мария Николаевна, подняв предостерегающе палец. — Стихами, каламбурами. В особенности каламбурами. Было это?

— Было.

— О, это ужасно!

— А я привыкла, мне даже нравилось,— сказала Соня беспечно и, поглядев на Андрея, опять улыбнулась.— Его поэму «Малюта Скуратов» я слушала чуть ли не каждый вечер. Знаю теперь наизусть. И каламбуры, это верно, с утра до вечера. «Коля, где полотенце?» — «Вам нужно пол-отенца или целое отенце?». «Коля, деньги возьмите у Верочки». «У каких Вер какие очки?» И в таком духе неистощимо...

Все хохотали, Андрей улыбался, вероятно криво.

И все же Сонин рассказ был печален. Столько стараний, труда, риска, столько убито дней — и впустую: вовремя не получили известия. За тот короткий срок, что оставался до приезда царя, довести мину до нужной точки не удавалось. Засыпали колодец, продали что могли, лавку оставили, разъехались. Глупость. Вечное наше недоумение: кто виноват? Сами виноваты. Нечего лезть в дыры, в провинцию, там все сложнее, меньше людей, меньше сил. Казнить царя нужно в Петербурге, более нигде. Потом Соня расспрашивала, ей рассказывали: про типографию на Подольской, про суд над Оболюшевым и Адрианом Михайловым, бывший две недели назад, обоих к смертной казни, они сейчас в Трубецком бастионе, там же, где Гришка Гольденберг. Смертную казнь заменили двадцатью годами каторги. И кажется, как ни горько говорить, Адриан, кучер знаменитого Варвара, как-то постарался для этой милости...

Шли набережной вдвоем.

— Никогда не уеду от тебя,— сказала Соня.

Он сжимал ее руку. Странно: держать живую Соню за руку, идти рядом, а еще днем сегодня не знали, когда встретятся.

— Только с тобой вдвоем.

— Да,— сказал он.— Никогда больше.

— Это же чистое безумие! Сколько нам осталось?

Какой-то человек в длинной чуйке, покачиваясь, медленно шел навстречу, ночной бродяга или пьяница. Его лицо в утренне-ночном свете казалось белым, мертвым. И у них, верно, были такие же лица. Бродяга посмотрел долгим взглядом, щуя глаза, как слепец. Когда прошли несколько шагов, Андрей оглянулся: бродяга уходил.

— Осталась нам целая жизнь,— сказал Андрей.

— Иногда кажется, что я живу очень давно, что я уже старая, усталая бесконечно. А иногда — будто только все начинается. И страх как хочется жить! — Соня засмеялась.— И я ничего не помню. Прошлого как будто не было. Ехала сегодня с вокзала мимо нашего дома, отцовского, смотрела в окна и думала равнодушно: «Может быть, мама случайно здесь?» Маму я люблю, хотела бы ее увидеть. Но все остальное — исчезло, чужое. Ехала спокойно, как мимо чужого. А когда в Одессе сидела на Александровском сквере и ждала, что сейчас пройдет твой сын—я узнала очень сложным путем, что в тот день его поведут к портному заказывать матросский костюмчик, — волновалась почему-то ужасно, сердце колотилось. Самой было смешно!

— Ну, как он? — спросил Андрей, помолчав.

— Он очень красивый. Такой крепкий деревенский румянец. И знаешь, у него твоя походка: грудь выпячивает, голову держит высоко, уморительно похож!

— С кем он был?

— Он шел с какой-то пожилой дамой. Конечно, не мать... Оглянись!

Андрей оглянулся и увидел, что бродяга в чуйке идет за ними шагах в тридцати. Было подозрительно, решили остановиться. Бродяга тоже остановился и стал закуривать. Серные спички не вспыхивали, он бросал их в реку. Теперь было очевидно, что слежка. Ка-

кой-то из ночных шпионов, которые шляются по городу в поисках случайной работы.

— Вот тебе новые либеральные веяния,— сказал Андрей со злобой.— А шпионов и бутырей развелось вдвое больше...

Он взял Соню плотно под руку, как берут девиц на Невском, и быстрым солдатским шагом, как бы торопясь к месту действия, повлек Соню через мостовую к домам, и они нырнули в ворота.

Зунделевич получил книгу Писемского «Взбаламученное море», прочитал о Гришке и ахнул: теперь понятно, откуда следователь дознался о многом! Особенно подробно и ужасающе точны были знания следователя о соловьевском деле, о встречах в трактирах на Большой Садовой и в «Северном» на Офицерской, о том, кто что говорил, об отъезде Гришки в Харьков и о том, чем он, Зунделевич, перед этим Гришку снабдил. Прокламациями по поводу убийства Кропоткина и газетой «Земля и воля». Кто мог все это так досконально знать? Один Гришка, этот подлец, восторженный идиот. Раньше были только догадки, теперь же явился факт. И приказ: заставить замолчать. Потрясло и то, что Гришка — здесь, рядом, в Трубецком бастионе. На книге, которую Зунделевич сумел благодаря чистой случайности переправить в камеру на второй этаж, он написал чернильными точками: «Предателю смерть».

Гришку охватила паника. Он знал, что в Трубецком бастионе сидит Зунд, и стал просить с ним свидания. Теперь он имел дело не только с Добржинским, но и с прокурором судебной палаты Плеве, наблюдавшим за дознанием. Плеве, господин суровый, хотя, по Гришкиным впечатлениям, понимающий и по взглядам близкий к Добржинскому, то есть к партии, ведущей титаническую борьбу, все же в свидании отказал. Но Гришка понял, что, если не увидит Зунда и не объяснится с ним, он просто не сможет жить. На той же книге, которую получил, он написал точками: «Друзья, не клеймите меня, поверьте, я три раза отдавал вам и делу жизнь, верьте, что я тот же честный и искренний Гришка».

Отклика не было. Тогда Гришка схитрил: стал говорить, что, если ему разрешат свидание с Зунделевичем, он сумеет склонить того поступить точно так же, и это будет замечательно полезно для следствия, ибо Зунделевич — важная птица. Заодно обещал уговорить Людвигу Кобылянского, своего напарника по делу Кропоткина, тоже сидевшего в крепости. Свидание разрешили. Гришка и Зунделевич встретились во время прогулки. Зунд был неузнаваемо худ, бледен, оброс черновато-рыжей бородой. Он смотрел на Гришку без всякого выражения, как на чужого, не двинулся с места, а взгляд был необыкновенно надменный, ледяной. Взгляд из дальнего прошлого Зунда, из виленского раввинского училища, где самые ученые талмудисты были преисполнены высокомерием от большого знания. Гришка бросился к Зунду и стал объясняться со всей скорострельностью, на какую был способен. Он говорил на жаргоне. Стоявший рядом надзиратель ничего не понимал. Гришка выпалил главное: все делается ради спасения России, остановить кровопролитие, прекратить, понять, примириться, и пусть его имя будет предано теперь проклятью — будущая Россия скажет ему спасибо.

— Ты сумасшедший,— сказал Зунд.— Тебя обманули как последнего идиота. По твоим доносам будут нас убивать — и за это тебе спасибо? Ты предатель тысячу раз!

И не став более слушать, Зунд ушел.

Началось предсмертное Гришкино безумие. Нет, он был в здравом уме и твердой памяти, но при этом ощущал себя, как бы глядя

со стороны, совершенно безумным. Он стал умолять Плеве, Добржинского и через них Лорис-Меликова поместить его в одну камеру с Зунделевичем. Плеве обещал ему — хотя это крайне трудно и недопустимо — добиться такого разрешения, требуя взамен все новых сведений. Он вытряхивал из Гришки последние крохи. И Гришка соглашался, отдавал, вспоминал, отчаянно напрягал память ради единственного: еще раз встретиться с Зундом и все ему объяснить. Вот о чем он мечтал. Выходя на прогулки во двор, бросал записки, нацарапанные на мундштуках папирос, надеясь, что хоть одна из записок дойдет до товарищей. Побросал их с десятком, все одного содержания: «Друзья мои, не клеймите и не позорьте меня именем предателя; если я сделался жертвою обмана, то вы — жертвы моей глупости. Я — тот же ваш честный и всей душой вам преданный Гришка. Мыслью о вас и любовью к вам я живу шесть лет, живу и теперь...»

Отклика не было. Гришкино безумие было пониманием. Люди от этого и сходят с ума: когда вдруг понимают нечто о себе, чего прежде не понимали. Он потребовал бумагу и на первом листке написал: «Исповедь. Друзья, приятели, товарищи, знакомые и незнакомые честные люди всего мира...»

Это был рассказ о всей жизни, о великом обмане, предательстве, несчастье, и чем дольше и подробнее он писал, тем более успокаивался. Началось-то все с Федьки Курицына. «В силу своей доверчивости к людям, в силу сентиментального проклятого характера... Он мне говорил, что выйдет на свободу, и я, увлекшись любовью к товарищам и желая им передать мой привет, называл фамилии, и те были арестованы...»

Когда Гришка был в упоении работы над «Исповедью», его неожиданно вновь посетил Лорис-Меликов в сопровождении солидного господина: Добржинский потом объяснил, что это был управляющий Третьим отделением Шмидт. На этот раз Гришка не испытывал никакого волнения, ни малейшей гордости, разговаривая с графом. Речь шла о предстоящем суде. Лорис-Меликов сказал, что смертные приговоры неизбежны.

Гришка разговаривал с графом как в полусне. Он хотел одного: свидания с Зунделевичем. Пускай не в камере, не на целую ночь, пускай во дворе, на прогулке, на несколько минут, в присутствии кого угодно.

Граф объяснял, пронзая Гришку черным кавказским взором, что и как тот должен говорить на суде.

— Да, да! Буду, ваше сиятельство! Непременно! Буду!.. — кивал Гришка, почти не слыша, не понимая.

Когда граф ушел, Гришка написал на его имя письмо с просьбой не делать ему никакого снисхождения на предстоящем процессе. Тек июнь, сна не было, Гришка работал. В начале июля «Исповедь» подошла к концу. И все подошло к концу: силы, желание жить. Разрешили свидание с Зунделевичем. Прокурор Добржинский стоял неподалеку и нагло прислушивался: как одессит, наверное, кое-что понимал в жаргоне.

Зунд был мягче, какая-то искра сочувствия мелькнула в его глазах. И не отнял руки, когда Гришка бросился с рукопожатием.

— Ко мне приходил Лорис-Меликов. Я совсем одурел... — бормотал Гришка, гримасничая. — Кому еще такая честь?

— Не одному тебе.

— Кому же еще?

— Адриану Михайлову. Лорис был у него в мае, знаю точно от верных людей. Адриан в сорок второй камере. Был смертник, сейчас каторжанин: значит, неспроста, товар за товар..

— Меня казнят вместе со всеми! — вспыхнул Гришка. — Я сам потребовал!

— Ты казнил десятки людей, — сказал Зунд. — Палач Фролов на сегодня — ты, Гриша Гольденберг.

Гришка стоял оцепенело, молчал. Когда Добржинский повернул свою выбритую румяно-рыжую физиономию, привлеченный каким-то криком из окна, Гришка показал на него сжатым кулаком и шепнул:

— Вот кто меня погубил!

15 июля 1880 года был очень жаркий день, камера накалилась, стало невыносимо душно, жизнь истекла, Гришка сделал из полотенца петлю, другим концом привязал полотенце к крану раковины. На докладе с сообщением о Гришкином самоубийстве Александр II написал: «Очень жаль!» Революционеры узнали о случившемся на следующий день от Богородского и вздохнули с облегчением: казнь совершилась. На суде от злосчастного предателя останутся одни бумажки.

ГЛАВА VIII

22 мая скончалась императрица Мария Александровна. Это не было неожиданностью, императрица долго и безнадежно болела, но смерть случилась внезапно: не успели позвать детей. Царь находился в Царском Селе. Спустя полтора месяца Александр тайно обвенчался с княгиней Долгорукой. Об этом никто не знал, кроме самых преданных друзей — графа Адлерберга и генералов Рылеева и Баранова, последние двое были шаферами. Венчание происходило в уединенном зале Большого Царскосельского дворца, о чем не подозревали ни караульные офицеры, ни слуги, ни генерал Ребиндер, комендант дворца. Александр был в голубом мундире гвардейского гусара, Долгорукая — в скромном суконном платье цвета беж.

Протоиерей, глядя остекленело на молодых, возгласил:

— Обручается раб божий, благоверный государь, император Александр Николаевич с рабой божией Екатериной Михайловной. — Сказать «облобызайтесь» у протоиерея не хватило духу.

Через несколько дней Александр вызвал Лорис-Меликова. Доклад Лориса, очень серьезный, содержащий капитальные предложения, с которыми Александр успел познакомиться, был делом второстепенной важности, а первостепенной — извещение графа о том, что произошло 19 июля. Наследник, лечившийся ваннами в Гапсале, пребывал в неведении. Россия ни о чем не догадывалась. Двор будет поражен, когда спустя месяц княгиня Долгорукая — теперь светлейшая княгиня Юрьевская — отправится в Ливадию в одном поезде с царем! Умнейший совет в запутанной ситуации мог дать один человек: Михаил Тариелович. Царь ждал его с нетерпением. Теперь уже и враги Лориса должны процедить сквозь зубы: «Ты победил, галилеянин!» В стране воцарилось спокойствие. Покушения, слава богу, вот уже полгода как прекратились, да и о других, мелких, проделках злоумышленников не было слышно. Если к 1 марта по всей империи находилось в производстве по государственными преступлениям тысяча восемьдесят семь дел, то нынче сократилось вдвое: всего пятьсот. Сам факт вычитан из доклада Лориса. Число пересмотренных дел также значительно сократилось: шестьдесят пять. Замечательно! Можно сказать, что впервые за последние годы в этой области наведен порядок. Лорис уменьшил количество поднадзорных — несмотря на сопротивление Третьего отделения, — доказав, что нынешняя система не может удовлетворительно осуществлять надзор за слишком большим числом лиц, что ведет к увеличению

побегов и укрывательств. Не расставляя пальцы как можно шире, чтобы схватить больше, а собрать их в кулак и держать крепче. Ради этой идеи Лорис добивается главного: объединения действий жандармерии, полиции и судебных органов. По его мнению, верховная распорядительная комиссия выполнила свой урок, ее следует упразднить, так же как Третье отделение, а власть сосредоточить в руках министерства внутренних дел. Bravo! Смело! Недоброжелатели Лориса вновь станут говорить, что он заигрывает с обществом, ищет популярности, как говорили, когда он валил графа Толстого с поста министра народного просвещения, когда устраивал ревизию Третьего отделения или жаловал две тысячи пятьсот рублей студентам на оплату слушания лекций. Говорить можно что угодно, но истина очевидна: впервые после кошмарных треволнений Россия задышала спокойно. И как ясна теперь глубина пронизательности, поставившей к государственному рулю кавказского генерала!

Когда Лорис вошел, Александр заставил его поклясться, что сообщенное ему останется тайной. Затем объявил о своем новом браке. Лорис слушал с умнейшим, все понимающим, сочувственным и братским выражением лица.

— Михаил Таризлович, ты больше чем кто-либо знаешь, что моя жизнь в опасности. Я могу быть убит завтра же. Если это, не дай бог, случится, не покидай дорогих мне людей. Я рассчитываю на тебя.

Лорис-Меликов преданно и в молчании, приличествующем минуте, склонил голову. Хитрец, он не хотел касаться словами этой нежной материи, где всякое движение могло ранить государя. Но Александру не терпелось выманить у умнейшего человека мнение — не о самом поступке, разумеется, а о том, что за сим последует.

— Признайся, ты несколько поражен?

— Благородство вашего величества не может поражать, оно беспредельно, а стало быть, всегда естественно.

— Но ты как умный человек, Михаил Таризлович, не можешь не знать, — заговорил Александр, слегка раздражаясь, — что не все обнаружат такое же хладнокровие, как ты, узнав о событии.

— А покорному дитяти все к стати! — ответил Лорис пословицей. Сейчас же его смуглое лицо как бы окаменело и напряглось. — Если говорить всерьез, ваше величество, то нынче как нельзя более удобный момент для проведения намеченных преобразований. Ибо одно впечатление ослабляет другое...

Заговорили о деле. Листая страницы доклада, скользя глазами по строчкам: «Я далек от мысли, что преступная деятельность социал-революционной партии прекратилась, а тем более не смею приписывать исключительно трудам Комиссии...» — Александр думал не столько о том, что читал — он уж все это читал раньше и продумал, — сколько с особенным покойным удовольствием о Лорисе: «Светлая голова!» Министром внутренних дел предполагалось, разумеется, быть Лорису. Товарищами министра — Каханову и Черевину. Превосходные кандидаты, дельные люди, главная гарантия дельности — рекомендация Лориса. Функции Третьего отделения передать департаменту полиции. Благороднейший человек! Честное солдатское сердце! Отказаться от неограниченной власти, какую давала Верховная комиссия, перейти в ряд министров...

— А не кажется тебе, Михаил Таризлович, что будешь несколько понижен в чине?

— Думаю о пользе дела, но не о чинах, ваше величество.

Хорошо сказано. Славный ответ. Кабы все на Руси думали о пользе дела, далеко бы наша страна продвинулась.

Вскоре приехал из Гапсаля наследник. Разговор был тяжел. Но наконец все позади, кончилось, забыто, и 17 августа Александр и княгиня Юрьевская с двумя старшими детьми отправились, к изумлению свиты, адъютантов и секретарей, одним поездом в Крым.

Утро 17 августа было ясно, холодновато. Намекало на осень. Андрей зябнул, он поднялся рано, ночью не спал, брел длинным Вознесенским проспектом, набережной Фонтанки и не торопясь — заставляя себя не торопиться. потому что раньше известного срока появляться там, у моста, невозможно, — вышел на безлюдную, чисто метенную Гороховую. Царева улица! По Гороховой скачет царь из дворца на Царскосельский вокзал и с вокзала во дворец. Михайлов еще в начале лета заметил: улица замечательная. Особо замечательным показался старый арочный мост, что перебрасывал Гороховую через Екатерининский канал. Дворник срочно уезжал на юг все по тем же делам: добывать деньги, завещанные Лизогубом. Приготовление мины под мостом поручили Желябову.

В июле катались на лодке, пели, дурачились, шутили с бабами, полоскавшими на плотках белье, и приглядывались к высоте арки, кладке стен, мерили дно. Глубина порядочная, веслом не достать. Тогда, в июле, на первой рекогносцировке были Баранников, Пресняков, одесский малый Макар Тетерка, старый приятель, Грачевский и Андрей сам-пят. И еще Васька Меркулов, шестой, тоже одесский паренек, только что приехавший из Одессы вместе с Верой. Думали, гадали: куда закладывать динамит? Кладка каменная — страшная, циклопическая, без большой работы, сверленья и шума мину не заложить, а шуметь на Гороховой нельзя, кругом шпики рассыпаны. Андрей предложил: сядет под аркой с ящиком динамита, зацепится как-нибудь и взорвет с собой вместе. Предлагал просто, по-деловому, и обсуждалось по-деловому: какой выигрыш для партии, какой проигрыш, какой риск? Техники Кибальчич и Гриша Исаев сказали, что гибель Андрея, конечно, неминуема, а вот погибнет ли царь — не ясно. Вероятность небольшая. Кибальчич подсчитал: нужно пудов семь, не менее. Кто же такую глыбищу и в каком ящике удержит? Андрей взглянул на Союзу: лицо как мертвое, а когда Кибальчич заговорил — вдруг зарозовела. Но ни слова не вымолвила, даже не посмотрела. Решено было опускать динамит на дно. Упаковать в гуттаперчевые подушки и — туда, под арку. Через несколько дней Пресняков, Тетерка и Андрей взяли лодку, погрузили на дно четыре гуттаперчевые подушки, укрыли рогожей и отправились на взморье, потом вошли в Фонтанку, проплыли вдоль набережной Галерного острова — день был жаркий, коломенские обыватели прятались от солнцепека под тень домов, — вошли в Крюков канал и медленно повернули направо, в Екатерининский. Пресняков, полулежа на корме, отчего-то особенно веселился, насвистывал — на него не похоже, он ведь мрачен обычно, — перебранивался с бабенками на берегу, и все это отчетливо запомнилось: солнечный блеск, скрип весел, запах рогожи, веселое худое лицо Преснякова. Вплыли под тень моста. Андрей быстро свалил за борт связанные проволокой подушки, конец провода держал в руке, и, когда причалили к прачечной, Пресняков выпрыгнул из лодки на плот — поглядывал, нет ли бутырей поблизости, — а Андрей прикреплял провод к днищу плота.

Пресняков насвистывал: «Как на Шпалерной в трактирчике...», Макар Тетерка был, как видно, сильно взволнован, почти не разговаривал, усердно греб и, глядя на Андрея, все морщил с какой-то напряженной безмолвной преданностью свое и без того сморщенное рябое лицо. Макар — человек верный. Еще в Одессе Андрей это

понял; он из бедной казацкой семьи, резчик по дереву, любит «художество», даже учился в Одессе в скульптурной мастерской. Но главная фанатическая любовь Макара — к будущему социализму, о котором он много книжек перечитал, к революции и даже, точнее сказать, к людям революции. Вот сказал бы ему Андрей тогда: прыгай, Макар Васильевич, в канал, а провод в зубах держи — и он бы не думавши... И приезд его летом был как нельзя нужен. Людей-то убавляется. Запомнился Пресняков с его свистом, балагурством, потому что — последний раз виделись. 24 июля Андрея Корнеевича, «потрошителя шпионов», схватили на Среднем проспекте — выдал кто-то из рабочих, и уже есть подозрение кто именно, потому что полицейский был в партикулярном, помогали ему швейцар с дворником. Пресняков отстреливался, ранил двоих, одного смертельно — по сведениям Клеточникова, швейцар умер неделю назад в госпитале, — но все же беднягу Андрея одолели.

А в начале июля захомутали Ванечку Окладского. Уж вовсе странно: жил Ванечка по фальшивому виду на имя Ивана Петровича Сидоренко, жил очень смиренно, расчетливо, ничем взбудоражить властей не мог. И вдруг — арест! Клеточникову пока что дознаться не удалось, но как будто дело связано с проверкой паспортов. Даже такой слух прошел: будто власти додумались паспорта всех без исключения приезжих подвергать проверке, то есть посылать запросы на места, где паспорта выданы. Слыша обо всех новомодных хитростях и кознях Лорис-Меликова, Андрей приходил в ярость: и этого сладкогласного фараона считают либералом! Преснякова и Ванечку жалко безмерно, главная сила была: свои люди среди рабочих, особенно Пресняков. Появились, правда, новые помощники: Макар с Васькой, Валентин Коковский, вновь возникли старые друзья — Андрей Франжоли, Мартын Ланганс, преданные бесконечно. Но такой железной руки, такой ясной беспощадности, как у Андрея Корнеевича...

Нельзя было являться к Каменному мосту ранее половины восьмого. Вот и Гороховая. Миновал перекресток, повернул по Сенной направо, потом налево, чтобы выйти к Чернышеву мосту. Теперь начало подниматься волнение, и ни о чем больше думать не мог. Договорились с Макаром встретиться у Чернышева моста и отсюда идти вместе к Каменному, к плотам. Сесть там и мыть картошку. Макар должен принести корзину с картошкой, а у Андрея — его рабочая, мастеровая сумка, где спрятана электрическая батарея. Решено было так: дело берут на себя двое, он и Макар. Соединить проводники с батареей должен Андрей.

Возле Чернышева моста Макара не видно.

Андрей прохаживался по набережной, стараясь не обнаруживать нетерпения и тревоги, возраставших с каждой минутой. Что случилось? Арестовали ночью, что ли? Половина восьмого, надо бежать сломя голову к Каменному, иначе — конец. А вдруг Макар не понял и сразу пошел к Каменному? В Петербурге он недавно, заблудился, перепутал. Но если побежать сейчас туда, Макар явится к Чернышеву мосту, не увидит Андрея и растеряется. Андрей не знал, как поступить. Без двадцати восемь он бросился бежать к Каменному, наплевав на Макара с его картошкой (черт с ним, теперь уж не до маскировки!), и вдруг крик: «Тарас!» — остановил его.

Макар вывалился из-за угла с тяжелой корзиной, от которой гнулся набок, держа ее в правой руке, левой махал Андрею. Подбежал потный, взъерошенный.

— Ты что?.. — Гнев сжимал горло.

— Часов-то нету... время... Перепутал... — бормотал Тетерка.

— Тетеря ты, а не Тетерка! — гаркнул Андрей. — Пошли!

Двинулись быстрым шагом, почти побежали по набережной. Макар задыхался, сопел. Андрей стискивал кулаки: бог мой, был бы здесь Пресняков! Да кто угодно: Степан, Дворник, хоть Ванька Окладский... Нету людей, нету, нету. Сам виноват, надо было брать Семена, Грачевского, они вызывались. Вот и Каменный мост, горбатая арка. И по мосту скачет царь. Веселым, бешеным скоком летят кони, сверкает что-то лакированное, блестящее, черное, мелькнуло красное, башлыки казаков — проскакали, исчезли. В Крым, к теплому морю.

— Вот и все, братец мой, — сказал Андрей. — Протетерились...

Макар бросил корзину, закрыл руками лицо, сел на картошку. Плачет, что ли? Злоба и жалость переполняли Андрея, но не к нему, к этому плачущему, с мелким, сморщенным личиком недотепе, а к себе, ко всем, кто так жаждал, и надеялся, и делал что мог, не заботясь о жизни и смерти.

Спустя несколько дней подплыли на лодке под мост поздней ночью — ночи стали темны — и кошками пытались поднять гуттаперчевые подушки со дна, бились долго, ничего не вышло. Так и уплыли попусту. Андрей был мрачен: все не ладилось, рушилось, а время шло, люди гибли. Единственная радость: в конце лета вышел второй номер «Листка «Народной воли» со статьей о Лорисе. Написал Михайловский, зло: «Благодарная Россия изобразит графа в генерал-адъютантском мундире, но с волчьим ртом спереди и лисьим хвостом сзади». Разбор всей деятельности азиатского графа отмененный. С треском даются либеральные обещания, а на деле: высылки, шпионство, в предварилке оскорблению подвергаются женщины, Малиновская сошла с ума... «Листок» вышел, прошумит, испортит графу и кое-кому настроение, вызовет мигрень, приступы грудной жабы — ну, а что дальше?

К сентябрю мысли Андрея — по-прежнему мрачные — приняли новое направление. Отовсюду приходили вести о голоде, бескормице, повальных болезнях. Голод может стать вернейшим помощником революции. Идея крестьянского восстания и раньше завораживала Андрея, он видел себя новым Пугачом, мечтал, но все казалось невыполнимым, народ был прибит к земле, сыр, неподвижен, и только теперь как будто начиналось движение — от несчастий, от голода! — и загоралась надежда. Андрей собирал сведения, узнавал где мог, выпрашивал крестьян, мастеровых, торгашей на рынках, извозчиков, мелких чиновников и бродяг в трактирах. Картина российской жизни возникала страшноватая. Дворник, приехавший с юга, говорил, что в Екатеринославской губернии крестьяне во многих селах все бросали и разбрелись с семьями кто куда. На Самарщине голод. Саратов, Камышин, Царицын переполнены пришлым людом, ищут работы, но работы нет. На юге свирепствуют саранча и жучок, хлеба уничтожены, невероятный падеж скотины. В Орловской губернии едят мякину, а в Пермской — голодная смерть среди татар...

Да тут еще болезни! Чиновник, хохол с Полтавщины, рассказал, что дифтерит душит без пощады, в деревнях мрут сотнями. Один студент из новых знакомых, Коля Рысаков, был каникулами на родине, где-то на севере, — и там жучок, посевы поедены, людей мучит сибирская язва, а трупы зарывают халатно, сам видел, едва землей присыпают, чтоб комиссии глаза отвести. Когда же лучшее время для бунта? Все бунты на Руси — голодные да холерные. Бунтуют кое-где самочинно, когда уж сил нет терпеть: в западных краях — на Черниговщине, на Смоленщине — то бунт при межевых работах, то при

описи крестьянского имущества, в Великолукском уезде битва с целой военной командой, старшина застрелен, много раненых, пристава — кольем...

И Андрею с совершенной ясностью представлялось, что расколыхать это море — то ли мощным кличем, примером вожака, то ли пряником, то ли новой какой-нибудь неудачной войной — и не остановишь, города с кремлями своротит, мосты снесет, затопит. В июньской книжке «Юридического вестника», в уголовной хронике, открыто писано: деревня оголодала, обнищала, и оттуда покати́лась по Руси вся эта голь перекатная, рвань немытая, беспаспортная, что толпится и гибнет на наших пристанях и ватагах. У диких зверей, сказано, есть норы и логовища, а у этого одичалого отребья нет ничего. Им Сибирь не страшна, они туда стремятся. Голодный человек ничего не боится. Обобранные крестьяне, фабричный, яростный люд — вот армия! Стать во главе, двинуть на Питер — затрецит империя.

— Покушения отложить на какое-то время... А? Как считаешь? — Еще ни с кем не советовался, никому не высказывал крамольной мысли, Соне первой. — Проклянут меня наши ортодоксы?

В октябре поселились вместе по 1-й роте Измайловского полка. Квартира небольшая, две комнаты с кухней, но, что удобно, один выход на улицу, другой во двор, а со двора вход в табачную лавочку. Соня поселилась под фамилией Войновой, а он — ее брат, Слатвинский Николай Иванович. Что решать будем, госпожа Войнова, куда подадимся? Опять землю рыть, динамит варить или же по старому призыву — на р о д б у н т о в а т ь? И Соня устала от неудач. Сказала, что готова с ним — на Волгу, на Дон, куда угодно, но Комитет, наверно, решит иначе.

Андрей потребовал срочного созыва Комитета.

На другой день оповестили всех, кто был в городе. Никто, кроме Сони, не догадывался, зачем понадобился срочный сбор, знали только: по просьбе Тараса. Андрей начал с того, что сказал кратко о положении в крестьянстве, мятежных настроениях, о том, что Россия близка, по его мнению, к восстанию как никогда. Говорил властно, уверенно, расхаживал перед столом, а все сидели и слушали в напряженном молчании.

— Если сейчас остаться в стороне, не подхватить этих настроений, не откликнуться на них — то есть не помочь народу свергнуть власть, которая его душит, — русский народ нам этого не простит. Мы потеряем всякое значение в его глазах и никогда уже его не приобретем. Крестьянству надо внушить, что тот, кто самодержавно правит страной, ответствен за жизнь и благосостояние населения — отвечает головой, понимаете? — и отсюда право на восстание, коли правительство не может защитить народ от голода, вымирания. И еще вдобавок отказывается помочь народу средствами государственной жизни. Мы обязаны воспользоваться моментом истории. Воспользоваться неурожаем, голодухой, мором, жучком, саранчой, бескормицей, падежом скота. Все это нам на пользу, на благо, как ни горько говорить!

Речи Андрея обладали особым свойством: их не удавалось перебивать. Заставлял себя слушать. И вот сейчас: по лицам видел, что товарищи настрожены, сурово суются, хотят возразить, но — молчат.

— Я сам отправлюсь в приволжские губернии и встану во главе крестьянского восстания. Я чувствую в себе силы: смогу. Правительству надо з а с т а в и т ь признать права народа на безбедное существование. А будет упорствовать — долой, смести его! Знаю, вы по-

ставите мне вопрос: а как быть с покушением? Отказаться от него? И я отвечаю: нет, ни в коем случае. Но я прошу у вас отсрочки. Ибо именно сейчас, в октябре восьмидесятого года, тот самый момент истории.

Первой и очень решительно высказалась Фигнер:

— Я против отсрочки.

Ее поддержали все подряд: Исаев, Баранников, Кибальчич, Тихомиров, Ошанина, Корба, Грачевский, даже Дворник... Говорили скупое, чувствовалась неловкость: «Я против... Я тоже против... И я...» Андрей смотрел на суровых товарищей, верных ему до последнего вздоха, и думал: «Трудно отказываться от того, чему в жертву отдана жизнь!» Он предполагал, что так и будет. Но должны правильно понять: это не усталость, не отчаянье от неудач, а весьма трезвое соображение и, если хотите, холодный расчет.

Верочка, когда возбуждалась, краснела пятнами, глаза расширялись, и непонятно было — то ли это гнев, то ли изумление.

— Как можно прервать сейчас то, ради чего потрачено столько сил, трудов? Ради чего погибли товарищи? Смысл нашей работы — как раз в непрерывности возмездия!

— Тарас, а ты уверен в том, что нас не схватят завтра, сегодня? — спросил Исаев. — Отсрочка — гибель. Мы рискуем не выполнить то, что обязаны выполнить: казнить царя.

— Придут на наше место другие, — сказал Андрей.

— Не очень-то густо приходят. Мы больше теряем, чем находим. Нет, если не сделаем мы, никто не сделает!

Дворник сказал:

— Я, конечно, понимаю Тараса: мы должны расширять нашу деятельность в народе... Это верно, разумеется, и в таком с-смысле я с-согласен... — Дворник запинался сильнее обычного и вообще был смущен. — Но говоря в целом, я тоже против отсрочки...

Соня, которая высказалась в поддержку Желябова, предложила вопрос баллотировать, но Андрей отказался: не имело смысла. Он подчинился. Вечером обсуждали с Соней всю эту историю, было чувство какой-то саднящей и несколько неожиданной обескураженности — неожиданной оттого, что уж больно единодушно отвергли. Понимал, что отвергнут, но чтоб ни один не поддержал!

— А знаешь, Соня, еретическая мысль, — вдруг сказал Андрей. — Ведь в нашем Комитете я единственный — сын крестьянина.

— Почему же единственный?

— А вот и ты не задумывалась? Как же: Дворник из дворян, ты из графьев, Семен из дворян, Мария Николаевна то же самое, Михайло — сын фельдфебеля, Тигрыч — военного фельдшера, Кот Мурлыка, Фигнер, Корба, Суханов — все из дворян, Баска, Кибальчич — дети священников... Ну, кто еще? Мартын Ланганс — из немцев-колонистов, Богданович — из дворян... Я один крестьянский сын. Больше нема.

— Если ты полагаешь... — заговорила Соня внезапно чопорным тоном, какой изредка прорезывался у нее и Андрея смешил, — что мы меньше думаем о народном благе, то это заблуждение. Для тебя непростительное.

И взгляд сделался почти высокомерным, «графским». Он обнял Соню, засмеялся, уже успокоенный.

Он умел отрезать свои неудачи. Отбрасывать даже память о них (правда, память, совсем исчезнувшая, вдруг нечаянно воскресала). Вернувшийся с юга Дворник привез не только порядочную сумму денег — около двенадцати тысяч, собранных у жертвователей, — но

и чрезвычайно ценные сведения для документов. Эти документы, паспорта на имя крестьян Кобозевых, мужа и жены, предназначались для нового предприятия на Малой Садовой. (Баранников, гуляя однажды по улицам — а гулять он любил, одевался франтом, в цилиндре, с тросточкой, — обнаружил подходящее помещение на Малой Садовой, сдававшееся внаем. Решили затеять тут предприятие наподобие одесского на Итальянской улице). И вот часть денег, привезенных Михайловым, пошла на это дело, другая часть — на устройство типографии.

А в конце месяца, по слухам, должен был начаться суд. От него зависело многое. Как покажет себя Лорис? И сам царь? И есть ли действительно поворот во внутренней политике или же все — вздор, говорильня? Пожалуй, исход суда определял и царскую судьбу, о чем никто не догадывался. Царь и его генералы полагали, что подпольная партия стараниями Гришки Гольденберга обнажилась догола, одни схвачены, других схватят завтра, и долгое затишье подтверждало такой жизнерадостный взгляд, а люди Комитета, помнившие о приговоре царю, который они вынесли в августе прошлого года, лишь смутно чуяли — и никому не говорили о том, — что в исходе суда крылся роковой для царя смысл. Если проявит великодушие, не даст воли кровожадности — тогда, может быть, это будет воспринято как знак... А если станет мстить, тогда — казнь!

25 октября процесс начался. Объявлено было так: дело о дворянине Александре Квятковском, крестьянине Степане Ширяеве и других, преданных военному суду временно командующим войсками гвардии и Петербургского военного округа по обвинению их в государственных преступлениях. Судилось шестнадцать человек: Квятковский, Зунделевич, Ширяев, Пресняков, Окладский, Тихонов, типографщики Бух, Цукерман, Иванова, Грязнова, связанные с убийством Кропоткина Кобылянский, Булич, Зубковский, предатель Дриго (выдал Лизогуба), Мартыновский и сестра Верочки Евгения Фигнер.

Через день стало известно, что Степан произнес прекрасную, полную достоинства речь о второстепенности террора для партии, о том, что главное, к чему стремятся народовольцы, — признание верховенства народа, созыв Учредительного собрания. И другие держались неплохо. Это была первая — словесная — схватка народовольцев с правительством, и народовольцы, кажется, ее выигрывали. Некоторое дрожание проявляли люди, далекие от партии: Булич, Зубковский, нервная бабенка Грязнова. Почему к революционерам присовокупили предателя Дриго, было не ясно. Но Квятковский, Степан, Пресняков и даже молодые рабочие Окладский и Тихонов держались героями! И, конечно, Соня Иванова — Ванька — показала замечательное мужество. Впрочем, другого от нее не ждали.

И все же это были дни горя. Товарищи погибали, и спасти их было нельзя.

30 октября, накануне объявления приговора, Андрей пришел, как условились, на квартиру Михайлова, в дом Фредерикса в Орловский переулок. Было несколько неотложных дел. Михайлов показал письма, только что полученные из крепости тайным путем: одно от Ивановой, другое от Преснякова. Иванова передала некоторые материалы суда, защитительную речь Степана, а сама записка от нее была краткой: «...Относительно себя самой и других сообщу, если будет возможность, теперь же голова у меня совсем пуста, так что я даже ничего не могу сообразить. Трудные минуты приходится переживать, мои дорогие. Писать больше не могу. Ваш Ванька».

— Их распустили до приговора, — сказал Дворник. — Объявят завтра в девять вечера. Вот письмо Преснякова.

Письмо было наспех, карандашом. На Преснякова навешивали больше, чем на других: убийство двух шпионов и еще убийство, при вооруженном сопротивлении, швейцара Степанова. Где ж тут спастись? Но Пресняков на что-то надеялся. Просил прислать денег, просил устроить братишку в ученики к мастеру. Просил в случае казни ответить как следует врагам, «только без пролития посторонней невинной крови». И в заключение так: «Не знаю, как я пойду на виселицу, желанья особого жить нет, да и умирать, с другой стороны, не хочется, помилования просить не буду. Ну, затем прощаюсь со всеми товарищами обоих полов — обнимаю всех в последний раз. Живите, наслаждайтесь, наполняйте землю последователями и обладайте ею. Андрей».

И была еще маленькая записка, где говорилось о предателе Яшке Смирнове, выдавшем Андрея. «Смерть шпионам вообще, а рабочим в особенности... Прощайте, друзья, до встречи в будущей жизни».

Андрей усмехнулся: «В будущей жизни...» Хотелось сказать: а все же мало мы знаем друг друга!

В трактире на Лиговке ждал Клеточников.

Сегодня день условленной встречи, но почему-то не в обычном месте, на квартире Натальи Николаевны. Дворник объяснил: Наталья Николаевна больна. А трактир — верный, как дом родной. По дороге на Лиговку Дворник выговаривал Андрею: наябедничал Валька Ковковский. Да, было дело. Каюсь, виноват. Дней десять назад, еще до начала суда, Андрей с Коковским попали на сходку студентов. Настроение было — хуже некуда. Уже шли разговоры о суде, предрекали виселицы, и мысли Андрея были совсем не здесь, где шумела молодежь. Выступил он вяло, неудачно. Зато Валентин работал за двоих! С этим молодым парнем Андрей особо сблизился в последнее время, Валентин стал помощником во всех предприятиях с рабочими и в издании «Рабочей газеты». Вдруг в разгар споров отворяется дверь и появляется усатая рожа местного дворника. Валентин мгновенно перестроился и тем же громким голосом продолжал речь о каком-то фельетоне «Голоса».

— Господа, что у вас тут за собрание?

Хозяин объяснил, что он сегодня именинник, пригласил гостей. Рожа пробубнила:

— Как вам будет угодно, но я должен донести в участок. Нынче этого не дозволяется...

Ушел. Как быть? Единственный нелегальный среди всего общества — Андрей. Ему надо исчезать немедленно, потому что дворник приведет околоточного. И вот это-то — бежать сейчас же, как зайцу, — представлялось Андрею невозможным. Понимал, что каждая секунда грозит гибелью, и не мог заставить себя подняться и уйти. Наоборот, вдруг возникло желание, какого не было минуту назад, — разговаривать, шутить, он оживился, стал рассказывать какую-то историю из одесской жизни. По лицам присутствующих видел, что люди изнывают от нетерпения, страха за него, всех охватывает безумное раздражение, но ничего не мог поделать с собой. Наконец Валентин схватил его пальто, набросил на плечи и крикнул, толкая к двери:

— Да уходите же, черт возьми! Назло вы, что ли?

Ушел благополучно. Через несколько минут явился дворник с околоточным.

— Уж ты, наверно, смылся бы в тот же миг? — спросил Андрей.

— Разумеется, — сказал Михайлов.

— Поэтому ты великий революционер, а я неисправимый дилетант. Впрочем, в одном я уверен: на эшафоте я буду держаться

в е л и к о л е п н о! — И Андрей шуточно стукнул приятеля по спине, дразня его.

Дворник очень не любил шуток на эти темы.

Стал поучать Андрея: тот обязан был думать о других, кого мог скомпрометировать, если б его арестовали. Все верно, азбучно, не подлежит обсуждению, но бывают минуты затмения разума: он затмевается не безумием, нет, а какой-то яростной вспышкой самолюбия. Так невыносима эта вечная несвобода, эта ужасающая ежеминутная подчиненность ничтожным обстоятельствам!

— Я этого не замечаю, — сухо сказал Михайлов.

Они шли под сильным дождем.

— Дождя тоже не замечаешь? — спросил Андрей.

— Нет, — ответил Дворник.

Пришлось побежать и спрятаться в подворотню. Дождь был холодный, тяжелый, почти уже и не дождь, а снег. Через полчаса добрались до Лиговки, вбежали в трактир, гудящий народом, в дым, в толкотню. Хозяин был немец, какой-то родственник Богдановича, человек услужливый и приятный. Повел по деревянной лестнице наверх, на второй этаж, в особую, упрятанную в конце коридора комнату. Николая Васильевича еще не было. Половой притащил снизу чай, закуску и бутылку легкого немецкого вина — от хозяина.

Пока ждали Клеточникова, Андрей рассказывал о Валентине. Парень замечательный, преданный, горит делом, и не в поэтическом смысле, а в истинном: болеет, стораает. Все принимает близко к сердцу. Ведь Преснякова, его товарища, арестовали у него на глазах, и он видел, что по знаку Яшки Смирнова, который считался пресняковским другом. Яшка себя спасал: ему грозила административная ссылка, и вот он от нее откупился. Валентин был потрясен: что же это за люди?

И как раз во время разговора о Преснякове и Яшке вошел Клеточников. Андрей не видел его месяца четыре. Николай Васильевич подобрел, слегка округлился, у него был вид мелкого, довольного жизнью чиновника.

Он повесил мокрую шинель на вешалку, аккуратно расправив плечи на двух крючках, чтобы шинель сохла и не портилась, стряхнул воду с фуражки, положил ее бережно на стул, потом стал перчатки стягивать.

— Если не ошибаюсь, поминаете Андрея Корнеевича Преснякова? — От Клеточникова пахло, как обычно, приторными духами. Глядя на этого человека с маленькой жалкой бородкой, маленькими руками, с каким-то мягко-податливым взглядом из-под стекол в золотой оправе, Андрей всегда удивлялся: откуда что берется? — Так вот, могу сообщить, господа, если не знаете: сегодня утром Пресняков в последнем слове сказал, что признает свою солидарность с «Народной волей» и разделяет ее идеалы...

Андрей с Дворником вскинулись: откуда известно? Один из чиновников департамента был на суде, только что рассказал, полтора часа назад. Очень возмущался. Почти все, говорит, держались смело, нахально, не просили о снисхождении. Люди совершенно пропащие. Этот чиновник промышляет репортерством в какой-то газете, кое-что записал, а Николай Васильевич у него сдул.

— Знал, что вам будет интересно. Стиль, разумеется, наш, департаментский... — Николай Васильевич достал из кармана вицмундира листок, сложенный вчетверо и прицепленный с помощью маленькой шпильки к другому листку. Все было аккуратно расшпилено, развернуто, и Николай Васильевич стал читать: — «Квятковский. Длинная речь с попыткой оправдать свои злодеяния. Заявил, что

лучше смерть в борьбе, чем нравственное и физическое самоубийство. Степан Ширяев: мы принадлежим к разным мирам, соглашение между которыми невозможно. Как член партии, я действовал в ее интересах и лишь от нее да от суда потомства жду себе оправдания. Говорил с особенным, наглым спокойствием. Иванова. Неприятная внешность, фанатичка. Единственное желание — чтобы меня постигла та же участь, что и моих товарищей, хотя бы даже смертная казнь. Говорят, прижила ребенка от Квятковского. Хорошенькие нравы в этой среде...» Ну, тут идет комментарий по сему поводу, малоинтересный... «Мартыновский, Цукерман и Бух ничего не имели прибавить в свою защиту. Тихонов и Окладский: вызывающе дерзко. Тихонов выкрикивал неуместные слова, председатель суда его прерывал. Тихонов: я знаю, мне и моим товарищам осталось несколько часов до смерти... Окладский: я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи. Напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление...» Об остальных — ничего.

— Вот тебе и Ванечка Окладский, — сказал Дворник. — Мы привыкли: Ванечка, Ванечка. Сделай то, принеси это... А он — герой.

— Ванечка — человек общественный, — сказал Андрей. — Как мир, так и он. Видит, что стоят насмерть, не гнутя, ну, и он — чтоб не отстать.

Николай Васильевич бумажку передал Дворнику, а другую, со шпилькой, положил обратно в карман.

— Говорят, будет пять виселиц.

— Все тот же репортер?

— Да, он близок ко второму судье, полковнику Бабсту, чуть ли не родственник.

Затем Николай Васильевич назвал несколько шпионских фамилий и перешел к главному: он добыл наконец известный «Обзор социально-революционного движения в России», сделанный по заказу бывшего Третьего отделения и изданный секретно в небольшом количестве экземпляров. Долго Николай Васильевич раздобывал этот плод полицейского исследования, и вот — удалось. Сочинение примечательное. С помощью статистики автор, чиновник Третьего отделения, а теперь департамента полиции, некто Мальшинский, опровергает многие предрассудки: о том, что революционеры в большинстве мальчишки, интеллигенты, инородцы и что вообще вся крамола вывезена из-за границы. Все это разбивается цифрами. Большинство преступников дает Ярославская губерния, затем Петербургская, Курская и так далее. Православные составляют громадное большинство, католики — только двенадцать процентов, а процент евреев совпадает с процентом еврейского населения: четыре процента. И много другого занимательного. Обзор надо, конечно, печатать в четвертом номере «Народной воли», который сейчас готовится, но тут загвоздка: как быть с автором? Ведь это тот самый Мальшинский...

— Тот самый, непременно, — кивал Николай Васильевич, — о ком весною предупреждал вас, Петр Иванович.

Клеточников, умница, золотой человек, еще в марте сообщил: в Европу закидывают агента, будет издавать в Женеве якобы революционную, а на самом деле провокаторскую газетку «Вольное слово». Послали предупреждения Лаврову и Драгоманову. Лавров вял, а Драгоманов заносчиво отозвался: мол, признает за собой право действовать по собственному усмотрению. Андрей тогда сильно разъярился: это было в конце лета, уже после того, как женевский «батяка» отказался быть представителем партии. Ладно, не хочешь связывать себя с террористами, но не связывайся, черт побрал, с поли-

цией! Вопрос таков: публикуя «Обзор» в «Народной воле», следует ли прямо назвать Мальшинского полицейским шпионом?

Сей ребус надлежало решать вместе с Тихомировым, Кибальчи-чем, Аней Корба. Андрей полагал, что называть шпионом не следует. На Драгоманова это уже не подействует, он мужчина упрямый и, как видно, страсть как хочет заполучить свой орган, а читателям «Народной воли» такое примечание не впрок: сразу возникает недо-верие к «Обзору». Ну, ладно, будет решено редакцией. За «Обзор» спасибо великое. Что еще? Да, собственно, более ничего. Анекдоты. В департаменте несколько дней бушевала паника: из Саратова при-шла телеграмма, что, по агентурным сведениям, на царя готовится покушение служащими Севастопольской дороги, руководитель — Иван Какаин. Что за Иван Какаин? Явилось уточнение: Ванька Каин. Начался такой шурум-бурум, не приведи господь: всех ванек каинов повытаскивали из ночлежек. Откуда пошел слух? От кого? Человек тридцать похватали. Занимался всей этой ахинеей полковник Гусев. А вчерашним днем отправлена телеграмма в Ливадию — Николай Ва-сильевич сам видел — о том, что получено сведение, будто злоумыш-ленники во время обратного путешествия государя из Ливадии на-мерены пустить в Черное море миноноску, которая будет лавировать там в виде красивой лодки. Об этом сообщено управлению морского министерства. Подписал сам барон Велю, директор департамента полиции. Ну не потеха ли?

Потеха, потеха. Три человека, сидевшие в тайной комнатке над трактиром «Плевна», знали, что потеха затеяна ими — страх, ожида-ние, фантастические планы, паника сотен людей, обязанных панико-вать по службе, — и они могли бы смеяться, как смеются, сознавая свое могущество.

Но были мрачны. Ничто не веселило их.

Николай Васильевич рассказывал, кривя маленький рот в улыбке, а глаза под стеклами очков были темны, печальны. Завтра в девять объявят приговор. Андрей заторопился: должен в одиннадцать встре-тить Соню на Вознесенском, так договорились. Куда в следующий раз Николаю Васильевичу прийти? Нужно подыскивать квартиру. Милая Наталья Николаевна, которая так полюбила Николаю Васильевичу, кажется, окончательно сдалась. Тяжелейшее нервное напряжение: сидеть взаперти, никого не принимать, ни с кем не встречаться. А как было у нее чудесно: чай с домашним печеньем, булочки ароматные...

Голос Николая Васильевича слегка дрожал. Страннейший чело-век! Скрытность — как бы его природа. Ведь не печеньем же Наталья Николаевна привлекала, не из-за булочек печаль. А прикрывается всегда чем похуже: пустяками, булочками, интересом каким-нибудь мелкотравчатым. Еще скажет, что и в Третье отделение из-за денег пошел.

— Квартиру подберем, все наладится, — сказал Дворник. — Вы не огорчайтесь, Николай Васильевич.

— Да я, собственно, не так уж, Петр Иванович, огорчен. Попро-сту сказать, привык... И поговорить иногда...

— Найдем еще лучше квартиру, — сказал Андрей, — тоже чай будете пить, разговаривать. Все в наших силах.

— А к Наталье Николаевне... никогда уж?

— Никогда. Наталья Николаевна больна.

Пришла весть: Квятковского, Ширяева, Преснякова, Тихонова и Окладского к виселице. Остальных к каторге разных сроков в руд-никах, Зунделевича к бессрочной. И как узнали об этом страшном, жесточайшем, так решили сразу: не отвлекаться ничем, все прекра-

тить, одна цель — рассчитаться с царем. Не желает уступать. Ну, коли так... И даже когда два дня спустя газеты сообщили, что Ширяеву, Тихонову и Окладскому царь заменил смертную казнь каторжными работами без срока, его собственная казнь уже не могла отодвинуться и история только выбирала свой день.

4 ноября в девятом часу утра перед строем войск Квятковский и Пресняков были повешены на левом фесе Иоанновского рavelина Петропавловской крепости, там же, где вешали декабристов. Два с половиной года назад Квятковский на рысаке Варваре спас Преснякова от каторги, устроив ему побег из коломенской части; тогда была весна, середина апреля, и жизнь открывалась перед ними полная приключений, борьбы и счастливых побегов. Теперь они висели рядом, и люди, проходившие рано утром на Кронверкский проспект со стороны Большой Дворянской, видели возвышавшуюся на крепостной стене правее ворот виселицу и двух повешенных в саванах.

Клио — 72

Ширяев очень скоро погиб в Алексеевском рavelине, Кобылянский так же быстро угас в Шлиссельбургской крепости, Тихонов умер на Каре от чахотки, Цукерман покончил с собой в Якутии. Через два года после взрыва в Зимнем дворце Степан Халтурин был казнен за покушение на военного прокурора Стрельникова. Некоторые вынесли все и прожили долгую жизнь, как, например, Иванова, Евгения Фигнер и Бух, умершие при советской власти. Что касается Окладского, то судьба его сложилась так: спасая жизнь, он согласился сотрудничать с полицией в разоблачении своих бывших товарищей, за что и заслужил от царя бессрочную каторгу вместо петли. Заодно уж, чтобы не вызвать подозрений, такая же милость была оказана Ширяеву и Тихонову. Окладский стал предателем и провокатором, он выдал все что знал, сгубил всех кого смог. Он называл квартиры, даже ездил в полицейских каретах и показывал эти квартиры. Он опознавал арестованных. Его сажали в соседней комнате, он смотрел в глазок на людей, которых вводили, и говорил: такой-то. Его известность в революционных кругах была велика, особенно после геройских слов на процессе: «Если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление!» Его подсаживали к нужным арестантам, он перестукивался, выпрашивал, узнавал. Иногда назывался чужим именем, например — Тихонова. Он опознал труп Гриневицкого. Он сгубил Колодкевича, Фриденсона, Клеточникова, Ивановскую, по всей вероятности, Тригони и Желябова, и многих, многих. И после разгрома народовольцев он старался всю сначала на Кавказе, потом снова в Петербурге. В течение тридцати семи лет получал жалованье от департамента полиции, которое все росло и достигло солидной суммы: сто пятьдесят рублей ежемесячно. Последний раз он получил жалованье в феврале семнадцатого. Он был печатно разоблачен лишь в 1918 году, когда открылись архивы. Где он находился и был ли жив вообще, никто тогда не знал. Шесть лет спустя он был неожиданно арестован в Ленинграде под фамилией Петровского. Это была странная оплошность чудовищного хитреца, пережившего трех царей и три революции. В Луге у него был пятикомнатный домик, конфискованный революцией. Он уехал с семьей в Саратов, жил в Сердобске, работал механиком в частном кинематографе, в 1922 году вернулся в Питер, а в 1923 году поступил на завод «Красная заря» начальником электротехнической мастерской. Электротехника кормила его всю жизнь: еще с мастерской доктора Сыцянюк почти полвека назад. И вот, заполняя анкету, он зачем-то

указал на принадлежность свою к партии «Народная воля» и на репрессии, которым подвергался царским правительством, двухлетнее заключение в Петропавловской крепости. Между тем среди рабочих ходили слухи, что Петровский был членом «Союза русского народа». Одно с другим не вязалось. Ленинградский губотдел ОГПУ послал запрос в Политическую секцию Единого архивного фонда, откуда вскоре пришло уведомление о том, что если интересующее ОГПУ лицо имеет перечисленные признаки, то это знаменитый провокатор «Народной воли» Окладский. Зачем же было сделано это сверхпредательство? всю жизнь выдавать, выдавать, выдавать и напоследок, когда уж никого не осталось, выдать себя! Дело простое: полагаю, что уже все забыто, не докопаются, а бывшие революционеры имеют право на льготы. Почему же не воспользоваться? На допросе в здании губернского суда, хорошо знакомом Окладскому — здесь, у Цепного моста, помещалось раньше Третье отделение, куда его привезли в июле восьмидесятого года, а затем находился департамент полиции и Окладский, вольный человек, захаживал сюда для дружеских бесед с господином Дурново, — он энергично все отрицал, говорил, что носит фамилию Петровский с детства, что в конце семидесятых годов служил на Закавказской железной дороге и на заводе Сименс и Гальске и что о «Народной воле» написал в анкете, «так как это давало гарантию удержанию на службе». Лишь когда ему показали фотокарточки 1880 года и некоторые документы, он сознался, что он Окладский. Впрочем, узнать его по карточке было нельзя. Ванечка превратился в грузного, сивого, неопрятного старика, который медленно двигался, опираясь на палку, курил трубку и зорко, не по-стариковски глядел из-под нависших бровей. Взгляд стал совершенно неузнаваемым: пустым и жестким.

Таким взглядом он смотрел на публику со сцены Колонного зала в январе 1925 года, когда шел его процесс. В первом ряду белели головами несколько стариков и старух — ветераны «Народной воли». Среди них были сухонькая старушка Якимова и седой бородатый Фроленко. Москва отмечала первую годовщину смерти Ленина. Газеты общались, где можно купить траурные флаги, печатали циркуляр «О практических мероприятиях по поднятию производительности труда». Театр МГСПС показывал пьесу молодого драматурга Шаповаленко «1881 год» — о героях «Народной воли», и Якимова вместе с Фроленко должны были после процесса отправиться в театр смотреть спектакль и потом высказать свое мнение.

Якимова глядела на старика в кожаном истертом бушлате, в каких-то нищенских брюках и в громадных, с толстой подошвой, рабочих, и даже точнее сказать пролетарских, башмаках и думала: «Никогда этого старика не звали Ванечкой. Никогда он не бегал, быстрый и живой, как зайчик, в лавку за хлебом и керосином, когда жили в Александровске у того хохла. Желябов говорил: «Одна нога здесь, другая там!» — и он мчался. Тот Ванечка исчез бесследно, как многие. Как большинство. Как почти все. А этот старик, упорно глядящий в зал, — откуда он?» Большевик Сольц, председатель суда, читал сердитым голосом обвинительное заключение:

— «Окладский Иван Федорович, он же Иванов, он же Александров, он же Петровский, шестьдесят пять лет, происходит из крестьян деревни Оклад Новоржевского уезда Псковской губернии, женатый, окончивший два класса городского училища, по профессии электромеханик, служивший до ареста на заводе «Красная заря» в должности механика для лабораторных изысканий, бывший член террористической организации партии «Народная воля», привлекавшийся по политическим делам к ответственности и судившийся в 1880 году пе-

тербургским военно-окружным судом по «процессу шестнадцати», коим признанный виновным в покушении на жизнь Александра II, произведенном под г. Александровском, приговоренный к смертной казни через повешение, замененной бессрочными каторжными работами, ссылкой на поселение в местности Закавказского края и в 1891 году освобожденный от дальнейшего наказания с возведением в звание сначала личного, а затем потомственного почетного гражданина, ныне к партиям не принадлежащий, — обвиняется...»

Эксперты и свидетели спорили. Одни говорили, что падение произошло в ночь после объявления приговора, когда в камеру к смертнику пришел жандармский генерал Комаров. У жандармов того времени было в обычае посещать заключенных, для которых исчезла всякая надежда. Из них выдавливали последнее. Комаров намекнул на возможность помилования, и Окладский сразу кого-то выдал. Тогда Комаров распорядился перевести Окладского из Трубецкого бастиона в Екатерининскую куртину, и тот побежал босиком, на радостях забыв надеть носки. Другие полагали, что договор с властями наметился раньше, на первом допросе в июле, когда Окладского допрашивал Плеве. А некоторые подозревали, что связи с полицией были еще раньше, бог знает когда. Ведь эти связи богаты оттенками: кроме платных агентов, есть бесплатные, полуплатные, полуагенты, есть агенты, которые не числятся ни в каких списках, о них не знает начальство, и, однако, их мелкие, едва видимые старания текут ручейками на полицейскую мельницу. Окладского таскали в полицию еще мальчишкой, когда ему было тринадцать лет. И если в человеке не заложено самое главное, что отличает его от зверья, — умение ради мысли или ради чувства презреть смерть...

От страха смерти он превратился в пожирателя жизни: он глотал дни, годы, десятилетия, поедал их вместе с костями, высасывал сок, пожирал все, что попадало в эту пьяную похлебку, ради которой колотилось его сердце, сжимались пальцы и даже теперь, на краю могилы, вдруг сверкали — под фотографическими вспышками — пустые, нечеловеческие глаза. И седенькая старушка, давая свои показания, не смотрела в его сторону. Он получил десять лет лишения свободы. Второй раз в своей жизни сгинул, на этот раз навсегда.

ГЛАВА IX

Нужны были фотокарточки героев процесса: сохранить для истории, посылать сочувствующим, в другие города. За это взялся Михайлов. Казнь Квятковского и Преснякова — особенно любимого им старого друга Александра Первого — Дворник переживал, как болезнь. Никто, как он, мучительно не ощущал долга товарищества. Любимая его притча: герой томится в турецкой неволе и ждет спасения от матери и отца, но те стары и слабы, ждет спасения от жены, но она беспомощна, его спасают друзья. Лишь друзья могут спасти! Однако никого из шестнадцати друзья не спасли. Единственное, что было в силах Михайлова, он сделал: в ночь после приговора написал письмо товарищам: «Братья! Пишу вам по поводу последнего акта вашей общественной деятельности. Сильные чувства волнуют меня. Мне хочется вылить всю свою душу в этом, может быть, последнем приветее...» Длинное письмо, которое кончалось грозным обещанием, предсмертной радостью для тех, ожидавших конца: «Знайте, что ваша гибель не пройдет даром правительству, и если вы совершили удивительные факты, то суждено еще совершиться ужасным».

И вот — фотокарточки. Хотя бы уж фотокарточки. Разумеется, это непросто: государственные преступники известны многим поли-

цейским агентам в лицо. Дошла записка от Ваньки от 2 ноября, она передавала просьбу Степана: переснять его карточки, которые находятся там-то, и передать его жене, брату Коле и землякам.

В один из последних дней ноября Андрей и Аня Корба работали на комитетской квартире. Было написано от Исполнительного комитета письмо к Карлу Марксу, и Аня, хорошо знавшая французский, делала перевод. Письмо было важное, на него возлагались надежды. Начиналось с обращения: «Гражданин!» Говорилось о громадном уважении к Марксу, о том, что «Капитал» стал ежедневным чтением интеллигентных людей. Далее говорилось, что Льву Гартману поручается организовать в Англии и в Америке доставку сведений о развитии общественной жизни в России, и была просьба к Марксу помочь Гартману в этой задаче. Конец письма был такой: «Твердо решившись разбить оковы рабства, мы уверены, что недалеко то время, когда Родина наша многострадальная займет в Европе место, достойное свободного народа». Пришел Дворник, тоже стал горячо помогать Ане в переводе — французский все знали понемногу, давали советы — и сказал, что Алхимик, Лев Гартман, должен непременно понравиться Марксу хотя бы по одному тому, что он Алхимик. Ведь Маркс давно уже назвал террористов — насмешливо, разумеется, — «алхимиками революции».

Дворник был необычно возбужден. Сильно заикаясь, он вдруг стал ругать каких-то студентов. Андрей не сразу понял, о ком речь. Потом сообразил: это были люди не самые близкие, но искренне сочувствующие. Так вот — проявили сверхосторожность, то есть трусость. Их просили заказать снимки карточек Квятковского и Преснякова в любой фотографии, они отказались, заявив прямо: да, боятся попасть в лапы полиции. Да что б им сделалось? Ничем не запятнаны, живут легально. Вольнодумцы домашние, черт бы их драл! Нечего их приваживать, гнать поганой метлой, болтунов, прохвостов, попросили такую малость — и сразу полные штаны...

Дворник топтался на этих несчастных студентах подозрительно долго, и Андрей, потеряв терпение, спросил:

— Ну, и чем дело кончилось?

— Пошел к «Таубе и Александровскому» на Невский и заказал.

— Ты заказал?! — крикнул Андрей.

— Я. А что было делать? Как видите, все благополучно, я жив и невредим. Очень уж меня разозлили.

— Милый, ты на себя не похож, — сказал Андрей. — Что с тобой происходит?

Аня побелела от испуга:

— Дворник, вы с ума сошли!

— Я с-с ума не сошел, — сказал Михайлов. — Я п-понимал, что рисковую, но простите меня: ведь была единственная просьба Степана...

— Ворчишь на нас из-за всякой ерунды, а сам творишь безобразия. Когда будут готовы карточки?

Михайлов, несколько смущенный — обыкновенно он сам делал распеканции за малейшую халатность и неосторожность, а тут приходилось оправдываться, — объяснил, что карточки должны были быть готовы как раз сегодня, он туда заходил, но они не готовы. Андрей вовсе рассвирепел:

— Ах, ты заходил туда второй раз?

— Второй раз.

— На Невский? К «Таубе и Александровскому»?

— Ну да.

— Дворник, ты же понимаешь, что эта модная фотография не может быть обделена вниманием полиции. Какого же черта...

Дворник понимал прекрасно, кивал и поддакивал. Слава богу, все кончилось хорошо. Правда, был один загадочный и даже неприятный момент. Когда Дворник протянул хозяину фотографии квинтантию — тот сидел за столом, рылся в ящике с бумагами, а за его спиной стояла женщина, по-видимому жена, такая рыжеволосая носатая немка, — и хозяин, порывшись, ответил: «Не готово, придите завтра», в это время рыжая женщина, посмотрев на Дворника в упор, провела рукою по шее. Что означало сие? То ли ее догадку о том, что это снимки казненных преступников, то ли секретное от мужа предупреждение: тебе, мол, самому петля? Рассказывая, Дворник сконфуженно посмеивался. Андрей сказал:

— Сей знак означает одно. Ходить тебе туда ни в коем случае нельзя.

О том же было сказано вечером на заседании Комитета. Дворник согласился: нельзя, так нельзя. А на другой день, 28 ноября... Понять, как и почему это произошло, невозможно. Какая-то непостижимая, трагическая чепуха. Потом уж, спустя несколько дней, когда сопоставились некоторые свидетельства и были узнаны факты от подавленного горем Николая Васильевича, нарисовалась такая примерно картина. Дворника в тот день кто-то ждал в Гостином дворе, он шел, следовательно, Невским, проходил мимо злосчастливого заведения «Таубе и Александровский» и... что его толкнуло туда? Какая-то минутная слабость, затмение духа или же совсем не свойственный ему фаталистический задор? Или, может быть — и скорей всего, — простая мысль: «Если не я, то — кто же!»? Он вошел в заведение, немец сказал: «Подождите айн момент», вышел в соседнюю комнату, Михайлов ждать не стал, побежал вниз, дорогу загораживал швейцар, оттолкнул его, вскочил на ходу в проходящую конку, за ним туда же вскочил переодетый в партикулярное платье околоточный Кононенко, выбежавший следом из фотографии. Михайлов спрыгнул на ходу, околоточный — за ним, догнал, навалился, подбежали дворники, скрутили. Михайлов протестовал: «Вы будете отвечать за свои действия! Я отставной поручик Константин Михайлович Поливанов!» — «Где вы живете?» — «Орловский переулок, дом два, квартира двадцать пять. Мою личность установит хозяйка квартиры!»

Почему так рвался на квартиру? По-видимому, надеялся, что путешествие по городу даст случайную возможность бежать, как уже бывало — ведь ускользал из таких капканов! — а кроме того, необходимо было поставить на квартире «сигнал гибели», чтобы предупредить товарищей. Бежать не удалось. Но сигнал — книгу на подоконник, к стеклу — поставил. При обыске найдены: прокламации «От Исполнительного комитета», палка со скрытым в ней кинжалом, медный кастет, много фотографических снимков государственных преступников и динамит в двух жестянках. Очень скоро было узнано настоящее имя Михайлова. Николай Васильевич полагал, что его показали кому-то, хорошо его знавшему.

Эта ужасная догадка Николая Васильевича удручала более всего: значит, есть предатель? А ведь ничего странного. Партия разрастается, к ней примыкают все новые рабочие, студенческие кружки, а сейчас, когда вернулись из плавания моряки, создается военная организация. Михайлов известен многим. Если есть Клеточников в департаменте полиции, то не столь уж невероятен полицейский Клеточников в партии. Кстати, сам Дворник об этом часто думал и говорил: «Кто-то возле нас должен быть. Не может не быть!»

Окладского подвели к глазку, вделанному в дверь, и он увидел Дворника в измятом, испачканном землею мундире поручика. Двор-

ник был бледен, сидел спокойно на стуле и смотрел в окно. Рядом стоял жандармский офицер. Дело простое: поглядел секунду в глазок и сказал. В этот день Окладскому вместо обеда, который полагался по ссыльнокаторжному режиму, дали обед как для подсудимого арестанта.

Николай Васильевич вдруг закрывал ладонями глаза, качал головой и шептал:

— Как же без Петра Ивановича? Как нам теперь без Петра-то Ивановича?

Отнимал ладони, на глазах были слезы. Сидевшие в комнате молчали. Семен начал с внезапной яростью доказывать, как следовало поступить: нанять любого уличного мальчишку за пятиалтынный, дать ему квитанцию... Все вздор, пустое! Неужели не ясно, что судьба каждого окончится так же или как-то похоже? Андрей чувствовал, что от него ждут ясной твердости, какой обладал Дворник.

Он сказал Николаю Васильевичу твердо:

— Извольте успокоиться, Николай Васильевич. Мы сожалеем о нашем друге не менее вас, но жизнь продолжается и дела нас ждут.

— Да, разумеется... Это совершенно понятно...— Николай Васильевич поспешно надевал очки, но глаза его были слепы, слезы катились по щекам. Не стесняясь, он вытирал их ладонями.

— Успокойтесь, пожалуйста. Вот ваш новый Петр Иванович — рыцарь без страха и упрека.— Андрей показал на Баранникова.— Называйте его Семеном, а если хотите — Петром Ивановичем. Встретаться будете по тем же числам вот по сему адресу.

Николай Васильевич посмотрел на бумажку с адресом, покивал, потом взглянул на Баранникова, вдруг громко, как женщина, вскрикнул и опять снял очки. Было тягостно. Ждали, пока он совсем успокоится. Наконец успокоился, взял шляпу и пошел к двери. Баранников двинулся, чтоб проводить его по коридору, но Николай Васильевич неожиданно сел на стул.

— Плохо, плохо, плохо, плохо...— бормотал он, ни к кому не обращаясь, разговаривая с собой и глядя мимо всех в окно.— Совсем уж плохо... Это уж, можно сказать... Вы понимаете, что значит, когда человек совершенно один, как я? И еще работает в полиции.

— У вас родных нет? — спросил Андрей.

— Конечно, нет. Никого нет. Я один. И вот Петр Иванович иногда спросит: «Николай Васильевич, как ваша жизнь-то идет?» Я ему что-нибудь скажу...

— Я буду вашим другом, Николай Васильевич,— сказал Баранников.

— Да, конечно, я понимаю, благодарю вас...

Николай Васильевич низко опустил голову и, держа ее опущенной, кивал. Андрей смотрел на него с изумлением. Не подозревал, что Николай Васильевич может быть в таком состоянии: как будто слегка помешался.

— Вы все мои друзья, я знаю, благодарю, но я для вас чужой человек...

— Николай Васильевич, вы для нас самый близкий, самый драгоценный, самый нужный на этом свете человек,— сказал Андрей.

Колодкевич и Баранников тоже что-то сказали вместе. Николай Васильевич помахал шляпой.

— Все плохо, господа. Я очень огорчен, вы должны меня извинить...— Вдруг быстро встал и вышел.

Гибельность этой раны обнаружилась не вдруг. А вдруг была смертельная горечь, сиротское оцепенение: как же без Дворника? Соня говорила:

— Он тебя жалел. Вот недавно, когда обсуждали, кто будет хозяином на Малой Садовой, он сказал: «Только не Тарас!» Тебя не было, ты ездил в Кронштадт.

— Что значит жалел? Вздор ты говоришь, матушка!

Ему это не понравилось, он не поверил. Но Соня упорствовала:

— Нет, он тебя жалел. Он тебя берег для Учредительного собрания.

Может, так и было. Одно ясно: такого друга в его жизни не будет. Но гибельность обнаруживалась, разумеется, не в личных страданиях, а в том, что страдало дело. Ну хорошо, Клеточникова возьмут Баранников с Колодкевичем, замечательные бойцы, однако один смел и удал до дерзости, другой не очень ловок в практических делах, вот и выходит, что двое могут быть слабей одного, такого, как хладнокровнейший, расчетливый храбрец Дворник. Так попасться! Глупо, несчастно! Теперь дело в том, чтобы Николай Васильевич проникся к Семену и Коту Мурлыке таким же доверием, как к Дворнику. Дворник был единственный человек, связанный с литератором Зотовым Владимиром Рафаиловичем, который взялся хранить архив. В прошлом году кто-то из «своих» адвокатов свел Колю Морозова с этим Зотовым, а уезжая за границу, Морозов познакомил Зотова с Дворником. Там все донесения Клеточникова, печати для паспортов, разного рода документы, заметки. Как проникать к Зотову? Одна надежда: вернется Коля Морозов. Его вызывали не специально по этому поводу, а просто потому, что нужны люди. Соня написала в Женеву, и Воробей, может быть, явится в январе. Далее: никто, кроме Дворника, не изучал так пристально врагов, Третье отделение, полицейскую кухню. Он знал всех видных чиновников и агентов по фамилиям, многих в лицо, следил за передвижениями по службе, собирал сведения об их жизни, пристрастиях. Эти исчезнувшие дорожки знания невосполнимы. Никто, кроме Дворника — после смерти Валериана, — не был так удачлив в добывании денег. И, наконец, никто, кроме Дворника, не мог быть Д в о р н и к о м — таким беспощадным, внимательным, многоокиим, недремлющим аргусом, каким был Михайлов...

Днем не было времени на тоску, истязанье души, днем — беготня, напряжение, тяжесть револьвера в кармане, моряки в Кронштадте, рабочие по всему Питеру, студенты, типография, «Рабочая газета». А вечером, когда притаскивался домой, в Измайловский, едва волоча ноги, и Соня тоже разбита усталостью — ей целый день, бедняге, приходится быть на улице, она руководит группой, следящей за выездами царя, — то и дело внезапно вспоминался Сашка.

Соня рассказывала о дневных приключениях, а у него вырывалось:

— Дворник никогда бы так не сделал. Он бы сначала в кухмистерскую, а потом, переждав две минуты...

— А помнишь, как он говорил: «Если партия мне прикажет мыть чашки, я буду мыть чашки»? (Это перед сном, когда он мыл посуду, а Соня стелила постель.)

Иногда он думал о Сашке ночью, во сне. Просыпался от мысли о нем. Однажды, проснувшись так ночью, Соня спала, он разбудил ее, потому что мысль, пронзившая сон, была острой, больной. Обнимая Соню, сказал:

— Вдруг ужасно пожалел Сашку. Знаешь, почему? Потому что не был счастлив, не любил, откладывал, откладывал... Он сказал

как-то: «Судьба наградила меня деловым счастьем». Но вот простым, человеческим... Говорил, что ему не нужно, что когда-нибудь, в другой жизни, появится женщина и он будет ее очень сильно любить.

— Я была такой же, как он. Пока не встретила тебя...

Они обнимали друг друга, думая о Сашке и о себе. О Сашке с жалостью, разрывавшей сердце, о себе — спокойно, мудро и нежно. Все было так, как они хотели.

Любимые разговоры — о новых людях, пристававших к партии. Их становилось все больше. Это было хорошо, говорило о том, что партия притягивает, забирает за живое, но тут же крылась опасность: чем шире круг посвященных, тем вероятней провалы. Кронштадтские моряки во главе с Сухановым и Штромбергом наконец-то создали настоящую организацию, «Центральный военный кружок», подчинявшийся Исполнительному комитету. Студенты образовали «Центральный университетский кружок», и если число военных в кружке насчитывало два-три десятка, то число молодежи, примыкавшей к «Центральному университетскому», насчитывало сотни. Среди студентов были такие энергичные парни, как Папий Подбельский и Коган-Бернштейн. Андрей к ним присматривался: еще немного, несколько живых дел — и эти двое станут совсем близкими людьми. Члены Комитета? Ну, об этом говорить рано. Васька Меркулов и Сергей Дегаев, имеющие заслуги перед партией, уж вон как скулят оттого, что их не вводят в Комитет и вообще, как им кажется, не оказывают полного доверия, — а что поделаешь? Полное доверие — вещь чересчур серьезная, загадочная и странная. Оно не возникает арифметическим способом, с помощью большинства голосов. Вернее сказать, именно так и возникает, но то лишь видимость, а поистине — как-то иначе. Осеняет вдруг как некая благодать. Бывает непонятно: один участвует во многих предприятиях, показал себя достойно: а все же нет нужды тащить его в Комитет, а другой еще мало себя проявил, но для всех почему-то ясно — человек необходимый, свой. Вот так внезапно почуялось, что свой — Тимофей Михайлов, рабочий-котельщик.

Чем-то напомнил Преснякова: такой же большой, тяжелорукий молчун со светло-угрюмым взглядом. И так же, как тот, известен рабочему Питеру отчаянной бесшабашностью: ничего не стоило шпиона приколоть или мастера ненавистного, живоглота, подстеречь в темном дворе и измолотить до полусмерти. Из молодого Тимохи — а парню всего-то двадцать один — выросстал поистине Андрей Корнеевич, истребитель шпионов.

Близким помощником во всех делах среди рабочих стал Валентин Коковский. С ним писали ночами главнейший труд, которым Андрей гордился, — «Программу рабочих членов партии «Народная воля». С ним делали и «Рабочую газету»: первый номер вышел в середине декабря. Андрей написал передовую. Одни сказали: ничего, живо, в народном стиле, рабочий читатель поймет. Другие говорили, что много риторики. Тигрыч морщился:

— Не твое это дело, Тарас, фельетоны строчить!

Прав, наверно, старый бумагомарака. Пропади она совсем, эта несчастная журналистика, фельетонистика, казуистика, беллетристика. Его дело — мысли, идеи. Вот «Программа рабочих членов...» — это произведение! Тут есть над чем башку поломать. Тигрыч два часа читал, оторваться не мог, потом сказал:

— Сочинение, доложу вам...

Андрей знал: это то, что от него останется.

Умирают поступки, жесты, слова, фразы, единственное, что будет жить вечно, пока существует человечество,— идеи. Их немного. Они могут быть ошибочны. Но они несокрушимы, они будут возникать снова и снова, в разных обличьях, оставаясь самими собой. Ночью он разбудил Соню и потребовал, чтоб она слушала. Соня продрогла на улице, у нее был жар, глаза слипались, и она не могла повернуть голову от слабости. Через несколько минут он заметил, что она дремлет.

— Ты не слушаешь? Я читаю важнейший документ! Ничего серьезней мною не написано!

Соня, открыв глаза, силилась улыбнуться:

— Я теперь уличная баба, торговка, дворничиха... Единственно на что я реагирую — карета царя... Но прости меня, я готова, я слушаю!

И она выпрямилась и с напряженно-отчаянным видом приготовилась слушать, но он спохватился: мучить человека! С утра и до вечера Соня на ногах, на улице, в наблюдательном отряде. Читать будем завтра.

— Нет, сейчас! — протестовала Соня.— Я хочу сейчас!

Но через секунду она спала. А утром спешила на какую-то важную встречу, но он заставил ее прослушать — все от начала до конца. Ему так нравилось читать это сочинение вслух! Потом, в декабре, читал его много раз в рабочих кружках. Программа делилась на шесть глав. Глава «А» начиналась так:

«Исторический опыт человечества, а также изучение и наблюдение жизни народов убедительно и ясно доказывают, что народы тогда только достигнут наибольшего счастья и силы, когда люди тогда только станут братьями, будут свободны и равны, когда устроят свою жизнь согласно социалистическому учению, т. е. следующим образом:

1) Земля и орудия труда должны принадлежать всему народу, и всякий работник вправе ими пользоваться.

2) Работа производится не в одиночку, а сообща (общинами, артелями, ассоциациями).

3) Продукты общего труда должны делиться, по решению, между всеми работниками по потребностям каждого.

4) Государственное устройство должно быть основано на союзном договоре всех общин.

5) Каждая община в своих внутренних делах вполне независима и свободна.

6) Каждый член общины вполне свободен в своих убеждениях и личной жизни, его свобода ограничивается только в тех случаях, где она переходит в насилие над другими членами своей или чужой общины.

Если народы перестроят свою жизнь так, как мы, социалисты-работники, этого желаем, то они станут действительно свободны и независимы, потому что не будет более ни господ, ни рабов. Каждый может тогда работать, не попадая в кабалу к помещику, фабриканту, хозяину, потому что этих туенядцев не будет и в помине...»

В главе «Б» говорилось о том, что народ темен, забит и не сознает тех принципов, на основе которых должна строиться новая российская жизнь. В главе «В» — помощником и союзником народа станет социально-революционная партия. В главе «Г» намечались необходимые перемены, которых следовало добиваться в государственном строе и народной жизни.

И были еще две краткие главы: «Д» — о том, как составлять рабочие кружки, и «Е» — как поднимать и развивать восстание.

Андрей читал программу не во всех рабочих кружках, а только в так называемых кружках высшего разряда, где народ был грамотный и осведомленный хоть немного в социализме. Иерархия рабочих кружков определилась к зиме такая: в низших кружках, где занимались по пять-шесть человек на квартире кого-нибудь из рабочих, шли уроки грамоты, арифметики, географии. В кружках второго разряда читались лекции по истории и социалистическим учениям. Андрей на этих занятиях рассказывал об Ирландии. И наконец, кружки высшего разряда, маленькие клубы заговорщиков, куда попадали люди подготовленные, настроенные твердо революционно: членами кружков были рабочие, руководителями — студенты или бывшие студенты. Тут действовали Подбельский, Коган-Бернштейн, или попросту Левка, Дубровин, Энгельгардт, а среди рабочих тот же Тимоха, Гаврилов, Беляев и другие. Раза три читал Андрей программу и всякий раз ощущал, как возникает волнение, взбудораженность, люди вдруг сознают, что они, жалчайшие обитатели трущоб, вовсе не пыль истории, а ее двигатели, ее пружины.

А ведь это главное: заставить человека поверить в то, что он может творить историю, перелопачивать мир!

Картина переустройства общества, нарисованная в программе, не вызвала возражений, зато недоумения и вопросы возникали в связи с последней главой, где говорилось о восстании. Тут было, пожалуй, самое слабое, неразработанное место. И понятно, почему на него так кидались. Написать можно все, а поди-ка возмись! Написали: «Одновременно нужно расстроить правительство, уничтожить крупных чиновников его (чем крупнее, тем лучше), как гражданских, так и военных». А те спрашивают: «Это как же, примерно, расстроить правительство?» Кабы было понятно и ведомо как, не писали бы, а давно уж расстроили. «Нужно перетянуть войско на сторону народа, распустить его и заменить народным ополчением...» Снова вопрос: «Каким же путем войско перетягивать? Уговором, либо силой, либо командиров подбить?» Дело неясное. Изо всего громадного российского войска перетянули пока что человек, может, тридцать: лейтенантиков кронштадтских да артиллеристов. Андрей соглашался: да, тут еще не все продумано. Но ведь главное в восстании что? Начать! Навалимся, там разберемся. Толкнуть барку в воду, она самоходом пойдет.

В кружках споры, шум, мировые проблемы, дерзкие социалистские мечты, а на комитетской квартире — толки все о том же, подкоп, динамит, четыре фунта, два аршина. Гриша Исаев, умница, один из самых начитанных, много рассказывавший об ирландских делах, теперь от всего отбил, ничего не читал и разговаривал только о приговлении динамита. О том же единственно мог говорить Кибальчич. Динамитная горячка обуревала всех. Подкоп под Малой Садовой был делом решенным, а в Кишинев направлялась группа во главе с Фроленко для другого подкопа: для кражи из кишиневского казначейства. И вот когда встречались на квартирах Ани Корба или Геси Гельфман или в большой типографии, где хозяйничал Грачевский, разговоры были однообразные:

- А как ты считаешь, сколько фунтов нужно?..
- А какова предположительно окружность взрыва?
- Господа, проблема уличных жертв, от которой вы отмахиваетесь...

Кибальчич сказал Андрею: наши женщины более жестоки, чем мужчины. Он вывел это из каких-то расспросов его по поводу возможных жертв на Малой Садовой. Вздор, разумеется! Обычное для Коли непонимание женщин. То, что он принял за жестокость, есть

чисто женское — страстность, совершенное отдавание себя чему-то: идее, товариществу, динамиту. И подумать только, что эти женщины — Верочка, Соня — полтора года назад были непрошибаемые пропагандистки! Вот как все переменялось на этом свете. Какие были споры о высоких материях с Михайловым, Квятковским, с Колей Морозовым, с Марией Николаевной, с ядовитым Тигрычем. Одних уж нет, а те далече. Мария Николаевна, отчаянная философка, ушла в практическую жизнь, Тигрыч — в семейную, отдалился, вот и свадьбу даже хочет устраивать.

Тигрыч еще раз читал «Программу рабочих членов...», изучил внимательно, сказал:

— По-моему, дельно и неглупо. Но... чем мы сейчас занимаемся? Хотим взорвать царя. Хотим взорвать казначейство. Об этом ни слова: я имею в виду террор.

Был прав: дело не в конспирации, партия уже обнаружила себя многими террористическими актами, так что секрета нет. И достаточно шума было на процессе. Тигрыч подцепил за большое: непоследовательность, братцы! Или уж готовить армаду рабочих кружков, пролетарское войско по принципу Маркса, объединять его с крестьянством, или же — взрывать динамитом монархов. Если взрывать, то нужны ли кружки, вся эта муравьиная, кропотливейшая работа?

Наша задача — открыть ящик Пандоры, выпустить на волю ураганы и бури, которые сметут все нам ненавистное. Взрыв монарха есть лишь приспособление, отмычка для того, чтобы сорвать крышку. Но это мы берем на себя — мы, социально-революционная партия! А рабочие и крестьяне вступят в дело потом: они будут исполнять роль бури.

Соня рассказывала: группа слежки за выездами царя, действовавшая уже почти полтора месяца, определила следующее. Обычно он выезжает из дворца в половине второго, направляясь в Летний сад. По воскресеньям скачет на развод в Михайловский манеж — лошади несутся как на пожар, — сопровождаемый конвоем из шести, восьми казаков. Казаки — рядом с каретой, прикрывают дверцу. В манеж скачет Малой Садовой, а возвращается часто другим путем, по Екатерининскому каналу.

— Поворот на Екатерининский канал очень удобен, — сказала Соня. — Тут кучер сдерживает лошадей, карета едет почти шагом. Я видела это раз десять, следила нарочно.

Андрей подсчитал: окончание ремонта, устройство магазина, рытье, закладка займут месяца полтора, от силы два. Где-то во второй половине февраля. Какой же день? Подсчитать нетрудно. Должно быть воскресенье. Стало быть, 15 февраля либо 22-е. Либо — какое же следующее? — 1 марта.

А все зависело теперь от того, насколько быстро будет сделан подкоп. Помещение уже куплено: воронежский купчина Евдоким Ермолаев Кобозев приобрел подвал в доме Менгдена, намереваясь открыть здесь торговлю сырами. Помещение было дрянное, нуждалось в ремонте, асфальтовый пол потрескался, заливало водой. Пока шел ремонт, купец жил в гостинице, являлся ежедневно, гнал, торопил. Купцом определили по предложению Веры ее приятеля по саратовскому поселению, честнейшего Юрия Богдановича. У того был вид истинно купеческий, рожа красная, борода лопатой, разговор шустрый, нрав веселый, находчивый — он и сплясать и спеть, и враз дровишки наколет, как простой мужичок, хотя из дворян, псковский помещик. Лучшего Евдокима не придумать! А вот с купчихой, женой

Евдокима, получалось затруднение. Сначала вызвалась Баска, ее назначили, но Соня запротестовала: хотелось самой.

Соня имела обыкновение все валить в открытую. На заседании Комитета сказала, что будет лучшая купчиха, чем Баска, хотя она и дворянского происхождения, а Баска — дочь сельского священника.

— Но я подхожу больше, — сказала Соня. — Поймите, я думаю сейчас о пользе дела. Баска, у тебя манеры не те, что нужно. И ты куришь папироски!

Баска сказала, что не будет курить папироски. Возникла неловкость. Богданович, как деликатный человек и рыцарь, сказал, что ему крайне трудно выбрать жену: обе жены прелестны, очаровательны и исполнены многих достоинств. И запел басом из «Аскольдовой могилы». Засмеялись, решили отложить окончательный выбор на следующий день. Вечером Соня с горячностью убеждала Андрея, чтоб он отстоял ее кандидатуру. Андрей хмуро молчал, потом сказал:

— Нет! У тебя не должно быть преимуществ перед кем бы то ни было...

Комитет подтвердил: женою купца Кобозева Еленю Федоровой Кобозевой быть Ане Якимовой, Баске. 1 января 1881 года купец с женой вселились в отремонтированный подвал и приступили к торговле. Малая Садовая считалась улицей особого режима, по ней проезжал царь, поэтому полиция была внимательна ко всем жильцам, и особенно к приезжим. Паспорт Кобозевых был не просто прописан в участке, но проверен посылкою запроса на место выписки, в Воронеж, откуда пришел положительный ответ: Евдоким Ермолаев Кобозев, мещанин города Воронежа, действительно получил документ в таком-то году. Итак, все устроилось, можно начинать. Начали в первую же ночь. Занавесили окно в комнате, оставили слабое освещение в окне магазина, где горела лампадка перед иконой Георгия Победоносца. Сняли деревянную обшивку. Открылась кирпичная цементированная стена, которую надлежало пробивать. Взяли ломы. Первые удары нанесли два силача — Андрей и Семен...

А накануне праздновали на квартире у Геси Гельфман. Такой веселой кутерьмы, топота, плясок Андрей не помнил. Были и танцы, и трепак, и жженка, и «Гей, подивуйтесь», и «Звучит труба призывная», и соседи из нижней квартиры прибегали, стучали в дверь, пришлось достать револьверы, приготовиться, и, увидев перепуганные лица, радостно извинялись, обещали утихомириться.

— Простите студентов, господа, лекциями замученных. Когда ж и повеселиться, как не на Новый год?

Андрей плясал до изнеможения, хохотал до упаду, пел до хрипоты: в буквальном смысле лишился голоса, сипел — еще и морозу хватил, выскакивали с Семеном и Колей Саблиным во двор в одних рубахах, боролись на снегу — Соня отпаивала горячим чаем. Но за всем этим шумом чуялась Андрею громадная тишина. Может быть, это была смертная тишина. Он смотрел на лица друзей, вдруг понимая, что видит их вместе в последний раз. Милые, незабвенные. Всех — запомнить, унести с собой, взять в свое сердце. Гесья, маленькая, темнолицая, похожая на тех девочек, которых он когда-то учил русскому языку в Одессе, неслышно бегала из кухни в комнату, из комнаты в кухню, приносила, уносила, разливала, спрашивала, заботилась обо всех. Ах, эта великая доброта и великая сила маленьких женщин! Бородатый, бледный — ему нельзя много пить — Коля Колодкевич помогал Гесе. Богданович со своей рыжей лопатой, громогласием: весь вечер говорил «по-купецки», помирали со смеху. А Баска ему в ответ вятской скороговоркой. Коля Саблин со своими калам-

бурами. Верочка, конечно, блистала — и красотой, и голосом, и платьем. Милая Верочка, ты всегда должна быть прекрасней всех... И когда в минуту тишины подняли тост за друзей, за тех, кто в руках врагов, за дорогого Дворника, за Степана — он в Алексеевском равелине, получена весточка, — и опять раздались стоны по поводу несчастной ошибки Дворника, его всех поразившей и совершенно непонятной неосторожности, Верочка вдруг прочитала стихи. Их все знали, читали когда-то, они были посвящены Николаю Гавриловичу, но — забыли, а теперь прозвучало как будто о Дворнике. И — обо всех.

Не говори: «Забыл он осторожность.
Он будет сам судьбы своей виной».
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добою, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенной и шире,
В его душе нет помыслов мирских,
Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других.

Так мыслит он, и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна.
Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте.
Его послал бог гнева и печали
Рабаи земли напомнить о Христе.

Кто-то поправил тихо:

— Царям земли.

Да, да, да, служить добру, не жертвуя собой. Невозможность. В том-то и дело. Кто сидел опустив голову, кто сжав кулаки, у Геси на глазах были слезы.

— Ну что ты?

— Сашу так жалко...

А он подумал, глядя на всех — через короткое время опять полилось вино, Кибальчич сел к роялю, застучали каблукми танцоры, а Богданович, продолжая неукоснительно свою роль, растолкал всех и под вальс стал плясать вприсядку с уморительно каменным, «кобозевским» лицом, — подумал о том, что счастье заключается в незнании тайны. Самой большой тайны жизни: когда и как эта жизнь прекратится. Вспомнил о предсказаниях Казотта. На каком-то великосветском балу накануне Французской революции Казотт вдруг прервал веселье и открыл гостям их судьбу: «Вас через год повесят... Вас выбросят из окна... Вы будете обезглавлены».

И была еще пирушка через несколько дней после новогодней: Тихомиров устроил зачем-то — бог знает зачем, странный человек! — венчанье в церкви, потом пригласил человек шесть на ужин к «Палкину». Андрей не бывал в ресторанах, наверно, с год. Да и никто не бывал. Все — по дешевым трактирам, кухмистерским. Соня не пошла, было какое-то недомоганье, а может, не хотела — с Тигрычем у нее до сих пор шероховатости, чего никто, впрочем, не замечал, кроме них двоих. Была Верочка, был Иванчин-Писарев, красивый мальчик, литератор, писавший в «Народной воле» и соединивший редакцию с Михайловским. И был сам Михайловский, которого Тигрыч просил быть шафером на свадьбе. Они прибыли из церкви, из полковой, на Царицыном Лугу, а Андрей приехал сразу к «Палкину», едва отбоярившись от каких-то кронштадтских дел. С Михайловским был знаком раньше, но бегло, под чужим, разумеется, именем, и хотя Николай Константинович поздоровался с ним как со старым знакомым, Анд-

рей не был уверен в том, что маститый писатель имеет о нем ясное представление. Держался Михайловский очень дружественно и просто. Для начала он сообщил со смехом, что Лев Александрович заставил его впервые в жизни надеть фрак, который он взял напрокат. Потом вдруг нагнулся к Андрею и, со страшной озабоченностью округляя глаза, зашептал:

— Послушайте, надо непременно сбрить эту ужасную бороду!

— Почему же?

— Ваша борода — единственная в Питере. Я запомнил вас по бороде. Это какая-то скала, поросшая дремучим бором! Какой-то ночной Гефсиманский сад, в котором таится ваша погибель!

— Нет уж, я расстанусь с бородой, когда буду терять и голову, — сказал Андрей.

— Как знаете, сударь, как знаете... — вдруг перестав улыбаться, сухо сказал Михайловский. И сразу включился в разговор, который вели Тигрыч с Писаревым. Какие-то новые слухи о том, что Лорис будто бы гальванизирует проект представительства.

— Все кончится, как и прежде, одними разговорами...

— Посулили обещать!

— Отмена акцизного налога на соль — это максимум Лориса...

— Кстати, не такая дурная мера. Другое дело, газеты подняли неприличный трезвон...

— Это не мера, господа, а чепуха! Ничто их не спасет: ни отмена акциза, ни сабуровские благодеяния студентам...

Тигрыч, как и полагалось якобинцу, был за этим столом самым крайним. И все же, все же! Соня, пронзительнейший ум, сказала однажды: «А Лев от нас тихо-тихо отплывает». Дело не в том, что он изменял свои взгляды, иначе писал статьи, он писал так же зло, беспощадно, как прежде, писал великолепно, но вот решил повенчаться, устроил свадьбу, Катя ждет ребенка: это и есть отплытие. Это делают, когда собираются жить. А они собираются умирать. Андрей слушал разговор умных людей, и ему было скучновато. Он думал о Соне, которая ждала дома. Думал о том, что у него мало времени в этом мире.

Верочка пошла танцевать кадрили с Писаревым, а Семен с Катей. Тигрыч смотрел на жену с испугом: она еле ходила, оставалось недели две до родов.

Михайловский подозвал лакея и заказал кофе и кюрасо. Андрею вдруг захотелось пощекотать «властителя дум», которого уважал безмерно, ценил его талант, готовность помогать, а статьи за подписью Гроньяра считал образцом революционной журналистики, и, подсев к нему, напомнил о предсказанье Казотта.

— Николай Константинович, помните Лагарпа? Казотт предсказал: «Вы будете гильотинированы, вас разорвет толпа...» Ну, а что вы скажете о нашей милой компании? — Андрей обнял жестом уютный палкинский кабинет, где три пары танцевали кадрили и жуковидный тапер дергался и махал головой за роялем. — Сделайте предсказание!

Михайловский погладил бороду, кашлянул и как-то очень всерьез, с сознанием ответственности, хотя Андрей предлагал полушутливый тон, оглядел всех, кто был в кабинете. На Андрея он воззрился последнего. Взгляд из-под стекол пенсне был суров.

— Не могу сказать о каждом в отдельности, но вся ваша компания прославится. Это я вам предсказываю. И еще: когда-нибудь нынешнее время покажется удивительным! Самые опасные террористы разгуливали спокойно по городу, сидели у «Палкина», танцевали кадрили, пили кюрасо.

Андрей, помолчав, сказал:

— Не знаю, как слава, а шум будет.

В конце обеда подали счет: пятьдесят рублей. У Верочки вытянулось лицо. Таких денег, кажется, ни у кого не было, и вообще это недопустимое мотовство. Но более всего недопустимо, чтобы платил «властитель дум». Николай Константинович уже достал портмоне, но Тигрыч вскочил:

— Нет, нет! Плачу я!

Слава богу, мы бедны, но горды...

Денег не было. Касса почти пуста. Надеялись на поправку дел кишиневским подкопом, но дружина Фроленко вернулась ни с чем: рухнули громадные средства, труды. Каким-то образом обратили на себя внимание полиции, и пришлось срочно уезжать из гостиницы, откуда уже начали рыть.

Васька Меркулов, один из главных кишиневских «казнокопов», в чем-то винил Михайлу Фроленко, Таня Лебедева винила Ваську, Фриденсон сказал, что мало людей, не хватило сил: в подкопах надо работать непрерывно, в несколько смен. С деньгами стало настолько худо, что Андрей даже попросил денег у полунищего Рысакова, парня, которого Андрей еще мало знал и только лишь вовлекал в дело: Рысаков переходил на нелегальное положение, и Андрей обещал ему платить от партии такое же содержание, какое тот получал от конторы Громова и К°. Тридцать рублей ежемесячно. А пока что Андрей научил парня, чтоб тот потребовал в конторе содержание за три месяца вперед и дал хотя бы рублей пятьдесят в кассу партии.

Нет, все правильно, разумно — не пропадать же деньгам. Он становится нелегалом и лишается пособия. Но язва в том, что партия, которую мальчишка обязан считать могущественнейшей в мире, берет у него в долг пятьдесят рублей! И все это надо было пережить, перетерпеть, сжать зубы, не обращать внимания на недоумевающие взгляды. «Нам не так важны деньги, как важна форма символического участия».

И все же — борьба, лютая, на живот и на смерть: государство с миллионной казной — и несколько человек, для которых важны пятьдесят рублей...

Рысаков и кое-кто из молодых, почуявших скудость сил, настожились. Васька Меркулов стал наглеть. Васька был одним из старейших знакомцев Андрея, еще по Одессе. Солдатский сын, с детства без надзора, ничему путем не научившийся — не то столяр, не то резчик по дереву, не то разбитной одесский возчик, балагула, — Васька пристал к революционным делам как бы случайно, но цепко, вроде Ванечки Окладского: он и то, и это, и пятое, и десятое. И всем знаком, всем он Васька. Правда, в отличие от Ванечки, у которого был отменный характер, Васька вспыльчив, капризен, легко надувается, всегда у него какие-то просьбы, жалобы, глупые обиды.

Едва приехал из Кишинева, сразу — жалоба:

— Иваныч, почему Верочка со мной знаться не желает? Ни в кофейную, ни в театр не ходит?

— Я не знаю, Василий. Наверно, недосуг. Ты уж у нее спроси.

— Спросишь! Она фыркнула и пошла. А почему никогда домой не пригласит? Я знаю, она теперь с Гришкой Исаевым, на новой квартире. Там у вас сборы, разговоры, чай пьете, а рабочего человека не очень-то привечаете...

— Если рабочий человек не член Комитета, нельзя.

— А что ж, если просто так, от сердца, работает, жизнь ставит на кон ежечасно...

— Вася, голубчик, пойми: эта квартира комитетская. Туда только

члены Комитета допущены. Вера, может, и хотела бы тебя позвать, да не имеет права...

Махая рукою презрительно:

— Говорите только: рабочие, рабочие. А на деле-то не особо...

Всех приехавших из Кишинева сейчас же снарядили на работу на Малой Садовой: копать. А Ваську определили «молодцом» в сырную лавку. Но Богданович и Баска вскоре от него отказались: для «молодца» не годен, ростом невелик, ухватки какие-то не «молодецкие», все та же капризность. Вдруг с покупателями начинал говорить высокомерным тоном: «А вы не понукайте! Не запрягли!»

В подкопе работали только ночью. Все, кто был здоров: Колодкевич, Баранников, Исаев, Саблин, Ланганс, Фроленко, Фриденсон, лейтенант Суханов, недавно принятый в члены Исполнительного комитета, Дегаев и Васька Меркулов. И — Андрей. Землю из подкопа складывали в задней комнате, прикрывали на день сеном, каменным углем. Первые дни работа двигалась споро, наткнулись на железную водопроводную трубу, ее пришлось обойти, слегка изменив направление подземного хода, это было несложно, однако через несколько дней возникло другое препятствие: огромный деревянный водосток размером примерно аршин на аршин. Миновать его низом было нельзя, снизу поднимались подпочвенные воды, и обходить верхом рискованно: близко мостовая, мог случиться обвал. Суханов и Исаев, два главных специалиста по этим делам — их никто не выбирал, но так получилось само собой: Исаев оказался фантастическим энтузиастом копанья, а Суханов был сведущ в минной науке, — определили, что деревянная труба наполовину пуста. Решили ее прорезать, чтобы в дырку вставить буров и затем проталкивать снаряды с динамитом. Как только водосток прорезали, подкоп наполнился ужасным зловонием. Дальше трех минут не выдерживал никто, даже Исаев, и это несмотря на то, что на нос и рот надевали респираторы с ватой, пропитанной марганцем. Но когда буров был вставлен и прорезь тщательно заделана, зловоние прекратилось. Все пошло дальше спокойней, хотя медленней: работа с буровом требовала больших физических усилий. Боялись шуметь. Недалеко был пост городского, и Баска, наблюдавшая в окно, давала сигнал, когда фараон удалялся в конец улицы и когда приближался.

И так все это шло, двигалось, ладилось, хотя и с помехами, но непрерывно вперед, и Андрей всем существом, всей кожей своей, пропитанной земляной сыростью, чуял, что цель близка. И там, под землей, в адовой темноте, вдруг осеняла минута покоя: скоро конец! Скоро, скоро конец. Еще неделя, другая, день, два и — конец.

Общественная квартира, о которой прослышал Васька Меркулов, снятая Верой и Гришей Исаевым для заседаний Комитета, находилась на Вознесенском проспекте. Три больших, неудобных комнаты, мало мебели, плохие печи, всегда холодно, и особенно холодно — на улице калил крещенский мороз — было в тот вечер, когда пришел заиндевший Исаев и со странной улыбкой показал всем сидевшим за столом свернутую трубкой бумажку:

— Как думаете, господа: от кого письмо?

Только что был тяжкий, малоутешительный разговор о возможных попытках инсurreкции, ни о чем другом говорить не хотелось, и неясный розыгрыш Исаева остался без отклика. Андрей спросил хмуро:

— Ну?

— От Нечаева, — спокойно сказал Исаев и положил бумажку на стол. — Из рavelина.

От Нечаева? Что за вздор! Разве он жив? Тот самый? Сергей Геннадиевич? Который вызвал такую бурю? Которого знали Герцен, Бакунин, Огарев, Маркс? Которого проклинали? Который был — монстр, чудовище, царский враг номер один? И, получив двадцатилетнюю каторгу, исчез бесследно лет восемь назад в каких-то безднах, казематах?.. Так вот, господа: Нечаев в Алексеевском равелине. Он жив, не сломлен, борется, полон грандиозных замыслов и шлет привет Исполнительному комитету. До ноября в равелине, кроме Нечаева, был всего лишь один узник, какой-то загадочный арестант, сошедший с ума, а в ноябре в равелин поместили Леона Мирского и затем Степана Ширяева, с которыми Нечаеву удалось наладить связь. Степан переправил через верного Нечаеву конвойного солдата его письмо Исполнительному комитету на адрес Дубровина, своего гимназического приятеля. Того самого Евгения Дубровина, которого Андрей отлично знал по рабочим кружкам, студента-медика. А Дубровин передал нечаевское письмо Исаеву, своему товарищу по Медико-хирургической академии. Вот каким путем оно здесь, на столе.

Письмо было поразительное по прямоте и деловитому тону. Нечаев просил, впрочем, и не просил и не требовал, а предлагал Комитету принять меры к его освобождению. Не было ничего лишнего, никаких излишних, сентиментов, громких фраз, покаяний, самооправданий, намеков на прошлое — может, и не догадывался о том, какую ненависть вызывало его имя среди молодежи? Да ведь прошло десять лет с первого процесса, когда судили еще не его самого, а нечаевцев. Но имя Нечаева прогремело впервые тогда. Просто и четко, в том стиле, в каком был писан знаменитый «Катехизис», Нечаев предлагал способы действовать. Солдаты конвойной стражи находятся под его влиянием. Многолетней работой среди них — что ж это была за работа! какие упорные, без усталости разговоры! — сумел их распропагандировать. До тонкости выведано все, что касается крепости: количество войск, оружия, число солдат и командиров, расположение помещений, где что находится. Единственное, что нужно: помощь извне. Согласен ли Исполнительный комитет помочь Нечаеву?

А Андрею вспоминалась Одесса, лето после второго курса, ощущение силы, удачи, «полная стипендия», июль, купанья и беготня по утрам в городскую библиотеку за «Правительственным вестником». Там печатался отчет о процессе. И все было слитно в то лето: ночи, девицы, драки на набережной, а по утрам — странная, чем-то манившая, чем-то ужасавшая фигура учителя закона божия в приходском училище в Петербурге, ивановского мещанина Сергея Нечаева. Создал «организацию». Обманывал, врал, выдавал себя не за того, кто есть, никому не говорил правды, морочил голову эмигрантам, даже бедному Герцену перед смертью, вымогал у них деньги, брехал, мистифицировал, писал фальшивые записки, будто его везут в Петропавловку, распускал слухи, что бежал из крепости, выпрыгнув из окна уборной, оказывался внезапно за границей, убивал, связывал круговой порукой и кровью — и все ради того, чтобы до конца разрушить этот поганый строй!

Вспомнилось, как кто-то украл из библиотеки номер «Правительственного вестника», где печатался «Катехизис революционера», тогда это называлось «Общие правила организации» или что-то в этом роде, и читали вслух на квартире то ли Мишки Тригони, то ли Заславского. Точно не знали, кем написан «Катехизис», одни говорили, что самим Нечаевым, другие намекали на эмигрантов, на Бакунина. Сочинение это было найдено в бумагах нечаевцев. Какая была сеча, какой стоял крик! «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей... Он знает

только одну науку, науку разрушения... Он презирает общественное мнение... Он презирает и ненавидит общественную нравственность... Все изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены единой холодной страстью революционного дела...»

Эти железные строчки, из-за которых было так много шума и брани, врубались в память. Ну как же! Говорилось: «Это провокация, устроенная нарочно, чтобы общество возненавидело молодежь», «Нечаев — маньяк!», «Нечаев — смельчак! Он говорит то, о чем все боятся сказать прямо!», «Подлец! Обольститель!» А знаменитое деление общества на шесть категорий!

«Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий...» Поражал стиль сочинения, полный ярости и страстной злобы, проникавшей в каждое слово. Он не писал: общество должно быть разбито или разделено на несколько категорий, а — раздроблено. Даже в словах спешил дробить проклятое общество. Да, да, все делилось на шесть категорий. Первая категория — неотлагаемо осужденные на смерть. Будет составлен список по степени зловерности каждого. При составлении списка надо руководствоваться не личными злодействами человека, ненавистью, им возбуждаемую — это даже полезно для народного бунта, поэтому главных злодеев надо «лелеять», — а руководствоваться мерой пользы, которая произойдет от убийства для революционного дела. Во второй категории — особо зверские злодеи, которых для пользы дела убивать не сразу... Третья — высокопоставленные скоты, которых надо эксплуатировать, опутать, сбить с толку и, овладев их грязными тайнами, сделать их своими рабами...

Десять лет прошло с тех пор, как читал «Правительственного вестника», а некоторые выражения, например, «овладев их грязными тайнами», изумившие тогда, помнились от слова до слова. Революция, это чистое, святое дело, — и тайны каких-то скотов? Копаться в чужой грязи? Делать кого-то рабами? Да ведь против грязи и рабства все затевается! В четвертой категории были, кажется, честолюбцы и либералы, которых тоже следовало шантажом прибрать к рукам... В пятой — революционные болтуны, доктринеры, которых тянуть и толкать к делу... И наконец, шестая категория, вызывавшая в Одессе самые шумные споры, — женщины. Они делились, кажется, на три разряда. Первые: бессмысленные, бездушные, которыми нужно пользоваться, как третьей и четвертой категориями мужчин; другие — горячие, преданные, но какие-то еще не вполне свои, их надо употреблять, как мужчин пятой категории; и наконец, женщины совсем наши. На них следует смотреть как на драгоценнейшие сокровища наши, без которых нельзя обойтись.

Все это было ближе не к Карлу Моору, не к декабристам, не к благородному, твердому, как сталь, Рахметову, а к маленькой книжонке, выпущенной года за два перед тем: «Монарх» Макиавелли. Но главное, что оттолкнуло многих, заключалось, конечно, не в словах, напоминавших книжонку, а в рассказах про грот, убийство, кирпич на шею. Заманили, набросились впятером. Николаев кричал: «Не меня, не меня!» Душили в темноте. Иванов искусал Нечаеву руки. Не возмездие за предательство, а сведение мелких счетов и — порука кровью. Нужна была кровь, чтоб связать. Один из нечаевцев, говорят, предлагал, будучи в заключении, найти и убить Нечаева. Все его ненавидели. Ни один человек на суде не сказал о нем доброго слова, хотя некоторые изумлялись его особым свойствам: он умел не спать, обладал чудовищной работоспособностью, решительностью, доходящей до изуверства. Александровская, бранившая его на все лады,

говорила: «Он убежден, что большинство людей, если ставить их в безвыходное положение, способно на храбрость и отвагу».

Вот это и было его задачей, целью, страстью: ставить людей в безвыходное положение. Через два года пришло известие: Нечаев арестован в Швейцарии и передан русскому правительству как уголовный преступник. Это уж подробно рассказывала Верочка, которая училась тогда в Цюрихе. Нечаев, оказывается, жил в Швейцарии то у Огарева, то у агентов Мадзини, зарабатывал рисованием вывесок, был выдан каким-то провокатором, и русские студенты, хорошо помнившие нечаевское дело, не слишком ему сочувствовали и не сделали попыток отбить его у швейцарской полиции. В Петербурге был суд, Нечаев вел себя дерзко, с вызывающим непокорством, был приговорен к двадцати годам каторжных работ в рудниках и, когда его выводили из зала, кричал: «Да здравствует Земский собор! Долой деспотизм!» После этого — сгинул. Были хождения в народ, разочарования, бунтари, троглодиты, «Земля и воля», выстрел Засулич, громкие, на весь мир протрещавшие дела и процессы, а Нечаев прозябал в неведомых тартарах. И, судя по письму, не прозябал, а неумоимо боролся с тюремщиками, боролся без надежды, в могильной безвестности и мраке, просто в силу своей натуры, для которой жить, дышать, тлеть означало бороться. Он дал пощечину шефу жандармов Потапову, который пришел к нему с предложением оказать услуги полиции. От пощечины у генерала пошла кровь носом и изо рта. Нечаева избивали, увечили, надевали на него кандалы, два года держали в цепях, прикованным к стене. И на воле об этом никто не знал! Все вынес, переборол, пережил своего главного мучителя Мезенцева, и вот — не мольбы и не вопли о спасении, а спокойные, трезвые слова: «Если Исполнительный комитет сочтет возможным...»

Андрей вспомнил, как Феликс Волховский, давний друг — и привлеченный спервоначала как раз тем, что был нечаевцем, судился по процессу и в Одессе жил под надзором, — рассказывал: «Сам худенький, безбородый, как мальчик, лицо серое, ногти обгрызены, а рот у него сводила судорога. И подумать только, что у этаккой невзрачности — сила воли гигантская, гипнотическая!»

— О чем же тут думать? — сказала Вера. — Разумеется, мы должны сделать все, чтобы спасти его!

Андрей засмеялся.

— Верочка, я вспомнил, как яростно ты поносила его в Липецке. И я тебя охлаждал.

— Я и сейчас возмущаюсь его действиями. И ты прекрасно знаешь, Тарас, что для меня нет худшего ругательства, чем нечаевщина. Но я преклоняюсь перед его подвигом и страданиями!

Баска, зная о Нечаеве много по рассказам своей подруги Липы Кутузовой-Кафиеро, бакунистки, тотчас поддержала Веру: да, да, конечно — помочь, но нельзя забывать, что он был осужден всеми, даже Бакуниным, который называл его иезуитом, абреком. А как он выманил у Огарева деньги, остатки бахметьевского фонда? А как пытался обольстить некоторых наших знакомых? Чисто женское: все в кучу, важное и пустяки, и все одинаково ранит душу. Но Соня отлучалась от всех.

— Теперь это не имеет значения, — сказала она. — После того, что мы узнали.

— Это первое! — подхватил Андрей. — А второе: два-три года назад мы действительно были далеки от него и имели право возмущаться, а сейчас, дорогие друзья, мы заметно к нему приблизились.

— Как!

— Что ты говоришь!

— Доказательства! Такими обвинениями не бросаются!

— Господа, мы почти выполняем его программу. В «Катехизисе» было сказано, что революционер должен проникнуть всюду, во все сословия, в барский дом, в военный мир, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец. Я помню отлично, потому что место это меня тогда поразило и показалось сказкой. Теперь мы знаем, что вовсе не сказка, все выполнено: мы проникли к военным, к литераторам, наш агент есть у Цепного моста и побывал в Зимнем дворце!

— Тарас, ты можешь убить человека? — спросила Вера. — Не предателя, не шпиона, не врага, а просто потому, что его смерть даст тебе некую власть?

— А для чего убивающему некая власть? А вдруг — для всеобщего блага? Вдруг — получить власть и с ее помощью навести на земле порядок? Ведь мы собираемся в одно из ближайших воскресений казнить царя, а он не шпион, не предатель, не личный наш враг. Но мы надеемся этой казнью приобрести некую власть над историей, повернуть колесо российской фортуны. Убиваем ради блага России! В этом-то вся трагическая сложность: мечтаем о мирном процветании, а вынуждены убивать, стремимся к Земскому собору, чтоб убеждать словами, а сами готовим снаряды, чтоб убеждать динамитом.

— Позволь, ты сравниваешь разные вещи: убийство несчастного Иванова и царя...

Слабо сопротивлялась одна Вера. Мужчины молчали.

— Разные по размерам. Модель одна. Мы тоже начинали с бессмысленных убийств: какого-то Гориновича, какого-то дурака Гейкинга... А если бы Сергей Геннадиевич не был сейчас в равелине, он бы сидел с нами и руки у него были бы такие же черные, как у Гриши Исаева, от динамита.

Кто-то из мужчин сказал угрюмо:

— Ну, довольно теорий! У нас времени в обрез. Давайте решать: что делать, чтобы спасти его? Он нам нужен, людей-то нет.

Решили дело освобождения Нечаева и Ширяева возложить на военную организацию, руководство поручить Андрею и Суханову. Все шло чередом. Катился в сыром тумане не слышном морозный январь, все дальше углублялся подкоп, все больше земли нагромождалось в задней комнате в пустых кадках, кучами на полу, прикрытыми рогожей и коксом. А в конце января внезапно повалились беды: 24-го арестовали Фриденсона, через день у него на квартире полицейской засадой был схвачен Баранников. В тот же день на квартире Семена арестовали Колодкевича, и 28 января самый страшный удар — засадою на квартире Колодкевича схвачен Николай Васильевич Клеточников. Лучшие люди партии провалились в течение четырех дней! Что сие значило? Кто ворожил полиции в этих сокрушительных, без промаха, нападениях? Ведь не только же оплошность партионцев! Хотя и оплошность была. Привыкли к тому, что Дворник заботился о безопасности всех, а Клеточников заранее обо всем предупреждал. Но Дворника не было, а Клеточников наполовину утратил всесильность, ибо право обысков и арестов получило теперь и градоначальство, куда Клеточников не достигал. Вот и попадались дурным образом: одна засада за другой, какое-то дьяволово наваждение! Была ночь, когда Андрей и Соня не сомкнули глаз ни на минуту — гадали, пытались понять: откуда моровой ветер?

Соня требовала, чтоб Андрей прекратил безоглядно ходить по городу, толкаться в трактирах, встречаться со множеством людей, знакомых и незнакомых. Он обещал. Прекратит. Оставит только главное: рытье подкопа, равелин, метальщиков. Но видел, что — не смо-

жет. Кто же, если не он? Людей становилось все меньше катастрофически. И опять считали, считали: ну, кто остался? Исаев и Кибальчич, эти двое на динамите. Баска и Богданович в лавке, Геся, Соня, Вера, Аня Корба, Мария Николаевна, ее сестра, женщины сохранились, а мужчин-бойцов почти нет. Тетерка, партийный извозчик, арестован тогда же, когда и Клеточников. Лев Златопольский — на другой день. Итак: Фроленко, Саблин, Суханов, Ланганс, больной Франжоли... И какие-то не вполне ясные новобранцы: Рысаков, Тимоха, Гриневицкий, Подбельский. Какого-то долговязого юнца прислала Аня.

Но все это уже не имело значения. Когда подсчитывали силы сочувствующих, выходило — человек пятьсот. Ни о какой инсurreкции думать нельзя. Но из этих-то пятисот десять человек для одного дела — найдутся?

И он сказал тогда в бессонную ночь:

— Знаешь, Соня: ничто нас не остановит. Даже если бы сами пытались себя остановить.

Всю Владимирскую запрудила толпа, медленно двигавшаяся в сторону Невского. Перейти на другую сторону улицы не было никакой возможности. Андрей возвращался с Лиговки, где была встреча с Подбельским, на комитетскую квартиру и очень спешил. Впрочем, он спешил теперь каждый день. Он перестал спать. Иногда засыпал днем, внезапно, где-нибудь в комнате на стуле. Теперь понимал, почему все изумлялись способности Нечаева не спать: так же, как Андрей, он не мог спать, и это было постоянное, естественное, неотключаемое. Потому что надо было дожить. Толпа шла шагом, плотно, в странном молчании. Над головами колыхались лавровые и пальмовые венки. Что это было? Похороны, что ли? Да, конечно, он вспомнил: умер Достоевский. Третьего дня кто-то говорил, кажется Саблин. Достоевский жил в том же доме, где жили Семен с Марией Николаевной. Семен рассказывал: несколько раз видел его на лестнице, возле дома и однажды даже разговаривал о чем-то, о птицах. Семен подкармливал крошками птиц в морозный день. И вот уже неделя прошла, как Семена нет. Марии Николаевне, как обычно с ее замечательным везением, удалось спастись, и сейчас она, слава богу, уехала из этой квартиры на Кузнецком, ибо сразу затем там арестовали Колодкевича. Но как перейти на другую сторону улицы?

Толпа замедляла шаг, останавливалась. Андрей, поднявшись на ступеньки каменного крыльца, смотрел в сторону головы колонны, там высоко поднимали венки, какую-то черно-желтую хоругвь, и оттуда несло пение хора. Был светлый, туманный, не по-зимнему теплый день. Шествие остановилось возле Владимирской церкви. Люди в толпе спрашивали: «Почему остановка?» Кто-то объяснил: «А как же, поют литию...» Было много бледных, угрюмых, заплаканных лиц, но много было и вовсе спокойных, даже довольных чем-то: как будто довольных тем, что удалось попасть и присутствовать. Колонну ограждала цепь студентов, державшихся за руки. Андрей решил пойти быстрее вперед тротуаром и попытаться обойти шествие спереди, тем более что оно делало остановки, а хвост, наверное, был велик, его не обойдешь. Где быстрым шагом, а где протискиваясь между цепью студентов и стенами домов, он продвинулся далеко вперед, почти к самой голове, и, приподнимаясь на цыпочки, уже мог видеть гроб, усыпанный цветами и окруженный громадной гирляндой листьев. На тротуаре стоял народ, глазевший на похороны и пытавшийся угадать, кого хоронят. Андрей слышал, как один говорил, что хоронят штатского генерала, второй сказал — учителя. И в другом

месте Андрей услышал: «Учителя хоронят, который на каторге четыре года безвинно...» И это напоминание о каторге почему-то больно задело Андрея, и он подумал со злой радостью: «Подождите, скоро другие похороны будут». Он сумел протолкаться в толпу, намереваясь пересечь ее поперек. Тут были солидные люди в дорогих шубах, может быть адвокаты, профессора, литераторы, было много женщин и молодежи. Все это двигалось, а вернее сказать, плыло в сторону Невского так слитно, нерасторжимо, что пробиваться сквозь эту объятую густой взволнованностью толпу было не то что трудно, а попросту нелегко. Андрей понял, что совершил ошибку, сойдя с тротуара и углубившись внутрь шествия. Его несло вместе со всеми, шатало вместе со всеми, вдруг останавливало, и он стоял обтиснутый со всех сторон, покачиваясь, потому что все вокруг покачивалось. Поневоле он прислушивался к разговорам, и мысли его, занятые равелином, Нечаевым, арестами друзей, голодом в Оренбургской губернии, обращались к писателю, великому и враждебно-далекому, ненавистнику. Призывал к смирению и одновременно так страстно ненавидел. «Смирись, гордый человек, и прежде всего слыми свою гордость!» И вдруг так ясно, внезапно подумалось: а ведь ненависть у них к одному — к страданию. И поклонение тому же, и вера в силу искупительную того же самого страдания человеческого. Пострадать и спасти. И, значит, где-то в самой дальней дали, недоступной взгляду, есть точка соединения, куда стремятся они каждый по-своему, — исчезновение страдания. Только он-то хотел — смирением победить, через тысячелетия, но ведь никакого терпения и не хватит! Нету у рода людского такого запаса терпения, нету и быть не может.

Толпа несла. Пробиться к левой стороне шествия и выйти на тротуар казалось почти невозможно. Он слышал тихие разговоры, вздохи, шарканье ног, всхлипыванья, испуганные голоса и даже стоны женщин и непрерывное, доносившееся и спереди и откуда-то сзади пение хоров. И все же это было единство, это был поток, катившийся к единой, всем ведомой цели — в Лавру? На кладбище? Смирись, гордый человек, и теки вместе со всеми.

Но времени более не оставалось ни минуты.

И он нажал плечом, расшиб, растолкал и выскочил опрометью на тротуар. Через полчаса, в середине дня, он был на Вознесенском.

Собралось человек семнадцать. Приехал Мишка Тригопи, срочно вызванный из Одессы. Глядя с радостью на своего необыкновенно плечистого, могучего друга, Андрей подумал: «Сегодня же его в сырную лавку! Вот из кого землекоп!» Опять говорили об инсurreкции, обсуждали, подсчитывали, и опять выходило то же: сил мало. Суханов сказал, что в лучшем случае можно поднять сотни две военных, считая моряков и артиллеристов. А по всем рабочим, студенческим кружкам, по всем городам — человек пятьсот. Так и они с Соной считали. Конечно, огромный рост могло дать удачное покушение. Тригопи, как человек провинциальный и восторженный, восклицал:

— Черти соломенные, чего вы плачете? Пятьсот человек — это же армия! Наполеон начинал с нуля, а у нас — пятьсот!

— Господин адвокат, ваше дело копать землю, — сказал Андрей. — Сегодня же ночью — за лопату!

Тигрыч вяло махал рукой:

— Какие пятьсот? Откуда? Выдаем желаемое за действительность...

И, конечно, Старик был, по сути, прав: истинных бойцов было не пятьсот, а пятьдесят. И даже, быть может, тридцать. А если еще

точнее, то вот эти семнадцать, что сидят в комнате. Эти пойдут до конца, на смерть, остальные будут помогать горячо, пылко, могут вступить в драку, но вопрос жизни и смерти ими еще не решен.

Второе, что обсуждалось: как действовать с рavelином? Андрей и Гриша Исаев прочитали последние нечаевские письма, которые тот передавал через верных ему караульных солдат на волю. В этих письмах было много здравого, но была и совершеннейшая фантастика. Нечаеву казалось уже недостаточным освобождение себя, Ширяева и третьего, безумного, узника. Он предлагал теперь ни больше ни меньше, как захватить в плен всю царскую семью в тот день, когда царь прибудет в Петропавловский собор на богослужение. План излагался подробно: его солдаты заранее займут все входы и выходы собора, поместятся на хорах, а Нечаев, заблаговременно освобожденный, появится внезапно в форме полковника, объявит Александра II низложенным, посадит его в камеру, а Александра III назовет императором. Одновременно будет захвачена вся крепость. Поражало одно: абсолютная уверенность в преданности своих солдат.

Одни смеялись, другие были изумлены, третьи высказывали догадку: а не тронулся ли Сергей Геннадиевич слегка? Тихомиров сказал, что занятное заключается в том, что, если б Нечаев взялся осуществлять свой план, он бы у него почти удался. Ведь у него все всегда почти удавалось! Нет, он нисколько не тронулся, это был обычный ясный нечаевский стиль. Он предлагал на выбор и два простых плана своего освобождения: один — через водосточную трубу, крышка которой находилась во дворике, где Нечаев гулял, а выход был в реку, невысоко над уровнем воды; второй — солдаты переоденут его и выведут за ворота, где будут ждать партионцы с пролеткой.

Суханов сказал, что если использовать водосток, то дело, вероятно, придется отложить до весны, когда сойдет лед. Но главная сложность была не в этом. Все смутно догадывались. Андрей сказал:

— Друзья мои, а ведь нам придется делать выбор: казнить царя или освобождать товарищей. Два таких предприятия рядом — немыслимо! Одно повредит другому.

Комитет решил: Желябову как можно скорей выяснить все возможные способы освобождения, имея в виду, что все-таки казнь царя предпочтительнее для дела, для России. Как ни горько, а похоже на то. А что было делать? Ведь и в «Катехизисе» говорилось, что действия революционера должны руководиться мерою пользы, а не какими-либо сентиментальными соображениями.

Водосток был отвергнут. Слишком узка труба, большой риск задохнуться. План с переодеванием был бы хорош, если бы не надо было его готовить и тратить по меньшей мере месяца полтора. Откладывать взрыв на Малой Садовой невозможно. Он намечен если не на 15-е, то на 22-е. Значит, до взрыва — невозможно. А после?

Ночью работали в подкопе. Другую ночь тоже работали в подкопе. И третью ночь работали. Днем приходил домовладелец и спрашивал у Кобозевых, довольны ли они ремонтом, не трескается ли асфальтовый пол. Домовладелец проявлял обыкновенную хозяйскую пруть. Богданович басил, гремел, размахивал руками, пытаясь положение дел обрисовать на словах, в то время как домовладелец интелесовался попросту зайти и взглянуть. И он чуть напирал на Богдановича, норовя сдвинуть его в сторону, что было трудно, тем более, что в комнате лежала свеженарытая земля. Но тут вмешалась Баска, своим бойким вятским говорком объявив, что в горнице белье развешано, а немного погодя могут зайти и поглядеть чего нужно. И

четвертую ночь работали в подкопе, который здорово продвинулся. И пятую ночь таскали землю. Андрей приходил домой под утро или днем, мылся, падал в постель. Сна не было. Иногда просто лежал без сил, с закрытыми глазами, иногда дремал несколько минут, вдруг что-то спрашивал у Сони. Ей казалось, что он разговаривает во сне. От него пахло землей. Он сам постоянно чувствовал этот запах от собственной кожи, от рук: запах сырости, погребя.

Вдруг очнувшись, увидел, что Соня сидит на стуле рядом с постелью и смотрит на него. В ее глазах за последние дни появилось какое-то странное, умоляющее выражение. Некогда было задумываться, но — похоже на страх. У Сони страх? Совершенная невероятность. Иногда в дремоте ощущал жалость к ней, просыпался от этого ощущения, но сейчас же — лишь просыпался — все пропадало. И вот теперь, очнувшись, он какую-то секунду жил еще не угасшим, из сна, чувством острого сострадания к ней, тут же вскочил, спросил: который час? Половина первого. В час начинался годичный «акт» в университете, и он обещал непременно там быть. Вдруг Сонин голос:

— Прощу тебя не ходить.

— Что ты! — Он засмеялся. — Как же я могу?

Он обещал Папию, Левке Матвееву, всем остальным, что придет и увидит все это своими глазами. Вместе с Папием Подбельским писали прокламацию, печатали в типографии на Подольской — от имени «Центрального университетского кружка». И они знали, что он придет, будет в зале, все разыграется как по нотам: сначала выступит Левка, потом Папий, потом Левка разбросает прокламации. Университетский «акт» бывает раз в году. Присутствие Андрея было для них важно. Оно придавало им силы.

— Тарас, я тебя никогда ни о чем не просила...

— Почему ж сегодня такой исключительный день?

— Потому что они — на твоих следах. Все эти аресты не случайны: неужели ты не видишь, что они подбираются к тебе?

Он видел. Но бунт в университете, если он состоится, это такая награда, ради которой стоит рискнуть.

— Ты уже не чужой в Петербурге... Тебя знают сотни людей... И ты идешь в этот Вавилон, где полно доносчиков и шпионов... Я знаю: будешь стоять на виду, будешь хохотать, размахивать своей бородой, еще и в драку влезешь, а драка будет наверняка...

Он сказал: да, наверно, так и будет. Но отступить он не может. Если он не придет, если Папий и Лев не увидят его перед началом — все может сорваться. Рухнут все приготовления. Да и стоит ли так уж бояться риска? Ведь жизни все равно осталось немного.

— Я ненавижу эти твои разговоры!

Он молча одевался, зашнуровывал тяжелые, разбитые башмаки. Давно бы надо купить другие, и деньги есть. Только зачем? Соня злым голосом выговаривала:

— Ты не имеешь права! Твоя жизнь не принадлежит тебе одному... Комитет поручил тебе удар кинжалом... Как можно ставить под угрозу все предприятие?

Неожиданно Соня закрыла руками лицо, села на кровать и согнулась, сжалась. У нее была одна такая поза: вдруг превращалась в какого-то маленького зверька, сжималась клубком.

— Зачем, зачем, зачем? Мне стыдно... — Она шептала сквозь зубы. — Ведь я была счастливым человеком — ничего в жизни не боялась...

Он ее успокаивал, стоя на коленях возле кровати, обнимая ее.

— А теперь боюсь, боюсь за тебя...

— Ты не бойся. Не надо. Помнишь, как говорил Дворник: «Человек, который победил страх смерти, всемогущ, как бог».

— Какой же страх смерти? Говоришь чушь...

— Ну, страх м о е й смерти. Тоже чушь. Тоже надо преодолеть.

— Нет! Нет, нет, нет! Я хочу, чтоб мы жили с тобой долго. Хочу, чтоб мы были счастливы. Неужели нельзя? Ведь говорили: потом, когда сделаем дело, поселимся на хуторе, будем пахать землю и читать книги...

— Ну да. А какие книги?

Она посмотрела на него.

— Какие? «Тараса Бульбу»...

— Тебе не надоело?

— Сама, конечно, читать не стану, но когда ты читаешь, могу слушать без конца. Что еще? Лукьянова о Гайдамачине, Антоновича, Жорж Санд. И, конечно, наши «Самоохранительные записки»...

«Самоохранительные записки» — их излюбленное чтение вечерами, уморительная чепуха. Он видел: она успокаивалась. Надо было уходить. Не уходить, а — бежать. Левка Матвеев, он же Коган-Бернштейн, и Папий Подбельский ждали на улице в условленном месте.

А у Сони было предчувствие: сегодня непременно что-то случится, поэтому такая мольба к нему — не ходить. Сама же, между прочим, в два часа пополудни собирала свой наблюдательный отряд на Забалканском. Ее тоже знает пол-Петербурга.

— Так вот, Соня.— Взяв ее руки в свои, очень серьезно взглянул ей в глаза, из которых еще не исчезло прежнее, умоляющее.— У меня к тебе тоже есть просьба: не ходи, пожалуйста, сегодня на Забалканский. Ладно?

Соня усмехнулась. Поцеловал ее, схватил пальто, шапку, выбежал бодро, одеваясь на ходу, ощущая, как с каждой секундой вливаются силы. Подойдя к университету, сначала увидел приземистого Папия, курившего папироску, стоявшего в одиночестве, потом в толпе — долговязого рыжего Левку, который что-то громко говорил студентам, заметил Андрея и сделал движение броситься к нему, но сдержал себя. «Очень нервен». Левка должен был прервать оратора криком, но следовало точно выбрать минуту. В толпе студентов Андрей разглядел и Суханова. Сделали вид, что не знают друг друга. К университетской годовщине министр просвещения Сабуров, эта хитрая лиса, достойный сатрап Лориса, приурочил отмену временных правил и восстановление университетского устава шестьдесят третьего года. Вот и надо было показать все лицемерие этой «уступки». Андрей поднялся на хоры. Запели стройно «Коль славен». Профессор Градовский читал отчет, довольно нудно; наличный состав, вольные слушатели, почетные члены, число стипендий увеличилось благодаря новым пожертвованиям со стороны таких-то господ. Назвали графа Менгдена, и Андрей вздрогнул: хозяин дома на Малой Садовой! Вспомнил, что сегодня он отдыхает, ночью работают Тригоны, Исаев, Фроленко и кто-то еще. Долго старался сообразить, кто же четвертый, и это мешало слушать и наблюдать. Наконец вспомнил: Дегаев! Дегаев по-прежнему чем-то не нравился, хотя проявлял необычайное рвение. Но что было делать? Людей нет. Если понадобится, придется звать на помощь таких юнцов, как Левка и Папий. Впрочем, Левка отчаянно горяч и способен на что угодно, а Папий, этот уральский здоровячок, сын священника, может быть безусловно полезен. Одну штуку он продельвает гениально: приседает на одной ноге. Да, да, гимнаст. А гимнасты будут нужны в случае заварухи.

Вдруг с хоров кто-то заорал. Это был горловой бас Левки:

— Не уважили требований всех университетов!..

Он перебивал уже не Градовского, а Мартенса. Мартенс продолжал бубнить, как пономарь. Снова тот же бас:

— Оратор, молчать!

Сразу возник шум, возня, крики раздавались в разных местах, и внизу тоже. Андрей увидел: Папий, в черном сюртуке, бледный необыкновенно, вышел из толпы, теснившейся на сцене позади стола, за которым сидели сановники, раздвинул стулья и, подойдя к Сабурову, дал ему пощечину. Многие не увидели, не поняли, зал был переполнен, народу — тысячи четыре, но Андрей знал, что будет пощечина, поэтому следил внимательно, как следят в театре за сюжетом хорошо знакомой оперы. Сабуров сидел неподвижно, вытянувшись, лицо его на глазах превращалось в маску. Папий исчез. Откуда-то посыпались листовки. Это Левкино дело. Тут пошло все стремительно — паника, крики: «Держи! Бей! Вот они!» Громадная толпа поднялась с мест, задвигалась, зашаталась. Начались драки, Андрей вязываться не стал, быстро спустился большой лестницей вниз. Он видел, как Левка под охраной своих приятелей-первокурсников тоже благополучно проскочил на улицу. Куда делся Папий, Андрей не видел.

Через полчаса встретил обоих на конспиративной квартире Геси Гельфман и Саблина на Троицкой. План удался во всех подробностях. Оба были возбуждены, обсуждали со смехом, перебивая друг друга, поведение каких-то своих знакомых, схватку, возгласы, крики, выражение лиц сановников: еще долго не могли остыть от боевой горячки. И были счастливы! Андрею так хотелось посидеть с ними на переломе их жизни — сегодня они стали нелегалами, будут жить некоторое время здесь, у Геси, пока им не принесут паспорта, платье, деньги, — хотелось поболтать с ними, обнадежить, успокоить и поесть что-то вкусное, что готовила Гесья, но обязан был уходить. Сегодня его ожидало еще одно дело, крайне тяжкое и секретное, о нем не догадывался и не имел права знать ни один человек, кроме Гриши Исаева. Не знала даже Соня. Да уж Соня тем более! Жесточайшее нарушение постановления Комитета. Он брал этот грех на себя, ну, и на Гришу тоже, потому что без Гриши ничего бы не состоялось.

Прибежал Саблин с пачкой газет, как всегда в бойком и балагурственном расположении духа, возмущался какими-то стихами из «Санкт-Петербургских ведомостей» на смерть Достоевского. Он был у Иванчина-Писарева, туда зашел Глеб Иванович Успенский, и они читали эти стихи и хохотали.

— Послушайте-ка: «Почий на лоне Авраама замечательный писатель, ты был за обиженных великий воздыхатель, за которых ты неустанно писал и ратовал, потому что сам за правду в изгнании живал...» А, каково? Чистый Лебядкин. Стихи капитана Лебядкина. Подписано: Максим Ковалев, крестьянин. Газетные ослы демонстрируют народное признание. Кстати, о народном признании: вот некоторая сумма в нашу кассу! — и он положил на стол несколько ассигнаций.

— Откуда же? — спросил Андрей.

— От Глеба Ивановича. Я не просил, он сам. Был шутейный разговор: интересно, мол, что сейчас задумывают террористы? Где соединят провода? Ну, и я важно сообщаю: я бы, говорю, избрал памятник Екатерине и под шлейфом ее устроил приспособления. Да вот беда — денег нет! Такое, говорю, оскудение в нашем кармане — вместо «Палкина» ходим в съестную лавочку, а крепкие напитки давно забыли. Да, говорю, с этой революцией всякое пьянство запустишь!

Папий и Левка во все глаза смотрели на шутника, который так запросто беседует со знаменитым писателем. Саблин не был знаком ни с Пашием, ни с Левкой, видел их на своей квартире впервые и

тем не менее продолжал весело — и неосторожно, как отметил про себя Андрей, — болтать.

— И тут как раз Глебу Ивановичу доставляют гонорар от «Отечественных записок». На квартиру к Писареву почему-то. Ну, и он всю сумму — мне! Пожалуйста! Это зачем, спрашиваю? Для проводов под шлейфом или для поддержания пьянства?

Папий с Левкой хохотали. Андрей сказал:

— Милый ты парень, Коля, но болтун...

— Это я так, от большого остроумия говорю глупости, как говорила моя матушка...

Хотелось сказать: «Когда-нибудь вляпаешься от большого остроумия», но промолчал. У Саблина на такие предостережения один ответ: «А мне не страшно. Я ведь живым не дамся». Надо было бежать, а Гесья уже несла на стол горячие пирожки и чай. Ах, Коля Саблин, счастливцев, зачем тебе ходить к «Палкину»? Гриша Исаев ждал в Пассаже. Андрей попрощался и, взяв пару пирожков, жуя на ходу, побежал. На улице стемнело. Уже зажглись фонари. Андрей шел быстрым шагом, почти бежал по привычке, и в мыслях мерещилось что-то легкое, какая-то слабая радость: что ж это было? Ах да: деньги! От Глеба Ивановича. Нечаев в письмах корил: зачем печатаете в «Народной воле» такие ничтожные суммы пожертвований — два рубля, пять рублей, полтора рубля? Надо печатать: господин икс пожертвовал в фонд партии пятьсот рублей, господин игрек — тысячу двести. Надо преувеличивать, пугать, создавать видимость, приводить в трепет.

Но как этот человек, видящий только цель и только пользу, сможет понять то, что касается его собственной жизни?

Сегодня будет сделана попытка его увидеть. И сказать ему честно о решении Комитета. Очень трудно его увидеть. И не менее трудно — сказать. В Пассаже на второй галерее, где была назначена встреча с Гришей, Андрей прохаживался перед входом в «Музей Лента», от нечего делать читая зазывные афиши: «Новости! Чудо нашего времени! Комическое поющее верхнее туловище еврея! Никогда не бывалые лучшие изобретения в механике!» Толпа двигалась бесперебойно: гимназисты, солдаты, молодые чиновники, девицы, заводские мастеровые в черных пальто, в цилиндрах с модными узкими полями. Для всех этих людей «автомат-негр, играющий на флейте», или «автомат-гусар, играющий на корнет-а-пистоне», или «механическая танцующая пара», или «трехголовый шведский соловей», или взрыв в Зимнем дворце, или казнь человека рано утром на Семеновской площади — чудеса примерно одинаковой силы и развлекательности. И Андрей знал это прекрасно и нисколько не сердился на толпу, со страстным любопытством стремившуюся в музей господина Лента. Где, кроме всего прочего: пытки в воске и железе, галерея разных преступников, большая коллекция старых и новых орудий пытки, мечи, употребляемые при казни, и иные редкости.

В другое время Андрей непременно зашел бы посмотреть орудия пытки и мечи, употребляемые при казни, — такие вещи его неизменно интересовали, — но он боялся покинуть галерею и пропустить Гришу. Вскоре Гриша возник из толпы улыбающийся, с несколько отросшей — теперь уже и не французской, а полурусской — белокурой бородкой. Следом за Гришей шел высокого роста солдат. Гриша быстро познакомил Андрея с солдатом, назвав имя солдата невнятно, так что Андрей переспросил.

— Звать меня Добрый Человек, — сказал солдат.

— Так просто — Добрый Человек? И все тут? — усмехнулся Андрей.

— А смешного ничего нету.— Солдат нахмурился. Был он богатырского роста, глядел угрюмо.— Больше вам знать не положено, господин.

Гриша объяснил: Нечаев всем своим солдатам дал клички, двойные, одну для употребления в рavelине, другую для города. Этого солдата зовут Добрый Человек и Аннушка. Он в рavelине уже не служит, переведен в петербургскую местную команду. Сейчас проводит Андрея на квартиру одного обер-фейерверкера, где Андрею дадут солдатское платье, и другой человек поведет его к рavelину. Гриша попрощался. Пошли с Добрым Человеком вдвоем. Солдат был на редкость молчалив и мрачен. На всякий вопрос Андрея он отвечал не сразу и с явной неохотой. В какой камере сейчас Нечаев? Пауза, потом мрачный ответ:

— Да в пятой... В какой ему быть.

Откуда рavelинские солдаты родом? Тоже после изрядной паузы: вологодские да архангельские. И когда уж дошли почти до Малой Пушкарской, где жил обер-фейерверкер, Андрей решил спросить о Нечаеве: сильно ли его уважают?

Добрый Человек остановился и поглядел на Андрея, как бы чему-то дивясь.

— А попробуй не уважай.

— Что же так?

— Да он как глянет!..

Сделалось совсем темно. Андрею дали шинель, солдатскую шапку, и какой-то другой солдат по кличке Пила повел его в крепость. Откуда в Нечаеве эта сила? Что он делает с людьми, отчего так безропотно подчиняются? Пила был более разговорчив и успел рассказать, что «наш орел» — так они зовут его между собой — все про всех знает, про все домашнее, деревенское, не хуже ведьмака. Сам-то в камере, а народом оттуда командует. Я, говорит, сказал, чтоб моя партия дворец взорвала? Так и вышло. Приказал в царя стрелять? Стреляли. А его и начальство рavelинское боится, потому что его никакой мор не берет: два года кандалы таскал, мясо гнить стало, а он — живой, нетленный. Вот и боятся: потому что неровен час прикажет — к ногтю. Ему наследник престола подчиняется. А царя, говорит, я все одно изведу, потому что он народную измену сделал. Какое-то темное облако наивности, страха, одновременно бесстрашия, фатализма и безогадной доверчивости окружало этого загадочного человека. И тут был обман, и тут мистификация — ради великой пользы.

Когда на заседании Комитета Андрей заикнулся было о том, что мог бы попытаться поговорить с Нечаевым с глазу на глаз хотя бы через решетку камеры — такая возможность есть, ведь он все равно должен осмотреть рavelин в видах будущей попытки освобождения, — все стали ужасно на него орать. Не смеет и думать! Глупость! Абсурд! Преступный риск! Можно в письме объяснить сложность положения и невозможность откладывать покушение на царя. Кто-то предложил передать право выбора — казнь царя или освобождение — самим узникам, Нечаеву и Ширяеву, но это было тут же отвергнуто. На первом месте — казнь! Ради казни создана партия, погибли люди. Осматривать рavelин, подступы к нему — пожалуйста, пытаться увидеть Нечаева — строжайше нельзя. По грозному тону товарищей Андрей угадывал страх не только за его жизнь, но и за исход дела: ведь ему, Андрею, в процедуре казни поручался окончательный акт. Если царя не взорвет мина, его взорвут метальщики; если чудо спасет и от метальщиков, Андрей довершит дело кинжалом.

И все же, понимая страх товарищей и степень риска, Андрей решил на эту попытку. Знать никому не нужно. Риск? Не большой, чем его обычный, постоянный, ежедневный, с которым он свыкся, как свыкаются с грыжей. По словам солдата Орехова, первого посланца Нечаева, осмотреть рavelин с внешней стороны не представляло больших трудностей.

Было около восьми вечера, когда Андрей и Пила спустились со стороны Зоологического сада на лед Кронверкского пролива и двинулись к рavelину. Крепость темной глыбой высилась слева, а рavelин казался низким и плоским островом. Солдаты, дежурившие у стен, были товарищами Пилы. Он окликнул кого-то, отозвался, и Андрей поднялся по деревянным мосткам и по лестнице — тут, наверное, летом полоскали белье — на невысокий берег. Нечаев в последнем письме прислал нарисованный им план рavelина с указанием своей камеры. Рavelин представлял собою треугольник. В нем было девятнадцать камер, но лишь пять из них имели окна на внешнюю сторону, остальные смотрели во двор и были недосягаемы. Камера Нечаева была из этих пяти. Она располагалась в той стороне треугольника, что находилась прямо против крепости, в углу, ближнем к проливу, а рядом с нею было нежилое помещение, цейхгауз. Теперь уже два солдата сопровождали Андрея. Возле первого же окна остановились. Окно было высоко, выше человеческого роста, но под ним стоял ящик, на который Андрей вскочил.

— Кто это? — донесся хриплый, очень явственный шепот из темноты.

— Желябов, — ответил Андрей.

— Ага, Желябов. Очень хорошо! Послушайте, Желябов, у меня есть важные идеи, я кое-что набросал нынешней ночью, зная, что вы придете...

В камере горел какой-то слабый светильник, может быть, керосиновая лампа, но лицо человека, прижатое к решетке, было совершенно темно, ибо свет находился сзади. Андрей разглядел лишь, что человек очень худ, это было лицо юноши, почти мальчика.

— Вы меня слышите? Хорошо слышите?

— Да, да! — ответил Андрей.

— Так вот, Желябов, вы пришли как раз вовремя. Я предлагаю срочно распространить следующий манифест: «По совету любезнейшей супруги нашей государыни императрицы, а также по совету князей графов и так далее и по просьбе всего дворянства мы признали за благо...» Вы слышите меня? «...возвратить крестьян помещикам, увеличить срок солдатской службы, разорить все старообрядческие молельни...».

По-видимому, читал по писаному. Другая бумага должна была быть разослана священникам от имени святейшего синода, где говорилось, что император заболел недугом умопомешательства, что надо молиться с алтарей о его исцелении, но никому не открывать этой государственной тайны. Потом еще какие-то манифесты: к крестьянам, к русскому воинству, к гвардейским, гренадерским и армейским полкам, к коннице и к местным командам. Все читалось с необыкновенной, лихорадочной поспешностью, без пауз. Андрей слушал в ошеломлении. И мало-помалу — проходили секунды — чувствовал, как его одурманивает странная гипнотическая сила, проникавшая из зарешеченного окна. В какой-то миг вдруг показалось: гениальная идея! И не нужно казни царя. Вся Россия подымется. Однако через секунду сказал себе: вздор! Все это уже было и рухнуло: чигиринская затея, манифесты стефановичевские... Человек в камере был отрезан от мира. До него долетали лишь осколки событий. Он борол-

ся в одиночку, фантазировал в одиночку. Как же ему сказать, что свобода и истинная жизнь — отодвигаются? На какой срок — неизвестно.

— Как вы пишете? — спросил Андрей. — Вам дают чернила?

— Нет, я пишу сажей, которую собираю в душнике. Сажу развожу в керосине, — последовал быстрый ответ. — Грозятся заделать душники, чтоб я не собирал сажи. Тогда буду писать кровью. Я уже пробовал, написал одно письмо кровью, ногтем.

— Нечаев, я осмотрел равелин, — сказал Андрей, — и нахожу, что попытку освобождения вас и Степана предпринять можно. В этом месяце мы обязаны казнить царя. Все приготовления уже сделаны. Я сообщаю вам высшую тайну, для того чтобы вы поняли. После казни царя будем освобождать вас, но если начнем с вас, казнь царя может не состояться.

Было молчание. Андрей видел темную голову на фоне слабого дымного света. Услышал голос:

— Вы правильно решили. Мы будем ждать и желаем вам успеха.

Потом недолго поговорили о делах, о способах связи, о том, кто из солдат особенно надежен, кто нуждается в деньгах и кому надо подыскивать работу, и — попрощались. Андрей возвращался льдом пролива, охраняемый Пилою и еще каким-то солдатом, всю дорогу молчал, на душе было тяжело. Он будто ощутил гнет, внезапное отчаянье, что принес — тому, в пятую камеру. Но при этом было и облегчение. Потому что ложь есть тоска без исхода, а правда, даже самая ужасная, убивающая, где-то на самой своей вершине недостижимой есть облегчение.

Арестанту из камеры номер пять оставалось ожидание. И — гордость силой своей души: он выбрал! Всем понятно, что его выбор означает смерть. Едва держась на ногах от усталости, Андрей пришел домой. Соня лежала на кровати с грелкой. Непонятно было, что у нее за болезнь: вдруг терзали мучительные боли в боку, вдруг пропадали. Идти к врачам не хотела, старалась не обращать внимания, не выдавать себя, но Андрей видел.

— Где ты был так долго? Приходила Аня, сказала, что ты был днем у Геси, потом куда-то исчез...

Она улыбалась, худо дело: значило, что у нее сильные боли. Он подошел ближе, нагнулся, увидел слезы в темных глазах.

— Я осматривал Алексеевский равелин. Лазил черт знает по каким откосам. Ну что ж — побег возможен, но надо долго готовить.

— Мне сказали, что в университете аресты, и до самого прихода Ани я ничего не знала и страх как себя изводила. Ну, и сразу началась боль. А теперь совсем хорошо и ничего не болит!

Он приготовил еду, принес от хозяйки самовар, и Соня стала рассказывать: наблюдатели проследили сегодня весь путь царя с минуты до минуты. Сегодня он ехал через Певческий мост, а в Михайловском дворце задержался дольше обычного. Обратное все так же: Екатеринбургским каналом и Мойкой.

ГЛАВА X

Ночи и дни стали — одно. Все перемешалось, слилось, одинаково пахло земляной сыростью, могилой. Дни недели перестали существовать, кроме единственного — воскресенья. Два воскресенья отлетели впустую: однажды еще не были готовы снаряды, в другой раз царь почему-то не выехал на развод.

И осталось для жизни еще одно воскресенье: первое мартовское. Теперь или никогда, потому что и сил больше не было. Странная

ерунда преследовала Андрея: вдруг на несколько секунд он терял сознание. Эти мгновенные обмороки случались днем, на квартирах, во время разговора, но однажды было и на улице, в конке. Никто не замечал. Он не рассказывал. Боялся одного: потерять сознание под землей. Собственно, тут не было потери сознания, было лишь секундное затмение и потом ощущение, будто приплываешь издалека. Но после 20-го лезть под землю было не нужно, кротовая работа кончилась, и Исаев с Кибальчицем ждали субботы, чтоб заложить мину. Отряд метальщиков составил: Тимофей Михайлов, Рысаков, Гриневицкий и Емельянов. Эту дружину, которую назвали террористической, Андрей набирал постепенно, с января, присматривался к каждому, разговаривал подолгу, прощупывал на стойкость — да выбирать, правда, не приходилось. Самые стойкие были за решеткой.

Соня очень хвалила Гриневицкого. Сам Андрей был уверен в Михайлове: может, потому, что тот напоминал ему Преснякова. Рысаков был как-то смутен: то проявлял отчаянность, то заметно робел перед пустяками. На совещаниях был суетлив, нервозен, вдруг хотел групп, употребляя ученые слова вроде «индифферентный», «эксцентричный», «диапазон», «кафедральный социализм», да все не очень к стати. Емельянов, которого привела Аня Корба, хорошо знавшая его через Анненского, статистика и литератора, был совсем юнец. Но необыкновенного роста юнец, на улице возвышался над всеми на две головы, и Андрей за рост прозвал его Сугубым. Все это была молодежь, еще не выработанная, непрочная, и, говоря по-серьезному, ей бы надо было повариться в революционном котле хотя бы год, другой. Но что делать, когда людей нет и ждать нельзя не то что года — даже месяца!

По своей привычке во всем добираться до корней, выяснять про и с х о ж д е н и е Андрей пытался понять: что двигало молодыми людьми? Какой волной прибило их к тайной квартире, где говорилось о снарядах, кинжалах и открыто о цареубийстве? Гриневицкий — поляк, тут дело понятней. Михайлов — истинный пролетарий, работал на многих питерских заводах, входит в рабочую дружину. Рысаков? Бедность, одиночество, прозябанье. Родители далеко, близких нет. Тут — неясность. Книги, чтение? Желание вырваться из круга придавленности, нищеты? Про Емельянова и этого не скажешь. Сын псаломщика, воспитывался у дяди, русского дипломата в Константинополе, потом попал в семью либералов Анненских — и вот здесь, может быть: разговоры, книги, обыски и даже высылки хозяина дома...

А в общем-то, волна, прибывшая их, — дух времени, недовольство и тревога, царившие всюду.

В четверг на Тележной улице, в квартире Геси Гельфман и Саблина, только что нанятой — с прежней, в Троицком переулке, пришлось срочно съехать в середине февраля, обнаружилась слезка, — он собрал метальщиков, добровольцев, и Кибальчич объяснял им устройство снарядов. Самих снарядов еще не было, Гриша Исаев, Грачевский и Кибальчич трудились над ними в лихорадочной спешке. Но чтоб не терять времени зря, решили ознакомить добровольцев пока что с теорией. Кибальчич объяснял по чертежам. К следующему дню, к пятнице, техники обещали приготовить один пробный снаряд, который надлежало испытать где-нибудь в укромном месте за городом. Кибальчич просил: чтоб не больше четырех человек. Иначе — подозрительная толпа. Математическое мышление Кибальчича всегда поражало: почему непременно не больше четырех? Почему не больше трех, пяти? Нет, категорически точно: не больше четырех. В его сознании сперва возникали цифры, потом понятия.

Когда кто-то спросил, нельзя ли приготовить из гремучего студня снаряды для самозащиты, Кибальчич ответил: «Можно, если использовать по пять или шесть фунтов на каждый снаряд». Что это значило? Не очень охотно пояснил: «Снаряды будут маленькие».

И вот — ресторан Детроа, здесь условились встретиться, пообедать и ехать потом в укромное место. Всех этих молодцов еще надо кормить: они лишились заработка, стали нелегалами. Приехал Кибальчич и сказал, что снаряд не готов. Когда же? Завтра, в субботу. В девять утра за Смольным монастырем, перейти реку. Разошлись. Андрей поехал домой. Соня была дома. Они легли рядом на кровать и лежали, обнявшись, минут сорок. Соня говорила, что у нее ничего не болит, но он видел: болит. Сам чувствовал, что может потерять сознание, и боялся заснуть. Лежал с открытыми глазами. Соня спросила:

— Куда же все-таки поедем?

Он сказал, что всякий кулик свое болото хвалит. Лучше Феодосийского уезда места нету. Можно еще в Брацлав Подольской губернии. Вдруг вспомнил деда: как прощались на бугре густым, синим утром, потом была долгая, в пылюке, дорога, жара, печаль. Воспоминания — сушь души. Отгонял их. Если что и вспоминалось — случайно, секундно. В половине пятого встали, оделись, вышли на улицу. Взяли извозчика. На Большой Садовой около Публичной библиотеки остановились, отпустили извозчика и расстались: Соня где-то здесь встречалась с Аней Корба, а у Андрея было назначено несколько свиданий на Невском. На заснеженном тротуаре перед входом в Публичную сказали друг другу: «Ну, прощай!» — и Соня еще добавила, как обычно:

— Будь осторожен.

И это было — последний раз. На Большой Садовой какой-то тип привязался сзади, губастая сволочь, пришлось сделать несколько кругов — наука Дворника: уходить кругами, не по прямой, — прежде чем от него отделался. Человек из Москвы, ожидавший в кофейной, прождал лишние полчаса. Потом была встреча с равелинским связным, передавшим письмо от Нечаева. Тот проникся особым уважением к Андрею. На конверте стояло: «Тарасу в руки». А несколько дней назад Нечаев в письме требовал установления диктатуры в партии, на роль диктатора предлагал Андрея. Тогда очень смеялись. Тут же в трактире Андрей попытался разобрать письмо, написанное шифром. Какие-то сообщения о солдатах и советы, как с ними обходиться. Пила любит выпить, Дьякон всех умнее, преданнее, его сделать целовальником в небольшом кабачке. Главное, не оставляйте их без дела, в праздности: они непременно запьянствуют. Платите скромное жалованье, никак не более двадцати рублей, и делайте подарки за ловкость, но требуйте... Чего требовать, Андрей разобрать не успел, время вышло, надо бежать к Тригони. Письмо не слишком важное. Думать об устройстве солдат после побега, который неизвестно когда состоится, сейчас ни к чему. Тригони жил в меблированных комнатах госпожи Мессуро, на углу Невского и Караванной. Он должен был вернуться от Суханова. Поднявшись на второй этаж, Андрей увидел, что дверь номера, расположенного напротив номера двенадцать, где жил Тригони, приоткрыта и в щели что-то дернулось, блеснуло: будто человек, стоявший у самой приоткрытой двери, отпрянул.

Тригони сидел в жилете, напевал, читая газету и одновременно ковыряя в трубке. Настоящий «дядя», как Андрей привык называть Мишку с детских лет.

— Здравствуй, дядя. У тебя в коридоре, кажется, полиция.

Мишка вскочил со своей всегда поражавшей Андрея прыткостью — семь пудов богатырского веса поднял с кресла вмиг.

— Капитан? — спросил Мишка.

— Какой капитан?

— Напротив живет какой-то флотский капитан. Позавчера он мне стал подозрителен, был услужлив, приставал с разговорами. Я решил отсюда ретироваться.

— Подожди! — Андрей остановил Мишку, который двинулся к двери. — Ты куда?

— Попрошу самовар.

Он вышел. Андрей услышал его громкий голос;

— Катя, принесите самовар!

Затем топот ног, шум борьбы: Мишку куда-то тащили. В кармане был «смит-вессон» и в конверте письмо от Нечаева. Собаки шифр разберут. Уничтожить? Попытаться прорваться? Он вышел в коридор, видя, как Мишку, этакого слона, затапливают в комнату напротив, там было человек шесть, но в ту секунду, когда Андрей вышел, коридор был пуст, и он быстро рванулся к лестнице. Кто-то сильно схватил его сзади за руки выше локтей, а внизу на лестнице стоял тот губастый, что пристал на Большой Садовой. Выхватить револьвер из кармана не удалось, вокруг стояли, держа его за руки, четверо.

— Дворянин Слатвинский? Николай Иванович? — Усатый жандарм глядел то в паспорт, который дал ему Андрей, то с суровостью — с какой-то даже нарочитой, театральной суровостью — на Андрея.

— Совершенно правильно. Что вам угодно?

Один из шпиков вынул из кармана Андрея «смит-вессон».

— Угодно получить сию вещицу, — сказал усатый, указывая на револьвер. — И кое-что еще. Прошу следовать за мной.

Спускались по лестнице. Горничная и двое жильцов, пожилой господин с дамой, стояли в вестибюле у лестницы и смотрели с отчетливым ужасом на лица. Пожилой господин что-то шепнул даме по-французски. Перед домом стояли две кареты. В одну уже садился Мишка. Два конвойных солдата стояли по сторонам дверцы. Андрей сказал усатому:

— На улице вы бы меня не взяли...

Усатый побагровел, насупился еще суровей, но ничего не сказал и сделал жест, повелевая садиться в другую карету. Повезли в канцелярию градоначальства. И первый, кого Андрей там увидел, был светло-рыжий, заметно раздобревший, но как-то поблекший цветом лица Добржинский.

— Желябов! — вскрикнул с искренней и такой знакомой одесской живостью прокурор. — Да это вы?

Спустя час в тех же каретах повезли в Дом предварительного заключения. Въехали в ворота. Еще не было понятно, что это конец. Вдруг вспомнилось: из этих ворот вышел три года назад после Большого процесса, тоже зимой, и кругом был чужой город, лютый мороз, неясность, молодость и надежды.

На другой день, 28 февраля, в субботу, произошло следующее. Метальщики рано утром, в девять, встретились, как договорились, на углу Невского и Михайловской, сели в конку и поехали на окраину города испытывать снаряд. Выбрали пустынное место, и Тимофей Михайлов бросил банку с гремучей ртутью. Все взорвалось как надо. Желябова не было, и метальщики удивлялись, куда он делся. Потом поехали на квартиру к Гесе, ждали Желябова там, но он не пришел. Геся сказала:

— Значит, у него дела, он занят.

А в квартире на Вознесенской уже знали, что Желябов и Тригопи арестованы. Перовская ждала Андрея всю ночь, утро и день в необычайном волнении, и когда около двух часов пришел дворник Петушков, глупый и простодушный человек, сказал, что начальство требует справиться, все ли жильцы ночевали на квартирах, и спросил, дома ли ее братец Николай Иванович, она поняла, что — конец. Андрей схвачен, и там доискиваются его квартиры. Объяснив Петушкову, что братец ночевал, разумеется, дома, а сейчас на службе, Перовская взяла самое необходимое и вышла черной лестницей во двор, а оттуда через табачную лавочку на улицу. На Вознесенском был Суханов, и Перовская попросила его помочь ей очистить квартиру и вынести тяжести, нитроглицерин. Это было сделано тотчас.

В сырной лавке между тем тоже происходили события: неожиданно явилась санитарная комиссия во главе с генерал-майором инженером Мровинским. В лавке находился Богданович.

Все последние дни тревога вокруг торговли Кобозевых сгущалась. Доносились разговоры о том, что дворники подслушали что-то крамольное, что соседние торговцы нечто заподозрили и донесли, что на днях шпионы погнались за Сухановым, который вышел из лавки, и тому удалось спастись, взяв лихача. Все это значило, что сырная мистификация рухнет со дня на день.

Поэтому Богданович обомлел и сказал себе: «Ну, все!» — когда увидел шествие во главе с господином в черной меховой генеральской фуражке, пристава и дворника. В магазине около задней стены был сделан деревянный короб, на котором помещались выложенные из бочки сыры. Мровинский постучал тростью по коробу и сказал, что крошки сыра могут падать в щели и там разлагаться. Щели нужно зашпаклевать. Умный совет! Богданович радостно благодарил, обещая тут же исполнить. В лавке стояли бочка и кадка, наполненные землей, лишь сверху прикрытой сырами. Мровинский спросил:

— Это что же? Все сыр?

Богданович сказал:

— Точно так, ваше превосходительство, все сыр!

Изображая образцового дурака, кричал и глаза выпучивал. Увидев на полу возле бочки сырость, Мровинский спросил: откуда? На масляной сметану разлили. Так, дальше, в жилую комнату. Тут была деревянная обшивка от пола до окна, которую снимали, когда лезли в подкоп, потом ставили обратно. Мровинский подошел к обшивке, постучал тростью, подергал рукой, но — слабо, лениво, так что обшивка не шелохнулась. У Богдановича сердце остановилось.

— Это зачем тут?

Богданович прокричал, что сырость душит, от сырости. Подойдя к подоконнику, Мровинский сильно надавил на него сверху, испытывая прочность. Подоконник не дрогнул. Затем комиссия направилась в заднее помещение, выходящее во двор. Там были большие кучи земли, замаскированные сеном, углем, рогожей. Мровинский пнул одну кучу ногой.

После этого комиссия удалась. Вскоре пришла Якимова. Богданович встретил ее сумасшедшей пляской и криками:

— Ему понравилась наша Мурка! Ура, ура, ура! Он влюбился в нашу кошку! Он все время поглядывал на нее, а когда уходил, нагнулся и погладил! Да здравствуют генералы, которые любят маленьких кошечек!

В три часа дня на квартире Фигнер: Перовская, Корба, Суханов, Грачевский, Фроленко и хозяйка квартиры Фигнер с Исаевым. Перовская ходила из угла в угол. Просили:

— Соня, сядь!

Она не слышала. Лицо ее стало внезапно старым, застывшим, вся она как-то согнулась. Ни откладывать, ни отступать было теперь невозможно. Значит — завтра! Завтра, в воскресенье, в середине дня. Осталась одна ночь, чтобы доделать снаряды. Ни один из четырех еще не был готов! Соня говорила:

— Это должно быть непременно завтра, для того чтобы снять с тех, кто там — вам понятно? — как можно больше ответственности...

Всем было понятно. Она думала о нем каждую минуту. Вдруг замечали: отсутствует, не слышит. И в глазах — мука. Но через секунду снова: с непреклонной твердостью распоряженья, команды, мгновенные решения. Новая квартира Геси и Саблина на Тележной по некоторым признакам тоже небезопасна, значит, надо перенести все сюда, на Вознесенский. В первую очередь перетащить нитроглицерин и все технические приспособления для приготовления снарядов. А как поступить, если царь не поедет по Малой Садовой? Ответ на вопрос Перовской единогласный:

— Действовать одними снарядами!

Метальщиков, как и сигнальщиков, предупредить не успевали, но им со вчерашнего дня известно, что делать: в десять утра должны быть на Тележной. Перовская займет место Желябова. Они знают ее так же, как его. А о том, что он арестован, сообщать им не нужно.

— Я вам хочу повторить слова Тараса, — сказала Перовская и улыбнулась. — Он сказал недавно: «Теперь уже ничто нас не остановит. Даже если бы мы сами хотели себя остановить».

Гришу Исаева она отправила в лавку Кобозевых: закладывать мину. В пять вечера Суханов, Кибальчич и Грачевский начали работу, имея в виду работать всю ночь и приготовить к утру четыре снаряда. Перовская и Фигнер им помогли, делая самое несложное: отливали грузы, обрезывали жестяные банки из-под керосина, служившие оболочками снарядов, наполняли их гремучим студнем. Все остальные ушли, чтоб не мешать. Ночь напролет пылал камин и горели лампы. Женщины не устояли и свалились в пятом часу утра — Перовская легла сама, зная, что ей понадобятся силы, — а когда проснулась в восемь, два снаряда уже были готовы окончательно, а два других почти готовы, оставалось наполнить жестянки студнем. С двумя снарядами в узле Соня поехала извозчиком на Тележную, следом за ней отправился Суханов. А через короткое время два других снаряда понес туда Кибальчич.

Утром пришли метальщики. Перовская призналась им, что Желябов арестован. Признание вырвалось внезапно, помимо воли, оттого что думала о Желябове каждую минуту. Кто-то из метальщиков сказал: «А здесь будет стоять Захар!» — и она не выдержала и сказала. Метальщики смутились. Было видно, что тут не только испуг за себя, страх за дело, но и истинное сострадание, и она посмотрела на них с любовью. Вдруг увидела, какие они молодые. Гриневицкий был красив, с темной бородкой, усталым взглядом. Он сказал, что ночь не спал, сочинял письмо — «на всякий случай» — и хотел бы ей прочитать или чтоб она сама прочитала, если есть желание. Она сказала, что желание есть, непременно прочитает, но за спешными разговорами забыла и вспомнила, когда он уже ушел. Рысаков курил папироски. Тимофей Михайлов выглядел спокойнее всех, но сжимал кулаки. Долговязый Емельянов щурился и странно улыбался большим ртом. Лицо у него — совершенно мальчишеское.

Перовская объяснила каждому, где кто должен стоять и какие будут сигналы. Про Малую Садовую сказала: «Его там будут ждать» — и они подумали, что там будут стоять такие же метальщики, как они. Взяв с Гесиного стола какой-то конверт, рисовала план:

здесь Малая Садовая, Итальянская, Манеж, здесь Екатерининский канал, надо стоять здесь, здесь и здесь, отсюда будет сигнал платком, здесь крест, казнь. Глядя на юношей, пожиривших ее глазами, слухом и колотящимся сердцем, Перовская думала: эти мальчишки остались взамен героев. Выбора нет. Потому что никто уже не может остановить. Да, четверо юнцов — бледный, иисусистый Гриневицкий; всегда молчащий Михайлов; скуластый, с серым, в угрях лицом голодного семинариста Рысаков; огромный и хилый, с детской головкой Емельянов — взяли эту заботу на себя: одним ударом повернуть Россию в другую сторону.

Императора страстно занимали две задачи: возможность коронования княгини Юрьевской и проект Лориса о выборных людях. Две задачи, казалось бы столь далекие друг от друга, на самом деле крепчайше переплелись и объединились, имея одних врагов. Партия Аничкова дворца, цесаревич и близкие к нему лица вроде Победоносцева ненавидели Юрьевскую точно так же, как конституцию. А сама Юрьевская и те, кто склонялись под ее крыло, были конституционалистами единственно для того, чтобы насолить своим врагам. Впрочем, Лорис понимал необходимость уступок. Хотя бы таких мизерных, какие намечались проектом. Это были даже не уступки, а некий милостивый символический жест: «Мы уступаем!» Предлагалось вот что: в общую комиссию, которая должна подготовить ряд законопроектов по результатам организованных Лорисом сенаторских ревизий, включить наряду с сановниками выборных лиц от губерний, где существовало земство, а также от некоторых значительных городов. Рассмотренные комиссией законопроекты должны быть внесены в Государственный совет, а в его состав предполагалось ввести — с правом совещательного голоса — также нескольких представителей от общественных учреждений, «обнаруживших особые познания, опытность и выдающиеся способности».

Вот эта тень реформы даже не самих законов, а только лишь порядка подготовки законов почему-то приняла в петербургских светских и полусветских кругах, питающихся слухами — смеху достойно! — название конституции и Лориса-Меликова. Одни возлагали на эту конституцию непомерные надежды, другие трепетали ее, третьи злостовали, и даже германский император Вильгельм был встревожен и просил племянника сделать все, чтобы сохранить власть за правительством. Как будто речь шла о каком-либо ущербе самодержавию!

За последний год Александр все прочнее доверял Лорису. Что ж, граф доказал: в стране, по-видимому, наступило успокоение (мелкие деревенские бунты не в счет), авторитет власти повысился, нигилисты притихли и в то же время твердая рука департамента вылавливала их бесперебойно одного за другим.

Вот и в субботу Лорис принес радостное известие: арестован вождь террористов Желябов. Александр так взволновался этой новостью, что тотчас поспешил наверх рассказать княгине. Однако Лорис, как всегда, умел не только воспламенять, но и охлаждать тут же: сказал, что по некоторым признакам злоумышленники способны на отчаянный акт и ехать в Михайловский манеж на развод не следует. Александр протестовал: когда же, мой бог, кончится этот карантин? Ведь все главари схвачены. Это известно доподлинно благодаря указаниям Окладского. Злодейская партия раздавлена. Кого бояться? Два развода уже были отменены...

И опять вспомнили гадалку в Париже, предсказавшую, что он переживет семь покушений.

— Я пережил пока только шесть. Еще одно есть в запасе!

Вечером в гостиной княгини, играя в ералаш, Александр случайно задел рукой и сбросил со стола свою фотографическую карточку. Она упала на ковер. Этот пустяк как-то внезапно и тяжело расстроил императора, сразу вспомнившего о других дурных знамениях последних дней: накануне видели в небе звезду необыкновенно яркую, с двумя хвостами, одним вверх, другим вниз, а недели полторы назад Александр стал замечать каждое утро убитых голубей на своем окне. Оказалось, огромный хищник — то ли коршун, то ли орел — поселился на крыше Зимнего дворца, и все попытки его убить были напрасны в течение нескольких дней. Наконец поставили капкан и птица попала в него, но все же смогла взлететь, таща капкан за собой, и упала на Дворцовой площади. Чучело исполинского коршуна должно быть помещено в кунсткамере. История с птицей была настолько нелепа, что Александр даже не рассказывал княгине, щадя ее. Было и другое неприятное: вновь страшный сон с кровавым полумесяцем. Сон этот давно являлся царю, и лет пять назад русский посол в Константинополе запрашивал турецкого волшебника Али-Эффенди. Волшебник объяснил так: между Россией и Турцией будет война и в кару за нее аллах пошлет царю убийцу из его же народа.

Все вспомнилось разом от упавшей на ковер фотографической карточки, охота продолжать игру пропала. Княгиня, все прочитав по его помрачневшему лицу, просила не ездить на развод завтра. Другая партнерша по ералашу, придворная дама, тоже стала умолять его не ездить в манеж, и это его раздражило, потому что теперь все считали своим долгом руководить им и заботиться о его безопасности.

Утром 1 марта Александр встал, как обычно, в девятом часу. Долго гулял с Юрьевской по залам дворца, разговаривал о лорис-меликовском проекте, который вчера уже стал государственной реформой, сегодня будет подписан, а завтра, в понедельник, опубликован в виде указа. Вчера Лорис явился на прием совершенно больным, и Александр послал к нему скорохода справиться о болезни. В случае, если граф по-прежнему нездоров, было велено передать, что государь заедет к нему сам. Документ должен быть подписан сегодня — и гора с плеч! Через четверть часа Лорис приехал. Держался он браво, по-военному, но вид был нехорош, лицо землистое, в глазах краснота. Александр знал по рассказам, что граф болеет крайне мучительно не только для себя, но и для врачей: не дает себя осматривать, требует, чтоб лечили по его рассказам о болях и ощущениях, даже не разрешает ставить градусник под мышку. А все же никуда не денешься: азиат! Граф твердо отвел разговор о болезни и после того, как документ был подписан, сообщил, что на Малой Садовой осмотрена одна подозрительная лавка, но ничего не найдено. Вокруг этой Малой Садовой уже более года шли разговоры, еще с прошлой зимы, когда Тотлебен сообщил из Одессы о каких-то слухах, переданных Гольденбергом. Но вот — ничего же не находят. Лорис, однако, вновь настойчиво просил не ехать на развод. И Александр, уже было решивший с утра поехать, опять заколебался.

Погрузившись в привычное для себя колебательное состояние, Александр смутно слушал рассказ Лориса о каких-то тонких ходах Валуева и кознях известных лиц, оснащенный, как всегда, красочными русскими поговорками вроде «тара-бара, крута гора» или «аль у сокола крылья связаны, аль пути ему все заказаны?». И когда Лорис ушел и доложили о приезде великой княгини Александры Иосифовны, жены брата Константина, он почти совсем победил колебания и решил не ехать. Великая княгиня, узнав, что он не едет, огорчи-

лась: сегодня на параде в манеже впервые участвовал ее сын Дмитрий.

Тогда он внезапно решил: поехать!

И так как очень хотелось поехать, это решение его обрадовало, и он, вдруг повеселев, быстро поднялся к княгине и сказал, что подписал указ о выборных людях и что из Михайловского дворца, от великой княгини Екатерины Михайловны, которую он посетит после развода, придет прямо домой не позже половины третьего. И потом весь день они проведут вместе до обеда у великого князя Владимира. Княгиня просила его не ехать по Малой Садовой.

— Скажи Фролу, чтоб ехал по Екатерининскому, — просила она напоследок. — По Екатерининскому, слышишь?

Караул внизу проорал свое оглушительно ретивое: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Полицмейстер Дворжицкий стоял у кареты. Его собственные сани, на которых он с двумя полицейскими чинами должен следовать за каретой царя, находились тут же, под навесом закрытой галереи. Эта галерея у царского подъезда была сделана недавно с особой целью: чтобы злоумышленники не могли видеть приготовлений к выезду. Кучер Фрол Сергеев умел с места переводить орловских на рысь.

Полицмейстер полковник Дворжицкий, состоявший при особе царя, зорко выглядывал из саней своих людей: только что он самолично проехал весь царский путь от дворца до манежа, расставив наряды полиции и конных жандармов. Впервые за много месяцев Дворжицкий чувствовал себя покойно в теплых полицмейстерских санях. Всему приходит конец. И безумию тоже. В девять утра сегодня он был вызван к градоначальнику Федорову в числе других полицмейстеров и приставов столицы, где услышал подтверждение слуха, разнесшегося еще вчера: о том, что арестован главарь анархистов Желябов. Ба, ба, тот самый, кого давно и безуспешно искали! Осталось схватить двух-трех человек — и с крамолы будет покончено. Федоров, человек глупый и суетливый — Дворжицкий его терпеть не мог, — высокопарно торжествовал, рисуя себя чуть ли не главным искоренителем крамолы.

— Я пригласил вас сюда, господа, чтобы объявить вам душевную благодарность. Всем русское спасибо, господа!

Развод 1 марта был от лейб-гвардии саперного батальона. Громобойный бас манежного глашатая прокричал о приезде императора. Раздалась команда:

— Смирно!

Ворота распахнулись, и Александр в мундире саперного батальона въехал верхом в манеж; император повернул лошадь к батальону и сделал знак рукой. Оркестр заиграл гимн. Две минуты длилось «ура!».

Саперы два раза прошли перед царем. Было замечено, что после парада Александр несравненно долее, чем с другими, разговаривал с французским послом генералом Шанзи.

После парада Александр отправился в Михайловский дворец к любимой кузине Екатерине Михайловне, у которой пил чай. В четверть третьего снова сел в карету и поехал во дворец. По Инженерной улице царский кортеж стремительно промчался до набережной. Казаки галопом сопровождали карету. Повернули вдоль Екатерининского канала. Набережная была пустынна, мальчик волок по снегу корзину, шел навстречу офицер, какой-то молодой человек без шапки, со свертком в руке стоял на тротуаре и, когда карета поравнялась с ним, вдруг бросил сверток под ноги лошадам.

Это был Рысаков, который оказался первым в ряду металлчиков, вовсе не желая того: просто Тимофей Михайлов дрогнул и в последнюю минуту не занял назначенного ему места. Утром в кондитерской договаривались, где кому стоять. Блондинка, руководившая делом — Рысаков не знал, что ее зовут Перовская, про себя называл Блондинкой, — велела им распределить места между собой кому с кем удобнее, по принципу дружбы. Чтоб более близкие друзья стояли рядом. Но никакой дружбы между ними не было. Слишком недавно узнали друг друга. Все делалось поспешно и в то же время как-то вязко, будто сквозь сон, будто под влиянием какой-то диктующей воли. Рысакову казалось, что и Блондинка, при всей ее необыкновенной властности и силе соображения, действовала не сама от себя, а от имени этой громадной подавляющей воли. В кондитерской никто ничего не ел, кроме Котика: под этой кличкой Рысаков знал Гриневицкого. Было сказано: «Я махну платком, и это значит — вам идти на Екатерининский». Он шел с Котиком по Михайловской улице и увидел, как Блондинка сморкается в белый платок, и тогда они сразу пошли на Екатерининскую. Но Тимофея Михайлова не было. Они стояли на набережной вдвоем, в нескольких шагах друг от друга. И со стороны манежа приближалась долгоногая (за версту видать) каланча — Емельянов.

Блондинка уже находилась на другой стороне канала. Она махнула белым. И это значило: рысаки вывернулись из-за угла и с громом, цоканьем черной сверкающей бурей покатались на...

По мистическому совпадению Рысаков оправдал свою фамилию, но не более того: он казнил рысаков. Царь вышел невредимый из кареты. Дым рассеялся. Кричал смертельно раненный мальчик, что волок корзину по снегу. На Рысакова набросились, свалили. Подошел царь. Кто-то больно выламывал руки.

— Кто таков?

— Мещанин Глазов..

— Хорош! — сказал царь, и лицо его показалось Рысакову белым, взбухшим, как тесто.

Кричали вокруг:

— Ваше величество! Немедленно! Только назад! Скорей во дворец! Слава богу, государь не ранен!

Еще слава ли богу? Крутили руки. Давило шею, как железом. Царь сделал несколько шагов в ту сторону, где стоял Гриневицкий, и — с громом треснул воздух, окутало дымом. Через минуту царя тащили к саням, стоявшим за разбитой каретой. Народу стало очень много. Все ужасно кричали.

Гриневицкий, взорвавший себя вместе с царем, был доставлен в придворный госпиталь конюшенного ведомства, где и умер спустя восемь часов. На короткое время перед смертью он пришел в сознание и на вопрос о своем имени и звании ответил:

— Не знаю.

Царь скончался через час двадцать минут во дворце. Только несколько человек, знавших о предсказании гадалки, вдруг сообразили, что парижская ведьма права: царь благополучно пережил седьмое покушение, бомбу Рысакова, убившую двух казаков, мальчика и лошадей, и погиб от восьмого. Но это, разумеется, было вздором и случайностью. Однако один человек, вовсе не оракул, твердо знал, что произойдет в воскресенье, и, расхаживая в третьем часу пополудни по загончику двора Дома предварительного заключения — было время послеобеденной прогулки, — прислушивался к звукам, доносившимся из города, надеясь услышать взрыв. Он не услышал, да и

не мог услышать. Все равно он упорно и страстно прислушивался. Просто ни на что иное в эти минуты, в третьем часу пополудни, не было способно его существо.

ГЛАВА XI

Первым показанием Андрея в день ареста, в пятницу 27 февраля, после того как прокурор Добржинский воскликнул радостно: «Желябов, это вы?» — была следующая краткая собственноручная запись:

«Зовут меня Андрей Иванович Желябов, от роду — 30 лет, ве-роисповедание... (тут он не написал ничего), крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, села Николаевки; служу для освобождения родины; из родных имею отца, мать, сестер, брата (Александру, Марию, Ольгу, Михаила); все они живут в том же Феодосийском уезде; женат, имею сына; где находится семейство, не знаю; полагаю, у тестя моего Яхненко, в Тираспольском уезде, Херсонской губ. Был судим по процессу 193 и оправдан. Жил на средства из фонда для освобождения народа. Жил под многими именами; называть их считаю неуместным. Признаю свою принадлежность к партии «Народная воля». Признаю, что организовал александровское покушение и смыкал батарею, т. е. покушение взорвать императорский поезд 17 ноября 1879 года под г. Александровском, где жил тогда под фамилией Черемисова. Настоящей квартиры моей в Петербурге, а равно и знакомых назвать не желаю. При задержании меня взят при мне заряженный револьвер системы «смит-вессон» и несколько патронов, а также в запечатанном конверте два листа, написанные шифром, открыть который, понятно, не желаю. Всему зачеркнутому прошу верить. Взят также ключ. Андрей Желябов».

Две ночи он замечательно спал впервые за долгое время.

Третью ночь, с 1 на 2 марта, спать не пришлось. Подняли внезапно среди ночи, часов около двух, велели одеться и повезли к Цепному мосту, в департамент полиции. Думал спокойно: «В «комиссию», что ли? Пытать?» Давно ходили слухи, что в «комиссии» бывшего Третьего отделения происходят истязания: будто бы проваливается кусок паркета и над человеком, провалившимся наполовину, совершается экзекуция. Говорили, будто Каракозова пытали. Делается втайне. А зачем же еще с р е д и н о ч и? С мыслями о возможных пытках Андрей свыкся давно. Споров об этом было много, большинство считало, что пыток все же нет, времена изменились, некоторая законность существует, но Андрей задавал себе вопрос: «А что же делать, если попадетс я в руки такой господин, как я? Ведь ни словечка не скажу. Правда, и под пыткой не скажу. Но они-то, дураки, не знают».

Вот о чем он думал, качаясь в могильно-темной карете и с трудом отделяясь от сна. В комнате, куда ввели, сидел за столом старый генерал, смотревший не мигая и очень пристально, весь сморщившись от пристальности, на входящего в дверь Андрея. Был генерал похож сморщенной мордочкой на комнатную собачку из таких маленьких, противных. В комнате находились еще два чина, один жандарм, другой из судейских, а четвертый был знакомый, но уже безо всякой радости на лице и, наоборот, с окаменелой физиономией — Добржинский.

Привели какую-то бабу, она посмотрела на Андрея и, покачав головой, сказала:

— Нет, вроде не тот...

Баба показалась знакомой. Потом уж сообразил, что это хозяйка квартиры, которую снимал Рысаков и где Андрей у него бывал. А

через минуту вошел сам Рысаков. Но в каком виде! Был бледен невероятно, под глазом громадный кровоподтек, взгляд померкший. Пожали друг другу руки. Андрей понял: били. За что? Где? Вдруг догадка: толпа, как Соловьева...

— Знаете сего субъекта? — спросил генерал.

Андрей сказал, что знает. Под какой фамилией? Ответил, потому что понял: им известно. Но уже страшно мучило любопытство, он уже догадывался по изморожанному Рысакову, по застылым, смертельным лицам чинов о том, что нечто произошло! Спросил у прокурора палаты — потом узнал, что фамилия прокурора Плеве, — что случилось, отчего будят в два часа. Прокурор после молчания, длившегося секунды две, во время коих он грозил лицом и как-то напыживался, объяснил:

— Совершено покушение на священную жизнь почившего в бозе государя императора.

Так! Кончено. Ему хотелось расхохотаться, и он улыбнулся, глядя на окружавшие его злобные лица. Рысакова увели. Что же там делается? В городе, в стране? Что в университете? В Кронштадте? Страна, разумеется, молчит, пока еще не прочухала, не поняла, а в столице, может быть, — началось. И что с Соней? Все — бури, пронесившиеся мгновенно, безответно. Его что-то спрашивали. Ах так: что он знает о злодеянии?

— Господа, сие не злодеяние, а величайшее благодеяние для освобождения народа и большой праздник для революционной партии...

— Прекратить! — крикнул, хлопнув по столу ладонью, генерал. — Прекратить пропагаторство! Докладывайте факты!

— Я говорю как умею. Так вот, цель партии осуществилась. Со времени казни Квятковского и Преснякова дни императора были сочтены. За ним следили даже тогда, когда он ездил по институтам. Могу сказать, что не принял участия в покушении только потому, что лишен свободы, но нравственно — полностью сочувствую этому революционному подвигу.

Что-то спрашивали о форме снарядов, о составе взрывчатого вещества, он подробно объяснял. С удовольствием говорил об этом. Как выбиралось место действия? О, вопрос сложный! Место действия выбирается в зависимости от привычек объекта, а привычки выясняются путем длительного и регулярного наблюдения за объектом...

— Прекратить! — кричал генерал.

А его вновь терзало желание расхохотаться, но он сдерживал себя, лишь улыбался. Жандармский подполковник глядел на него как бы в ошеломлении. Генерал хлопал ладонью и кричал. Допрос длился несколько часов. Потом генерал и прокурор Плеве ушли, а Добржинский с жандармским подполковником повели Андрея лестницей вниз, в подвальный этаж, и длинным коридором без дверей, по-видимому подземным ходом, прошли в помещение, где было холодно, как на дворе, поднялись вновь этажом выше и остановились у двери. Добржинский сказал:

— Сейчас увидите человека, хорошо вам известного.

Открылась дверь. Два жандарма, как видно дремавшие на лавке, вскочили и вытянулись. В глубине помещения на столе лежал покойник. Стол был специальный, для покойников. С того края, что ближе к стене, на столе было сделано валиком возвышение, отчего голова оказывалась приподнятой и ее было хорошо видно. Покойник был Игнатий Гриневицкий. Он казался значительно старше, белое

лицо имело странное выражение: какой-то презрительности или скуки. В жизни у него не было такого выражения.

Андрей сказал, что не желает давать никаких объяснений относительно мертвого тела. Все были измочалены бессонной ночью. Добржинский и жандармский подполковник не приставали к Андрею и более не расспрашивали ни о чем, записали кратко в протокол и повели тем же путем назад. Привезли в предварилку. Оставшись один в камере, он лег на койку, блин подушки сунул под голову и стал думать.

Одновременно с радостью возникало что-то другое. Вдруг он стал думать о себе. Партия победила, но какое дьявольское, проклятое невезенье! Его собственное невезенье. К которому он приговорен. Все, за что бы ни брался, оканчивалось неудачей: конфуз под Александровском, неудача в Зимнем, неудача под Каменным мостом и вот теперь, когда все было подготовлено для последнего удара, судьба вырывает его из дела — накануне... И жалкий Коля Рысаков с его сырыми гимназическими мозгами, у которого все перемешано, револьверы, робеспьеры, девочки с Невского, и которого одновременно с желанием перевернуть мир одолевает желание съест большой бутерброд с колбасой, запивая чашкой кофе, — этот юнец будет представлять партию? Кому нужен такой процесс! Бессмыслица, ерунда. Процесс важнее бомбы. Если бомба не сможет расшевелить гнилое болото, тогда — процесс, речи, открытый бой на всю Россию!

Он потребовал бумаги, чернил. И вот что он написал на имя прокурора судебной палаты:

«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы, если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению. Андрей Желябов.

2 марта 1881 г. Д. пр. закл.

P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить о д н у виселицу, а не д в е. Андрей Желябов».

Получив заявление, следственные власти были так поражены его содержанием, что составили особый протокол осмотра этого документа, подписанный жандармским майором Бекон, товарищем прокурора судебной палаты Муравьевым, будущим обвинителем на процессе, и двумя понятыми. Андрей же почувствовал огромное облегчение. Теперь было все как надо. Одно огорчало: мысль о Соне. Для нее это страшный удар, ведь она, конечно, надеется на его спасение, строит, наверно, какие-нибудь сумасшедшие планы, а после такого письма — какое же спасение? Тут виселица. Очень скорая. Может, через неделю, а может, и через два дня. Соня будет сокрушена, убита, товарищи станут восхищаться, а некоторые добрые друзья — есть и такие — скажут: «А все же Тарас любит эффекты!» Но суть в том, что иначе поступить невозможно.

Все, что происходило с ним за последний год, было единственно возможным. Никаких других путей не существовало. Он

катился по желобу, как дождевая вода в бочку. А для Сони вот что: ведь она любит его так же сильно, как гордится им. И это ей останется: гордиться. В ночь на 3 марта он опять замечательно крепко спал.

3 марта мальчишки-газетчики орали на улице:

— Новые телеграммы о злодейском покушении!

И Соня, куда-то бежавшая с Аркашей Тырковым по Невскому, купила телеграмму и прочитала. Было сказано: «Недавно арестованный Андрей Желябов заявил, что он организатор дела 1 марта». Аркаша Тырков, милый юноша, студент, тайно влюбленный в Перовскую, тоже прочитал, и некоторое время шли молча. Соня держала телеграмму в руке. Раза три разворачивала ее и читала. Аркаша спросил:

— Зачем же он так сделал?

— Верно, нужно было, — ответила она.

Нет, надежды не рухнули, силы не покидали ее. Начиналась последняя неделя ее свободы: неделя великого облегчения и одновременно отчаянья. Отчаянья — оттого что была с ним в разлуке, облегчения — оттого что пропал всякий страх и все стало ясно.

Нужно было одно — с ним соединиться каким угодно способом. Про нее говорили: «Соня потеряла голову». Никто не понимал, что именно в эту неделю она была изобретательной, гениальной и спокойной как никогда. Хотя всем казалось, что она мечется и сходит с ума. Кругом все сыпалось, валилось, гило. Ночью 3 марта полиция пришла в квартиру на Тележной, Геся открыла, тут же была арестована, а Коля Саблин, не желая даваться живым, застрелился. На квартире осталась полицейская засада, и через несколько часов в эту засаду попал Тимофей Михайлов. Дворник спросил его: «Вам куда?» Михайлов наобум назвал квартиру двенадцать, какой на лестнице не было. Чины полиции, дежурившие за дверью, тотчас вышли и пригласили Михайлова зайти в квартиру. Михайлов кинулся бежать, отстреливался, тяжело ранил двух полицейских, но был схвачен. В городе шли повальные обыски. На улицах хватали подозрительных, очкастых, длинноволосых. Были случаи избиений толпой. Где-то едва не побии женщину. И в эти дни Соня почти постоянно была на улицах, рыскала по городу, встречалась со множеством людей, иногда еле знакомых, пытаясь найти хоть какие-то, пускай фантастические, пути к спасению Андрея. Она искала способы проникнуть в окружной суд, где должно было слушаться дело, и приглядывала свободную квартиру на Пантелеймоновской, около департамента полиции, надеясь организовать нападение, когда Андрея будут вывозить на суд. Договаривалась с военными. Убеждала их в том, что это дело возможное и даже не очень трудное. Ничего не удавалось, не устраивалось. А провал квартиры на Тележной, случившийся сразу после убийства царя, означал, что выдает кто-то из только что схваченных и бывавших на этой квартире. Думали недолго: Рысаков! Поэтому Богдановичу и Баске приказали не терять ни мгновения и, не дожидаясь очищения мины от динамитного заряда, оставить магазин и выехать из Петербурга...

В эти дни о людях, ждавших суда и казни, неотступно думал писатель граф Лев Толстой. С того ростепельного утра, когда встретил на не проезжем от талого снега шоссе мальчишку-итальянца, шарманщика с птицами, который рассказал, что царь убит бомбой, ни о чем другом думать не мог: только об этих безумцах и предстоящей казни. Постепенно возникало то иссушающее душу, хорошо

ведомое состояние мучительства одной мысли, которое само собой никогда не проходило, а должно было непременно найти исход в каком-то действии, и он уже догадывался в каком. Наконец за утренним кофе признался Алексею, учителю старших детей, что мучается желанием написать письмо сыну убитого и попросить о помиловании убийц. Алексеев, бывший нигилист, фурьерист, поддержал горячо: «Главное то, что вы этим письмом снимете с себя в вашем сознании вину участия вашего в казни». Софья Андреевна в гневе накинулась на Алексеева: «Василий Иванович, да что же вы говорите? Если бы здесь был не Лев Николаевич, который в ваших советах не нуждается, а мой сын или дочь, то я тотчас же приказала бы вам убираться вон!» «Слушаю, уйду...»

Был соблазн сказать резкое. И уже твердо знал, что напишет.

И вот смутным часом перед вечером — свечей не зажигали — сидел на кожаном диване внизу, только что пообедав, и думал о том же. Вдруг вспомнил, как ребенком видел, как вели мужика наказывать. Запомнилось детское недоумение: я ли глуп и дурач, что не понимаю зачем, или же они, взрослые? И уверился, что взрослые правы и твердо знают зачем. А они-то, бедные, и не знали!

Болезнь зашла глубоко, и доктора отчаялись, испробовав все средства: и сильные, решительные, и переставали давать сильные, а давали свободу отправлениям болезни, надеясь, что болезнь сама источит себя из организма. Но облегчения не было, болезнь разгоралась. Что же осталось? Испробовать еще средство, о котором врачи не знают, средство странное. Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал. Французы, англичане, немцы борются с ними, и также безуспешно. Есть только один идеал, один путь, которым уничтожится зло. Блеснуть, как молнией, с высоты трона примером величайшего милосердия! И тысячи, тысячи поймут! Миллионы поймут. Сын простил убийц своего отца. Но только как убедить? Теперь все должно решиться, судьба России на столетье вперед. И думая так, задремал незаметно на кожаном диване и увидел площадку, черный помост, приготовления к казни, но казнят не этих безумных, а его самого выводят в балахоне на черные доски, палач готовит петлю, рядом стоят Александр III и судьба, и вдруг все переменяется, и вместо палача он сам держит петлю и собирается казнить.

Проснулся в ужасе, с помертвелым сердцем. И тогда же пошел и сел писать.

«Я, ничтожный, не призванный и слабый, плохой человек, пишу русскому императору и советую ему, что ему делать в самых сложных, трудных обстоятельствах, которые когда-либо бывали»...

Письмо вышло на многих страницах.

В конце написал так: «Они скажут: выпустить всех, и будет резня, потому что немного выпустить, то бывают малые беспорядки, много выпустить — бывают большие беспорядки. Они рассуждают так, говоря о революционерах как о каких-то бандитах, шайке, которая собралась, и когда ее переловить, то она кончится. Но дело совсем не так; не число важно, не то, чтобы уничтожить или выслать их побольше, а то, чтобы уничтожить их закваску, дать другую закваску. Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше... Есть только

один идеал, который можно противопоставить им: тот, из которого они выходят, не понимая его и кощунствуя над ним, тот, который включает их идеал, идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло».

После некоторых переделок письмо было послано Страхову с просьбой передать недавно назначенному обер-прокурором синода Победоносцеву, а того просить передать царю. Знали, что нет для царя человека более чтимого, чем Победоносцев, многолетний, со времен юности, наставник и собеседник. А кроме того, Алексеев вспомнил, как лет шесть назад Победоносцев помог вызволить из тюрьмы алексеевского друга, «богочеловека» Маликова. Толстой направил Победоносцеву записку о том, что знает его как христианина и оттого смело обращается к нему с важной и трудной просьбой.

Бывший правовед жил в эти дни предчувствием громадной перемены в своей судьбе. И мысли его были совсем иные. Только что он отправил царю письмо: «Если будут вам петь прежние сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, — о, ради бога, не верьте... Злодеи, погубившие родителя вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя вырвать только борьбой с ними на живот и на смерть, железом и кровью». Следом затем спешно направил царю другое письмо с чрезвычайно важными советами:

«Ради бога, примите во внимание нижеследующее:

1. Когда вы собираетесь ко сну, извольте запирайте за собой двери — не только в спальне, но и во всех следующих комнатах вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты.

2. Непременно наблюдать каждый вечер перед сном, целы ли проводники звонков. Их легко можно подрезать.

3. Наблюдать каждый вечер, осматривая под мебелью, все ли в порядке...»

И вдруг является Страхов с письмом Толстого. Победоносцев, тут же прочитав, отказался передать письмо царю. Вероятно, оно ошеломило его и показалось чудовищным. А Толстого ужаснул отказ Победоносцева. «Дай бог, чтобы он не отвечал мне, — писал он Страхову, — и чтобы мне не было искушения выразить ему мой ужас и отвращение перед ним». И далее в том же письме: «Не могу писать о постороннем, пока не решено то страшное дело, которое висит над всеми нами». Однако дело быстро приближалось к решению. Ветра над Россией переменялись круто.

Толстой еще пытался действовать и передать письмо царю другими путями, и Победоносцев, по-видимому, об этом узнал. Да тут поразил столицу философ Владимир Соловьев: в публичной лекции 28 марта, уже во время суда, он внезапно заговорил о предстоящем приговоре и призвал царя «простить безоружных», чем вызвал смятение и восторг в зале. И тогда Победоносцев написал отчаянное, последнее в этом месяце письмо царю о том, что в ход пущена мысль, которая приводит его в ужас. «Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить вашему величеству извращенные мысли и убедить вас в помиловании преступников. Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется... В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет

тотчас же строить новые ковы. Ради бога, ваше величество, да не проникнет в сердце вам голос лести и мечтательности».

Александр III написал на письме сверху: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто и что все шестеро будут повешены, за что я ручаюсь».

Голос Рысакова Н. И.

А почему я должен был бросать первый? Такого уговора не было. Произошло трагическое недоразумение. Я, как самый молодой, обязан был стоять как бы в запасе, третьим или четвертым номером, и держать снаряд на всякий случай, но Михайлов трусил или, может быть, схитрил, номера перепутались и — вот так случилось. Блондинка махнула платком, и я бросил. Если говорить конфиденциально, то я, как самый молодой и незрелый, не обязан был стоять на этом номере и Желябов никогда бы меня туда не поставил. Но его арестовали. А без Желябова у них все пошло кривь и вкось. Желябов держал всех в узде, он из каждого умел веревки вить.

Вот и из меня — свил веревку. Наверно, ту самую, о которой рассказывал господин Добржинский, — в первый день. Рассказывал, как это делают. Уж он-то знает, видел. Господин Добржинский, по видимому, очень умный и незлой человек, никогда не сердится, не кричит, разговаривает спокойным тоном и угощает папиросками и, что главное, к человеку относится сочувственно. Ну вот видит, к примеру, что я молод, неопытен, он и объясняет мне как и что. Ставят на скамейку. Накидывают белое, вроде балахона или какого-то савана. А потом уж, когда ты в саване, на голову петлю, спускают ее до шеи и слегка натягивают, но не чересчур, не до хрипа. Веревка, говорит, не очень толстая, он смотрел, руками щупал. Потому что если толстая, петля сразу не затянется, а тут в том и хитрость, чтоб — сразу, в одну секунду. Делается, конечно, из пеньки, вытрепанной и прочесанной на гребне, а толщина измеряется по числу шнуров: есть двухшнуровые, четырехшнуровые, шестишнуровые. И русская, говорит, пеньковая веревка хорошо ценится и идет за границу. Все это господин Добржинский рассказал мне в первый же день, и без всякой злобы.

И я тоже стал ему рассказывать все что знал с первого же дня, потому что — смерть-то страшна! Ох, страшна, страшна. Непереносимо страшна. Ведь совсем не жил, ни чуточки, ничего хорошего не видал: один голод, бедность, пустота. Мне девятнадцать, родители мои мещане, отец заведует лесопильным заводом в Вытегорском уезде Олонецкой губернии. Учился я в уездном училище, потом в череповецкой реальной школе, там был учитель Васильев, нигилист из ссыльных. Что я видел в детстве и в отрочестве? Только нужду, одну нужду. Нужду родителей, нужду крестьян, рабочих. Помню, как после шестого класса проживал на каникулах с отцом в поселке Ковжинская Запань, там была масса рабочих, около трехсот человек, плотящих лес — работа ужасно тяжелая, — и я сознательно, можно сказать научно, отнесся к их экономическому положению. Тогда уже я читал книги Васильчикова, изучал германскую конституцию и книгу Шерра «Комедия Всемирной Истории». В 1878 году поступил в горный институт и ввиду крайней бедности получал от администрации денежную помощь. Познакомился с Ширяевым. Был близок с одной женщиной, которая была близка с Ширяевым, ее вскоре арестовали после его ареста, и меня тоже тогда притащили в полицию.

Но что я мог рассказать, какие тайны раскрыть? Одно я знал основательно, одну тайну постиг: тайну голода. Я голодал, если

можно так выразиться, по всем статьям. Меня терзал обыкновенный голод по куску мяса, и голод по лишнему рублю, чтобы зайти в лавку и купить башмаки, и голод по людям, голод по женщинам. Всего я жаждал, во всем был несyt и несчастлив. Мне нужны были друзья, которые могли бы меня понять и обещали бы мне другую жизнь, без одиночества и без бедности. Человек, ни на что не имеющий права, я познакомился с социалистами и увидел, что они носят свое право в кармане — в дуле револьвера. Желябов перевернул мою жизнь. Вдруг я увидел, что этот человек такой же нищий, одинокий, неустроенный и бездомный, как я, однако — могуч и почти всесилен!

Желябов говорил как-то особенно увлекательно, уничтожая всякую возможность отнестись к нему критически и в то же время составить себе определенное понятие о сказанном. Оставалось впечатление чего-то блестящего, но и только. Но это только обладало громадной силой, может быть, гипнотической. Желябов убедил меня в том, что террор есть неизбежность в социалистическом движении. Если правительство, говорил он, из своих интересов делает поправку в законе божием «не убий!», то партия ради блага народа имеет на это большее нравственное право. После каникул, когда я ездил к отцу и видел бедствия народа, болезни, массовую гибель от сибирской язвы, голод и прочее и был сильно огорчен виденным, Желябов умело воспользовался моим настроением. Я вступил в террористическую группу. Мне было очень нелегко. Я не мог побороть инстинктивного отвращения к крови. Прошу обратить внимание на то, что есть большая разница в способах совершения убийства. Задушить руками возможно, смакуя мучения жертвы, точно так же как вонзить кинжал, как именно этот цинизм проявился в словах Перовской 1 марта. Выстрел требует уже меньше нравственного напряжения. Бросить снаряд и не видеть его действия можно уже почти без мужественной, сердечной боли. Но если убийство выходит за рамки обыкновенных преступлений, если результатом его будет истинное, социалистическое благо — например, лучшая жизнь крестьян и рабочих, — тогда нравственных мучений может не быть совсем. Я не считал покушение даже убийством, ни разу не рисовался моему воображению кровь и страдания раненых, покушение представлялось мне каким-то светлым фактом, переносящим общество в новую жизнь. До чего этот человек меня одурманил! Нет, я не сразу, не сразу стал рассказывать все. Конечно, я наговорил много в первый день, раскрыл квартиру на Тележной, назвал убитого Котиком и Михаилом, рассказал о Перовской и Желябове, но о многом умалчивал, кое-что путал нарочно. Про Перовскую, например, сказал, что она брюнетка. А ведь она блондинка, очень яркая. Только на другой день я назвал ее блондинкой. Про Желябова говорил, что у него русая французская бородка, хотя у него темная большая борода, за что его и прозвали Бородачом, Папашей. Я путал, бессознательно стараясь принести пользу им. Но в первую ночь я увидел свою смерть — на четырехшнуровой веревке, о которой говорил господин Добржинский, — так ясно, что стал задыхаться, хрипеть, я думал, что не доживу до утра.

Почему я должен умереть только оттого, что произошла нечаянность, номера перепутались и я оказался на первом номере? Я думал: ведь не я же стал виновником смерти государя. От моей бомбы он, слава богу, остался жив. Дайте же хоть немного пожить, хотя бы четыре года. До двадцати трех лет. Хотя бы два годика! Это так ничтожно, несущественно, а для меня так огромно — два года. Я совсем не жил, едва прикоснулся к жизни. Два годика, а потом со-

гласен — добровольно в петлю, и еще скажу спасибо. Великое спасибо за два года счастья, потому что жизнь — вот счастье. Мудрецы-то ломают голову: «В чем счастье?» А оно в такой простоте. И со 2 марта я стал говорить все что знал. Господин Добржинский вытряхнул меня до нитки, вывернул наизнанку; я был как солдатская добыча, по которой прошелся полк. От меня осталась оболочка. А все нутро со всеми мыслями, словами, надеждами, памятью я отдал господину Добржинскому. Но и эта оболочка, оставшаяся от меня, была мне дорога бесконечно, я хотел ее сохранить. Все равно — как. Теперь уж, когда осталась одна оболочка, мне было решительно все равно.

Господин Унковский, мой адвокат, указал на триппер, которым я был болен, как на средство, могущее смягчить мою участь. Я понимал, что могу быть скандализован, но согласился. Эту болезнь я получил осенью, она была в слабой форме и мало меня тревожила, но адвокат настоял, чтобы меня подвергли медицинскому осмотру, и 20 марта это сделали. Я знал, что выгляжу ужасно, как мертвец. На лице появились сине-багровые пятна. Врачи не могли понять, откуда эти пятна, и предполагали разное. Я-то знал откуда: от страха смерти. Когда мне делали очную ставку с Аркадием, тот от меня отшатнулся, а за несколько часов перед тем меня свели с Перовской, и я понял, что в первую секунду она меня не узнала. Но врачи, эта бездушная сволочь, заключили так: «Никакого нервного заболевания нет, расстройства умственных способностей тоже нет, а что касается хронического уретрита, то эта болезнь никакого дурного влияния на психическую сферу не имела». Я старался изо всех сил, отвечая на вопросы господина Добржинского, и если в первые два дня мне было важно его обещание как благородного человека, что мои откровенности с указанием лиц и адресов не будут занесены в протокол — и верно, не заносились, зато записывались мои пространные рассуждения о социализме, рабочей организации, экономическом перевороте, и Добржинский никогда не прерывал, наоборот, слушал с искренним и горячим интересом, — то вскоре эта важность для меня пропала. Я понял, что, кроме этих протоколов, составляют другие и рано или поздно все узнается, а кроме того, какое значение имело теперь, что обо мне скажут и подумают? Ведь речь шла не о скромности и бесстыдстве, а о жизни и смерти.

И когда меня вызвали на допрос 11 марта и предъявили Софью Перовскую, я тотчас сказал, что это та самая Блондинка, которая руководила нами в воскресенье 1 марта и чертила на конверте план. Она же принесла снаряды в узле. Перовская глядела своими маленькими синими глазками с такой ненавистью, что я изумлялся: почему я не смущен, почему голос мой не дрожит? Да потому что все из меня вытряхнулось. А то наружное, что осталось, не обладало способностью ни дрожать, ни смущаться.

Потом я признал Аркадия Тыркова, Елизавету Оловенникову, Кибальчича, потом по карточке признал Веру Фигнер, назвал всех рабочих по фамилиям, какие помнил, из тех, кто болтался в рабочих кружках. А знаете, что такое ночные допросы? Когда не дают спать и чуть ты задремлешь на стуле, повалишься набок, тебя толкают грубо: «Не спать! Отвечать на вопросы!» Они обещали мне жизнь. До самого конца я верил обещанию, и когда на суде услышал «подвергнуть смертной казни через повешение», все равно продолжал верить. Мне казалось, что это объявляется для других, а мне потом будет сказано особо. Ничего не было сказано. Зато все из меня выдавили до капли... Даже за пять минут до казни Добржинский из меня что-то выпытывал. А я все верил. И уж саван надели, петлю

накинули, а я еще верю, что мне сейчас будет пощада объявлена: палач из-под меня скамейку вышибает, а я за скамейку ногами цепляюсь, он ругается, слышу, как ругается, бьет ногой по скамейке, а я цепляюсь, цепляюсь, цепляюсь, потому что надеюсь до последней секундоочки...

Вот когда 1 марта набросились на меня военные, публика, прижали к панели, кто-то кричал. «Дайте нам его, мы его разорвем!» — а потом вдруг новый взрыв, ужасная паника, все попадали, и я говорю им: «Не бойтесь умирать, все равно когда никогда». И не было в ту минуту на земле человека, который бы меньше меня боялся смерти. О вы, люди милые, дорогие, что будете жить через сто лет, неужто вы не почувствуете, как воеет моя душа, погубившая себя навеки?

Клио — 72

Громадная российская льдина не раскололась, не треснула и даже не дрогнула. Впрочем, что-то сдвинулось в ледяной толще, в глубине, но и обнаружилось это десятилетия спустя. А в ту весну лишь несколько недель страха: вот все неприятное, что испытала петербургская власть. Носились вздорные слухи. Ждали новых покушений. Стало известно дерзкое письмо Исполнительного комитета новому царю с требованием всеобщей политической амнистии и созыва представителей от всего народа. Советчики молодого царя предлагали объявить Петербург на военном положении и съехать с проклятого места в Москву. Душою всех действий правительства в марте 1881 года был страх: нерешительность с коронацией, откладывание суда над цареубийцами, колебания вокруг уже подписанного покойным государем проекта и, наконец, окончательное убийство лорис-меликовского детища. Могущество самого графа таяло с каждым днем. Вместо него вблизи российского трона вырастал новый демон: Победоносцев.

А между тем партия, вселявшая почти мистический ужас, на самом деле была без сил. Людей не оставалось совсем. 10 марта на Невском арестовали Перовскую: ее узнала в лицо хозяйка мелочной лавки, где Перовская покупала провизию. Через четыре дня были арестованы члены наблюдательного отряда Аркадий Тырков и Елизавета Оловенникова. 17 марта схвачен Кибальчич. Его арестовали при выходе из библиотеки-читальни отставного генерала Комарова, которую часто посещали революционеры. Полиция приспособила ее для своих нужд. Было устроено особое помещение для агента, который мог в щелку наблюдать за посетителями читальни и вылавливать нужных людей. Этим агентом был Окладский. После ареста Кибальчича на его квартире арестовали Фроленко, затем в течение десяти дней в руки полиции попали Подбельский, Арончик, Исаев. С помощью предателей Васьки Меркулова, а затем Сергея Дегаева Исполнительный комитет был окончательно разгромлен, и в Петербурге не осталось никого, кто мог бы выполнить угрозу, высказанную царю в письме. Сам автор письма Тихомиров, прозванный Тигрычем, уехал вскоре за границу, издавал там революционный «Вестник «Народной воли», но через шесть лет подал царю прошение с выражением полного раскаянья. Он стал искренним монархистом, редактировал «Московские ведомости» и умер в 1922 году. Три долгожителя пережили все невзгоды, двадцатилетнее заключение в Шлиссельбургской крепости и умерли в глубочайшей старости: Морозов, Вера Фигнер и Фроленко. До старости дожили и умерли при советской власти Якимова, Аня Корба и Софья Иванова. Остальные народовольцы погибли очень скоро на эшафотах и в казематах,

Моряк Суханов был казнен в Кронштадте в присутствии матросских команд. Баранников, Колодкевич, Ланганс и Тетерка недолго выдержали Алексеевский рavelин и быстро сгорели кто от цинги, кто от чахотки. Клеточников уморил себя голодовкой, протестуя против убивающего режима рavelина. Арончик обезумел и заживо сгнил в своей камере в Шлиссельбурге. Исаев погиб от чахотки, предавшись перед смертью богу. Грачевский в отчаянной борьбе с тюремщиками сжег себя, облив керосином из лампы. Смерть Ширяева и Лилы Терентьевой была странной — они дико кричали перед смертью, Ширяев зачем-то вскочил на стол, и затем падали бездыханными. Ходили слухи, что им давали яды, чтобы выведать какие-то сведения. Александр Михайлов, прозванный Дворником, прожил в Алексеевском рavelине два года без десяти дней. Его умерщвляли в изолированной камере, в отдельном коридоре, без соседей. Товарищи Михайлова по «процессу двадцати», так же, как и он, приговоренные к вечной каторге, пользовались последней отрадой — перестукивались друг с другом. Михайлов же умер в полном и совершеннейшем одиночестве, и никому не известно, что он чувствовал и о чем думал в предсмертные месяцы.

ГЛАВА XII

Теперь он желал одного: чтобы скорее суд.

На допросах, производимых жандармским офицером и судебным следователем Книримом, отвечал скупно, небрежно. Кой черт тратить порох в пустых комнатах, наедине с чернильницей и восковой чиновничьей рожей? Поговорим на суде. И хотелось их напугать. На допросе 4 марта сказал, что когда в январе он бросил клич среди боевых дружин насчет цареубийства, вызвались сорок семь добровольцев. Вместе с жандармским майором Беком в тот день допрашивал прокурор Муравьев, который даже вздрогнул и слегка побледнел, услышав о сорока семи. Тогда же Андрей старательно умалял свое значение: «...мне выпала честь организовать нападения... мне было поручено...» Вполне могло быть поручено кому-либо другому из агентов. Ведь он лишь агент Комитета, да и то — третьей степени. Умаление было нужно вовсе не для... — да о чем речь? вервие обеспечено! — а для того, чтобы создалось впечатление, будто главная сила, громадная и капитальная, осталась в неуязвимости на воле. Пугать, пугать. Вспоминал, усмехаясь, Нечаева. Бедному Сергею Геннадиевичу, как видно, не удастся переменить судьбы. К концу третьей недели, когда уже стал известен обвинительный акт и то, что судить будет особое присутствие правительствующего сената, внезапно среди ночи — и сна опять не было, как раньше, — пришла мысль: зачем ждать начала суда? Нанести удар первому. Правило драчунов.

Накануне суда, 25 марта, он послал первоприсутствующему такое заявление:

«Принимая во внимание: во-первых, что действия наши, отданные царским указом на рассмотрение особого присутствия сената, направлены исключительно против правительства и лишь ему одному в ущерб, что правительство, как сторона пострадавшая, должно быть признано заинтересованной в этом деле стороной и не может быть судьей в своем собственном деле; что особое присутствие, как состоящее из правительственных чиновников, обязано действовать в интересах своего правительства, руководствуясь при этом не указаниями совести, а правительственными распоряжениями, произвольно

именуемыми законами, дело наше неподсудно особому присутствию сената;

в о-в т о р ы х, действия наши должны быть рассматриваемы как одно из проявлений той открытой, всеми признанной борьбы, которую русская социально-революционная партия много лет ведет за права народа и права человека против русского правительства, насильственно завладевшего властью и насильственно удерживающего ее в своих руках по сей день;

единственным с у д ь е й в деле этой борьбы между социально-революционной партией и правительством может быть лишь весь русский народ через непосредственное голосование или, что ближе, в лице своих законных представителей в У ч р е д и т е л ь н о м с о б р а н и и, правильно избранном;

и, в-т р е т ь и х, так как эта форма суда (Учредительное собрание) в отношении нас лично неосуществима, так как суд присяжных в значительной степени представляет собою общественную совесть и не связан в действиях своих присягой на верную службу одной из заинтересованных в деле сторон;

на основании вышеизложенного я заявляю о неподсудности нашего дела особому присутствию правительствующего сената и требую суда присяжных в глубокой уверенности, что суд общественной совести не только вынесет нам оправдательный приговор, как Вере Засулич, но и выразит нам признательность отечества за деятельность, особенно полезную. 1881 г. 25 марта. Андрей Желябов. Петропавловск. крепость».

Было ясно, что судилище пойдет так, как его наметили власти, но важно ставить им препятствия. Заявление будут обсуждать, читать вслух, может быть, оно попадет в печать. Ночью не спал, мучило нетерпение: скорее бы свет, утро! Начало суда назначалось на 11. Ходил по камере и думал: как говорить? От защитника отказался. Будет защищать себя сам. Впрочем, не себя, а — дело. Какой же защитник сможет лучше него? В середине ночи зашелестел замок и тихо вошел с фонарем тот самый жандармский офицер, который привел его сюда из Дома предварительного заключения. Андрей знал фамилию: Соколов. Приземистый, коренастый, с каким-то поразительно застылым, как будто заспиртованным лицом. Таких глаз, как у этого тюремщика, Андрей у обыкновенных людей не видел: глаза были самой неживой, самой неподвижной частью лица.

Наставив на Андрея свои выпуклые, нечеловеческой ледяной светлоты буркалы, Соколов тихо сказал:

— Бегать по камере об этот час нельзя. Лягте и отдыхайте.

— Я не бегаю, я хожу. Имею на это право.

— Нет бегаете. Ишо следи за вами: либо голову расшибете с наскоку.

— Не дождетесь. Еще чего. Голова мне завтра понадобится.

Тюремщик не уходил. Андрей глядел в его глаза: нет, жизнь в них тлела, но какая-то своя, ужасная, может быть, жизнь земноводных или тритонов. Подумал, усмехаясь: а может, это посланец от т у д а? И там все такие, с глазами тритонов?

— Лягте и не бежите, — сказал Соколов. — Иначе переведу в другую камеру, там не разбегаешься.

Тюремщик вышел так же бесшумно, как вошел. Прошелестел замок. Шторка над глазком поднялась, и Андрей опять увидел выпуклое ледяное око, наблюдавшее пристально. Вспомнились слова Жоржа: «Остановить на себе зрачок мира — разве это не значит победить?» Вот он, зрачок, который остановился и смотрит. Пока шторка не опустится. Андрей сел на койку. Ходить не хотелось. Он

подумал о том, что, когда жизни остается мало, возникает страстная жажда, хочется жить, но в прошлом. И он стал вспоминать то, чего не вспоминал годами: каменный дом гимназии в Керчи, лица, разговоры, голоса, пыльную акацию, закатное багровое небо.

Было солнечно, сверкал весенний день. Встретились в большом коридоре, и он успел тронуть Соню за руку, но жандарм сильным ударом отбросил его руку назад. Он увидел, что Соня очень худа. Все были худы, желтолицы, с бескровными губами. Спокойней всех выглядел Кибальчич. Он улыбнулся Андрею и, когда сгрудились на несколько секунд перед дверьми в зал заседания и очутились рядом, сказал быстро:

— Я работал над проектом летательного аппарата.

— Коля, ты гений! — Андрей даже засмеялся в изумлении. — В камере?

— Да, это мои старые мысли, но все не было времени. А тут — совершенно ничто не мешало...

Кибальчича потянули вперед. Стали входить, выстроившись цепочкой: между каждым из них шел жандарм. Крепко пахло начищенными сапогами. Привели и посадили так: первого Рысакова, рядом с ним Михайлова, за ним Гесю, потом Колю, Соню и его последним. Но удачей было то, что с Соней оказались рядом. Когда сели, она наклонилась и шепнула:

— Мое единственное было желание, чтоб мы — рядом... Как хорошо, правда?

— Хорошо. — Он кивнул.

Как будто кто-то сильной рукой сжал сердце: он увидел, как Соня улыбнулась. Первоприсутствующий сенатор Фукс и члены суда, аксельбанты, мундиры, ленты, фраки, ордена, золотое шитье, седые головы, скрип, шарканье, откашливание по случаю студеного ясного утра: вошли почти одновременно с обвиняемыми из другого входа и стали рассаживаться. Если б отец вдруг очутился здесь и увидел эту гору мундирного золота, эти важные лица в бакенбардах и то, что они все смотрели на него, Андрюшку Желябова! Не было никакого страха, хотя все это было приготовление к смерти. Люди, сидевшие перед ним, были палачами. Они желали скорее убить его и товарищей. Ради скорой их смерти тщательно наряжались утром, причесывались, долго смотрелись в зеркало, плотно завтракали и радовались тому, что смерть наступит не сразу, а через четыре, пять дней, так что удовольствие будет длиться. Но он думал о них, об их вурдалачьем любопытстве без всякой злобы. И смерть его не пугала. Материя вечна! Молекулы, составляющие его существо, просто перейдут в другое состояние, вот и все. Но не исчезнут. Исчезновения быть не может. Первоприсутствующий сенатор Фукс о чем-то просил обер-секретаря, тот стал читать какое-то предложение министра юстиции — ага, формальность, почему дело отнесено к ведению особого присутствия сената. Простое убивание не годится, все должно сопровождаться бумагами.

— Я получил документ...

— Прежде объясните суду ваше звание, имя и фамилию, — перебил Фукс.

— Крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, села Николаевки Андрей Иванов Желябов...

Голос звучал хорошо. Вообще было полное спокойствие. Вокруг совершеннейшая глубокая тишина, и лица в зале глядели на него с пожирающим интересом. Нет никакой злобы к ним. Вдруг: начало июня, большой зал гимназии, директор, учителя, старичок протоиерей

Бершадский, толстый Кондопуло, и в таком же прочном молчании все смотрели на него и ждали. И тогда после бессонных ночей, возбуждения было такое же внезапное спокойствие. Все повторяется, все уже было, испытано, только тогда речь шла о громадной неизвестности, о медали, праве на чин четырнадцатого класса, а теперь о хорошо известном: о смерти.

— Я двадцать пятого числа подал в особое присутствие из крепости заявление о неподсудности моего дела особому присутствию сената как суду коронному...

Фукс кивал:

— Сейчас я разрешу ваши сомнения. Господин обер-секретарь, прочтите определение присутствия, состоявшегося в распорядительном заседании сегодня.

Обер-секретарь прочитал нечто громоздкое, составленное из пунктов, статей, параграфов и номеров, из чего следовало: заявление Желябова оставить без последствий, о чем ему и объявить.

— Я этим объяснением удовлетворен.

Да, удовлетворен, ибо сказал вслух о главном, и это занесено в протокол, слышали в зале, где не только сановники, но и много корреспондентов газет.

— Теперь приглашаю вас ответить на мои вопросы. Сколько вам лет?

— Тридцать.

— Веры православной?

— Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дела мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать — такова моя вера.

В зале задвигались, заскрипели, пробежал ропот. Кажется, это значило: возмущение. Фукс продолжал с той же казенной бесстрастностью:

— Где проживали в последнее время и чем занимались?

Жил там-то, служил делу освобождения народа. Единственное занятие, которому много лет он служит всем своим существом. Опять задвигались, шум: не понравилось! Господа, надо привыкать, так будет все три дня. Нравиться здесь вам ничего не должно. Затем заговорил прокурор Муравьев: из той породы молодых людей, кого зовут осанистыми и представительными. Требовал, чтоб читались показания Гольденберга. Андрей же потребовал, чтоб вызвали в качестве свидетелей Семена и Колю Колодкевича, дело обреченное, не вызовут, но все равно уж хорошо то, что удалились совещаться. Соня шепотом рассказала: было свидание с мамой, Лорис, оказывается, вызывал ее, просил воздействовать, но мать, умница, сказала, что давно уже потеряла на дочь влияние. А что на воле? Что в городе? Мать не знает. Она далека от всего этого. И разговаривать было невозможно: жандарм сидел впритык, колени в колени, и слушал. Вот попросила маму прислать для суда это платье и белый воротничок.

Прокурор Муравьев сверлил Андрея и Соню взглядом, на Фукса смотрел осуждающе: как видно, недоволен тем, что разговаривают, а первоприсутствующий не прерывает.

— Кольку Муравьева я знаю с детства,— шептала Соня.— Когда отец был вице-губернатором в Пскове, мы жили с их семьей по соседству. Он приходил в наш сад играть,

Вернулись члены присутствия. И началось чтение обвинительного акта. Все было известно, изучено. Он думал: кто остался из старых учителей в гимназии? Кто будет читать отчеты о процессе и ужасаться? Тригони рассказывал, что имена окончивших с медалью выбиты золотыми буквами на доске. Что же им делать, беднягам? Они не понимают, что исчезновение невозможно. Даже если уничтожить всю мраморную доску с именами. Свидетели каждый по-своему рассказывали о последних словах и жестах царя, о «холодно, холодно», и о «во дворец, там умереть», и о «Кулебякин, ты ранен?», и о том, как наклонился к умирающему мальчику; в зале всхлипывали, вытирали слезы; потом свидетели показывали о Рысакове. На третий день говорил Муравьев, был театрален, подробен, стремительно делал карьеру, и когда сказал, что из кровавого тумана выступают мрачные облики цареубийц, Андрей захохотал своим пушечным, пугавшим женщин хохотом, и Муравьев, приосанившись, крикнул: «Когда люди плачут, Желябовы смеются!» — и все было решено и не имело смысла, но был какой-то высший, отдаленный смысл, поэтому Андрей много раз брал слово, рассказывал, откуда и почему пришли к убийству царя. Мы не анархисты, а государственники, мы признаем, что государственность неизбежно должна существовать, поскольку будут существовать общие интересы. Но мы критикуем существующий экономический строй, вот в чем дело. Фукс: должен вас остановить. Пользуясь правом возражать против обвинения, вы излагаете теоретические воззрения. Нет, я лишь поддерживаю слышанное от прокурора: то, что событие 1 марта нужно рассматривать как событие историческое. Если вы, господа судьи, взглянете в отчеты о политических процессах, в эту открытую книгу бытия, то увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что в нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною. Фукс: подсудимый, вы выходите из тех рамок, которые я указал. Говорите только о своем отношении к делу. Я возвращаюсь. Итак, мы, переиспытав разные способы действовать на пользу народа, в начале семидесятых годов избрали одно из средств: положение рабочего человека, мирную пропаганду социалистических идей. Движение совершенно бескровное, отвергавшее насилие, не революционное, а мирное — было подавлено. Целью моей жизни было служить общему благу. Долгое время я работал для этой цели путем мирным и только затем был вынужден перейти к насилию. Я сказал бы так: от террористической деятельности я, например, отказался бы, если бы изменились внешние условия. Более ничего не имеете сказать в свою защиту? Нет, в защиту свою более ничего. Соня все время глядела на него, пока он говорил. В три часа ночи особое присутствие возвратилось из совещательной комнаты, были прочитаны вопросы, снова все исчезли надолго и в шесть часов двадцать минут утра возникли опять: к смертной казни через повешение.

Позорные колесницы оказались обыкновенными телегами, только гораздо выше. Скамейка, на которой сидеть, была сажени на две от мостовой. Выглядело нелепо, впрочем, как все остальное: серые штаны колом, черный арестантский армяк, черная шапка без козырька. Был седьмой час, разбудили в шесть, дали чаю, а сейчас был ледяной рассветный двор, лошади постукивали подковами, и у Рысакова, которому велели первому садиться на телегу, ноги не слушались, гнулись, весь он был какой-то гнутый, помогал себе руками. Андрей все время, когда можно было, смотрел на Соню, а она на него. Такого взгляда, как у нее теперь, он никогда не видел. Вот и

он влез на высокую телегу и сел рядом с Рысаковым на скамью спиной к лошадям. Подошел человек громадного роста, с разлапистой бородой, с лицом серым, как из серого, измытого дождями камня, и в этом сером сверкали маленькие, как у медведя, голубые глаза. На человеке была синяя поддевка, черные широкие брюки. Он сразу сильно рванул Андреевы руки назад, было мгновенное желание сопротивляться, но тут же: зачем? Догадался, что человек — палач. Знаменитый Фролов, душегуб из московской тюрьмы, которого возят по разным городам для казней. Помогали ему два мужика. Сначала ремнями прикрутили к скамейке руки, потом туловище; потом ноги, так что двинуться ни в какую сторону было нельзя. Все трое перешли ко второй колеснице и стали прикручивать к скамейке Кибальчича, Михайлова и Соню. Он все это видел хорошо, потому что сидел к ним лицом. Геси не было, казнь над нею из-за ее беременности постановили отложить. Он слышал, как у Сони, когда ей прикручивали руки ремнями, вырвалось: «Больно!» — и кто-то сказал, то ли палач, то ли стоявший рядом жандармский офицер:

— Ничего, еще больней будет.

Но все это несло мимо сознания, ибо он рвался за ворота, скорее увидеть улицы, толпу, лица людей, встретить их взгляды, голоса. Все его существо напрягалось от последней безумной жажды. Надели на грудь какую-то доску с надписью. Сердце колотилось. Скорей, скорей! Он увидит, поймет. Никакой награды, никакого прощания с этой землей: только глаза людей. Наконец выкатились, тяжело переваливаясь, за железные ворота, колеса скрипели, вокруг двигались войска, а день прояснялся. В воздухе была сырость, запах весны, горами на панели лежал сколотый лед.

Народ, толпившийся все гуще, стоял молча. Было много сонных, каких-то утренних лиц, некоторые зевали, некоторые глядели с угрюмым любопытством. Там что-то кричали. Грозил кулаками. На второй колеснице Михайлов силился встать, как бы выпрыгнуть из ремней — Андрей видел его могучую спину, напряженно выгибавшуюся, — и непрерывно что-то кричал толпе. Расслышать из-за барабанного боя было нельзя. Вдруг Андрей увидел, как молодая женщина, стоявшая на цоколе фонаря и державшаяся за фонарь рукой, другой рукой сделала робкий приветственный взмах. В тот же миг ее стащили вниз, мелькнуло в толпе лицо, пропало. Было похоже, что бьют. Когда въехали на плац, небо совсем очистилось, сверкало голубизной, и от земли восходил одурманивающий, как в детстве, запах талого снега и луж.



ПАВЕЛ НИЛИН



ДУРЬ

Рассказ

Говорят, да я и сам где-то читал, что в человеке чуть ли не каждые семь лет вся кровь меняется. Но как, при каких обстоятельствах? И нужно ли человеку самому принимать какие-то меры, чтобы вроде того что обновиться?

Вот, например, я могу рассказать...

1

Жениться мне, откровенно говоря, сперва вовсе не хотелось. Женатый, я считал, ведь все равно что связанный. Но на женитьбу меня подталкивала в первую очередь моя мамаша.

— Смотри, избегаешься, Николай,— все время предупреждала она меня.— Тем более,— говорила,— ты шофер, и женщины поэтому непрерывно тобой интересуются: подвези да прокати и так далее. Избалуешься ты, боюсь. И если женишься потом, жену уже не сможешь уважать как следует, поскольку тебе и сейчас такой повсеместный почет от баб...

Словом, мамаша стремилась, как обыкновенно, поставить меня, как говорится, на правильную точку. И пилила таким способом, наверно, минимум с полгода. А я еще совсем молодой был долушок.

Наконец я решил жениться. И не на ком-нибудь, а на Танюшке Фешевой. Она и тогда работала в кафе на пристани. У нее были, вы представить себе не можете, какие богатые, ну совершенно русые волосы, вот так, по последней моде, раскиданные по плечам. Одним словом, я раньше даже не мечтал на ней жениться, до того она казалась неприступная, что ли. А вот случилось...

Поженились мы, прожили почти что годик, и она пожалуйста — родила девочку. Неплохо? Вот именно.

Протекло еще года полтора. Тут вызывают меня в военкомат. И знакомый военком прямо говорит — собирайся, Касаткин, поскольку данная тебе отсрочка по случаю твоих травм на лыжных соревнованиях кончилась. И родина вроде того что желает увидеть тебя, как положено, на посту. Пора, мол, Касаткин, послужить родине.

Пора так пора. И разговора никакого быть не может. Не я первый в таком деле и не я последний.

Посадили меня в эшелон, как водится, с такими же, как я, новобранцами и повезли аж до самой реки Амур.

Конечно, сперва я тосковал, как тоскует, может быть, всякий, тем более женатый, человек. Вспоминал, как провожали меня родственники, в том числе и в первую очередь Танюшка и моя мамаша. Но в конце концов на людях я постепенно развеялся и вроде того

что втянулся в эту для меня-то новую, а вообще-то обыкновенную солдатскую жизнь.

Служба, просто скажу, почти что понравилась, потому что я с детства любил аккуратность и чтобы все было как следует. В питании я не очень привередливый. Ну, словом, я вскоре же ко всему привык.

Не хочу, однако, ничего сверх нормы преувеличивать. Мне было, конечно, много легче, чем другим солдатам, поскольку я состоял как шофер при начпродхозе и возил его повсюду на четырехместном бобике.

По тревоге по ночам — опять же прибавлять не хочу — мне вскакивать не приходилось, как другим. Ведь в солдатах по-разному бывает. Сегодня вечером, например, играли в своем клубе, пели, танцевали или показывали спектакль. Спать легли веселые и чуток попозже. Уснули как убитые. Вдруг среди ночи: «Тревога!»

Учебная она или условная, а бежать солдатам надо по команде в любую погоду — в дождь, и в ветер, и в метель. И хоть камни с неба будут падать, а бежать надо, куда укажут по команде.

Мне этого, конечно, не приходилось. Мне жилось много более спокойно по сравнению с другими. И дорого было то, что я все время был в разъездах и мог оглядеть, ну, правда, не во всей красоте, но хотя бы частично этот необъятный Дальний Восток. Это действительно, я должен сказать, красотища.

И вот я стал мечтать, что когда окончится моя военная служба, я тут же обязательно переведусь на Дальний Восток на гражданскую работу. И, понятно, перевезу с собой жену Танюшку и дочь Эльвиру.

Вот какая у меня была мечта. Пусть, думал я, приедут поглядят и мои родные, какой он есть в натуре, этот Великий, или Тихий, океан, какие тут реки и леса.

Реки на Дальнем Востоке просто, к слову сказать, удивительные, хотя не все их тут хвалят, не все ими довольны, особенно кто занимается сельским хозяйством. Ведь везде, заметьте, реки разливаются обязательно весной, когда сходят льды и снега. А здесь, на Дальнем Востоке, они другой раз дают разлив аж к осени. И могут такое натворить-наделать, что весь труд человеческого, то есть крестьянский — урожай и все прочее, — подвергается смыву. Надо же. Но уже имеются в настоящее время проекты, нам объясняли, как укрощать эти реки. И конечно, не это меня лично заботило, когда я мечтал переехать туда с моей семьей. Я и мамашу свою хотел пригласить с нами, поскольку она так же, как я, обожает ходить по грибы. А грибов там и ягод, на Дальнем Востоке, грубо сказать — пруд пруди. И кто, как вот я, любитель рыбной ловли или охоты, тому тут немислимое раздолье и благодать.

И я приглядел уже совхоз, где я мог бы устроиться после моей военной службы и даже сколотить свой собственный домик, как давно мечтала моя мамаша. Но вдруг именно от нее, от мамыши моей, приходит письмо. Не ею, конечно, персонально написанное, но, по всей видимости, соседским мальчиком — учеником Витей — под ее, понятно, диктовку. Так, мол, и так, дорогой сынок, живем небесполезно, смотрим телевизор, слушаем радио, все здоровы, слава богу, на своих местах и в тепле, но Танюшка, имей в виду, Николай, вроде того что тихонько погуливает, и как бы она тебе без твоего спроса и ведома вторую малютку не преподнесла как сурприз к твоему возвращению. И главное, некрасиво, диктует мамаша, что дочь твоя, крошка Эльвира, которая уже во всем разбирается, присутствует тут же при своей матери и может свободно наблюдать совсем не тот пример, какой ей, девочке, будет

впоследствии нужен. И ведь все это можно было предвидеть, вроде того что злорадствует и упрекает мамаша. Ведь, мол, говорено было тебе в свое время, что из кафе или же столовой невесту надо брать с особой осторожностью и вниманием, мол, где пьют, там и льют. А позор вроде того что может распространиться на все наше ни в чем никогда не замеченное семейство.

Ну, думаю про Танюшку, приеду — убью ее, тихую дурочку, поскольку, как видно из письма, она не мать своему ребенку и не жена своему мужу. Убью, и все. Другого вроде того что выхода не вижу. Не миновать мне, одним словом, думаю, тюрьмы.

И тут старшина вручает мне новое письмо — уже от нее от самой, от Танюшки. Пишет она в том смысле, что, мол, скучаю по тебе невероятно, вижу тебя сквозь все ночи во сне и жду не дождусь, когда же ты обнимешь меня, мой дорогой Коленька. Ведь и пожилы-то мы, пишет, с тобой всего ничего из всей нашей молодой жизни. А сейчас я вся извелась, тоскуя по тебе. До каких же, отпиши мне, пор может продолжаться твоя военная служба? Или, может, ты уже нашел себе кого?

На такие слова я, понятно, не мог ответить грубо. Написал ей, что служба, мол, не мной придумана и не я один ее несу. Придется, мол, тебе, моя дорогая супруга, потерпеть сколько надо, а там, мол, видно будет. Никого ни в коем случае я не подыскивал тут, как ты намекаешь в своем письме, и не собираюсь делать подобных глупостей. Береги, пишу, себя и нашу дочь, воспитывай ее в духе, прививай ей и так далее, как положено в настоящее время. А сам при этом думаю: ах, погорячилась моя мамаша, дала до такой степени ошибочную информацию. И ведь могла, думаю, по своей женской неосторожности и, грубо говоря, торопыжности разрушить нашу семейную жизнь. И еще думаю: ну, хорошо, ну даже если бы Танюшка и позволила бы себе что-нибудь такое, все равно горячиться родственникам ни к чему, поскольку одинокая женщина, уже привыкшая к семейной жизни, не может не тосковать, и надо войти в ее положение, а не стучать направо и налево. И не просить малолетнего мальчика-ученика писать в армию огорчительные и тем более непроверенные письма. Пустяки, думаю, все обойдется. Ничего страшного.

Но тут я получаю сразу два письма — от брата Костика и от сестры Манюни. Манюня особенно авторитетно пишет, поскольку она на профсоюзной работе, что, мол, твоя семейная жизнь, имей в виду, Николай, находится под угрозой срыва, что Танюшка вроде того что в открытую приводит домой с пристани подвыпивших мужчин и что не дай бог если об этом узнает мама. А что мама уже все сообщила мне, ни Манюня, ни Костик не знали.

Ну, ладно, думаю, придется мне, видно, поступить с этой женщиной, то есть с Танюшкой, по всей строгости — вплоть до расторжения брака. Жалко, конечно, Эльвиру, дочку, оставить без отца, но другого выхода я уже действительно не вижу.

И тут я прошу моего подполковника-начпродхоза:

— Нельзя ли мне взять срочно отпуск хотя бы на несколько дней?

— А что такое? — очень недовольно пошевелил он усами.

— Так и так, — говорю, — товарищ подполковник, хотел даже с вами посоветоваться, поскольку знаю, как вы хорошо подкованный по всем вопросам.

И объясняю ему все начистоту. Он послушал-послушал меня, потом опять пошевелил усами, как он всегда делал, когда его что-нибудь сердило или затрудняло, и говорит:

— Дело это, товарищ Касаткин, чисто бытовое, и его вот этак, с ходу, нам с тобой не решить. Ездить в отпуск тебе сейчас, я считаю, не надо, поскольку ты здесь нужен до крайности и скоро к тому же кончается назначенный тебе законом срок службы. А что касается твоей супруги, то я могу сказать, что подобные факты, конечно, к сожалению, еще встречаются и имеют место. Девочку-то как зовут? Эльвира? Хорошо зовут. А жену? Татьяна? Тоже неплохо. Не советую,— говорит,— я тебе, товарищ Касаткин, разводиться. Нечетично это — разрушать семью. Не наш,— говорит,— не советский это стиль...

И представьте себе, подполковник этот оказался в конце концов вроде того что прав. Хотя тогда я даже рассердился на него. Про себя, конечно, рассердился, не очень заметно.

От Танюшки я опять получил почти что печальное письмо. Сил моих женских нет, писала она, жить без тебя. Не могу я понять, как считаться мне — замужней женщиной или просто, как все, свободной гражданкой? Даже Эльвира спрашивает: где же наш папа?

И опять растаял я от этого письма, опять закипела во мне любовь, а не злоба.

И в этот момент в нашем Доме офицеров приезжий лектор читал всех заинтересовавшую — ну, я не знаю как — лекцию «О любви и дружбе и семейной жизни». Исключительно для офицеров. Правда, потом обещано было повторить ее для солдат.

Был очень сильный мороз. Поэтому лекцию я лично слушал с пятого на десятое, с большими перерывами, потому что все время приходилось выбегать к подъезду — прогревать мотор нашего бобика. Чтобы не прихватило морозом радиатор. Хотя он и с антифризом, но все-таки надо думать. И кроме того, эту лекцию я слушал из самых задних рядов, поскольку находился в Доме офицеров неофициально, только как шофер начпродхоза.

Зато после лекции, когда приезжая поэтесса Щепетухина или Щеголихина читала свои собственные стихи о любви, мне выпала, я считал, большая удача: замполит приказал отвезти лектора в гостиницу почти что за десять километров, на взморье, в дом отдыха.

Седенький был лектор, на взгляд — еле живой. Хотя из самой Москвы. Все время задремывал, даже всхрапывал, пока я его вез. Но все-таки я решил посоветоваться с ним по моему вопросу. И он, похоже, слушал меня, даже переспрашивал:

— А Эльвире сколько лет? А Татьяне?

Будто в годах дело. Потом сказал, когда я уже довез его:

— Почитай, дружок,— запиши — писателя Достоевского. Он хорошо входил во все такие тонкости психологии. Или можно даже Льва Толстого почитать, тоже неплохо писал о семейной жизни.

Достоевского книг я достать не смог, хотя спрашивал в двух библиотеках. Книги писателя на похожую фамилию имеются, даже сколько угодно. А книги самого Достоевского, к сожалению, на руках. Многие, наверно, как и я, хотят разобраться в своей семейной жизни.

— Да зачем тебе Достоевский? — даже обиделась одна молоденькая библиотекарша.— Это все уже отошло или вроде того что отходит. Ты,— говорит,— возьми что-нибудь из современной жизни. Про лосей вон хорошо пишет один писатель, правда переводной. Или вот про жизнь в Африке возьми, если тебя шпионы, ты говоришь, не интересуют.

Но меня уже ничего не интересовало, кроме моих домашних дел,

Домой я ехал, когда окончился срок моей службы, как волк в клетке: все ходил по вагону взад-вперед, вроде того чтобы ускорить движение поезда.

2

Приехал я, возвратился в родной свой город. И, конечно, первым делом на автобусе — к себе на квартиру. А Танюшки, оказывается, дома нет. И Эльвира в детском саду. Я на пристань, в кафе. И вот, верите — нет, я порог переступить не успел, женщина невозможной красоты кидается мне навстречу и чуть не сбивает меня с ног. Целует и плачет:

— Коленька, цветик-шестицветик мой.

Я гляжу — и не узнаю. Волосы свои богатые, с таким золотым отливом Танюшка не раскидывала теперь по плечам — все-таки не девушка уже, — а заматывала вокруг головы. По уже самой последней моде. И от этого будто выше становилась, еще осанистее.

Посетители тут в кафе, больше матросы-речники, хорошо поглядывали на нас и улыбались. А мне отчего-то неловко становилось. И даже слегка знобило меня.

Боже мой, да я бы, кажется, все отдал теперь, чтобы еще хоть раз вот так растерянно постоять возле нее. И чтобы вот так же светились ее большие глаза и пахло парным молоком и березовым соком и еще чем-то милым от ее ушей, и губ, и волос.

— Ну, пойдём, пойдём, — говорила она, почти что задыхаясь. И вела меня по какому-то коридору, где пахло щами, как травами. И всем встречным объясняла с улыбкой: — Это вот мой муж, Коля. Познакомьтесь. Только что с военной службы, из армии прибыл, возвратился. О, смотрите, у него и медаль какая-то! С ленточкой...

А какая уж там медаль, смешно сказать. Не медаль, а значок. Но она и его осторожно вот так погладила, отчего, казалось мне, и латунный значок должен был просиять.

— За Эльвирой давай сразу поедем, — предложил я, отчего-то слегка сконфуженный, когда заведующая отпустила Танюшку домой до завтра.

— Нет, — сказала Танюшка, — сперва ты будешь мой, а потом уж я тебя передам Эльвире и всей родне твоей прекрасной...

Дома она мигом разобрала все, как на ночь. Но тут же, я потом гляжу, успела накрыть на стол и поставить среди закусок разных бутылки три или четыре вина.

— Как же, как же, — говорила она, — у нас такой большой семейный праздник. Возвращение главы семейства. Сейчас всю родню нашу соберем. А за Эльвирой я потом тут мальчика одного пошлю. Он ее моментально доставит. А ты, Коленька, надень вот эти брюки. И башмаки. И вот этот свитер. Все это я тебе купила в комиссионке по памяти на твой размер. Думаю, придется...

И действительно — все пришлось, будто я сам примерял в магазинах.

Вышел я уже под вечер в таком виде нарядном к моей родне. Пригласил всех к столу. И внимательно глядел на каждого — и на мать, и на брата, и на сестру, словом, на всех, кто уселся за стол поздравить меня со встречей. Ну, думаю, как говорится, друзья, у кого теперь повернется язык что-нибудь такое сбредить про мою супругу или навести на нее какую-нибудь, тем более нежелательную, мораль?

Из посторонних Танюшка пригласила на тот ужин, что ли, только двух своих подруг — официанток из кафе Ирину и Фриду —

и старичка бухгалтера Костюкова Аркадия Емельяновича с пристани, который, как она объяснила мне, учит ее особо играть на гитаре в струнном кружке при клубе водников. И что вроде того что неудобно было бы его не пригласить. И правда, он явился с гитарой, каких я еще не видывал, — большой, блестящей, будто обшитой пуговицами, а сам весь какой-то коричневый, с крашеными, как у женщины, волосами и слегка плешивый. Правда, и плешь он, видать, закрашивает чем-то, чтобы она не бликовала.

— Я, — сказал он, — сыграю вам сюиту...

Мне эта сюита, откровенно говоря, была ни к чему, но поскольку Танюшке она, может быть, нравилась, я не мог и не хотел возражать. В заключение Танюшка вместе с ним уже на своей гитаре сыграла «Подмосковные вечера», и мы все с удовольствием спели.

Словом, было тогда очень хорошо. И сто лет пройдет, я это не забуду.

Потом все ушли. И Аркадий Емельянович ушел со своей красивой, с пуговицами гитарой. Только моя мать осталась. И Эльвиру из детского сада привели. И Эльвире Танюшка — ведь подумайте, заранее все сообразила — большого ватного зайца преподнесла, говоря:

— Это тебе от твоего папы. Вот он сидит. Поскорее подойди, поцелуй его.

Эльвира, конечно, поцеловала меня и охотно пошла ко мне на колени. А потом вдруг спрыгнула с колен — увидела у кровати мои сапоги и гимнастерку — и закричала:

— А дядя Шурик где? Это же его сапожки. И ремень. Разве он приехал опять?

Танюшка и мать моя, как в испуге, притихли. У матери, я заметил, будто разом почернело лицо.

— Какой дядя Шурик, Вирочка? — спросил я.

— Какой, какой, — передразнила она. — Будто не знаешь. Какой у нас всегда ночует, когда приезжает...

— Не болтай, девочка, — остановила Эльвиру моя мать.

А Танюшка молча убирала со стола, выносила грязную посуду на кухню.

Мать смотрела на меня выжидающе, но не прямо, а как-то сбоку. Ну, мол, хозяин, тебе решать. Но теперь-то, мол, хоть ты понимаешь, что я не плела ерунду в письмах. А ведь дважды, кажется, я тебе писала. И все это, к сожалению, ты теперь не один знаешь. Даже эта крошка Эльвира, ты гляди, уже много чего лишнего сообщает. Ну решай же, решай, хозяин!

Так смотрела на меня моя мамаша. Такое я, одним словом, читал в ее глазах. И я все сразу решил под ее взглядом. И тут же ей высказал, когда она, как монашка, со скорбным таким видом повязывала под подбородком свой черный платок:

— Что было, мамаша, то было. Того поменять мы уже не можем. А жизнь тем более дальше идет.

— Ну смотри, тебе жить, — сказала мамаша. И, как сейчас помню, крикнула уже из сеней: — Татьяна, я ушла. Привет тебе.

Мать у нас, конечно, уж очень нервная, одним словом, сердечно-сосудистая. И неграмотная до сих пор, но очень гордая. Всю жизнь она проработала поденщицей у разных людей — стирка, глажка, полы. Но нам, детям своим, все-таки дала кое-какое воспитание. И каждый из нас получил специальность. У чужих столов мы, одним словом, никогда не стояли с открытым ртом.

И я уже на третий день по возвращении, как получил обратно паспорт, сейчас же опять устроился в свой старый автопарк. Хотя

Танюшка меня все время упрашивала отдохнуть месяцок и говорила, что даже через ихний нарпит можно получить путевку в дом отдыха недели на две.

— Если ты не возражаешь, я завтра же зайду к Потапову. Он мне как-нибудь, надеюсь, не откажет.

— Да я дома лучше всего отдохну,— говорил я.— Тем более я и устал не очень.

И действительно я устроился в автопарке на ночную работу — возил через сутки с молококомбината в магазины молочные продукты. Целые сутки у меня получались полностью свободные. Я много чего мастерил по дому — починил всем обувь, сделал полки на кухне, да мало ли.

И теперь уж была моя забота — через день отводить Эльвиру в детский сад и забирать обратно.

В детском саду были ею очень довольны. Даже считали — да, наверное, и сейчас считают, — что у нее большой талант к рисованию, к пению и к стихам, которые она прямо с ходу запоминает.

Мне как отцу это было, конечно, очень приятно. Хотя, скажу вам откровенно, с Эльвирой у меня вроде того что не налаживались нормальные отношения. Ну, например, я зайду за ней в детский садик к вечеру, а она:

— Лучше бы мама пришла. Ты же мне сзади все пуговицы перепутываешь...

Уж чего я не делал для нее, а она все таким зверьком ко мне. А девочка, между прочим — все считают, — вылитый я. Даже моя мамаша так считает. Даже уши у Эльвиры, заметно, вот тоже слегка оттопыренные. Отчего я избегаю короткой стрижки.

Но больше всего мне было неприятно, что Эльвира нет-нет да и вспомнит какого-то дядю Шурика, как он во дворе на детской площадке ходил на руках.

— А ты так, — спрашивает, — можешь?

Один раз вечером Танюшки не было дома, я привел Эльвиру из садика, налил ей чаю с топленым молоком, как она любит, и тут же, чтобы развеселить ее, показал вроде фокуса, как будто из уха достаю тульский пряник.

— А из этого уха можешь?

— Могу. Я, Вирочка, — говорю, — все могу. Я же, ты пойми это хорошо, бывший солдат.

— А дядя Шурик — сержант.

«Ну ладно, пес с ним, с этим дядей Шуриком. Не надо сердиться», — приказал я себе. И спросил не своим, а каким-то подхалимским голосом:

— А кого ты любишь больше, Вирочка, скажи откровенно: меня, своего папу, или этого, как ты выражаешься, дядю Шурика?

— Потапова, — говорит она.

— Какого, — спрашиваю, — Потапова?

— Какого-какого, Потапова не знаешь? Он всегда духи и конфеты приносит. И катает меня на машине...

Я весь прямо закипаю от таких детских слов. Но все-таки упорно сдерживаю себя.

— А ты, — вдруг спрашивает она меня, — жить теперь у нас будешь? Всегда-всегда?

— Ну, конечно, дурочка ты такая, — объясняю я ей без всякой злобы. — Ты пойми, я прошу тебя, и запомни: я же есть твой родной папочка. Ну, кто же может быть лучше родного отца?

— Дяди лучше, — говорит она, как будто специально добывает во мне огонь. — Дяди все время чего-нибудь хорошее дарят. А ты

всего-всего только зайца подарил. Да и то я его давно знаю. Он,— говорит,— давно тут в комодке лежал завернутый, этот заяц...

Хорошо, что мне надо было в этот день ехать в ночь на работу. Я не знал бы, куда девать себя, такая на меня не то что злость, а какая-то злая тоска напала. Я, наверно, напился бы в этот день до потери сознания, если б мне не на работу.

Но утром опять все повторяется по-хорошему. Танюшка, как всегда после моей ночной смены веселая, какая-то душистая, в пестреньком легком халатике встречает меня у дверей. Ей же на работу в кафе чаще всего с двенадцати. Уже затопила колонку, чтобы я мог помыться, и щебечет, щебечет вокруг меня:

— Яишенку тебе или картошечки пожарю? — И кладет мне руки вот этак на плечи.— Устал, замаялся? — спрашивает.

Ну как тут будешь сердиться? Это же кем надо быть, чтобы сердиться.

Больше того, я вам скажу, мне даже стыдно бывает в такой момент, что я сердился только что. Ну, словом, тот лозунг, что я вколотил себе в башку и первый раз объявил своей матери, я все время не забывал: что было, мол, то было, того поменять мы теперь не можем. А жизнь идет дальше.

С Эльвирой я больше не заводил посторонних разговоров — про Шурика или про какого-то Потапова, старался, чтобы она их поскорее забыла. Приносил ей игрушки, сладости, ну, что ребенку надо. Играл с ней. Даже на руках два раза перед ней прошелся — невесть какая хитрая штука. Но сердце к Эльвире, хотя она и вылитая я, у меня, откровенно скажу, не лежало. Говорил я себе, что это, мол, дочь твоя, что ты обязан и все такое, а сердце все равно не лежало. Но это уж, наверно, особый разговор.

Делал я все для моего семейства, одним словом, нормально. Как все делают. Как все вроде того что должны-обязаны делать. И не упускал в то же время мою давнюю, уже вбитую мне в память мечту-идею переехать со всем семейством на Дальний Восток. Даже три письма к верным людям, с которыми познакомился там, я отправил еще летом. Мне, например, интересно было узнать у одного знакомого начальника автобазы, расширилось ли ихнее дело, как намечалось, требуются ли им шофера и не изменились ли богатые условия, которые он мне сулил, когда я еще был солдатом,— насчет квартиры и потом приобретения, то есть постройки своего домика с огородом и садом.

Словом, я, как говорится, заболел этим Дальним Востоком. И болезнь моя и теперь не проходила. Ну, скажем, не болезнь, а вот именно — мечта. Хотя живем мы тут, почти что под Москвой, в общем-то, совсем не плохо. Жаловаться, одним словом, не на что. И лес тут у нас кое-какой есть, даже очень густой попадается, в котором иной раз и ягоду и грибы, несмотря на большое многолюдство, можно собрать. Но разве сравнишь эти ягоды и грибы или, скажем, рыбу с тем, что в любое время можно встретить на Дальнем Востоке? Даже в солдатском моем положении я мог добывать там все, что хотелось мне, в смысле живности или, как говорится, растительного мира — в виде, например, грибов. А надо сказать, зверь, рыба, грибы и всякое такое для моего характера — это, можно сказать, все.

Но главное, что мне хотелось теперь,— чтобы на новом месте, на Дальнем Востоке, и Эльвира забыла разных дядей Шуриков и чтобы Танюшка вступила, как это говорится, в самостоятельную, действительно семейную жизнь.

И Танюшка вроде того что тоже загоралась, когда я рассказывал ей о реке Амур и о Тихом океане, где я был почти что мельком,

Танюшка, вообще надо сказать, шла мне во всем навстречу, помогала то есть чем могла.

Вдруг приносит теплый такой пиджак на ватине и вроде того что с кожаным верхом.

— Надевай,— говорит.— У одной спекулянтки сию минуту купила. Если не придется, успею еще вернуть.

Но я надел его и — как родился в нем.

А было уже сыро. Осень. В самый раз оказалось в этом пиджаке ехать в ночную смену.

Явился я в парк. Объявили мне, что посылают меня на двое суток в Москву. Пришлось готовить машину в дальнюю поездку. То да се. Прокрутился я так в автобазе почти что до двух часов ночи и тут только трекнул, что книжка-то моя с шоферскими правами осталась в старом пиджаке, да и надо было Танюшку предупредить, что я не вернусь утром.

В третьем часу ночи, таким образом, заезжаю я к себе домой — и что же я застаю? Я застаю свою жену на нашей, как говорится, семейной постели — вы не поверите и ни за что не угадаете с кем — с этим самым Костюковым Аркадием Емельяновичем, с этим вроде того что пожилым крашеным дьяволом шестидесяти, можно сказать, лет. Картина? Вот именно. И этот уже совершенно старый черт, приводя себя, как говорится, в порядок, этак усмехаясь от своего же конфуза и снимая со стены гитару, на которой опять, должно быть, играл тут свою сюиту, говорит мне: извини, говорит, если можешь, Николай Степаныч, но я не мог не уступить дамскому капризу. Такая, говорит, вот получилась у нас эмоция...

И тут же за занавеской, представьте себе, кровать Эльвиры.

Ну, что бы вы в таком случае сделали?

А я снял новый ее дареный пиджак, надел старый, проверил, в нем ли мои шоферские права, сказал: «Счастливо вам всем оставаться» — и ушел в чем был.

По возвращении из Москвы я, конечно, поселился уже у матери своей и сразу заявил о разводе.

3

В коридоре народного суда я издали увидел Танюшку и не узнал. Так изменилась она за какие-нибудь несколько дней — исхудала, пожелтела как-то. Но, заметив меня, опять просияла вся и пошла ко мне, этак весело протянув вперед руки. Будто опять хотела положить их мне на плечи и, по привычке своей, до милой духоты сдавить мне горло, говоря: «Ну иди, ну иди, ну иди ко мне».

Ничего этого она, конечно, теперь не говорила. Только спросила:

— Отчего, Коля, ты-то как будто веселый? Тебе правда весело? Или ты просто гордишься собой?.. Не гордись, Коленька,— тут же как посоветовала она.— И не сердись. Не расстраивай свою нервную систему. Ну что ж теперь делать, если так получилось жестоко?.. Много горя я тебе, наверно, причинила? Но все ведь не со зла, наверно. Наверно, не со зла. И хотя я, наверно, кругом виновата перед тобой, но имей в виду, я любила все время только тебя одного. И никого другого, наверно, уже никогда не полюблю. Наверно, никогда...

— Для чего ты все время говоришь одно сорочье слово — наверно? — только и спросил я ее. Хотя хотелось мне спросить другое: для чего же она ночью позвала к себе этого крашеного козла — пожилого Костюкова, что у нее за интерес, кроме его гитары, был в нем? И как надо понимать это слово — эмоция? Но ничего больше

я не спросил, потому что боялся, что не смогу сдержать себя и рас- свирепею так, что начну ее душиить тут, в коридоре, или, напротив, вдруг заплачу навзрыд, как женщина.

И она вдруг смахнула слезу.

— Наверно? — переспросила она и опять просияла так, как умела делать только она, и никто на свете.— Тебе удивительно, Ко- ленька, что я говорю — наверно? А я так говорю, оттого что не уверена. Я многое еще не совсем понимаю. Ни вокруг себя, ни в себе. А врать, как другие, даже самой себе не хочу. Уверена я только, что с сегодняшнего дня ты уже не будешь нужен мне. И алименты твои, не волнуйся, не нужны. Ни мне, ни Эльвире. Эльвиру я уж как- нибудь сама подниму и поставлю на ноги...

— Или кто-нибудь тебе поможет из твоих друзей,— не стерпел я сказать.— Мало ли разных на твое удовольствие дядей Шуриков, Потаповых, Костюковых...

— Не сердись, Коленка. Не расстраивай себя,— опять сказала она.— И Костюкова не затрагивай. Все это ни тебе, ни мне не понять. Он человек необыкновенный...

— Подумаешь,— сказал я.— Гитарист плешивый, да я бы...

Но в это время зазвонил звонок. Это звали всех в судебный зал.

Я зашел туда и первый сел на первую перед судебским столом скамью, поскольку во всем теперь была моя инициатива. Малость погода и Танюшка присела рядом со мной.

А судьи еще не выходили.

— Вот и разведут нас сейчас с тобой в разные стороны. И, на- верно, уж навсегда.

Это сказала она, чуть наклонившись ко мне.

— Так будет лучше всего.

Это сказал я.

— И все-таки не могу я понять, весело сейчас тебе или ты толь- ко напускаешь на себя? — опять заговорила она, помолчав.— Мне-то хорошо понятно, что такого мужа, каким был ты еще недавно для меня, я уже не встречу никогда. Но ведь и ты, Коленка,— поймей в виду, мой бывший милый,— бабы такой, как я, беспутной, но чест- ной и чистенькой не сыщешь тоже...

— Это ты-то честная и чистенькая? — взглянул я на нее. И весь было затрясся от этакой, что ли, ярости.— Это ты-то чистенькая?

— А ты еще не понимаешь это? — будто удивилась она.— До сих пор не понимаешь? Ну ничего, потом, может, когда-нибудь поймешь. Желаю тебе...

И отошла, как-то особо аккуратно подобрав юбку, пересела на другую скамью.

После суда я еще хотел заговорить с ней, договориться насчет Эльвиры. Но она уже как глухонемая смотрела на меня, и глаза ее, большие, светлые, будто потухли.

В тот же день к вечеру я гулял с девушкой, с которой позна- комила меня моя сестра Манюня. Не гулял, вернее сказать, а просто разговаривал на работе у Манюни. Чай с ней пил у них в буфете. И как-то так получилось, что после этого чая почти что проводил ее до автобуса. Потом Манюня мне сказала:

— Ты понравился Наташе. Она говорит, что ты человек, должно быть, добрый и, видать, еще не нашедший счастья. И что ей было очень интересно, что ты рассказывал о Дальнем Востоке...

Вот на этой Наташе я и женился вскоре.

Все совпало будто очень хорошо. Дом, который строили лет пять, наконец достроили в это время, и мне совершенно неожиданно дали

в нем однокомнатную, маленькую квартирку, но со всеми, как положено теперь, удобствами.

Свадьбу я закатил такую, что все просто ахнули. Всю посуду и закуски брали, не поверите, из ресторана «Памир». Четыре новых «Волги»-такси везли нас с гостями сперва на регистрацию, потом на квартиру. Два гармониста и гитарист, может, не хуже того, плешивого — вот как сейчас их вижу, — играли весь ужин без перерыва до двух часов ночи.

И главное, я скажу, всех просто поразила красотой своей невеста моя. Все так и говорили:

— Ну, Колька Касаткин и выхватил себе жену. Молодая совсем. Образованная. Учительница. Куда там Танюшке Фешевой.

А Танюшка, уже дней через несколько мне рассказывали, всю нашу свадьбу, вернее весь ужин наш с музыкой, простояла напротив нашего дома и как будто ждала кого-то под дождем. И даже плакала, добавляли женщины.

И вот после этого разговора точно что-то случилось со мной, будто испортили меня, как говорилось в старину.

Ведь и свадьбу такую я устраивал как бй из мести, как бы желая всем показать — и в первую очередь бывшей моей жене, — что я не последний какой-нибудь навозный жук, что я в силе и в средствах взять и красавицу невесту, и отпраздновать свадьбу всем на зависть и на удивление.

И все будто так и должно было быть. Но я вдруг сон потерял и интерес к моим занятиям, к моей, словом, работе. Хотя меня перевели на дневную смену. Но я что днем, что ночью — как сонная муха.

А у меня молодая жена. Моложе прежней, можно сказать, почти что на четыре года.

И так получилось, что и мамаша моя и вся родня просто прикипели к Наташе. Насколько они не ценили и даже осуждали Танюшку, настолько они теперь превозносили Наташу. И хороша собой. И хозяйка замечательная. И о муже печется. И родню уважает. Ну что еще, кажется, надо?

А я — в расстройстве. Даже не знаю, как объяснить. С работы иду и вдруг замечаю, что вроде не туда иду. То есть не на новую свою квартиру, не к новой своей жене, а туда, где раньше жил с Танюшкой, с Эльвирой, где они и сейчас живут. И может, даже Танюшка кого-нибудь в этот момент принимает, когда я в ее сторону иду. Может, опять там этот старый крашеный дьявол Костюков. А мне вроде того что все равно. И в то же время как будто обиднее даже, чем раньше.

Поставили мы себе на новую квартиру телефон. И Наташа завела порядок — звонить мне, если я дома, когда она кончает работу, и спрашивать, не пообедать ли нам вместе, не пойти ли вместе в кино. Ну, словом, как это заведено у всех остальных, как вроде того что положено.

Только после я понял, что получаюсь похоже как под контролем.

А мне пришла, например, фантазия зайти к Танюшке навестить мою дочь Эльвиру. Значит, что же, надо докладывать об этом Наташе? А я не хотел докладывать. И врать не хотел.

Просто вечером, никому ничего не говоря, вышел из дому и поехал на автобусе на улицу партизана Зотова, где я раньше жил. В это время Эльвира уже должна была быть доставлена из детского сада. И Танюшка чаще всего в эти часы была дома.

Приезжаю — нету их. Туда-сюда. Спросить не у кого. Выхожу на

улицу, идет наша бывшая соседка. И в отдалении вижу — появляется сию минуту моя жена Наташа. Меня это как-то нехорошо кольнуло. Но я все-таки поздоровался с соседкой.

— Татьяна? Так она уж давно, с неделю наверно, в больнице,— говорит соседка.— А Эльвиру вторая бабушка в деревню забрала.

«Где, в какой больнице?» — надо бы мне расспросить о моей бывшей жене.

А Наташа вот она, уже подошла к нам. И я при ней постеснялся спросить у соседки адрес больницы. И соседка прошла. А я сам себе стал противен за свою робость. Чего ведь особенного? Это же не секрет, что я тут жил и что живет тут моя бывшая жена. И тем более дочь моя.

— А я хватилась тебя,— говорит Наташа.— И почему-то подумала, что ты, наверно, поехал сюда, на партизана Зотова. А мне тут к фотографу было надо.— И расстегивает сумку и показывает конверт с фотографиями. Значит, правильно, ей надо было к фотографу. А я уж думал, не шпионит ли она за мной.— Ну, что ты,— спрашивает,— был у них?

И так хорошо она это спрашивает, будто они тоже ее родные или знакомые и она просто интересуется их жизнью.

— Нету,— говорю,— их дома. И где они — неизвестно. Бывшая моя жена вроде того что в больнице...

— В больнице? — как бы испугалась Наташа.— В какой? Не знаешь? Что ж ты не узнал у соседей? Пойди спроси...

В больнице вместо Танюшки я увидел почти что старую женщину с серым лицом. И только по табличке на кровати с моей фамилией можно было определить, что это бывшая моя жена Касаткина-Фешева Татьяна Гавриловна. Волосы у нее были теперь как наклеенные и на висках даже слиплись.

— Что с тобой? — спрашиваю.

— Ты что, разве сам не знаешь, что бывает с женщинами? — говорит она вроде с улыбкой, но глаза уже как потухшие лампочки. Как потухли они тогда в народном суде, так и остались в таком состоянии.— Спасибо,— говорит,— что пришел, но умоляю тебя: не приходи больше. Не могу, не хочу тебя видеть. Ты противен мне. И этот виноград из твоих рук мне противен...

Уж, кажется, лучше не скажешь. Правда? Уж, кажется, все сказала. Повернуться бы мне и уйти. Тем более женщины с других коек все это слышали и смотрели на меня. (Ведь женщинам до всего есть дело, даже до того, что их вовсе не касается.)

А я говорю:

— Танюшка, неужели ты все, положительно все позабыла?

— Нет,— говорит,— я ничего как раз не забыла. Уйди, умоляю тебя. Будь человеком.

— Ну, как хочешь,— говорю. И чувствую, как зло закипает во мне, как тогда, когда я увидел ее с Костюковым. Пусть Костюков и ходит к ней сюда в больницу.

Наташа сперва ни о чем не расспрашивала меня. Только дней пять спустя говорит:

— Надо бы тебе, пожалуй, опять пойти к Татьяне. Или уже выписали ее?

— Не знаю,— говорю.— И не интересуюсь.

— Странно,— говорит Наташа.

— Ничего странного,— говорю,— не вижу. Ну чего я буду к ней ходить? У меня же есть жена...

— Странно,— опять говорит Наташа. И вроде того что еще что-то хочет сказать, но, похоже, стесняется, что ли.

В этот вечер я впервые сильно напился и уснул, даже смешно подумать, на площадке у застекленной стены этого самого кафе на пристани, где работает Танюшка. Как уж я попал сюда, не могу понять. Разбудили меня под утро дружинники. То да се. Восемь рублей за купанье в казенной ванне в вытрезвителе. Но главное, что я опоздал на смену. И кроме того, в автобазу через несколько дней пришло письмо от начальника милиции с укором нашему начальству, что, мол, не ведете должной воспитательной работы среди водительского и прочего состава.

Милицию тоже надо понять. С нее же, наверно, тоже строго спрашивают насчет того, что пьяных развелось в излишке и что она, милиция, вроде того что несвоевременно их забирает. А что она может сделать? Она же тоже не может каждому влезть в душу и не в силах разобраться, кто пьет, скажем, от любви, а кто от глупости, от особой чувствительности или, напротив, от недостатка чувств, когда, кроме вина, выходит, нечем занять душу. А с милиции, понятно, спрашивают порядок. Вот она и пишет на предприятия, что, мол, примите меры, усильте, мол, воспитание.

Я и сам еще недавно и неоднократно разбирал такие письма из милиции, когда одно время был профоргом. И никогда не думал, что вот такое может случиться и со мной.

Вообще я всегда смеялся над этими алкоголиками, которые скидываются по рублю у продуктовых магазинов. И вот представьте — сам почти что дошел до этого.

Вечером выпью и как будто забудусь, как будто убегу от самого себя. А утром опять еще с большей силой разламывает башку от стыда и тоски. И весь свет не мил.

Больше того вам скажу. В прежнее время я все к чему-то стремился. Хотел чего-то достичь. Например, добивался сдать испытания на шофера первого класса. Хотел, мечтал, как я уже рассказывал, переехать на Дальний Восток. Получил оттуда даже два хороших предложения. А ничего хорошего не случилось. Все пошло побоку.

И теперь, если услышу, что какой-то мой знакомый или приятель где-то курсы какие-то закончил, получил какую-то премию или новую должность занял, злоба меня охватывает на такого человека, будто он меня обокрал. Будто все передо мной виноваты и я всех хочу поскорее и построже наказать.

Иногда теперь я сам пугаюсь этой своей злобы, которая точит исподволь мое сердце. Но освободиться от нее, от этой злобы, уже не могу, как не могу уйти, убежать, уехать от себя лично ни на Дальний Восток, ни куда-либо. Не могу никуда спрятаться от самого себя вот от такого, с тяжелым, свинцового цвета лицом, которое смотрит на меня по утрам из зеркала.

— У тебя нервы расстроены, — сказала Наташа, видя, как я не сплю по всем ночам, как портится у меня характер. И повезла меня в Москву. И не просто в поликлинику, а к частному и, говорят, очень знаменитому врачу-невропатологу, надеясь, что частник уже просмотрит меня со всех сторон и определит окончательно, что делать со мной.

Врач этот оказался женщиной. Угрюмая такая старушка лет этак хорошо за семьдесят, на длинных, как деревянные, ногах. Она потрогала меня за нос, почертила что-то такое у меня на груди, постукала молоточком по моим коленкам, велела пройтись с закрытыми глазами, потом поглядеть искоса на ее мизинец.

— Ничего, — говорит, — особенного я у вас не нахожу. На бюллетень рассчитывать, по-моему, вы не можете..

— Да не нужен нам никакой бюллетень,— прямо с болью говорит Наташа.— Нам спокойствие только нужно в нашей семейной жизни. А его нет...

5

В довершение всего вызывают меня на днях прямо к Татаринцеву после уже трех прогулов.

Прихожу я к нему ни жив ни мертв. Ну, думаю, сейчас он вытряхнет из меня душу. А он так просто говорит:

— Садись, Касаткин. Здравствуй. Что это я теперь только одно плохое про тебя слышу? Ты ведь был, кажется, на хорошем счету у нас. Намечался даже на Доску почета. Что случилось-то? Рассказывай...

Это же золотой человек и весьма любезный — Татаринцев Григорий Валерьянович. Ну, я, конечно, запираяться не стал. И вот как вам сейчас, все по порядку изложил ему вроде того что как отцу родному.

Слушал он меня, не перебивал. Очень, похоже, внимательно слушал. Потом говорит:

— Значит, в армии ты был, а на войне не был? По возрасту, значит, не успел? На снегу, значит, под пулями не лежал? По грязи не ползал? И бомбежке тоже не подвергался? Нет? Сухари, значит, в снеговых лужах после пожара не размачивал? Нет? Ага, ну ладно. Живешь-то где — в подвале, в сырости? Ах нет. В отдельной, значит, квартире? Уборная-то где — на улице? Ах тоже в квартире?

К чему это, думаю, он гнет? При чем тут уборная? А он все спрашивает, какая жена, чем занимается, хороша ли собой.

Потом говорит:

— Ну, все понятно. Ты дурью мучаешься, Касаткин, с жиру, так сказать, бесишься. Выбрось все это из головы напрочь и займись делом. А то смотри, Касаткин, как бы худо не было. Иди...

И может, действительно Татаринцев Григорий Валерьянович правильно рассуждает. Может, действительно все это дурь, что случилось со мной?

Но непонятно все-таки, почему меня все сильнее тянет на пристань, где с приступок в застекленную стену мне хорошо видно, как Танюшка, уже не очень молодая и теперь отчего-то совсем некрасивая, будто нехотая разносит по столам еду и выпивку?

Я смотрю на нее и жду, долго жду, чтобы она оглянулась на меня. Но она не оглядывается.

А зайти в кафе, даже пьяному, мне не позволяет вроде того что самолюбие.

Однако все равно, и все чаще, меня тянет сюда. И даже не сюда, а куда-то назад, в прошлое, в эту мою прошлую вроде того что несчастную и, кто знает, может быть, очень счастливую жизнь.

6

Моя родня во главе с моей мамашей, конечно, считают, что во всем виновата Танюшка, что это она, как они выражаются — змея подкодная, испортила меня. Но это же неверно. И даже обидно мне: выходит что же — что я слабее слабого? И может, мне в таком случае уже не выбраться из моего вроде того что безвыходного положения, что я так и завяну на дне бутылки? Но если правда, что в человеке вся кровь меняется, значит, и я обязан на что-то надеяться. И тут же я думаю, что кровь ведь, пожалуй, тоже не сама собой меняется.

Кто знает, может, я еще поеду на Дальний Восток.



ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО

★

ДОМ УЧИТЕЛЯ*

Роман

Вторая глава

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ИНТЕРБРИГАДОВЦЫ

1

После того как их повстанческий отряд был разгромлен и его остатки рассеялись в полесских чащах, Войцех Осенка повел своих товарищей на восток, туда, где еще шел бой — бой, протянувшийся на две с половиной тысячи километров.

Их было пятеро: сам Войцех, долголетний тюремный житель, сын почтальона в Перемышле, коммунист-подпольщик, лишь не так давно, с приходом советских войск, вышедший на свободу; музыкант Юзеф Барановский, беглец из Варшавы, из еврейского гетто, и его жена пани Ирена, устроившая этот побег; Ян Ясенский — литейщик из Силезии, участник гражданской войны в Испании, анархист-индивидуалист, как он себя называл, и его постоянный спутник, итальянец Федерико, юноша из Ассизи, в пятнадцать лет защищавший республику под Мадридом, а в семнадцать — политический изгнанник, скитавшийся по Европе со своим таким же бесприютным опекуном — Ясенским. Случай свел в одном из немногих тогда партизанских отрядов этих разных людей, а теперь общее несчастье поражения заставляло их цепко держаться друг за друга. Когда они, пятеро, были вместе, даже Федерико казалось, что платановые рощи и голубые холмы его Перуджии еще не так недостижимо далеки.

Направление на восток, к советско-германскому фронту, Осенка выбрал не потому только, что в полуокружении, в котором погиб их отряд, это направление осталось не закрытым немцами. Было не поздно еще попытаться вернуться на юг, в родные места, и там, затерявшись в предгорьях Карпат, а то и южнее, в каком-нибудь горном лесистом ущелье дожидаться лучших обстоятельств. Но этот вариант мало чем отличался бы от дезертирства. А Войцех после первых же выстрелов, прогремевших в июньскую ночь над Саном — пограничной рекой, сказал себе, что это начался тот самый последний и решительный бой, о котором пелось в лучшей из песен и к которому он, польский коммунист, давно готовился.

Утреннюю зарю над Саном Осенка встретил, лежа на приречном прохладном песке, в цепи с советскими пограничниками и стреляя по серым фигуркам, мелькавшим в пролетах железнодорожного моста. Винтовку ему дал и научил обращаться с нею русский сер-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

жант: «Задержи дыхание, задержи, закрой левый глаз, а правым — через прорезь — на мушку... Бей сволочей!» — звенел над его ухом гудкий голос. И Осенка задерживал дыхание даже больше, чем требовалось, жмурил глаз и целился, целился с отрешенной старательностью — он не просто дрался, он наконец-то с оружием в руках словно бы участвовал в пролетарской революции. Волновался он так, как волновался, может быть, еще в детстве, мальчиком, когда мать привела его в старый костел в Кракове и он в полутемном, пустоватом, освещенном редкими свечами храме стоял на коленях, объятый страхом и восторгом, предавая всего себя в руки бога, смотревшего со своей огромной высоты сквозь радужное сияние витража... И в это утро над Саном Войцех словно бы вновь творил молитву, стискивая потеплевшую винтовку, посылая пулю за пулей.

Немцы начали войну ровно в четыре часа, открыв артиллерийский огонь по всей линии пограничных застав и по дорогам, идущим в тыл. Позднее Осенке стало известно, что выше по реке, на участке соседней комендатуры, в наступление рванулось две сотни немецких танков. Сейчас оттуда по тронутой рябью воде катился тяжелый гул — пограничники отбивались от танков гранатами. Здесь, в районе моста, атаковала немецкая пехота, и пехоту также встретили пограничники. А в подкрепление к пограничникам прибежали из города добровольцы, пусть и необученные и почти не вооруженные, — перемышльский партактив. Их в цепь к себе взял командовавший у моста лейтенант, начальник заставы...

В этом бою Осенка был в первый раз ранен... Защитников моста оставалось уже немного: был убит и товарищ Осенки, заведующий редакцией газеты, где они вместе работали. А немцы предпринимали все новые атаки. Словно из ничего, из пустоты возникали на мосту в глубине ажурного туннеля их согнутые фигурки и посверкивали автоматные очереди... Осенка вслед за своим боевым наставником-сержантом переполз с отмели на железнодорожную насыпь, ближе к лейтенанту, командовавшему обороной. И там ткнулся лицом в черную шпалу, остро пахнущую креозотом, — осколок угодил ему в плечо.

Бои за Перемышль шли еще целых пять суток — это были первые бои войны, в которых гитлеровцы получили крепкий контрудар. Днем 23 июня они были выбиты из города сводными батальонами пограничников и частями подошедшей стрелковой дивизии... Но когда, отлежавшись в домике матери, Осенка встал на ноги, город находился уже в тылу наступавших немецких частей. И не долечившись окончательно, Осенка ночью ушел из города, надеясь догнать русских пограничников. Он все так же твердо верил, что остановить фашизм может только одна армия в мире — та, что перед ним, Войцехом, раскрыла тюремные ворота. Но линия фронта слишком быстро удалялась к востоку, и догонять ее Осенке пришлось уже в партизанском отряде. Там он повстречал и эти две пары: Ясенского с Федерико и довольно неожиданную в их лесной жизни чету Барановских.

Их немногочисленному, пестрому по составу отряду сразу же не посчастливилось. Еще не успевший должным образом организоваться и вооружиться, еще, в сущности, не начавший воевать, он был обнаружен и атакован эсэсовской частью. После ночного боя, в то проклятое утро на болотистом берегу речушки, когда полная тишина — даже птиц не стало слышно — дала Осенке знать, что отряда больше не существует, у него окрепла мысль: идти на восток, только на восток, к Красной Армии, если они не хотят без пользы погибнуть.

Все же, несмотря на бесспорность, как ему казалось, такого решения, его случайные спутники не сразу согласились с ним. Людей пугал и длинный путь по захваченной немцами территории, и отчаянный риск самого перехода линии сражающихся армий. Пани Ирена говорила, что ее муж слаб здоровьем и не осилит такого большого расстояния, у анархиста Яна Ясенского нашлись свои возражения...

Этот угрюмый, под пятьдесят лет, но физически еще не сломленный человек, храбрый и умелый солдат, был одержим, на взгляд Осенки, болезненной враждебностью ко всякой организации и ко всякому командованию. Солдат рассеявшейся армии, потерпевшей в Испании жестокое поражение, Ясенский, не веря больше своим анархистским вождям, не доверял уже никому. Его старые товарищи полегли на камнях Кастилии, кто-то был застрелен при переходе французской границы, кто-то, и это было самое тяжелое, перебежал к врагам. Свою независимость Ясенский оберегал теперь как последнее прибежище своего разочарования. И в спорах с Осенкой он упрямо повторял, что ему никогда не поладить с порядками, которые ожидают их по ту сторону фронта, — с советской коммунистической дисциплиной. Он был, по крайней мере, искренен и после всех утрат, а точнее вследствие этого, предпочитал одинокую охоту.

Они дискутировали на каждом более или менее спокойном привале — где-нибудь на потаенном островке, посреди припятских топей либо у дымного костерика в черно-зеленых комариных дебрях белорусских лесов. Ясенский разувался, устраивал повыше на пенке отекавшие ноги и цитировал Бакунина; многие куски из «Государственности и анархии» он знал наизусть. Обросший черной с проседью бородой, широколицый, высоколобый, он и сам напоминал внешностью Бакунина, но Бакунина притомившегося, угрюмого. А когда цитаты иссякали, он говорил:

— Разве имеет значение, Войцех, где тебя свалит пуля, если ты умрешь за дело свободы?

На что Войцех, стараясь не смотреть на пухлые ноги Ясенского, отвечал:

— Для меня не имеет, но для дела это не безразлично. Нам дано умереть только один раз, и поэтому надо умереть там, где это лучше послужит свободе.

Подле Ясенского сидел Федерико, чистил оружие, подбрасывал в костерик еловые ветки и насвистывал песенку из фильма «Под крышами Парижа». Итальянец не ввязывался в спор, он плохо понимал польскую речь, и вообще с языком дело обстояло у него неважно. Родной, итальянский, он стал уже забывать и лишь несколько десятков испанских фраз да куча испанских ругательств остались у него в памяти после Испании; лучше он знал французский — еще подростком в поисках работы он попал во Францию и долго бродяжил там. Он затруднился бы ответить и на вопрос, какую страну он считает своей родиной. И если у него спрашивали о родителях (отца он совсем не помнил, мать похоронили на муниципальный счет, когда ему едва исполнилось десять), он либо отмалчивался, либо, если спрашивавший был ему несимпатичен, ошарашивал какой-нибудь пакостью вроде:

— А ты сам хорошо знаешь, кто был твоим отцом? Тебе твоя мать признавалась?

От гнева он бледнел под загаром, и его кожа принимала лимонный оттенок; Федерико откидывал назад лохматую, маленькую, как у женщины, голову, ожидая еще вопросов, а его атлетически широкие плечи чуть шевелились под рубашкой, словно оживали сами по себе,

Прочная, давняя привязанность соединяла Ясенского и Федерико: они познакомились в Испании в госпитале и, поправившись, ушли вместе в одну часть, в интербригаду имени Домбровского. Лишь много позднее Федерико понял, почему Ясенский не вернулся тогда к своим анархистам, а ему самому было довольно безразлично, где, в какой части воевать. Поляк дважды потом спас итальянца: вынес его контуженного из-под обстрела, а в другой раз выстрелил во франкистского гвардейца раньше, чем тот выстрелил в Федерико. Больше они уже не расставались... Но, как ни странно, итальянец в вопросе о маршруте их партизанской группки держал сторону Веспки. Он объяснил это тем, что еще в дни Мадрида, когда над городом появились советские «моска», ему захотелось побывать в России, просто захотелось посмотреть как там и что — подробнее он не высказывался.

Впрочем, когда однажды в добрую минуту Осенка поинтересовался у Федерико, кто же все-таки были его отец и мать, итальянец серьезно, даже с важностью ответил по-французски:

— Mon père Lénine ¹.

Ясенский, слышавший его ответ, ухмыльнулся. Он лучше знал своего младшего друга... Временами Федерико называл себя тоже анархистом, а прочитав как-то книжечку о карбонариях, заявил, что он карбонарий XX века. Он был совсем неважно образован — да и где ему было образовываться?! — но стрелял он отлично.

Неизвестно, чем закончился бы спор Ясенского с Осенкой, если бы они не повстречались с одним из отрядов СВБ — «Союза вооруженной борьбы». В штабе этого подчинявшегося эмигрантскому правительству отряда их посветили в тактику, предписанную полякам из Лондона: «Сохранять вооруженный нейтралитет» — или, как выразился офицер, в землянку к которому их привели, закутанный в овчинный тулуп, весь малиновый от жара майор: стоять со «стшельбой у но́ги» ². Майор не скрыл, что СВБ намеревался выступить не раньше, чем обе стороны, немецкая и русская, обессилят в войне. И Ясенский в свой черед не скрыл, что такая тактика вызывает у него отвращение. «Mierde!» — выругался он по-испански. Осенка сохранил внешнее спокойствие — он вообще умел держать себя в руках — и, сказав, что они обязаны вернуться к своим «главным силам», попросил на близкую дорогу продовольствия. Майор не стал их удерживать, его любезность простерлась до того, что сверх галет и консервов он предложил еще коробочку с пилюльками акрихина. «Гибло мейсце, панове, малария», — выговорил он вздрагивающим голосом, трясаясь от озноба. Он очень охотно расстался с этими неожиданными гостями — польским коммунистом и двумя интербригадовцами, — и те двинулись дальше на восток. Было не совсем понятно, почему Барановские, пани Ирена и пан Юзеф, также не пожелали остаться в лагере СВБ.

Еще месяц без малого добиралась их пятерка к фронту, все удалявшемуся от них; шли ночами, короткими, теплыми ночами этого сухого лета, с опаской выползая по вечерам на проселки, а с рассветом забираясь куда-нибудь подальше от дорог. Они отощали и оборвались; Федерико напялил на себя трофейный офицерский мундир, трещающий по всем швам на его крупной фигуре; пани Ирена, когда только было возможно, шла босиком, сберегая в сумке свои туфельки. В сущности, их многодневный поход по оккупированной и к тому же незнакомой территории (большая часть их пути пролегла по

¹ Мой отец Ленин.

² Стоять с оружием «к ноге».

белорусской земле), без связи, без явок, без языка — по-русски кое-как изъяснялся один Осенка, — с картой, выдранный из школьного атласа, был почти сумасшедшим предприятием. И кто знает, хватило бы у них силы и решимости на этот поход, если б не тот же Осенка, их командир, по общему молчаливому согласию, и главный разведчик. В минуты опасности он становился несколько медлительным, как бы раздумчивым, но учтивость не покидала его — отдавая команду приготовиться к бою, он добавлял «пшепрашам». И никакие угрозы и препятствия не могли заставить его изменить принятый курс на восток. Когда Осенка говорил о Советском Союзе своим ровным голосом, глядя не на собеседника, а чуть повыше него, словно проникая взглядом во что-то, видимое ему одному, его молодое, поросшее русой щетинкой лицо становилось спокойно-сосредоточенным. Он шел на восток, к фронту, все еще как бы догоняя солдат в фуражках цвета травы, которые на берегу Сана научили его стрелять. И как это бывает, он увлекал за собой тех, кто стремился не так отчетливо, как он, видел не так ясно, хотел не так сильно...

По дороге, в тылу у немцев, их группке несколько раз пришлось обнажать оружие... На железнодорожном переезде недалеко от Могилева Ясенский и Федерико сняли без выстрела, пустив в ход ножи, часового, и там же, в районе Могилева, они вместе с Войцехом уложили еще двух гитлеровцев, вступив в бой с дорожным патрулем. В следующую ночь особенно отличился Федерико, расстрелявший из засады на пустынном шоссе офицерский «опель» со всеми его пассажирами: обер-лейтенантом, унтером-шофером и черным шотландским догом; дог был только покалечен, тонко, по-щенячьи, визжал, и Федерико пристрелил его. Спасало и то, что они нигде не задерживались, иногда кружили, но постоянно меняли места. Помогали им и полезные «призы»: в багажнике «опеля» они нашли консервированные сосиски в банках, сардины, целую головку сыра и разную другую снедь, что очень поддержало их, так как консервов малярского майора хватило ненадолго.

С продовольствием вообще было трудно; случались дни, когда, кроме ягод и грибов, пани Ирена, заведовавшая хозяйством, ничем не могла их покормить. Грибы, кстати сказать, в это лето с жутковатым изобилием перли из земли: небывалого роста белоногие подосиновики с оранжевыми колпачками, похожие на теплящиеся свечи, и огромные пузатые боровики в круглых, словно бы фетровых шляпах. Но случались у их пятерки и настоящие пиры. Как-то в дремучей хвойной глуши, в овражке, Ясенский набрел на привязанного к сосне живого теленка — вероятно, его спрятали там от очередной реквизиции. И потом несколько дней подряд пани Ирена угощала своих «жолнежей» мясом, пахнувшим можжевельным дымком; в качестве гарнира она подавала бруснику, поджаренные орешки, дикую малину.

Эта двадцатилетняя мастерица из модной шляпной мастерской на Маршалковской улице обладала в высшей степени способностью устраивать человеческий быт и в нечеловеческих условиях. Ей даже удалось сохранить свой единственный наряд — клетчатый жакетик и такую же юбку — в более или менее пристойном виде; каждое утро она тщательно причесывалась, примостив на коленях зеркальце, и при каждом удобном случае принималась стирать свое и мужнину белье, уединяясь в приречных кустах. Подолгу на днечках она однократно плескалась в воде и загорала на бережку, рассыпав по покатым плечам рыжеватые волосы.

Ее присутствие в их группке было обременительным, пожалуй, для одного только Федерико. Юноша то старался ее не замечать, то проявлял к ней чрезмерное внимание: однажды она уличила его

в том, что, забравшись в камыши, он подглядывал, как она купалась. Она никому, однако, ни словом не обмолвилась об этом — не стоило поднимать шум из-за такого, в сущности, ребячества, тем более что она могла не стыдиться своего тела, она себя знала. А настроение доверия и дружбы в их группке было одинаково необходимо всем, и это настроение следовало беречь.

Нельзя было сказать, что участь, выпавшая на долю пани Ирены, пришлась ей по душе, но в их партизанском походе обнаружилось главные ее качества — деловитость и здравый смысл. А постоянная забота о муже, страх за него сделали ее бесстрашной, они-то и привели ее в отряд и не позволили довериться малярийному майору. Пан Юзеф действительно был болен — болен памятью о гетто: иногда он замыкался в молчании, иногда принимался рассказывать, как гестаповцы заставляли его играть на своих вечеринках, — рассказы кончались истерическими припадками. А ко всему он не вылезал из простуды, кашлял, на шее у него выскочили нарывы. И пани Ирена поила мужа хвойным витаминным настоем, благо хвой вокруг было в изобилии.

Поначалу Осенку особо беспокоило, как им удастся, говоря военным языком, форсировать водные преграды. Но именно это оказалось легче, чем он думал: небольшие реки обмелели к середине лета и можно было везде отыскать брод. А на Березине им опять сопутствовала невероятная удача или, может быть, нечто более надежное, чем удача: отношение к ним людей. В туманную ночь их перевез в лодке на правый берег лесной обходчик-белорус, которому они доверились.

И вообще, жители этой стороны — бескрайнего зеленого царства, соломенных деревень, белесых вечерних туманов, — молчаливые светлоглазые люди (тихие женщины, оставшиеся без мужиков, опрятные белоголовые старики), были по-своему сдержанно участливы к беглецам. И не очень любопытствовали, когда Осенка в поздних сумерках осторожно стучался в окошко хаты, той, что победнее, чтобы расспросить о дороге. Казалось, люди здесь знали уже о нем, проходимом человеке, озирающемся по сторонам, все самое главное, то есть то, что он в беде, как и они, как все сейчас. Впустив его в сени, хозяйка шептала, что через пять, или шесть, или девять дворов живет полицай, что в соседнем селе стоят германцы, и выносила торопливо когда ржаную лепешку, когда связку луковиц, а когда и шматок сала... По пути чернели остывшие пепелища, тянуло от головешек холодной окурочной вонью, в потоптанной пшенице валялись смердящие трупы, а ночью по горизонту бродили вишнево-дымные зарева. И неистребимым в этой ночи ужаса было лишь чувство человеческой общности.

За Днепром группку Осенки спасла от верной гибели девчонка лет девяти-десяти. Они ничего не знали о ней до часа, едва не ставшего для них последним, да и она знала о них только то, что ранним утром, еще по росе, эти четверо обросших, оборванных мужиков с автоматами, с тощими мешками на спинах и женщина в клетчатом костюме, с большой сумкой, прошли огородами и скрылись за колхозным амбаром. Потом девчонка снова увидела всех пятерых на тропке, что вилась от амбара к ближайшему березовому леску. И бог весть по какой догадке, а может, по инстинкту общей для всех опасности она бегом кинулась сказать, что в березнячке еще с вечера укрылись немецкие танки. Женщина в жакетке поцеловала ее, сняла с себя, чтобы отдать ей, брошку с голубым камешком. Но перепуганная девчонка тут же помчалась обратно, мелькая охолодевшими в росе маленькими красными пятками.

В середине сентября, ближе к двадцатому числу, Осенка и его спутники услышали фронт — за горизонтом что-то будто обваливалось... Через десяток километров им стало чудиться, что это сотрясается земля, а когда ветер подул оттуда, он принес отчетливое твердое постукивание пулеметов. В следующую ночь на востоке разгорелось, должно быть, большое сражение: выстрелы сливались в железный рев. И Осенка почувствовал себя как на краю пропасти: стоило, казалось, сделать еще один шаг, и он с товарищами бесследно пропадет в этом реве, называвшемся фронтом.

Наказав своим подопечным дожидаться, Осенка один отправился в разведку. И словно бы кто-то ему ворожил: нос к носу в лесистой низинке он столкнулся с русскими разведчиками, возвращавшимися из немецкого тыла. Не разобравшись сразу, эти ребята крепко его помяли, скрутили руки и обезоружили — правда, их было трое. Но услышав выкрикнутое по-русски: «Брыкаешься, гад!» — Осенка возликовал... Возможно, русские товарищи только сделали вид, что верили его рассказу, но, развязав ему руки, они даже попросили не обижаться; затем, посоветовавшись, согласились всю его группу провести через ту же «калитку», которой пользовались сами. И Осенка невольно подумал, что в противоположность законам перспективы трудности как бы уменьшаются в размерах, когда к нимходишь вплотную; издали они выглядят более грозными.

Оружия ему, однако, разведчики не вернули — ну что ж, это была понятная, хотя и напрасная в данном случае предосторожность. И он сам уговаривал Федерико не противиться, когда разведчики потребовали сдать им все оружие, имевшееся в группке. Федерико ничего не хотел слышать: прижав локтем свой новенький пистолет-пулемет, снятый с трупа обер-лейтенанта, держа палец на спусковом крючке, он только злобно по-испански ругался...

Больше всего, надо сказать, Федерико дорожил своим оружием, он был влюблен в эти умные, дьявольски хитро сложенные механизмы, в эту вороненую или светлую, как небо, сталь — единственное, на что он мог вполне положиться. Он и владел оружием виртуозно во всех видах огня — в прицельном, в автоматическом, — и он не просто соблюдал правила ухода за оружием, но словно бы общался с ним как с чем-то одухотворенным, преданно его оберегая от влаги, от пыли, от нагара, лаская и подкармливая, когда смазывал и чистил. К концу похода у Федерико, кроме великолепного, с лаковым ложем пистолета-пулемета (другой автомат, добытый в Полесье, он отдал Осенке), имелись еще парабеллум и браунинг; его мешок был набит патронами, на поясе болтались немецкие гранаты, похожие на детские трещотки. Никогда не жалуясь и ни у кого не прося помощи, он один таскал на себе весь этот арсенал; впрочем, и мышцы у него тоже были, как высокого качества механизмы... Услышав, что кто-то посягает на его с боями взятое сокровище, он впал в ярость. Озираясь, готовый не то стрелять, не то бежать, он отчаянно богухульствовал, и, как у зверька, плоским синеватым огнем вспыхивали в сумраке лесного вечера его глаза. Дело оборачивалось совсем скверно: в нескольких шагах стояли русские солдаты, едва различимые под деревьями в своих темно-зеленых плащ-палатках, также держа наготове автоматы. И Осенка, не на шутку встревоженный, прибег к содействию Ясенского; тот расстался уже, хотя и с большой неохотой, со своим оружием и, конечно, сочувствовал итальянцу. Но стрельбы нельзя было допустить.

Встав между Осенкой и Федерико, Ясенский что-то по-французски сказал итальянцу. И тот сразу же замолк, утих. Еще немного

он словно бы размышлял над сказанным и наконец повернул автомат дулом вниз.

Он опустил его бережно на траву, рядом положил два револьвера, снял с ремня гранаты — все при общем молчании. И отошел в сторону, не желая видеть, как его оружие перейдет в другие руки.

— Что ты ему такое сказал? — любопытствовал Осенка у Ясенского.

— Добрый он хлопец! — ответил по-польски Ясенский. — Я сказал: твой отец Ленин. Не хочешь же ты войти в дом отца с автоматом в руке.

Под утро все были уже в расположении советских войск. Самого перехода через фронт они, собственно, даже не заметили: довольно долго они шли по подсохшему болоту в мертвой, жестяно шуршавшей осоке, прыгали по мшистым кочкам; потом опять вступили в лес, продирались через осинник. Невдалеке холодно полыхали разноцветные ракеты, небо озарялось и гасло, и лес был наполнен шевелением теней; деревья будто двигались, меняя этой ночью свои места. Ухали в стороне пушки, и с шелковым шелестом проносилась над головами чья-то смерть...

Путь прокладывали шедшие впереди два разведчика, за ними гуськом след в след тянулись Осенка с товарищами, замыкал цепочку третий русский — командир. Никаких особых приключений на этом завершающем этапе не случилось, если не считать, что Юзеф Барановский — он брел уже из последних сил — часто спотыкался и раза два падал. Пани Ирена последние километры вела его за руку, а Осенка взвалил себе на свободное плечо его мешок.

В общей сложности — с остановками, с разведкой по дороге — они шли часа три. Вдруг Осенку оглушил трескучий птичий крик, раздавшийся сзади над самым ухом, он инстинктивно пригнулся, но затем обрадовался. Вообще, ему с каждым шагом становилось теперь все веселее — они приближались к цели.

«Дрозд! — узнал он этот птичий крик. — Вот смельчак, не боится пушек!» Обернувшись, чтобы поделиться своим весельем, он в разгорающемся свете ракеты увидел луноподобное бледно-зеленое лицо разведчика; тот выпятил нижнюю губу, и громкое пение дрозда снова огласило лес. В ответ очень близко протрещал голос другого дрозда, и зеленолицый разведчик проговорил:

— Дотопали...

— Уже? — не поверил Осенка.

— Порядок, — сказал разведчик и шумно вздохнул.

Но тут, когда их неправдоподобно удачливый поход был окончен, судьба, такая милостивая к ним, словно бы опомнилась и пожалела о своей доброте. Ее случайный выбор пал на Ясенского. Недалеко рванул шальной снаряд, и в наступившей после удара тишине — лишь постукивала осыпавшаяся земля — все услышали, как Ясенский выругался:

— Дьябел!

Он упал, попытался подняться, но вскрикнул, опять упал и опять выругался:

— Дьябел!

Осколок перебил ему ногу выше колена.

До штаба батальона Ясенского несли на плащ-палатке, а оттуда отвезли в медсанбат на операцию. Сам он был больше рассержен этим невезением в последний момент, чем испуган.

В тот же день Осенка, Барановские и Федерико были на машине доставлены в штаб дивизии. Их принял сперва начальник штаба,

советский полковник, и Осенка, медлительный, как всегда в минуты волнения, стащил с ноги порыжелый, обмотанный проволокой ботинок, отодрал стельку и достал завернутый в клеенку свой документ — удостоверение в том, что предъявитель его является секретарем воеводской газеты «Молодость». Бумажка, несмотря на клеенку, сильно пострадала, некоторые слова и дата выдачи удостоверения стерлись, но и штамп, и номер, и печать, и подпись редактора сохранились. Полковник прочитал бумажку, спросил, нет ли еще других документов, и неопределенно помолчал, когда выяснилось, что эта бумажка единственная на всех пятерых. После визита к начштаба они побывали у самого командира дивизии, затем у начальника разведки, в Особом отделе и в Политотделе; их сводили в столовую и в баню, поместили в отдельной избе, дали им чистое белье, сапоги... Вечером к ним зашел инструктор из Подива, принес газеты, свежую сводку Совинформбюро. Впервые за много недель они спали в постелях, положив головы на подушки, и в такой возбуждающей безопасности, что долго не могли уснуть. Но оружия им не вернули... А на просьбу Осенки определить его и Федерико поскорее в боевую часть ему сказали: отдохните, не торопитесь. И это было, по его состоянию, подобно тому, как если бы измученным паломникам, добравшимся наконец-то до святых мест, сказали у самых врат храма господня: вам нельзя, подождите, очиститесь... Но, в сущности, у него опять-таки не было оснований для обиды: бдительность на войне, да еще на такой войне, да еще по отношению к людям, явившимся из вражеского тыла с единственным на всех удостоверением, не нуждалась в пояснениях — он так и говорил скрепя сердце своим товарищам. Вскоре его, а с ним Федерико, пани Ирену и пана Юзефа отправили в штаб армии.

Ясенскому между тем становилось все хуже: из медсанбата его, пораженного гангреной, перевезли в армейский госпиталь, и там, в маленьком русском городке, в древнем монастыре, где был развернут госпиталь, он тяжело умирал.

А решение судьбы Осенки и его спутников затянулось: о них сообщили в Москву и ответа из Москвы пока не было. Теперь все жили в том же прифронтовом городке; Осенка и Федерико сами попросили поселить их здесь, ближе к Ясенскому, чтобы он не чувствовал себя одиноко.

2

За те немногие дни, что они рядом лежали на госпитальных койках, Ян Ясенский и Петр Горчаков, литейщик с московского завода «Серп и молот», они нельзя сказать чтобы подружились, для этого им просто не хватило времени, но почувствовали уважительный интерес друг к другу. Оба, как оказалось, принадлежали к одному, хотя и разномыслию, племени, живущему в постоянном общении с огнем и металлом: Ясенский когда-то начинал вальцовщиком, потом перешел в литейный цех. А затем оба распознали друг в друге родственную черту, которая встречается и у людей, мало в остальном похожих: они не снисходили до жалоб и не нуждались в утешениях, во всяком случае, не искали их, предпочитая самолично справляться со своими бедами.

Но если Горчаков, тоже раненный осколком снаряда в ногу, с каждым днем поправлялся — рана его оказалась «чистой» и не вызвала осложнений, он уже вставал и выбирался с костылем на монастырский двор, — то Ясенский не надеялся больше выйти живым из этого тесного номера монастырской гостиницы, где они встретились.

Ампутация ноги не спасла его, гнилостный процесс быстро разливался по телу, поднимаясь все выше, к жизненным центрам. И последние два дня Ясенский находился в забытии, словно был уже наполовину мертв.

За несколько часов до своего конца он, как бывает при газовой гангрене, пришел в сознание — это было близко к вечеру, после обхода — и вдруг хватился своей одежды. Едва дождавшись прихода сестры, он потребовал, чтобы ему немедленно отдали его куртку, ту, в которой его доставили сюда; у него не было уже голоса, и, страшно напрягаясь, силясь оторвать от подушки голову, он кричал каким-то шепотным криком. Сестра, жалостливо покивав — она не впервые видела это зловещее возбуждение, — не стала его вразумлять. И вскоре, словно Ясенский выписывался сегодня, ему принесли со склада тугой, перевязанный веревочкой сверток с болтавшейся картонной биркой. В свертке была и его куртка, кожаная, черная, с грубо пришитой суконной заплатой на груди, истертая до белизны на обшлагах, на локтях. Подергиваясь, чтобы приподняться, Ясенский долго шарил по ней большими костяными пальцами с отросшими ногтями; утомившись, он неистовым шепотом попросил соседа по палате, Горчакова, распороть подкладку под левой полый.

Ничем, ни словом, ни каким-либо изменением в лице — он совсем уже обессилен, — он ничего не выразил, когда Горчаков, оторвав углом подкладку, извлек из-под нее и положил ему на одеяло плоский пакет размером в обычный почтовый конверт, обернутый плотной, сильно потершейся бумагой, — Ясенский только прикрыл пакет рукой. Затем на свет появилась также обернутая бумагой небольшая фотокарточка; обертка, истертая на сгибах, отвалилась, и на Горчакова взглянула с фотографии молодая спокойно-приветливая женщина в белой с буфами, как носили в старину, кофточке.

— Это кто же будет? — спросил он, чтобы оказать внимание. — Симпатичная.

Ясенский не ответил, лишь мигнул набрякшими исчерна-лиловыми веками.

А дальше — и это было совершенно неожиданно! — Горчаков вынул из его куртки запонку для манжета, дешевую медную запонку, сделанную в виде крохотной лошадиной подковы и почему-то однуединственную, хотя запонкам полагается быть в паре. Ясенский слабо потянулся к ней, подержал немного на ладони и положил рядом с пакетом и фотографией.

— То добытэк³ мой... так... весь, — очень тихо проговорил он и поморщился, пытаясь улыбнуться.

В бессилии это прозвучало у него не шутливо, как он хотел, а со скрытым смыслом. И вновь его охватило тревожное возбуждение... Цепляясь за края койки, забыв об отрезанной ноге, он опять задергался, вытягивая шею, напрягаясь, чтобы сесть. И Горчакову трудно и обидно было смотреть, как этот человек с покалеченным, но некогда могучим телом, под которым скрипела и прогибалась койка, большоголовый, большелицый, со все еще дремучей гривой всклокоченных волос, тщетно пытался перебороть свое изнеможение.

— Хлопец от... Федерико! Гуляет с якой бабой... сукин сын! — вырвалось у него сквозь хриплое клокотанье в глотке. — Федерико! От сукин сын — не пришел!..

— Приходил твой хлопец, да ты спал... — сказал Горчаков.

³ Имущество.

— Мать его...— выругался Ясенский.— Тэраз и не зобачимся...⁴ От петух!..

— Придет еще, завтра придет,— сказал Горчаков.— Чего ты нервы себе портишь?

— Бабы так само... цурки дьябла...⁵ липнут до него...— хрипел Ясенский.— Хлопец пенкный...⁶ петух!

Ему удалось наконец поднять на выпрямленных руках свое безмерно отяжелевшее туловище. И его мясисто-багровое, в лиловых тенях, опаленное жаром лицо оживилось мимолетным торжеством.

— Он тутой у вашем курятнике... он наробит шкоды... Тылько пух бендзе лэчеть⁷ — Федерико!..

Ясенский засмеялся, закашлялся, стал давиться, локти у него подломились, и он рухнул на подушку. Некоторое время он безмолвствовал, лишь в горле у него что-то будто кипело; потом опять зашептал:

— Тэн пакет... товажиш Петр, отдай,— он нашарил на одеяле пакет,— ему, Федерико... Хлопец тэж там был... тэж воевал... Мувишь ему: нехай тэраз до вас...⁸ нехай с русскими тэраз... Воевать еще долго, мувишь... аж до второго Христова пришествия... Нехай у вас научается воевать... А еще то у вас добже, цо нема у вас борделей.

Он скривился одной стороной лица, что означало усмешку, и словно бы подмигнул — он и сейчас опасался выглядеть слишком торжественным.

— Повешь ему, сукину сыну, когда не зобачимся... У революциониста едно коханье...⁹ Так повешь: една жона, една матка... Нех паментаете... И не слухаете тых добрых панов... Тым панам-либералам — перша пуля... Тым, кто не паментаете, перша пуля... Тым добрым болтунам... Повешь ему... товажиш Петр!

Каждое слово в этом прерывистом шепоте давалось Ясенскому с великим трудом, паузы все удлинялись...

— Не иде хлопец... От бабник!.. Отдай ему тэн пакет... Повешь еще Федерико... нех мои пули достшелэт...¹⁰ нех...

И Ясенский совсем умолк, хотя губы его еще шевелились, и самому ему показалось, что он договорил свое завещание до конца:

— Нех не пшебача¹¹, нех паментаете...

Но Горчаков, пересевший к его койке, этого уже не услышал. Он наклонился еще ниже — сухой, незримый огонь, сжигавший Ясенского, пахнул на него, — но так и не узнал, что еще он должен был передать.

Этот сосед по койке, пришелец из чужой страны, хотя и вызывал уважительное чувство, был мало ему понятен. В первые дни, когда Ясенский чувствовал себя еще не так плохо, они сумели, коротая бессонные часы, поговорить о некоторых жизненно важных предметах. И услышанное от соседа, бывалого человека, бойца, прямо-таки ошеломило Горчакова.

— А для чего тебе родзіна?...— задал ему Ясенский несообразный вопрос.— По-нашему родзина, по-вашему сёмья? Для чего солдату сёмья? Для чего она революционисту?..

— А куда ж человеку без сёмьи? Только разве в пивной павильон.— Горчаков даже засмеялся.

⁴ Теперь и не увидимся.

⁵ Дочки дьявола.

⁶ Красивый.

⁷ Он надевает беды... Только пух будет лететь.

⁸ Скажешь ему: пусть теперь к вам...

⁹ У революционера одна любовь.

¹⁰ Пусть мои пули достреляет.

¹¹ Пусть не прощает.

— Семья, товажиш Петр, то ест ланьцух, а по-вашему цепь... — сказал Ясенский. — Семья, религия, дзети, всякая милосць, любовь — до бога, до жонки — то ест ланьцух. Человек повинен быть свободны — вольны кóзак по-вашему.

В тоне Ясенского было раздражение, он словно бы лично, помимо других соображений, что-то имел против всех человеческих привязанностей.

И Горчаков, кого в Москве, на Тулинской улице, ожидали с войны с победой две девочки и молодая жена, писавшая ему утешительные письма: «Об нас не беспокойся... Немцы бомбят нас мало, их не пускают... Побереги себя... Наташку я записала в первый класс», — Горчаков, которого каждое такое письмо заставляло сызнова переживать главное человеческое чувство — волнение любви, не нашелся, что толком ответить.

— Это ты, брат, загнул... Человек без семьи — как дерево без корня, — только и сказал он.

В другой раз необъяснимый сосед признался ему:

— ...А у меня нема ойчизны. Цо то ест ойчизна? Свента ойчизна? Моего брата Каролека замурдовали в полиции... Ойчизна? То ест добра матка Радзивиллу, водочному крулю Потоцкому. А я убегал з моей ойчизны... То ест тылько мейсце, где я народился, тылько география.

— Отчизна — география? — переспросил Горчаков.

— Так, — сказал Ясенский. — Так, так.

В его голосе опять слышалась озлобленность, он помрачнел, замолчал. И Горчаков подумал, что этого человека очень, должно быть, обидели на его родине, если она стала для него всего лишь географией.

Порой Ясенский вспоминал об Испании, о ее древних городах и апельсиновых рощах, хвалил ее народ, у которого, как он выразился, «анархизм у крэви», и одобрял испанское вино «вальдепьянс» — словом, и земля и люди прились ему там по сердцу. А рассказывая о гражданской войне, об этих первых боях с фашизмом — испанским, немецким, итальянским, — он с заметным удовольствием говорил, что наступление фашизма отражали в Испании волонтеры, собравшиеся из разных стран «по власной воле».

— Слухай, Петр, якие у нас были батальоны, — сказал он однажды, — имени германца Тельмана, имени поляка Мицкевича, имени американца Линкольна, украинца Шевченко! А якие бригады: Карла Маркса, Домбровского, Гарибальди, Димитрова... Со всего святу слетелись людзи! Ваши русские тэж добже воевали: летники, танкисты...

Но, в общем-то, это были печальные, даже жестокие воспоминания. И рассказывал Ясенский чаще не о геройском и воодушевляющем, а о неудачах, изменах и ошибках, о выстрелах в спину. Выходило, что от того, чему он был свидетелем в этой испанской войне, остался у него на душе горчайший осадок. Иногда даже могло показаться, что он насмешничает над своими былыми надеждами и своей доверчивостью.

Что бы там, однако, ни говорил Ясенский, Горчаков был благодарен случаю, сведшему его с этим человеком словно бы из другого мира. Его сосед мог считать себя настоящим воякой: он дрался с фашизмом не в одной Испании — он воевал и в своем отечестве, а после Испании, после Франции, завербовавшись на сталелитейный завод в Германии, воевал и там в подполье; потом он партизанил в Польше... Когда врач выслушивал Ясенского, подняв на нем рубаху, Горчаков чертыхнулся, увидев на поросшей черным волосом груди

поляка длинную, лишенную волос белую вмятину глубиной не меньше чем в два пальца. Как он только остался живой после такого ранения?! А то, что он в немалые свои годы дотопал невесть откуда до середины России, чтоб опять же принять участие в войне, заслуживало большего, чем «спасибо», как бы там он себя ни называл — анархистом или как-нибудь еще.

...Подождав над замолчавшим Ясенским минуту-другую, Горчаков окликнул его: может быть, ему нужно было дать лекарство? Но Ясенский не отозвался, вероятно, просто не услышал. А еще через какое-то время он заговорил сам — и почти очистившимся от хрипов голосом, слабым и словно бы безразличным:

— Мы на Железной жили... Каролек, я, Маринка... белянская паненка... Мы в Варшаве на Железной... дом пани Бартошевич. Так... Мы пляцки у нее куповали...

Почему-то он, ничего не рассказывавший раньше о себе, замыкавшийся при первых расспросах, стал вспоминать сейчас свое детство. И казалось, что рассказывает он больше себе, чем Горчакову, он и смотрел не на него, а вверх, в сводчатый низкий потолок, на висевшую на шнуре голую лампочку. Свет еще не горел; за узким полуциркульным окном, прорезанным в стене крепостной толщины, начало смеркаться, синеть. Было тихо, ни звука не проникало со двора, и только время от времени в коридоре гудел каменный пол под сапогами санитарок.

Ясенский отдыхал сейчас от всех своих мучений, не сознавая уже, что с ним происходит. Боль, истерзавшая его в последние дни и ночи, наконец отступилась, и его лишь будто покачивало и кружило на койке, как на тихих волнах, но это было приятно. А мысль о своей близкой смерти тоже вместе с болью покинула его.

— По Висле плоты плыли... — рассказывал Ясенский. — Мы с Маринкой убежали до Вислы... А у Кракове мы пótэм... Так... Ойца уже не было с нами. У Кракове мы на Пястовской жили. З маткой... Она с Поозерья была, з повята¹² Мыслибуж... з Мыслибужа. Ты слухашь?..

Наклоняясь, Горчаков старался не упустить ни слова — казалось, что о детстве, о матери, о семье говорил уже не Ясенский-анархист, а кто-то другой, человек, как все. Ясенский повел из-под вспухших век глазами, но вряд ли увидел Горчакова — таким невидящим, обращенным внутрь был его взгляд.

— Мы приязно все жили... А Каролек был старший, — рассказывал он медленно и покойно, — Каролек теж был патриота... Наш Каролек... Мы на гору ходили... всей родзиной... на тен курган... Слухашь? То по нашему звичаю насыпали, курган Костюшки... А птахи там в руки сами идут... Слухашь... Каролек был патриота...

И Ясенский опять замолчал, его одолела дремота, веки сомкнулись. Но если это и был сон, то необыкновенный, никогда раньше не случавшийся у него. Лучше сказать, это был не сон, когда человек на какое-то время перестает сознавать действительность, а ее, действительности, поразительное, всесильное воскрешение. К Ясенскому не то что вернулось во всей живости его прошлое — он вернулся к нему. И он опять был сейчас таким, каким был когда-то на Железной и на Пястовской, то есть больше чем когда-либо был самим собой, со своей истинной, главной, никогда не умиравшей любовью. А все то, что происходило с ним после ухода из дому на многих его дорогах, что сделало его таким, каким он сам себя считал и каким

¹² С уезда.

справедливо считали его другие, затемнилось, стало призрачным, исчезло...

Горчаков смотрел на своего соседа с жалостливой отчужденностью и непониманием, как вообще на чужую смерть смотрят живые. Иногда ему казалось, что конец уже наступил — так неподвижно было это большое длинное тело с единственной ногой, упершейся в железные прутья изножия, и такой немотой веяло из черной щели полуоткрытого рта. Горчаков прислушивался, и его ухо улавливало свистящий звук, точно из проколотой автокамеры вырывался воздух, — Ясенский еще дышал. И хотя Горчаков много уже повидал смертей — с середины июля он с боями отступал до Смоленска — и хотя ему приходилось уже и засыпать и есть свой хлеб рядом со смертью, он испытывал в этот вечер особенное, недоуменное огорчение. Очень уж несчастливый человек кончался здесь на его глазах, одинокий и бездомный, а должно быть, неплохой, отзывчивый на чужую беду, — кончался невознагражденным! И почему, если уж каждому живущему, даже самому достойному, суждена смерть, почему он умирал в страданиях? За что это было ему? — спрашивал себя Горчаков.

Вдруг до его слуха дошло незнакомое, вероятно польское, слово:

— Кóпец!

Он поднял голову — слово напоминало «конец». И во второй раз вполне разборчиво Ясенский проговорил в своем сне:

— Кóпец.

Горчаков встал с табуретки, утвердил под мышкой костыль и запрыгал из палаты за врачом или сестрой — надо было хотя бы облегчить человеку эти последние минуты.

Сестра пришла быстро и сделала укол, влила Ясенскому в руку целый большой шприц какого-то прозрачного лекарства; Ясенский даже не шевельнулся, ничего, видно, не почувствовал. И смочив место укола ваткой с йодом — для чего только? — сестра бережно опустила на простыню его тяжелую, в буграх мускулов, но уже бесильную руку.

— Доживет до утра, нет ли? — сказала она.

Горчаков с укором взглянул на нее. Впрочем, и он не обманывался в том, что ниточка, связывавшая старого бойца с жизнью, вот-вот оборвется.

А Ясенский, словно бы возражая им обоим, снова заговорил.

— Цо то ест?.. Цо то?.. О, птахи!.. — услышали они внятное восклицание.

Ясенского, собственно, не было уже здесь, в этой голой комнатке, в полутьме позднего вечера. Сейчас там, где он находился, все сияло и цвело в океане теплого, безоблачного полудня. И Ясенский безмерно обрадовался, увидев птиц, которых он помнил с детства.

Это были фазаны, водившиеся во множестве под Краковом, большие, нарядные, с радужным оперением, с длинными клиновидными хвостами. Они спокойно прогуливались в траве, волоча свои изукрашенные шлейфы, а некоторые поднимались плавно в воздух и летали над склонами высокого зеленого кургана. Ясенский сразу же узнал и этот курган — копец Костюшки, и насколько не удивился тому, что он опять стоит у его подножия. Тут же, хотя он и не видел воочию, но достоверно знал, тут же обок стоял его старший брат Каролек, что тоже не вызывало удивления. И неизъяснимое, свободное чувство, которое он мальчишкой делил здесь с Каролеком, чувство своей бесконечности, вновь наполнило его. А этот островерхий, весь в молодой траве курган и был самой бесконеч-

ностью! Она так, конечно, и выглядела, бесконечность,— невянущий, весь малахитовый склон, правильная вечно весенняя пирамида, уходящая в чистое небо.

Сердце Ясенского зачастило, как в минуту восторга, он стал задышаться, грудь его выгнулась, но затем ему удалось еще раз вобрать в себя воздух и длинно выдохнуть. Он испытал облегчение, подобное счастью, и его сердце остановилось — он умер.

...Утром, когда Осенка и Федерико пришли проведать своего товарища, тело его уже было спущено в подвал, в мертвецкую. И Горчаков, чувствуя себя почему-то виноватым в этой смерти и оттого сердитый, нахмуренный, отдал им куртку Ясенского, башмаки, берет и его потаенный архив: фотографию молодой женщины, медную запонку и пакет для Федерико — все, что их товарищ оставил после себя.

В пакете, обернутое в несколько слоев бумагой, находилось письмо, которое Ясенский получил еще в Испании во время войны; письмо было написано по-польски, и Федерико попросил Осенку прочесть его. Оказалось, что это было обращение знаменитого генерала республики Вальтера, тоже поляка, ко всей интербригаде имени Домбровского, а следовательно, и к каждому ее бойцу, вернее, копия этого обращения. Сделал ее для Ясенского какой-то его соотечественник, тоже Ян, подписавшийся одним лишь именем,— переписал весь текст и отправил по почте в армейский госпиталь, где Ясенский лежал тогда с очередной раной. И как видно, письмо-обращение генерала было дорого для обоих бойцов, если один попытался ободрить им другого, выбывшего из строя, а другой сберег его...

Горчакову Осенка также прочитал письмо, переведя все дословно на русский язык. А в письме генерал писал:

«...Каса дель Кампо и Сьюдид университетария, бесчисленные бои под Мадридом, а позднее Харамы, разгром итальянских фашистов под Гвадалахарой, тяжелые бои под Брунете и последний героический труд на Арагоне — таковы этапы бригады имени Домбровского в борьбе за лучшее завтра нашей польской отчины.

Бригада имени Ярослава Домбровского — это первая в истории и пока единственная бригада вооруженных сил польских рабочих и крестьян, которая реализует самый прекрасный и гордый лозунг, начертанный на знаменах: «За вашу и нашу свободу». Она не знала и не будет знать минуты колебаний, как не знала и не может знать отступления...

Еще раз — самая искренняя благодарность поляка своим землякам и пожелание, чтобы знамя польской бригады как можно выше развевалось среди знамен республиканской армии и чтобы, прежде всего, оно было видно тем, кто нас сюда прислал,— польским трудящимся».

Горчаков, опираясь на костыль, слушал, опустив голову, со строгим выражением, как слушают речь над павшим однополчанином. Осенка переводил трудно, не всегда находя русские слова, но главное Горчаков уяснил. И он был доволен за Ясенского — хорошо, что хоть не в полной немоте проводили этого солдата в могилу его друзья... Горчаков подумал о том, что вот ведь как непросто бывает устроен человек: Ясенский лучше сейчас открылся для него. Должно быть, пришел Горчаков к выводу, должно быть, люди не всегда говорят от разума, случается, что их слова бывают от неразумной боли. А когда боль и обида становятся слишком сильными, ум сдает свои позиции... И еще Горчакову хотелось задать Осенке вопрос, который он все собирался, да так и не успел задать Ясенскому: как там, в Испании, командиры отдавали приказы, если их солдаты

были все из разных стран и говорили на разных языках? Но спрашивать об этом сейчас, над свежей могилой, показалось Горчакову неуместным. По-видимому, как-то все там устраивалось: в конце концов, такие необходимые слова, как «Вперед!», «Ни шагу назад!», «За вашу и нашу свободу!», нетрудно было выучить на всех языках.

Похоронили Ясенского в его походной форме: в рабочей куртке, пробитой и залатанной на груди, и в черном берете с залоснившимся фирменным ярлыком на подкладке: «Барселона». Никто в точности не знал, кем была для Ясенского молодая женщина на фотокарточке, которую он всегда носил с собой; сходство черт ее славянского типа лица с лицом Яна позволяло думать, что это фотография его матери. И уж совершенно никто ничего не мог сказать о его запонке в виде подковки; предположить, что анархист Ясенский верил в талисманы (лошадиная подкова, по слухам, приносит счастье), было невозможно, вероятнее всего, он сохранил эту вещицу в память о случившейся некогда радости, может быть, о любви к женщине. Но с другой стороны, он ведь непримиримо восставал против всех семейных привязанностей.

Фотокарточку и счастливую запонку Осенка вложил в карман его куртки — они и дальше навсегда остались с ним. И к неисчислимому множеству маленьких тайн, исчезающих вместе с людьми, для которых они были важными, прибавилась, таким образом, еще одна.

Затем тело Ясенского было завернуто в плащ-палатку. И в последнюю минуту Федерико, державшийся все время с непроницаемой отчужденностью, сунул в ее складки письмо генерала Вальтера.

— Может, эта рекомендация еще пригодится там Янеку, — проговорил он по-итальянски.

3

Втайне, когда случалось задуматься о себе самой, Лена Синельникова огорчалась и каялась. В самом деле, она никак не могла вполне проникнуться ужасом этой войны, даже не разучилась смеяться. То есть, конечно, она и ужасалась, и негодовала, и расплывалась, когда на их улицу пришла первая похоронка. «Пал смерти храбрых» — было написано там о человеке, которого она немного знала, их городском киномеханике, тихом рябом парне; с ним как-то даже не вязалась эта оглушительно звучащая «смерть храбрых». И то, что у него, бедолаги, во время сеансов рвалась лента, и то, что он безответно выслушивал все насмешки, вызывало у Лены сейчас жалостливое сокрушение. Потом в их городе появились беженцы из захваченных немцами областей — они рассказывали о бомбежках, о гибели людей под развалинами домов, о горящих вокзалах, о потерявшихся детях, и их тоже нельзя было слушать без слез. Но и эти очень искренние слезы заставляли Лену лишь сильнее чувствовать свой эгоизм. Сейчас вот, принарядившись, она шла на свидание: за городом у ворот монастыря ее ожидал Федерико, ее новый друг. И вопреки войне ей было интересно и радостно — не стоило и притворяться перед собой. Словно бы игралась какая-то замечательная, со стремительным действием пьеса, в которой она и Федерико исполнили главные роли. Каким-то оправданием, может быть, служило ей только то, что в содержание пьесы входила, как представлялось ей, и комсомольская интернациональная солидарность.

Давно, еще не то в пятом, не то в шестом классе, Лена уверилась, что ее призвание — театр. В школе она была звездой самодеятельности: педа, читала на вечерах стихи, выступала в драматических отрывках из Чехова, Горького, Лермонтова. И в ее памяти жил еще

тот счастливый успех, который она имела в роли Нины из «Маскарада» на областном смотре самодеятельности. Осенью Лена собиралась в Москву держать экзамен в училище имени Щукина, и было, конечно, обидно — и тоже до слез! — что война помешала этим планам: театр и училище отделились на какое-то время. Но тут неожиданно сама ее жизнь стала театром, драмой...

С момента, как в их Доме учителя появились четверо изгнанников из Европы, а среди них Федерико — итальянец, антифашист, боец интербригады, — Лена как бы подчинилась некоему драматическому сюжету. По первому впечатлению этот молчаливый рослый красавец разозлил ее: не проронил ни слова, кроме «бонжур» и «мерси», ни разу не улыбнулся и только скользнул по ней невнимательными глазами. Но точно гонг ударил к началу представления — и жизнь Лены Синельниковой день ото дня, от сцены к сцене, становилась все интереснее, богаче, полнее.

А вокруг, похожая на дивную декорацию к пьесе, стояла ясная, сухая осень. Прохладные сентябрьские ночи были полны звезд, а дни — цветов и плодов: расцвели в палисадниках астры, а воздух пропитался запахом яблок. Дозревая на разостланной соломе, на чердаках, в сенях, антоновки были подобны прозрачным чашам, налитым желтоватым медом. И среди этого праздничного величопения так легко забывалось о том, что на свете бывают и дожди, и ненастье, и война.

...К монастырю, где они условились встретиться, вела от дороги прямая, мощенная булыжником дубовая аллея. Там всегда было сумрачно: ветви столетних деревьев смыкались наверху, образуя низкий, начавший уже по-осеннему бронзоветь свод. И у входа в этот лиственный туннель Лена издали еще увидела Федерико. Прислонившись одиноко к дереву, откинув к его стволу непокрытую курчавую голову, он всей своей позой выражал долгое ожидание. Но смотрел он не в сторону дороги, откуда только и могла появиться Лена, а куда-то вверх, в небо; можно было подумать, что оттуда, с неба, он и ожидал ее сошествия.

И Лена пошла быстрее, потом побежала... Вероятно, так не полагалось; все известные ей правила для подобных случаев требовали большей сдержанности. Но эти умные правила годились лишь для обычных, а не для тех исключительных, в чем она не сомневалась, отношений, что завязались у нее с Федерико. И ее удовольствие от того, что он ждет ее, говорило громче всех хороших правил.

Подумать только! — этот почти что ее ровесник уже был ветераном, прошедшим с боями чуть ли не по всей Европе. И то, что при первой встрече не понравилось Лене — его замкнутость, молчаливость, отчужденность, — сделалось теперь в ее глазах приметой его мужества: а не каким еще он мог стать, непрестанно сражаясь?! Особенно волновало Лену, что в целом мире, как она дозналась, у него не было никого родного — ни матери, ни сестры, ни невесты, одни лишь боевые товарищи, самый близкий из них лежал здесь в госпитале с тяжелой раной. Федерико как мог о нем заботился, навещал его, но он и сам нуждался, конечно, в большем, чем это строгое мужское товарищество. К тому же он был изгнанником, политическим эмигрантом — окажись он на своей родине, его заточили бы в тюрьму, а может быть, казнили. И выходило так, что она, Лена, обязана была дать ему то, чего он не имел в своей завидной, но словно бы оголенной, обглоданной войной жизни.

Встречаясь с Леной, а теперь это происходило в Доме учителя ежедневно, Федерико менялся прямо на глазах: мрачный, неразговорчивый со всеми другими, он с нею веселел, случалось, что и сме-

ялся, правда, как-то нехорошо, глухо — голос у него вообще был похож на прокуренный, стариковский, — начинал что-нибудь болтать, и смуглое, в черной небритости лицо его оживало, точно из тени переходило на свет. Словом, одно ее присутствие утешало уже Федерико, а ее жизнь, в свой черед, наполнилась, казалось, добрым смыслом: сиротство этого героя огорчало Лену, но вместе с тем окрыляло. И чем лучше, чем вдохновеннее делала она свое дело утешения, тем счастливее становилось ей самой... Утром сегодня Федерико удержал ее в сенях, сжав ее руку выше кисти своими твердыми пальцами, и потянул к себе; от неожиданности она только коротко вздохнула, точно всхлипнула. Он близко наклонился к ней, весь темный, большой, и она зажмурилась, не зная, как быть, — ведь это был не мальчишка из ее школы. Засмеявшись, Федерико отпустил ее не поцеловав, и она сама чуть не чмокнула его, благодарная за его, как ей показалось, деликатность. Тогда же они условились встретиться здесь вечером.

— Федерико! — позвала она, запыхавшись.

— Что? — Не изменив позы, он лишь повел на нее взглядом; у него были совсем синие глаза с желтоватыми белками.

Она запнулась — он точно не узнавал ее, прямо, в упор разглядывая, — и все приготовленные заранее фразы вылетели у нее из головы. Объясняться с Федерико было вообще нелегко: итальянского языка она не знала, он не знал русского, а ее французский язык был очень уж беден.

— Вы... что вы смотрели... высоко там, в небе? — подбирая французские слова, неуверенно выговорила она.

Он все вглядывался в нее и не отвечал, словно ничего не понял.

— Там, в небе... вы смотрели, — упавшим голосом повторила она.

Его потрескавшиеся губы растянулись в подобии улыбки, и он облизал их.

— Там? Нет, Янек не на небе... Янек там. — Он показал пальцем вниз, в землю.

— Камарад Ясенский? — испуганно спросила она.

— Прощай, до свидания, — хрипло сказал Федерико по-русски.

И у Лены едва не вырвалось: бедный Федерико! Спohватившись, она горячо проговорила:

— Бедный, бедный камарад Ясенский! Вчера он был... ему было хорошо.

— Вчера ему тоже было плохо, — сказал Федерико.

— Умер... — прошептала Лена. — Какой ужас!

Но, по правде говоря, ужаса она не испытывала — бедного камарада Ясенского она ведь ни разу не видела. А вот Федерико, потеряв своего друга, совсем теперь осиротел и, как видно, был очень расстроен. Он так и не пошевелился, разговаривая с нею, его откинутая голова припала к дереву, гладкая сильная шея открылась... И Лену потянуло обнять эту маленькую, как у женщины, нестриженую голову в смоляных космах и витках.

— Я прошу, не надо... — жалобно начала она, — не надо... — Она хотела сказать «отчаиваться», но забыла это слово по-французски и сказала: — Не надо скучать.

— А я не скучаю, мадемуазель! Мы еще повеселимся, — сказал он.

— О господи! — воскликнула по-русски она.

— Что вы сказали? — спросил он.

— Ничего... Я так... — Ей было невыразимо его жалко.

— Что вы сказали? — потребовал он.

— Я сказала... — Она виновато взглянула. — Mon Dieu!

— Mon Dieu! — Федерико выпрямился, его будто что-то подстегнуло. — Ваш бог убийца, мадемуазель! Гангрена — это его выдумка. У бога много способов убивать... Гангрена, рак, проказа, тиф — это все он придумал. Гитлер — тоже его выдумка... Франко, Гитлер, Муссолини — тоже способы убивать.

— Не надо... скучать, — умоляюще сказала Лена.

Он посмотрел на нее потемневшими глазами, в которых еще не погас гнев.

— А я всегда веселый. — И, сложив трубочкой губы, Федерико вдруг засвистел, с хрипотцой, но резко и сильно.

— Ой, что вы! — вскрикнула Лена и огляделась: не слишком ли они обращают на себя внимание?

Но лишь один какой-то лысый солдат, сидевший неподалеку в повозке, обернулся на свист.

Сейчас в этой тенистой аллее укрывалось несколько машин с красными крестами на бортах и стоял целый санитарный обоз; между выпряженных коней бродили ездовые. Здесь шла своя шумная жизнь: гулко скребли по камням подкованные солдатские сапоги, завывал автомобильный мотор. Промчалась поблизости, кинув взгляд на нарядную Лену, девушка в белом развевающемся халате, в пилотке, косо посаженной на кудрявую голову, и в воздухе повеяло химическим запахом лекарства; девушка принялась что-то втолковывать ездовым. А в аллею свернула с дороги еще одна машина, крытая брезентом, и, сбавив ход, сотрясаясь на булыжнике, проехала к монастырским воротам. Брезентовая занавеска сзади была откинута, и в сумраке фургона смутно белели марлевые повязки — в госпиталь привезли новых раненых. Девушка в пилотке тоже бросилась к воротам, на бегу опять посмотрела в сторону Лены и опять опачнула ее аптечным запахом.

«Напрасно я так расфуфырилась, — мысленно упрекнула себя Лена. — Такой ужас кругом, Федерико тоже нервничает. А я как на бал...»

И она машинально поправила волосы, отвела за ухо выбившуюся из-под ленточки прядку.

— Федерико!.. Я хочу, чтобы вы... вам надо знать... — Она не находила нужных ей французских слов — это было настоящее мучение. — У вас есть друзья. Мы ваши хорошие друзья, Федерико! В нашей стране все друзья.

Притронувшись к его руке, она улыбнулась своей самой лучшей, самой ласковой улыбкой.

Не отвечая, он вновь как бы издалека разглядывал ее сузившиеся синими глазами... Он действительно был несчастен, и то, что было главным в нем — его постоянный душевный голод, его ненависть, его неутоленное сиротское желание мстить, — не говорило уже в нем, а кричало. Он слишком много претерпел сам и слишком много видел: слова «фашизм», «концлагерь», «измена», «облава», «эсэсовец», «пытка», «гестапо» и еще множество таких же нечеловеческих слов сделались для него обыденными. Во все годы бесконечной войны, в которой он участвовал, он, Федерико, только и делал, кажется, что хоронил своих товарищей, правда, он также отправлял следом за ними их убийц. А сегодня он выкопал могилу для своего Янека... В последнее время Янек даже докучал ему высоконравственными наставлениями — он старел и становился моралистом. Но что бы ни было, они вдвоем, прикрывая друг друга, проходили невредимыми там, где один мог и не пройти, — вдвоем они были равны четверым.

И смерть Янека — последнего из тех, с кем он отступал из Испании, — отозвалась в нем физической тоской. Это было холодящее ощущение обнажившейся, открытой, как мишень, спины. Федерико испытал уже однажды эту ни на что не похожую тоску, когда в родном Ассизи плелся на кладбище для бедных за гробом матери. А сегодня он опустил в могилу человека, ставшего ему больше чем братом... И теперь в чудовищном мире этой некончающейся войны, постоянной опасности, развалин, засад, диверсий, выжженных полей, смрадных воронок, военно-полевых судов, гноящихся ран, колючей проволоки, самолетного воя он был предоставлен только себе, одному себе! А в руках у него даже не было автомата: русские не посчитали его своим, они не доверяли ему, и это не просто обижало его, это было ударом, катастрофой. Федерико и себе не смог бы точно сказать, какой он представлял Россию, когда шел сюда, но он точно знал, что самолеты, сбивавшие в небе Мадрида фашистские машины, были русскими и в них сидели русские летчики. С тех давних испанских дней ничто уже — ни поражение, ни предательство — не могло убить у Федерико надежды: пока существовала эта далекая, окутанная северными туманами великодушная страна, можно еще было сражаться. Порой его надежда едва тлела, когда, расстелив на асфальте газету, приходилось ночевать под мостом в Париже под плеск Сены или спастись от полицейской облавы в Риме, но не угасала. И не угасала потому, что в непроглядном европейском мраке светились эти два слова: *L'Union Soviétique*¹³. Их свет и привел его сюда через все преграды и опасности. А очутившись здесь, Федерико почувствовал себя на положении интернированного, ему даже не позволяли драться за *L'Union Soviétique*.

— Федерико, милый... — раздавался в его ушах чистый голосок Лены, — не надо быть печальным. Я прошу...

И его подмывало ответить ругательством. Эта хорошенькая девчонка вызывала у него вполне определенные желания — ничего больше, а сейчас, слушая Лену, ему хотелось обидеть ее, обойтись с нею грубо... Почему, в самом деле, ей, нарядной как кукла, чистенькой как причастница, такой благополучной, такой счастливой, не было больно, когда весь мир корчился от боли, когда и он едва не вопил? Чем она была лучше других девчонок, его прошлых недолгих подружек, которым выпала несправедливая, нищая, злая судьба?

Федерико вдруг оживился и сам взял Лену за руку.

— Пойдем, я покажу, где лежит Янек, — сказал он.

— Его похоронили... так скоро? — сказала она.

— Утром... Мы хотели стрелять, это называется салют. Но из пальца не выстрелишь... Пойдем!

— Да, да, конечно.

Она поискала вокруг глазами: хорошо было бы принести на могилу камарада Ясенского цветы — так полагалось, во-первых, а затем это, вероятно, понравилось бы Федерико. Но где было раздобыть здесь цветы? Желтевшие в траве какие-то поздние хилые щеточки явно не годились для данного случая. И Лена в нерешительности помедлила...

— Федерико, я хочу... я побегу домой. Надо цветы, розы... Я хочу — много роз... — сказала она.

Он нетерпеливо мотнул головой: Янеку ничего больше не было нужно, а сам он тоже отлично мог обойтись без цветов... Девчонка по уши втрескалась уже в него: весь его грешный опыт говорил

¹³ Советский Союз.

о том. Она чересчур часто и как бы случайно попадалась ему на глаза, она чересчур много смеялась в его присутствии, она вызвалась обучать его русскому языку. И она слишком легко согласилась прийти сюда, когда он, не зная еще о смерти Янека, назначил ей встречу! Хорошо же! Он и не подумает отказываться от нее: эта причастница была если не лучше, то и не хуже других. Он ведь и позвал ее сюда, чтобы повести гулять в монастырский парк, где никто не помешал бы им. И почему бы именно сегодня не случиться тому, что должно было случиться: ангелок запачкает свои белые крылышки — только всего... Федерико мысленно выбирал самые обидные, злые выражения, точно это могло исцелить его от тоски.

— Не надо роз... Ну что же вы?.. Мадемуазель боится ходить на кладбище? — спросил он.

— Простите... минутку! — воскликнула она.

Совсем близко, почти над самой головой, Лена вдруг увидела нечто совершенно прекрасное, почти то, что искала: молодую дубовую веточку. Вся еще по-летнему зеленая, свисала она, как с протянутой руки, с могучей родительской ветви. И аккуратные, похожие на грибочки желуди в своих круглых шапочках прятались там между извилисто вырезанных листьев. Лена ухватилась за поданную ей великанью руку, и чудесная веточка, легко отломившись, перешла в ее руки. А отпущенная щедрая ветвь с мягким шелестом, как с добрым напутствием, заколыхалась над нею.

— Ну вот.— Лена была очень довольна.— Это лучше роз! А где похоронили камарада Ясенского?

— Там, где вы хороните своих солдат,— сказал Федерико,— Янек лежит в хорошем обществе.

— О, Федерико! Как вы можете так! — Он и шокировал и восхищал ее, этот дерзкий герой.

...До войны Лена часто с подругами приходила сюда, чтобы погулять в монастырском парке, на кладбище. Это было их любимое, уютное в своем вековом запустении место с укрытыми от любопытных глаз уголками, с заброшенными склепами-пещерками, с развалившимися часонками, в которых проросли тонкие, как свечки, березки. Сам монастырь — ему насчитывалось бог весть сколько лет — пустовал; доска у ворот извещала, что он охраняется как памятник архитектуры. Но и эта отлитая в чугуне охранная грамота не смогла защитить его от долгого штурма времени: в толстых стенах чернели кое-где трещины, некоторые зубцы на башнях выкрошились; состарился и монастырский парк, иные деревья посохли, и их почерневшие обломки упали в высокую, по пояс, траву. Ничто, однако, не мешало мальчишечьим ватагам собираться здесь со всего города и готовить свои разбойничьи набеги: дело в том, что недалеко отсюда на сотни гектаров простирались знаменитые колхозные сады. А по вечерам здесь назначались свидания, играл баян, и на истертых плитах двора молодые люди танцевали под воскресенье до утреннего света. Почему-то этот просторный двор, ограниченный с одной стороны многоглавой соборной церковью, с другой — монастырской гостиницей, с третьей — кладбищем-парком, сделался даже более любимым, чем городской сад с качелями, с комнатой смеха и с танцевальной крытой площадкой. Случалось, Лена тоже танцевала здесь в паре с подругой или с приехавшим на каникулы из столицы знакомым студентом... Входила луна, в ее воздушном разливе блестела листва в парке, будто кованная из светлого металла, лунным замком стоял высокий белый собор с черными прорезями окон. И в голове Лены роились литературные воспоминания: «Луна спо-

койно с высоты над Белой Церковью сияет и пышны гетманов сады и старый замок озаряет».

А ныне вот в этой древней обители за приземистой аркой входа поселилось то, что повергало Лену в трепет,— человеческое страдание. Стараясь не задерживаться взглядом на трехэтажном красном здании монастырской гостиницы, которым оно завладело, это огромное страдание, Лена почти бегом пересекла мощеную соборную площадь. Еще весной она танцевала тут, а сейчас одноногий человек в байковом халате учился на этих плитах ходить с костылями; после каждого шага-прыжка он останавливался, шатаясь, и, обретя равновесие, вновь взмахивал своими деревянными скелетными крыльями. На ступеньках собора сидели другие раненые — все в каких-нибудь повязках: в марлевых чалмах, в марлевых непомерных рукавицах или в марлевых толстых валенках. Сутулый санитар пронес на плече свернутые носилки, как носят лыжи.

Только перед кладбищем Лена обернулась: сзади, держа руки в карманах, сняв шинель, свернув и перекинув ее через плечо, подошел Федерико; он громко высовистывал «Под крышами Парижа». Это было уж слишком, и Лена не удержалась:

— Зачем вы? Разве можно?..

Он не уразумел:

— Что?

— Ну вот... свистеть.

Федерико посмотрел на нее своим синим прямым взглядом.

— Мадемуазель боится, что это не понравится мертвецам? Но, может быть, это их немного развлечет,— сказал он.

Лена не сразу его поняла, удивленно взглядела и, поняв, ахнула: ее новый друг и подопечный был, что там ни говори, великолепен!

Некогда кладбище от монастырского двора отделяла еще одна стена — поперечная, от которой остались лишь потонувшие в траве кучи кирпичей. И могилы начинались тут же, на опушке парка... Под засквозившими осенними березами, под темными, опутанными паутиной елями стояли вразброс, покачнувшись и как бы застыв в падении, кресты; торчали из пожелтевшей травы каменные пни — постаменты свалившихся памятников, иногда выпирала косо замшелая, осыпанная палой листвой гранитная плита с едва различимой эпитафией. Лена в свое время пыталась прочитать эти остатки надписей, и к ней, словно в невнятном бормотании, доходили странные имена, позабытые названия служб, сословий: «...Иов, глаголемый Тулупов», «...шляхетский муж Серапион», «...сотенный голова...», «...архимандрит Дионисий...», «...брат Макарий...», «...инок Филарет» — и общее для всех: «...раб божий».

В передней части кладбища были погребены монахи высших чинов и военачальники: монастырю когда-то, в Смутное время, пришлось выдержать долгую осаду. А чем дальше в парк уходила дорожка, тем реже встречался в надгробиях камень и тем больше было деревянных крестов. От иных остались только черные, точно обгорелые вертикальные столбы, а надписи, смытые дождями, вовсе отсутствовали; здесь лежали простые чернецы и рядовые дружинники — целая безымянная рать, ушедшая в землю... Боковое, на закате, солнце пронизывало мохнатую хвою, обстреливая кладбище своими золочеными стрелами, множеством светлых стрел, и там, где они падали, загорались и светились стволы деревьев, земля, трава.

Еще дальше, на открытой солнцу широкой полянке, покоилась другая рать, также павшая на этой земле; тут уже соблюдалось

воинское равнение. Новые могилы, прикрытые увядшими ветками, обложенные дерном или совсем голые, лишь с табличками на столбиках, воткнутых в примятые лопатами холмики, тянулись правильными шеренгами, как в строю. И Федерико подвел Лену к крайнему, заваленному еловыми лапами холмику в самом дальнем ряду.

— Янек здесь,— сказал он отрывисто и, отступив на шаг, встал сзади девушки.

Он оглядел ее узкую, стебельковую фигурку, ее загорелые до матовой черноты ноги с удлинненными икрами, с детскими щиколотками, и глаза его сделались злыми, потемнели... Казалось, эта глупенькая девчонка одна была виновата в том, что он, похоронив сегодня своего единственного друга, собирался тут же, на кладбище, предаться с нею любви. И конечно, если б не она, влюбчивая участница, то его, Федерико, не беспокоило бы сейчас это недовольство собой: вероятно, ему следовало все ж таки отложить свои забавы хотя бы на завтра. Федерико сердился на подвернувшуюся «под руку» девчонку тем сильнее, чем хуже себя чувствовал, но чем больше он сердился, тем меньше способен был отступить от нее.

Лена нагнулась — ее распушенные волосы соскользнули с затылка, обнажив тонкую шею с ложбинкой, приподнялась юбка, открыв нежные подколенные ямки, — и осторожно, точно боясь разбить дубовую веточку, положила ее на еловую лапу. Выпрямившись и полюбовавшись, она опять нагнулась и переложила веточку так, чтобы выгоднее на темной игольчатой хвое раскинулись светло-зеленые кружевные листья. Острее, чем когда-либо, она ощущала себя сейчас в некоем художественном произведении, в пьесе, в поэме, — она как бы видела со стороны и это их одинокое стояние над свежей солдатской могилой, и себя, печальную и нарядную, и рядом с собой этого синеглазого чужеземца с курчавой маленькой головой, тоже воина и героя! И вся эта картина — золотой вечер, тишина, бедное кладбище героев — показалась ей прекрасной, полной поэзии, в носу у нее защеботало, защемило, и она заплакала не потому, что так уж печалилась о человеке, в сущности, ей чужом, ее охватило волнение, какое бывает от хороших стихов, от растрогавшей книги. Руки ее сами собой крестом сложились на груди, она всхлипнула и залилась слезами, очень искренними, но доставлявшими также приятное переживание.

— Мадемуазель! — раздался хриплый голос за ее спиной. — Что это вы?

Федерико не ожидал этих слез и в первый момент увидел в них одно притворство.

— Ладно, ладно,— сказал он.— Янек задал бы вам трепку. Бросьте это...

— Хорошо,— пролепетала Лена между двух всхлипов.

— Ну, довольно! — прикрикнул он, сердясь: эти рыдания мешали ему.— Пойдемте...

Обернувшись, она подняла на него застланные прозрачной влагой, сияющие глаза.

— А где его семья, дети? — спросила она.

— У кого? Какая семья? — Федерико готов был разразиться бранью.

— У камарада Ясенского. В Польше, наверно?

— У Янека?.. Семья?.. Не знаю, Янек не говорил... — Не сдержавшись, он закричал: — Не было у него никакой семьи. Никого у него не было!

— О, это правда — никого? — переспросила Лена.— Почему?

— Откуда я знаю!.. У революционера не может быть семьи,— сказал он с досадой.

— Но почему? — подивилась Лена.

— Революционер должен быть совсем свободным. Янек был настоящий революционер — он всегда шел туда, где начиналась революция... — Словно с неудовольствием он добавил: — Его семья — все угнетенное человечество.

Лена длинно вздохнула — слова Федерико были прекрасны, как и весь этот вечер: «Его семья — все угнетенное человечество». Что могло быть лучше?.. И слезы вновь потекли по ее щекам, сбегая к уголкам задрожавших губ.

— Но вас он тоже любил... да? — спросила она.

Федерико туповато уставился на нее: они с Янеком никогда не объяснялись в любви.

— Ну, допустим,— сказал он.

— Вы были с ним одни, совсем, совсем... Вы были отверженные.— Другого подходящего французского слова у Лены не нашлось. И она зарыдала громко, в голос,— пожалуй, это было даже чересчур, мелькнуло у нее в голове, но она слишком глубоко прониклась уже своей ролью, она жила в ней.

Федерико долго молчал, потом другим голосом, грубовато проговорил:

— Ну, ну, довольно... вытри глаза.

Он невольно почувствовал что-то близкое к благодарности — русская девушка и вправду, кажется, горевала о смерти Янека. А может быть, она рыдала и о нем самом, о его, Федерико, одинокой, недоброй судьбе, что было уже совершенно непривычно ему, как-то даже малопонятно. Она согнутым указательным пальцем, как крючком, стала смахивать капли слез с ресниц, но тотчас набегали новые, она жалко морщилась, плечики ее вздрагивали. И Федерико потупился — смотреть на это было невыносимо.

— Мы их всех лицом к стенке! — медленно проговорил он. — Всех — к стенке! Как они ставят нас... И очередями из автоматов — как они! Пока не останется ни одного живого фашиста. Всех эсэс, Гитлера, дуче! Очередями по жирным затылкам!.. Не плачь... Очередями по затылкам! Мы набьем их свинцом! Вытри слезы.

Лена попыталась улыбнуться, словно одного его обещания было достаточно ей, и потянула покрасневшим носом.

— У вас нет... как это?.. Ну, как это?.. Платка?.. — попросила она. — Я забыла дома.

Он повертел отрицательно головой и, спохватившись, вытащил из кармана штанов смятое вафельное полотенце.

— Прости... Пожалуйста!

Не отрываясь он следил, как она утирала свое мокрое лицо.

— Нам выдали сегодня... на складе,— сказал он, вдруг повеселев. — А носового платка у меня не было сто лет.

Прежде чем вернуть полотенце, Лена аккуратно сложила его в квадратик.

— Спасибо! Надо утешаться,— сказала она. — Я очень жалею... Мы будем всегда помнить камарада Ясенского. Я буду помнить. Вы тоже будете помнить...

Федерико хмыкнул: ее французский язык был из рук вон плох. Но теперь и эти ее потешные попытки говорить по-французски усиливали ее прелесть — новую, отличную от того, что он видел в ней раньше. Из хорошенькой, но чужой девчонки она превратилась пусть и в нехорошенькую — слезы никого не красят,— но свою, он почувствовал к ней доверие,

Они немного постояли молча, осваиваясь с тем новым, что возникло между ними... Солнце еще не село, воздух был светел, но сделалось холоднее, по верхам деревьев пробежал ветер, первый предночной порыв. И с ветвей полетели блеклые листья; кружась и перевертываясь, они покрывали траву, могилы.

— Пойдемте,— сказала Лена тихим после всех волнений голосом.

Бросив на Федерико кроткий взгляд, она пошла первая, и не назад, к выходу из парка, что было естественно, а в глубину, в его сумрак. Федерико в замешательстве позвал:

— Мадемуазель!

Он сознавал себя теперь в большей мере ее защитником, чем совратителем.

Не останавливаясь она помахала рукой, показывая куда-то дальше. И он крикнул:

— Постой! Тебе не холодно?

Он боялся уже остаться наедине с нею там, куда только что собирался ее вести и где никто не смог бы ему помешать. Лена не отозвалась, только опять помахала рукой, приглашая идти за нею... Какая-то серая с белым брюшком пичужка выпорхнула из куста и низко, едва не касаясь метелок овсяга, полетела в одном с нею направлении.

Лена храбро шла дальше. С главной дорожки она свернула на узенькую боковую, теряющуюся в чаще,— она помнила, что так можно было выйти к монастырской стене и выбраться на берег реки. И правда, вскоре они оба увидели и стену и зияющую в ней косую брешь с зубчатыми, лесенкой выступами по краям, всю наполненную червонно-оранжевым светом. Перебравшись через кирпичную осыпь, они очутились на самой кромке отвесного берега. И сразу же чувство высоты, как бы чувство парения, охватило обоих.

Внизу, омывая подножие откоса, текла, а сейчас словно бы недвижно покоилась в своем русле эмалево-гладкая широкая полоса воды. Деревянный мост на просмоленных опорах, перекинутый над нею, был сверху похож на гигантское узкотелое животное, стоявшее многими ногами в воде и вытянувшее длинную шею на противоположный берег. А там, на низком левобережье, на три стороны сколько хватал глаз лежала целая большая страна с деревеньками, с церквочками, с садами, с башней элеватора, с бесконечным лесом. По мосту, а дальше по желтоватой ленточке большака катили машины, поднимая светлые пылевые дымки. Лена оглянулась на Федерико: тот смотрел с пристальной жадностью, в которой было и удивление и узнавание — казалось, он все это когда-то уже видел.

Солнце остывало, садясь, и цвет воздуха быстро менялся: небо на закате сделалось медно-ржавым, зенит потускнел, посинел. И в какой-то короткий момент, когда солнце ушло, а ночь еще не наступила, необыкновенная синева разом хлынула на землю. Она растворилась в реке, окрасив ее в лазоревый цвет, окутала фиолетовой мглой дальний лес, а группу сосен на ближнем заголубевшем холме сделала темно-синей. Все, что виделось, мгновенно приобрело воздушность, невесомость, словно бы само небо сошло на землю или земля стала небом.

Федерико негромко засмеялся... Он увидел в этой голубизне, в этих синеватых деревьях свою Перуджию: такой она и была в бессолнечные часы — голубой! И здесь, в срединной России, ему почудилось, что он вернулся на родину.

Третья глава

ЗНАКОМСТВА И РАЗЛУКИ. СТАРИКИ

1

С веселой яростью Веретенников командовал:

— Поддай, поддай еще! Душа с телом расстается..

Вода зло шипела, мгновенно закипая на раскаленных кирпичах, и пар наплывал обжигающим облаком. Кулик отскакивал и счастливо матерился; Истомин, задыхаясь, садился на скользкий, в бегущих мыльных ручьях пол. И банька — тесное бревенчатое строение, в котором они трое, полуслепшие, толкались, кричали, стонали, — будто взмывала над землей, покачиваясь и кружась. Виктор Константинович ощупью в горячей мгле находил шайку, деревянный, в железных обручах ушатик и обливался вновь и вновь, как бы желая помыться впрок, навсегда.

Он последним выбрался наружу, и вечерняя родниковая прохлада сладко, до дрожи опажнула его. Был уже поздний вечер, дворик и дом с темными окнами покрылись тенью, в отуманенном небе высветились первые звезды; Виктор Константинович, подрагивая, стоял на дощатой приступочке, держа ботинки в руках, ощущая босыми ногами щекочущее прикосновение травки, выбившейся между щелей; было неизъяснимо тихо и покойно. И словно бы вновь для себя он увидел это высокое небо с редкими звездами на розовой гаснущей заре, этот поросший травой дворик с белеющими узкими дорожками, протоптанными к колодезному срубу, к березовой поленнице, эти смутные силуэты полюблетевших яблонь, превратившихся в свои собственные тени, — все было дивно, и все было непостижимо и прекрасно. И Виктору Константиновичу померещилось, что только сейчас ему до конца, полностью открылась красота жизни на земле — просто жизни, всякой жизни.

«Вот здесь и остаться бы навсегда, здесь и жить, — мысленно проговорил он. — Что еще надо?»

Но тут же он подумал, что это и есть те минуты прощания, конца, о котором он с такою тоской думал. И он все медлил уходить, все тянул, переступая с ноги на ногу на шатких дощечках.

Из серой тени, окутавшей дом, дошел к нему сильный мужской голос:

— ...Я романсы люблю — слышали, наверно: «У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно»? Вас Машей звать?

— И не угадали, — ответил медленный женский голос. — Настей зовут.

— Очень приятно. (Истомин узнал по голосу Ваню Кулика, шофера; свежая, надетая после баньки сорочка Вани слабо белела на заднем крыльчке дома.) Чарующее имя... Вы романсы любите, Настя?

— Нет, у нас другие песни пели, — сказала женщина.

— Какие же, позвольте узнать? «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»? Так это еще моя бабка пела, — ласково сказал Ваня.

— Красивая песня. Я ее тоже пела... — ответила женщина.

Вспыхнул крохотный желтый огонек спички — Ваня закурил; затем разговор на крыльчке возобновился:

— Еще, наверно, пели: «Мне не надобны наряды, ленты, кружево, парчи» — обратно из бабкиного репертуара?

— Кончились мои песни... — Ровный голос женщины звучал не то равнодушно, не то устало.

— А это пессимизм называется. Нам песня жить и любить помогает... — сказал Ваня.

И подождав и не получив ответа, он переменял тему:

— Тут, значит, и работаете, тут и проживаете, при работе?

Виктор Константинович с безотчетным интересом тоже ждал, что скажет женщина. В тишине этого вечера каждое слово невидимых собеседников разносилось далеко и отчетливо, как над рекой.

— Тут все и проживаем...

— Удобно. И что же, большой у вас штат работников? — полюбопытствовал Ваня.

— Какой у нас штат? Ольга Александровна да я.. Завхоза нашего, Василия Захаровича, сразу на войну забрали. Еще Марья Александровна у нас, младшая сестра.

— Семейственность разводите,— пошутил Ваня, явно пытаясь разговаривать женщину.— За это обратно по головке не гладят.

— Таковую, как Марья Александровна, поискать надо. А только вряд ли найдете — за всех болельщица.

Женщина умолкла, и над крылечком взлетел легкий синий дымок: там в самом деле хлопотали у самовара и женщина принялась вздувать жар; размытыми пятнами виднелись на ступеньках ее белые босые ноги.

— А ну, дайте помогу, у меня живей пойдет,— сказал Ваня.

Он присел на корточки, и дымок пошел гуще; едва уловимо потянуло приятной смолистой горечью — в самоваре затлели еловые шишки.

— Техника древних веков,— сказал Ваня и закашлялся.

— Спасибо, товарищ военный! Зато и чаек вам первому,— сказала женщина.

— У вас лично кто на войне? — вновь приступил Ваня к расспросам.— Супруг или, возможно, папаша?

— А никого у меня,— сказала она.

— Как так никого? Совсем никого?

— А я безмужняя,— с полным как будто безразличием, точно не о себе, проговорила женщина,— не девица, не вдовица, не молодка, не разводка.

— Н-да... Бывают в жизни злые шутки...— Кулик, судя по голосу, повеселел.

— Уж точно что шутки... Припоздала я расписаться, приданое долго готовила... А только надумала, жениха и вовсе не стало,— роняя слово за словом, сказала женщина.

— Наплевать и забыть,— сказал Ваня.— Цыгане как поют: «А тому, кто красив, но с холодной душой — черт с тобой!»

Виктор Константинович слабо про себя усмехнулся: Ваня Кулик неуклонно шел к цели.

— Моего сержанта еще в финскую забрали,— сказала женщина.— Приданое я пошила, а на жениха похоронная пришла.

И на крылечке наступило молчание; Ваня поднялся со ступеньки.

— Вот позвольте вас угостить,— услышал Виктор Константинович его голос,— кубик кофе с молоком и с сахаром. Погрызите.

— Спасибо, я потом... Смотрю я теперь на вас, на военных, и думаю: который на очереди, по ком завтра плакать будут? — медленно сказала женщина.

— Это вы правильно думаете,— одобрил Ваня.

— Жалко мне вас всех... до того жалко бывает...— сказала она.

— Это точно! В армии народ все молодой, только жизни попробовал, как не пожалеть!

Тонкое, будто игрушечное посвистывание донеслось с крылечка.

— Закипает мой малышка,— сказала она.— Будем вас чайком поить.— И без перехода добавила: — Вот и выходит: не шей ты мне, матушка, красный сарафан, а шей ты мне, матушка, белый саван. Пожили, порадовались, хватит...

Ваня ответил что-то, но так тихо, что Виктор Константинович не разобрал. Светлое пятно его сорочки переместилось ближе к собеседнице, и на крылечке завозились — Ваня, кажется, обнимал женщину.

— Какие вы, товарищ военный...— сдавленно, с одышкой выговорила она.

— Дай на ухо словечко скажу,— пробормотал он.

— Знаю я ваши словечки...

Все бойчее высвистывал свою детскую песенку пар, вылетающий фонтанчиком из самовара, и она сказала:

— К дороге поет, а куда нам, бабам, в дорогу? Да еще с Марьей Александровной, со слепенькой... Видно, всем нам одна дорога лежит...

Ваня опять что-то зашептал, засипел.

— Немец, говорят, никого не милует, ни старого, ни малого.— Женщина не слушала его.— А все имущество, какое у кого есть,— подчистую к своим немкам отсылает. Вот придет он...

— Никак он не может прийти, когда мы здесь,— громко сказал Ваня.

— Уж и точно — вы защитнички...— мягко, больше сочувственно, чем с осуждением, сказала она.— Что ж вы его так близко подпустили?

— А там, где он, гад, прошел, там нас не было с нашим лейтенантом,— попытался отшутиться Ваня.

— На вашу силу у него, видать, две да еще полсилы.

И Виктор Константинович даже представил себе, как она покачала печально головой.

— А это называется неверие,— сказал Ваня.

На крылечке снова началась возня; он хватал женщину за руки, за колени, она отталкивала его.

— С бабами вы все гусары...— беззлобно вырвалось у нее.— Люди еще спать не легли, а вы...

Виктор Константинович сошел с приступочки — ногам стало холодно — и побежал вприпрыжку к дому. Он не порицал Ваню, напротив, он даже позавидовал ему, не этой его близкой, должно быть, победе, но самой его неукротимой активности: ведь ему досталось сегодня крепче, чем другим, в их поездке. Когда утром их машина, скрежеща и воя, ползла вверх по береговому откосу, уходя от бомбежки на переправе, позади еще чугунно гремели разрывы фугасок, носились дымные вихри, перемешанные с землей, а по реке плыли лошади и люди, перевернутые телеги, кубы прессованного сена — в бомбежку угодил обоз с фуражом; ржание покалеченных коней могло свести с ума. Но Кулик не сплеховал, не растерялся, у него хватило духу вывезти машину из этого смертного хаоса. И сейчас он спешил вознаградить себя, урвать хоть что-то у радостей жизни, потому что не знал, повезет ли ему так же и завтра. За что же его можно было порицать, если даже он не успел хорошенько рассмотреть женщину, которой домогался?

Виктор Константинович, ступая, как по горячему, на носки, взбежал по ступенькам. Женщина на крылечке показалась ему в сумраке на редкость страшновато глазастой: два черных, чуть мерцающих в глубине провала занимали чуть ли не половину ее лица. Кулик подался вбок, пропуская Истомина.

— А-а, профессор! — закричал он. — У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно.

Он был окрылен уверенностью в неминуемом торжестве.

Своего командира Истомин нашел в спальнной комнате. Веретенников был уже одет, причесан, затянут в новенькие, светлой кожи офицерские ремни, обвешан крест-накрест полевой сумкой, планшетом, биноклем и собирался уходить. Он только что по телефону разыскал председателя райисполкома, и тот поджидал его у себя в кабинете.

— В городе, между прочим, есть маслозавод, есть консервный, две хлебопекарни, шорная мастерская, — объявил он Истомину таким тоном, точно в этом была и его, Веретенникова, заслуга. — Славный городишко! Маслозавод нормально выдает продукт. Завтра первым делом мы на маслозавод... Загрузим всю машину сливочным — это я вам обещаю. — И маленький техник-интендант, поглядывая снизу на своего сутуловатого, но высокого ростом бойца, подмигнул ему как сообщнику. — Председатель райисполкома оказывает полное содействие. Сказал, между прочим, что на складе Центросоюза завались сушеного картофеля, есть изюм, сухофрукты, грибы.

Веретенников пребывал в повышенно-деятельном настроении. Завязывая на груди шнурок плащ-палатки, он на мгновение задумался: какие-то еще хозяйственные соображения пронеслись в его голове.

— Картофель тоже заберем, — порешил он вслух и светло, не удержимо улыбнулся; крепкие, раскрасневшиеся после баньки щеки его яблочко округлились. — Транспорт? Да, проблема! Но транспорт добудем — гужевой! Изюм пойдет в допшаек.

Он доверчиво посмотрел на Истомина, не сомневаясь, что тот разделяет его заботы.

— Проводите-ка меня, спешу! — сказал он.

Истомин сунул ноги в башмаки, не стал наматывать обмотки и догнал командира во дворе. Тот на ходу распорядился:

— Я вернусь — будем ужинать. А вы тут похозяйствуйте пока, Виктор Константинович! У Кулика в его запаснике четыре банки осетрины в томате, «украинская» колбаса. Не Кулик он, а кулак. Оставались еще у нас кубики кофе с сахаром — сойдут вместо конфет.

За воротами он остановился, ближе подался к Истомину и так же деловито, лишь сбавив голос, проговорил:

— Вы обратили внимание на эту... которая встретила нас, на Лену? Статуетка! Обещала к вечеру вернуться... Обратили внимание на ее наружные данные?

«И ты, бедняга, спешишь что-то урвать от сладости бытия, — подумал Виктор Константинович. — Ну что же, все закономерно».

— Очень мила... А в глазенках, вы заметили, — живинка? — порадовался Веретенников. — Не заметили? Ну, бесенята играют... Дивчина в моем вкусе... К тому же десятилетку кончила — и поговорить с нею можно. Вы согласны?

Истомин не отзывался, и он охотно разъяснил:

— На войне, Виктор Константинович, месяц за три месяца идет. Также и время на предварительное знакомство. Слышали, как наш Кулик поет? Вот черт, меломан!.. Как это там? «Сквозь непогоду, ветер, вьюгу... тра-та-та-та... та-та, та-та... мы мчимся, шпорами звеня»... Здорово! Верно? Как там дальше?.. Ну как там, Виктор Константинович?! Вы ведь тоже слышали...

Он напоминал в эту минуту мальчишку, разгоряченного своими планами и предприятиями. «Да ты и есть мальчишка, — внутренне

усмехнулся Истомин.— Ты еще играешь в войну и в эту распорядительность, деловитость... Сухофрукты, грибы! Господи боже!.. Мирровая катастрофа — и грибы! Бедный милый дурачок!»

— Слышал Кулика, как же.— И сострадавая своему командиру, он проговорил всю строфу:

Сквозь непогоду, ветер, вьюгу
Мы мчимся, шпорами звеня.
Ночной привал, вино, подруга,
Труба — и снова на коня!

Почувствовав невольную неловкость, Виктор Константинович прокашлялся.

— Точно: «Труба — и снова на коня!» — восхитился Веретенников.— Вы еще эту старуху, заведующую, позовите посидеть с нами, эту бывшую графиню.

— Какая же она графиня? — сказал Истомин.

— Все равно — осколок прошлого... И этого вредного старичка — интеллигентные все-таки люди. Поляков тоже зовите. Действуйте, Виктор Константинович! У меня все.

Истомин хотел было заметить, что старик учитель не так уж, видно, прост: носит почему-то под толстовкой оружие, — но не успел. Веретенников, запахнувшись, шурша плащ-палаткой, бойко потопал по тротуару.

Виктор Константинович постоял и сел на скамейку у ворот — он позабыл уже о старом учителе. Шум, производимый Веретенниковым, вскоре ослабел, пропал, со двора не доносилось ни голосов, ни шороха, и сделалось опять совсем тихо, так, как и бывает в поздний вечер в провинциальном захолустье. Небо померкло, похолодело, а на севере стало непроглядно-черным, оттуда наплывала сплошная облачная тьма. Казалось, что тьма — это и есть цвет тишины и это она, тишина, поглощала небо и землю: улицу, заборы, крыши, сады, столб с незажженным фонарем — все пряталось в ней, скрывалось, пропадало... И он сам, Виктор Константинович Истомин, тоже как будто потерялся в этой тишине-черноте — исчез, был забыт со всеми своими терзаниями и страхами.

Он откинулся к спинке скамейки, тело его расслабилось, безвольно закрылись глаза. Наконец-то он был один — вполне и совершенно один, укрытый тишиной как щитом от всех на него посягательств, от всех «надо» и «должен». Казалось, что последние дни он только и искал и жаждал эту милосердную тишину.

«Я трус, самый обыкновенный, самый заурядный», — подумал ясно Виктор Константинович. И не устыдился, не ужаснулся, но почувствовал даже странное удовлетворение. Точное слово было сказано — трус, он называл себя трусом, как мог бы сказать: «Я урод, калека»... И смиряясь с этим, он добавил: «Что ж теперь делать? Живут и уроды и калеки». В его подполье, в глубочайшем душевном тайнике, оказалось, что он, истинный он — это не тот Истомин, какого знали его друзья, близкие, жена, а трус, заячья душа. И если б только ему блеснула ныне какая-то возможность действительно спрятаться от беспощадного мира, от войны, он бы, конечно, улизнул, спрятался... В который уже раз Виктор Константинович вспомнил, как он отказался в свое время от брони, дававшей, может быть, эту возможность: его институт давно был эвакуирован из Москвы на восток. «Да, — припоминалась ему погубительная фраза, вырвавшаяся в тот роковой день записи в ополчение, — я хворый, я калека! Я ничтожество, что ж теперь делать? В смерти нет ничтожества, но нет, — он внутренне усмехнулся, — и жизни».

Истомину показалось, что он задыхается, он привстал, инстинктивно куда-то стремясь, и опять тяжело повалился на скамейку.

«Что ж теперь делать? Что делать?» — повторялось в его мыслях как эхо потрясшей его сегодня шопеновской музыки. Но и эта музыка сочувствия, дошедшего из самой вечности, не приносила уже облегчения... «Мне еще повезло, что Веретенников узнал меня здесь, — пронеслось в его голове, — мы могли и не встретиться в штабе».

Они познакомились и разговорились еще в Москве, во дворе школы, где формировалась их дивизия; Виктор Константинович поделился тогда с Веретенниковым бутербродами, принесенными из дому женой. И вот сейчас по просьбе Веретенникова он был откомандирован временно в дивизионное интендантство; его, Веретенникова, он и должен был благодарить за этот Дом учителя — райский приют, подаренный хотя бы на одну ночь.

Звякнула щеколда на калитке — кто-то вышел на улицу, — и слышалось мелкое постукивание: человек не опирался на палку, а нащупывал палкой дорогу; потом из темноты выступила еще более темная фигура.

— Добрый вечер! — будто зазвучала во мраке певучая альтовая струна. — Дышите воздухом? Я тоже непременно должна подышать перед сном, иначе не засну.

Зашелестело складками платье — женщина опустилась рядом на скамейку, — и Истомин различил бледную туманность седых волос, смутно белевший профиль.

— Я не помешала вам?..

Она подождала, и он, спохватившись, ответил, что он очень рад; женщина засмеялась, как доброй шутке.

— Вы сегодня приехали — я слышала: вы, ваш командир, ваш шофэр. — Шофер она произнесла через «э». — Нам следовало бы познакомиться, но помочь нам в этом некому. А потому давайте уж познакомимся сами. Я Мария Александровна Синельникова.

— Рад... очень, — повторил он неуверенно и приподнялся: — Истомин Виктор Константинович.

— Дайте, пожалуйста, вашу руку, — попросила женщина.

Недоумевая, Виктор Константинович опасливо протянул руку, и она, найдя ее в темноте, легонько, чуть касаясь, провела своими сухими пальцами по загрубевшей тыльной стороне, по ладони со свежими мозолями.

— Ну вот, я уже немножко вас знаю, — с лукавой ласковостью сказала она.

«О боже, она слепая! — догадался Виктор Константинович и невесть отчего забеспокоился: — Что ей надо от меня?»

— У нас вы сможете немножко отдохнуть... — продолжала она ласково. — Вы ведь поживете у нас? Я и Оля, моя сестра, мы просто счастливы, когда встречаем новых людей. Знаете, когда живешь в глуши... Хотя, — в ее певучем голосе зазвучал смешок, — не буду гневить бога, не такая уж у нас глушь. Вы не посмотрели еще нашего города? Вы его непременно должны посмотреть. А после расскажете мне о своих впечатлениях — это освежит и мою память. У нашего города большая история, о нем не однажды упоминается в летописях. Много построек, относящихся к восемнадцатому веку, даже к семнадцатому, — наш монастырь, старые торговые ряды.

— Если только представится возможность... — с усилием проговорил Виктор Константинович.

Ему становилось все более не по себе — несчастная слепая посчи-

тала, должно быть, своей обязанностью развлекать его разговором. И это было так ненужно, так неуместно!..

— А в последние года мы начали строиться, открылись две новые школы, сельхозтехникум,— живо продолжала она.— Жаль, что вы не были в наших краях раньше, мы не дали бы вам скучать. Не реже двух раз в неделю у нас в Доме учителя собирались, кто-нибудь декламировал, пел, устраивались беседы, лекции— все местными силами. Мы обе, Оля и я, мы большие грешницы, ужасно любим развлечения, это у нас в роду, семейное, всегда что-нибудь затеваем.— Она опять тихонько засмеялась, словно проаккомпанировала себе смешком «под сурдинку».— Но я вас заговорила. Знаете, меня надо останавливать— так, по крайней мере, уверяет моя сестра.

— Почему же? Это все интересно,— тоскливо проговорил Виктор Константинович.

— Я ужасно болтлива. А вы, наверно, устали в дороге, вам надо отдохнуть.

— У вас хорошо, да...— пробормотал он.— Такая тишина!

— Ну что вы! Вы не представляете, как мне хочется, чтобы в самом деле наступила тишина,— сказала Мария Александровна.— Я так устаю от этого вечного у нас шума.

Виктор Константинович наклонился к своей собеседнице, стараясь лучше ее рассмотреть. Но он увидел еще меньше, чем в начале их разговора: облака закрыли уже почти все небо, темнота стала гуще, и этой светской болтовней занимал его бесплотный призрак с красивым альтовым голосом.

— Что-нибудь всегда, конечно, можно услышать,— невольно возвысил он свой голос,— свист ветра, собственное дыхание. Но какой же это шум, Мария Александровна?!

— Я не о том, не то,— ответил призрак.— Милый Виктор Константинович, вы даже не подозреваете, как бывает ужасно шумно! Бывает, конечно, и хорошая музыка, это счастье, но никакая музыка не может длиться вечно. А я ведь слышу лучше, чем вы, зрячие, я слышу все вокруг! Днем я закрываю окна, двери, опускаю шторы, и все-таки я все слышу. Когда на соседнем дворе лязгает колодезная цепь, мне сдается, что это гремит гром. Я слышу, как проезжают авто на шоссе, как работает пилорама, она далеко от нас, но я ее отлично слышу— это египетская казнь. Только к ночи наш город стихает, но тогда становятся слышны все половицы в доме, они будто переговариваются, верещат сверчки, кто-то шепчет, шепчет за обоями... Наш дом похож на меня— он такой же болтливый.— И Мария Александровна вновь проаккомпанировала себе смешком.

Истомин принужденно хмыкнул, ему очень хотелось встать и уйти, хотя он не смог бы объяснить, в чем тут дело, и смешно, в самом деле, было нервничать оттого, что он не видит своей собеседницы... Но воистину человеческие несчастья не знали границ— эта слепая старуха была, кажется, и не в своем уме.

— Я опять гневлю бога: мой слух— это и мое спасение,— сказала она.— Я слепа еще девочкой, мне было девять лет, когда для меня погасло навсегда солнце,— осложнение после менингита. Мои родители, вы понимаете, были в отчаянии, возили меня в Москву, за границу, но ничего нельзя было сделать. И тогда я стала слушать... Я ловила звуки и старалась разгадывать их— словом, я старалась видеть ушами. Это была единственная возможность вернуть хотя бы часть того, что я утратила. И могу сказать, я кое-чего добилась. Теперь я слышу даже то, что слышать вообще невозможно, как считаете вы, зрячие...

— Что же вы слышите — музыку сфер? — резко спросил Виктор Константинович. — Простите!

— А вот вам не сидится, вы недовольны, вы меняете поминутно позу, отворачиваетесь, и я все это слышу, — сказала слепая. — Вы, конечно, думаете: бедная старуха, она помешалась, — и не возражайте, я знаю, вы так думаете, но я вас готова простить: вам действительно трудно мне поверить. А я слышу — и это правда! — слышу даже самые молчаливые предметы: шкаф, например, стол, забор, столб — они все тоже звучат. Как? Я не сумею вам объяснить... Но они звучат и предупреждают меня, что не могут посторониться, уступить мне дорогу, и я тихонько обхожу их.

Истомин поднялся со скамейки — он почувствовал себя как в луче света, в то время как он сам был и сляп и беспомощен.

— О, вы уже уходите? — Женщина огорчилась. — А я хотела еще спросить вас, я ведь не без корысти подседа к вам.

И он ощутил вновь прикосновение призрака: она безошибочно нашла его руку своими легчайшими пальцами и слегка потянула.

— Сядьте, пожалуйста, — попросила она. — Еще только на пять минут.

Пересилив себя, он сел, не мог же он вырвать руку и бежать.

— Виктор Константинович, вы военный человек, вы прямо с фронта. Вы, конечно, все знаете лучше, чем мы... — начала она. — Скажите прямо, забудьте, что я старая и не вижу. Скажите мне: что у нас там происходит?.. Там, на фронте?

— На фронте? Но я сам плохо понимаю... не информирован, — сказал он.

— Меня все щадят и успокаивают. Ах, это так напрасно!.. Я, конечно, слушаю сводки Совинформбюро, но и они составляются для того, чтобы успокаивать... Минутку, — перебила она сама себя, — вы ничего не слышали?

— Да что с вами? — нервно вырвалось у него. — Ничего я не слышал.

Все же он прислушался, но уловил лишь слабый ропот деревьев: ветерок пронесся над садами, сорванный лист, пролетая, тронул его щеку.

— Ничего абсолютно, вам померещилось, — сказал он.

— Возможно, что это проходит где-то гроза... — И Мария Александровна помолчала, проверяя себя. — Нет, это только похоже на гром, но это не гром.

— Что же это, в конце концов?! — воскликнул Виктор Константинович.

— Где-то нас бомбят, — сказала она. — Где-то в стороне Москвы.

— С чего вы взяли?! Вы не можете слышать того, что за десятки верст! — крикнул он.

— Но я слышу, могу, — виновато ответила она. — Немцы летают теперь к Москве почти каждый вечер. Их легко узнать по звуку, ну, вы его тоже, конечно, знаете, такой жалобный, похожий на комариное зуденье. А сегодня час назад, ну час с четвертью, один их аэроплан летал где-то совсем близко от нашего города.

— Я ничего не слышал, — твердо сказал Виктор Константинович.

— А я, простите, испугалась, подумала, что он будет сбрасывать свои... штучки, — с какой-то неизъяснимой интонацией проговорила слепая, — но нет, он улетел, может быть, просто заблудился.

— Я не слышал, — повторил Виктор Константинович.

— Ах, мне так часто не верят! — посетовала она. — Я о чем хотела поговорить с вами... Я прошу вас, Виктор Константинович! В городе все готовятся к эвакуации. Вокруг меня все только о ней

и шепчутся. Но неужели наш город сдадут немцам? Ведь так они могут и до Москвы...

— Вы задаете мне слишком трудный вопрос,— перебил он ее.

— Только не скрывайте ничего от меня! Моя сестра, моя милая Оля... Простите, что вмешиваю вас в наши обстоятельства,— Оля в страшном затруднении. Оставить меня здесь одну она не решается, а везти куда-то слепую, больную... Такая получается глупость! Я всю жизнь боялась стать для семьи обузой. Но... боялся окунь угодить в вершу, попался на крючок.

Она, эта несчастная старуха, пыталась еще иронизировать над собой.

— Я не имею, конечно, никакого права судить... Но неужели так и будет все продолжаться?! Должны же когда-нибудь их остановить!.. Немцы в Смоленске — страшно подумать!

— Да, вот так — в Смоленске,— сказал он.

— Рассказывают ужасные вещи... Они ничего и никого не щадят, убивают детишек, жгут деревни. В Некричах они сожгли больницу со всеми больными, наставили прямо на окна пулеметы, чтоб никто не убежал, и подожгли... Виктор Константинович, у меня один только вопрос: когда вы их остановите? Что у вас на фронте слышно об этом?

Она опять нашла в темноте его руку и пожалала.

— Затрудняюсь что-нибудь определенное...— выдавил из себя он.— Мои скромные обязанности...

— Я понимаю — вы не командующий фронтом... Ах, я как в темном лесу, как в лесу! Я сама себе напоминаю слепого крота, которого гонят из его норы. Такая беда для слепого крота!

И Виктор Константинович мог бы поклясться — в ее голосе вновь слышался смешок: старая дама все еще тщилась сохранить светский тон.

— Я помню, у Толстого, у его героев...— вы помните, конечно, описание Бородинского боя? — была такая решимость, такая храбрость!.. Виктор Константинович, когда же наконец придет возмездие?

— Но я действительно не командующий фронтом...— сказал он.

— Да, да, конечно! И я замучила вас... Простите старуху.

Она надолго замолчала. Ветер усилился, и еще один сорванный лист прилип на мгновение ко лбу Истомина, другой опустился на его непокрытую голову; осенняя тьма была вся наполнена их бесшумным полетом.

— К сожалению...— начал он, но слепая не дала ему досказать.

— Еще минуточку! — просяще воскликнула она.— Вы так ничего не скажете мне?

И, потеряв самообладание, Истомин со злостью проговорил:

— Уезжайте, если можете!.. С сестрой, со всеми, кто только может! И скорее, не откладывая ни на день!

Она не отозвалась, даже не пошевелилась.

— Мария Александровна! — позвал он, ему показалось, что ее уже нет здесь.— Где вы?

— Какие прохладные стали вечера! — услышал он ее чистый альтовый голос.

— Так осень же! — сбитый с толку, буркнул Истомин.

— Вообще-то хорошая осень, сухая. А днем на солнце бывает даже жарко... Небо в облаках? — спросила слепая.— Посмотрите, пожалуйста.

— Небо?..— Он задрал голову; все вверху было непроглядно-черно.— Да, затянуло.

— Совсем? — спросила она.

— На юге видны еще две звезды.. Нет, три... четыре!
— Звезд я не слышу, жалко! Чего нет, того нет.— Она засмеялась.— А ветер, кажется, южный?
— Да, южный.
— Значит, завтра постоит еще хорошая погода. А там дожди, дожди — и зима... Благодарю вас, Виктор Константинович! — сказала она, поднимаясь со скамейки.

2

Сергей Алексеевич Самосуд сидел вечером, в сумерках, у старшей Синельниковой в ее комнатке, на другой половине дома, и смотрел, как она, тяжело двигаясь, собирает ему ужин. Сергей Алексеевич был озабочен, подавлен и поэтому иронизировал и острил чаще, чем обычно, хотя и менее удачно.

О главном и самом горьком было уже сказано — он попросил Ольгу Александровну собираться в далекую дорогу: завтра к вечеру, а в крайнем случае послезавтра, машина, которую ему удалось выхлопотать, должна была прийти сюда, чтобы забрать всех постоянных обитателей Дома учителя. И, против ожидания, Ольга Александровна выслушала его довольно спокойно, видимо, внутренне она была уже готова к этому бегству, и только удивилась:

— А почему машины к вечеру? Мы ночью поедем? Почему ночью?

— Приятнее будет ехать, ночной зефир струит эфир,— ответил он.— Днем все-таки душновато бывает.

Не стоило, разумеется, говорить о том, что немецкие самолеты охотились днем на дорогах и за одинокими пешеходами, не то что за машинами.

— Нам можно что-нибудь взять с собой? — спросила Ольга Александровна; выражение лица ее было плохо различимо в сумерках.

— Боюсь, что в машинах будет тесновато... Советую — чемоданчик с провизией, ну, и самое необходимое. Большой багаж — большие огорчения,— бодро сказал он.

И с неудовольствием заметил про себя, что его голос звучал принужденно. Он-то хорошо понимал, что значит для Ольги Александровны покинуть это свое гнездо — дом, в котором прошла вся ее жизнь,— и куда-то ночью с «чемоданчиком» бежать!

— Хорошо, Сергей Алексеевич, спасибо. Давайте ужинать,— сказала она.

И так же точно, как это происходило по вечерам раза два-три в месяц на протяжении многих лет, она застелила угол своего рабочего столика салфеткой, принесла на тарелке холодные котлеты, помидоры, поставила старинный, зеленого стекла штофик с водкой, затем присела к столику сама.

— Самовар остыл уже, наверно, надо подогреть,— сказала она.

— Чай не водка, много не выпьешь,— ответил он, и его самого покорило от этой очень уж глупой, очень не ко времени шутки. Но на что-нибудь более умное, вернее — утешительное, он, как ни силился, был сейчас не способен.

...Когда-то, лет около тридцати назад, Сергей Алексеевич впервые пришел в гости к Ольге Синельниковой, петербургской курсистке, приехавшей на летние вакации домой. И его, недавнего студента, вчерашнего постояльца дешевой, пропахшей скверным табакком столичной мебелишки, неожиданно растрогала эта ее небольшая, об одно окошко за тюлевой занавеской, вся белая комнатка — с белеными стенами, с ситцевым пологом над кроватью, с белой

кафельной печью, с букетом белой сирени на рабочем столике; даже книжки, лежавшие там — сборник Ахматовой «Четки» и «Человек как предмет воспитания» Ушинского, — были аккуратно обернуты в глянцевиую белую бумагу. Словом, переступив здесь порог, Самосуд в один миг очутился как будто в заоблачной обители, и самый воздух этой белой комнатки показался ему пахнущим поднебесной свежестью.

Оля Синельникова, старшая дочь мирового судьи, отставного гвардейского поручика, была девицей начитанной, серьезной и, готовясь стать учительницей, носила строгие белые кофточки. Это все не мешало ей увлеченно заниматься устройством концертов с благотворительной целью, в которых она и сама пела народные песни. Деятельно-отзывчивая, она много ухаживала за своей слепой сестрой, много возилась с детьми, с младшим братом, а на рождество на елку собирала всех ребят с ближайших улиц. Важным обстоятельством, объяснявшим ее успех у местных кавалеров, было то, что она, черноглазая, белолицая, длинноногая, с толстыми смоляными косами, была красива; ее называли Береникой, Рахилью, сравнивали с лермонтовской Бэлой, и ее чар не избежал и Сергей Алексеевич. Вскоре она также стала заметно выделять молодого, только что окончившего университет филолога из однообразного собрания своих уездных ухажеров. Самосуд находился под надзором полиции за некую таинственную деятельность в столице, что возбуждало и ее любопытство и сочувствие. А помимо того, он был остер на язык, обладал несколько простоватой, но совсем недурной, открытой внешностью и не отказывался помогать ей в устройстве концертов. Их счастливо начавшемуся роману не суждено было, однако, такое же счастливое продолжение, помешала война — первая мировая. Самосуд в четырнадцатом году был взят в действующую армию, а вскоре прошел слух, что где-то на западном фронте он сложил свою голову — письма от него действительно прекратились. Но прекратились потому, что уже в следующем, пятнадцатом, году он был предан военнополовому суду за большевистскую пропаганду среди солдат. И лишь после Октябрьской революции его, командира одного из отрядов Красной гвардии, раненного под Псковом, увидели в родном городе... Когда, опираясь на костыль, Самосуд появился у Синельниковых, старшая их дочь Ольга Александровна была уже замужем. Ее мужем стал человек, которого она даже мало знала, сын давнего приятеля отца, вернувшийся с войны без руки, сострадание решило ее участь. И у нее и у Сергея Алексеевича навсегда осталось в памяти это их послевоенное запоздалое свидание — они оба были словно бы обескуражены недоброй игрой судьбы. Сидя тогда в комнате Оли Синельниковой, Самосуд постигал истинные размеры своей потери — он почему-то и мысли не допускал, что эта девушка может его не дожидаться. А она так и не решилась рассказать ему, какую странную, злую роль в решающую пору ее жизни сыграло одно стихотворение Ахматовой, весьма в свое время популярное. Проплакав ночь над строчками:

Вестей от него не получишь больше,
 Не услышишь ты про него.
 В объятий пожарами скорбной Польше
 Не найдешь могилы его, —

она уверилась в гибели Сергея Алексеевича, словно эти строчки были написаны для нее и о нем.

Не дожидаясь полного выздоровления, Самосуд вернулся в свой отряд, и прошло целых полтора десятилетия, прежде чем он снова

появился у Ольги Александровны после многих перемен и утрат. К этому времени она развелась с мужем, но была уже серьезно больна и не по годам состарилась. А Сергей Алексеевич так и остался холостяком, сделавшись лишь ее частым избранным гостем. Более или менее регулярно под выходной приезжал он из своего Спасского в Дом учителя, а порой приходил пешком — двадцать километров не стали еще для него слишком большим препятствием — и по возможности, по сезону, с каким-нибудь приношением: лукошком земляники или грибов. Ольга Александровна накрывала у себя в комнате к ужину, ставила у прибора Сергея Алексеевича зеленый штофик, уцелевший с незапамятной, петровской, как говорили, поры, и они втроем — к ним присоединялась Маша — садились обмениваться новостями и мнениями.

Это были вечера, дорогие для всех троих... За разговорами, о чем бы ни шла речь, рождалось ощущение некоего их господства над временем — это удивительное ощущение возникало уже из одного того, что они сидели, как в давние годы, там же, где собирались раньше, испытывая то же удовольствие от симпатии и близости друг к другу. И неостановимое время вопреки всем своим законам останавливалось над ними, прерывая свой вечный бег. Происходила в высшей степени приятная вещь: оказывалось, что друг для друга они словно бы и не стали окончательно стариками. За сегодняшним зримым обликом Ольги Александровны вставал другой ее облик, некогда восхитивший Сергея Алексеевича, и черты того облика живо проступали сквозь все приметы старости, все знаки, наложенные временем: седину, морщины, пигментные коричневые пятнышки на висках. Вновь узнавая Олю Синельникову в звуке голоса, в повороте головы, в заблестевших глазах и радуясь ей, Сергей Алексеевич и сам сбрасывал с себя маску своих лет. Он не то что молодел здесь у нее, но он забывал и об ее и своей старости, словно бы отпуская их каждый раз на недолгий срок. А сегодня вот он в третий раз и без особенных надежд на новую встречу прощался и с этой белой комнаткой и с ее обитательницей — Ольгой Александровной.

— Приступим, благословясь, — сказал он, наливая себе из штофика. — Проголодался, словно медведь по весне.

Он выпил, крикнул, как и полагалось после рюмки, и принялся ковырять вилкой котлету.

— А вы сами что же, сударыня, попоститься решили? — спросил он.

Ольга Александровна лишь качнула пышноволосой головой — она как будто примирилась уже с тем, что ей предстояло, и только ее маленькая рука с недлинными, сужавшимися к ногтям пальцами беспокойно блуждала по столику, переставляя без надобности солонку, хлебницу.

— Пунктом назначения рекомендую Ташкент, — сказал Самосуд. — Там у меня старый товарищ в горсовете — еще по гражданской войне. Поможет всем вам в устройстве.

— Вот и хорошо — повидаем новые места, — сказала Ольга Александровна.

— Ташкент! — проговорил он твердо, как дело решенное. — Я бывал в Ташкенте — недолго, правда, приезжал с комиссией Фрунзе. Там есть на что посмотреть — медресе Барак-хана...

— В молодости мне хотелось много ездить, — сказала она. — Все не получалось. Теперь, видно, наверстаю.

Сергей Алексеевич налил себе еще рюмку, но пить не стал. «Крепится Оля, не подает виду... — подумал он. — Ох, беда, беда!..»

— А Куликово помните?.. — заговорил он громче. — Мы с вами

ездили смотреть Куликово поле... Какой там ветрило разыгрался, помните? Дуло как из самого четырнадцатого столетия. С нами еще ваш брат был, гимназист.

— Реалист,— поправила Ольга Александровна,— наш Митя. Тогда он уже был реалистом, из гимназии его исключили.

— Митя, да... Он мне здорово мешал в нашей экскурсии. Ни на минуту не спускал с меня глаз... И было это в четырнадцатом году, в июне, перед самой войной.

— Ах, Митя, бедный Митя! — Ольга Александровна даже оживилась.— Мы с ним очень дружили, и он ревновал меня к вам.

— А знаете, я помню ваши именины — тогда же, перед войной.— И Сергей Алексеевич тоже оживился, безотчетно стремясь что-то еще сохранить из их давнего безоблачного прошлого, помешать его полному исчезновению.— Мы все сидели у вас в саду. И ваш Митя палил из двустволки ради семейного торжества.

— Да, да... Он устроил ужасную стрельбу, все птицы в саду проснулись. Я помню,— сказала Ольга Александровна...

— А потом был великолепный фейерверк,— сказал Самосуд.

— Митя весь пошел в нашего отца. Папа тоже обожал всякую пиротехнику, шум, треск,— сказала она.— Брата я знала лучше, чем он сам себя... Он был просто легкомысленный, ужасно легкомысленный... И, как теперь говорят, безответственный.

— Да-а,— протянул Самосуд и умолк: не следовало, вероятно, пускаться в эти семейные воспоминания, да еще в такой горестный вечер.

Младшего брата Ольги Александровны — Дмитрия Александровича — постигла впоследствии нехорошая судьба. Еще в начале нэпа он был арестован, и это потрясло всю семью; затем его след затерялся, стало лишь известно, что он бежал из заключения. А на руках у Ольги Александровны осталась его годовалая дочка, Лена, мать которой умерла родами. Старший Синельников, отец Ольги Александровны, слег после несчастья с сыном и уже не встал. Словом, так или иначе, новая, пришедшая с революцией власть отняла у Ольги Александровны и брата и отца.

Никогда потом в разговорах с Самосудом она свою семейную катастрофу не ставила этой власти в вину. Казалось, она вообще избегала говорить с ним о своей семье, как избегала в присутствии племянницы, давно сделавшейся для обеих сестер их общей дочерью, говорить об ее отце; девочка свыклась уже с тем, что, кроме двух теток, у нее словно бы и не было никогда никого... Но Самосуд не без основания считал, что в душе Ольги Александровны жила еще боль о своих близких. Это чувствовалось во многом — она заботливо хранила фотографии своих мертвецов, их уцелевшие бумаги, письма, дневники, она помнила дни их рождения и вместе с сестрой Машей отмечала все даты: сестры уединялись в те дни, чтобы вместе плакать.

И несмотря на то, что миновала уже целая полная больших событий эпоха и у деятельной Ольги Александровны появились — не могли не появиться — новые связи с жизнью, хотя бы этот ее Дом учителя, она не изменилась, оставшись человеком с особо сильным чувством семьи. Самосуд знал таких людей, их верность тому, что было заложено еще в детстве, постоянство их родственных привязанностей не зависели от логики, от разума. И было жестоко, а может быть, и неосторожно бередить сегодня старые раны этой несчастливой женщины, нанесенные, в сущности, и его рукой.

— Я много потом думала о Мите,— продолжала Ольга Александровна; в ее душе происходила как бы цепная реакция, нынешняя

беда обновила все прошлые беды,— и я иногда укоряла себя. В нашей семье после смерти мамы я одна имела еще какое-то влияние на брата. Но он так любил жизнь, и у меня не хватало духу... Хотя часто он меня пугал — он совсем не мог ни в чем себе отказать. Отец тоже терялся перед ним — Митя в самом деле был обаятелен, его улыбка сводила наших барышень с ума. И на все мои умные наставления он отвечал своей улыбкой...

— Ольга Александровна... — начал было Самосуд, но она не превала рассказа.

— Наш отец, когда умирал, просил меня никогда не бросать брата — папа надеялся, что Митя вернется... И он все ждал до последней минуты, что вдруг отворится дверь и войдет Митя... Если б вы знали, как тяжело папа умирал! Меня он заставил поклясться, что я найду Митю и все для него, все...

Она не договорила, разволновавшись, и Сергей Алексеевич воспользовался паузой:

— Простите... по зрелому размышлению я все ж таки советую какие-то теплые вещи прихватить. Не думаю, что незваные гости загорятся у нас, но все ж таки зима на носу.

— Да, хорошо, теплые вещи,— как эхо повторила Ольга Александровна.

— Возможно, конечно, что немцев мы здесь и остановим,— сказал Самосуд,— а вскорости погоним назад... И тогда вы вернетесь к своим пенатам даже раньше, чем ударят морозы. Но жар костей не ломит, теплые боты возьмите непременно.

— Теплые боты... — повторила она.

— Ну, а когда вы все вернетесь, мы опять сядем у вас... Заколем ягненка и принесем жертвы домашним богам.

Ольга Александровна тихо, словно издалека, устало засмеялась.

— Мои домашние боги! Я хочу сказать вам... Я за эти дни много передумала... Все ходила по дому, выдвигала ящики, перечитывала письма, смотрела... Боже мой, сколько всего тут накопилось — за сто лет, даже больше! В доме жили еще мой дед и бабушка. Я нашла мундир прадеда с золотыми эполетами, он был полковником, участвовал в той Отечественной войне. И я вспомнила, что мы брали этот мундир для домашних спектаклей. Я нашла массу маминих вещей, ее любимое зеркальце, нашла Митин альбом с марками. Вы скажете: все это как опавшие листья... Вы однажды так сказали, мне врезалось: опавшие листья... Но это... Ну, как сказать? Это листья моего сада. Леночка уже не чувствует так... она рвется отсюда, она мечтала о Москве. Но мне ужасно тяжело... Мои родители, наверно, жили слишком беззаботно. В нашем роду слишком много развлекались. Потом я всю жизнь пыталась что-то поправить, искупить... Я мало что смогла сделать, но — что смогла... Моя жизнь вся прошла в этом доме, даже страшно — целая жизнь! И когда я подумаю, что сюда придут они... И развалится на кровати, на которой умерла моя мать... Пусть уж лучше все, все... Я бы сама подожгла этот дом. И мне было бы не жалко... ничего не жалко!

— Совсем ничего? — переспросил Сергей Алексеевич.

— Опавшие листья... — сказала она. — Простите, я нагнала на вас мрак. А вам, наверно, еще труднее, чем мне.

— Мне вашей библиотеки жалко,— сказал Самосуд.— Если позволите, я кое-что изыму и припрячу... У вас есть прижизненное издание Пушкина — это нельзя оставлять, Радищев, «Путешествие», вообще чрезвычайная редкость. Я загляну сюда после вашего отъезда.

— Да, конечно! Как это мы не подумали раньше?! — воскликнула Ольга Александровна. — Но разве вы тоже не эвакуируетесь?

В комнате стало совсем темно: кто-то прошел за окном и приворил снаружи ставни — должно быть, Настя совершала вечерний обход.

Самосуд задвигался на стуле, и в темноте пугающе громко звякнула ложечка в стакане, который он задел локтем; потом раздалось его кряканье, он осушил свою рюмку.

— Вы сами когда едете и с кем? — настойчиво проговорила Ольга Александровна.

Но он и на этот раз отмолчался. И хотя он мало кому верил так, как хозяйке этого дома, сказать ей, что он и не собирается уезжать, что его, члена бюро райкома, оставляют со специальным поручением в тылу врага, он, разумеется, не мог. А напелсти что-нибудь правдоподобное он тоже сразу не нашелся — не так легко было провести Ольгу Александровну.

— Почему вы молчите? — допытывалась она.

— Да уж как-нибудь выберусь... — неохотно ответил он.

— Что это значит: как-нибудь? Вы не хотите мне сказать?

— Ну что вы... Я должен еще кое-кого вывезти из города... Не одна же моя школа на мне.

— Вы не хотите мне сказать... — убежденно повторила она. — Вы не доверяете мне.

— Ольга Александровна, я только щажу вас. Вам и своих хлопот достаточно.

Теперь замолчала она: ее подозрения на его счет, кажется, оправдывались. Как ни трудно было представить себе, что Сергей Алексеевич Самосуд — такой уже немолодой, такой домашний в своей неизменной холщовой толстовке, такой штатский по всей повадке, по своим занятиям и вкусам: книжник, педагог, знаток Монтеня, — что он тоже берется за оружие, — эта невероятная догадка беспокоила в последние дни Ольгу Александровну. Как-то, к большому удивлению, она застала своего старого друга в библиотеке за усердным, с выписками, чтением книжки знаменитого Дениса Давыдова «Опыт теории партизанского действия»; затем обнаружилось, что в дерматиновом учительском портфеле Сергея Алексеевича — он неосмотрительно при ней занялся ревизией содержимого своего разбухшего портфеля — лежит вместе с томом Монтеня «Наставление по стрелковому делу», там же находилась и подробная, на нескольких листах, карта их района. Сергей Алексеевич чаще, чем обычно, приезжал теперь из Спасского в город, в Дом учителя, потом его надолго куда-то увозили в машине, на рассвете привозили обратно; он постоянно возился с каким-то загадочным багажом... И может быть, он и в самом деле вознамерился на старости лет повторить то, что совершил некогда лихой гусар и поэт Денис Давыдов. Если разобраться, это было не так уж невероятно, рассуждала Ольга Александровна, ведь когда-то и он воевал, командовал отрядом Красной гвардии, брал Перекоп. И при мысли об опасностях, грозивших Сергею Алексеевичу, если только он действительно собрался снова на войну, она и пугалась и сердилась: ну куда ему, старику, и зачем ко всем ее горестям он прибавляет еще эту тревогу за него?!

— Зажгите свет... — сказала она нетерпеливо, — Сергей Алексеевич, пожалуйста! Я не могу больше в таком мраке...

Он ощупью обогнул столик, задернул для верности занавеску на окне и нашарил на стене выключатель. В голубоватом свете — Ольга Александровна любила голубые абажуры — он увидел все ту же до мельчайших подробностей знакомую белую комнатку, лишь потем-

нели углы под потолком да прибавилось на стенах фотографий: отец Ольги Александровны — молодой, с кудрявой бородкой клином, мать в большой, похожей на цветник шляпе, брат Дмитрий в гимназической фуражке с белыми кантами и с кокардой. И тот же порядок, та же милая опрятность царствовали здесь, как и в день его первого визита. Ольга Александровна, опираясь на подлокотники, поднялась и сделала шаг к нему.

— Вы остаетесь, чтобы тоже воевать? — сказала она. — Я знаю, вы напрасно от меня скрываете — вы идете в партизаны.

Так требовательно и прямо могла разговаривать с ним только одна Оля Синельникова, это опять была она, Оля! И Сергей Алексеевич даже оробел... Конечно же, он сознавал, что к нему подходит тяжело дышавшая, грузная, седая Ольга Александровна, но он словно бы смотрел мимо нее, точнее — мимо всего, что ее делало старухой, он видел только ту женщину, которую долго любил, и те же ее ярко-черные, светящиеся, все еще очень красивые глаза смотрели на него, приближаясь. А на увядшем лице Ольги Александровны он прочитал то же покорившее его некогда выражение строгости и тревоги, с которым Оля Синельникова выговаривала своим легкомысленным близким.

— Какой же я теперь вояка, посудите сами, — с усилием выдавил из себя Сергей Алексеевич. — Шутить извольте, сударыня!

— Зачем вы стараетесь меня обмануть? И вы вообще не умеете врать. У вас это не получается, — сказала она. — А вояка из вас... ну уж не знаю...

Он только поклонился, соглашаясь со всем, что она о нем скажет.

— Не шадите вы меня, думаете об одном себе... Забубенная вы головушка!.. А я тоже хороша — ведь замечала все и не могла раньше сообразить.

Сергей Алексеевич затоптался на месте: ему и оставаться здесь дольше было трудно и трудно было уйти.

— Так вот, Ольга Александровна!.. — решился он наконец. — Завтра раненько я пойду, может, и до света еще. Провожать меня не надо. А вы, значит, собирайтесь.

Он замолчал, глядя преданно и виновато.

— Как же это?! Постоите же, погодите!

Они оба подумали сейчас об одном: о том, что вот сию минуту они попрощаются, и на этот раз, видно, уже навсегда: самые их годы оставляли им мало надежды на новую встречу.

— Если от меня не будет писем некоторое время, не волнуйтесь... Я дам о себе знать в Ташкент, — сказал Сергей Алексеевич.

— Ну, а куда вам писать? — спросила она тихо.

Он не ответил, все так же виновато глядя.

За дверью раздалось легкое постукивание, затем вошла и недалеко от порога остановилась Мария Александровна.

— Нас бомбят опять, — сказала она, точно пропела своим альтым голосом, — где-то ближе к Москве. Очень сильно бомбят.

Черные, как у сестры, глаза ее были кукольно неподвижны. Но, подавшись вперед тонкой плоской фигуркой, приподняв тщательно на прямой пробор причесанную голову, она словно бы всем существом стремилась проникнуть из своей вечной тьмы в такой близкий светлый мир зрячих людей. А поднесенная к бледно-восковому лицу ладонью наружу рука со слегка шевелившимися пальцами ловила какие-то сигналы из этого зрячего мира.

— Сергей Алексеевич у нас — вот хорошо! — пропела она. — Добрый вечер, Сергей Алексеевич! Вы так редко теперь заглядываете... А у меня новости — невеселые, к сожалению,

— Что, Маша? Как погуляла? — бросив взгляд на Самосуда, спросила Ольга Александровна.

— Этот военный, что сегодня приехал... Он посоветовал нам уезжать как можно скорее, — сказала слепая. — Это его слова, правда, он только рядовой. И он очень нервничает, бедняжка!.. Вполне, между прочим, интеллигентный человек. И я подумала, Оля... ты только сразу не возражай! Я подумала, что тебе, во всяком случае, надо уехать. Тебе и Лене.

— Почему мне, «во всяком случае»? — спросила Ольга Александровна.

— Ты все-таки официальное лицо, ты занимаешь определенное положение. Лене тоже нельзя оставаться — она комсомолка.

— О господи! — Ольга Александровна подошла к сестре. — А ты решила остаться? Одна?

— Ну что мне могут сделать? Я тихонько буду ждать вашего возвращения. Ведь вы вернетесь?.. Сергей Алексеевич, вы вернетесь?

Она не трогалась с места, не двигалась, и только ее ладонь с вздрагивавшими пальцами, обращенная к зрячим людям, словно бы тоже спрашивала.

— Вернемся, конечно! Никуда не денемся! — ответил Самосуд.

— Мы завтра все уезжаем, Машенька, — сказала Ольга Александровна. — Все мы... А дом мы заколотим.

— Не беспокойтесь о доме, — сказал Самосуд. — Все заботы о нем, о библиотеке я принимаю на себя.

Ольга Александровна обняла сестру за сухие плечики, и они постояли так, как две подружки. Мария Александровна, утешая старшую сестру, поглаживала свободной рукой ее округлую спину.

Четвертая глава

ПЕРЕД БИТВОЙ. ГЕНЕРАЛЫ

1

Командиры закрывали папки с картами и схемами, застегивали планшеты и выходили — они были утомлены и озабочены; рассеянно, как бы про себя, улыбался начальник армейской разведки. Только что командующий фронтом резко, в пух и прах разнес его доклад, и этот желтый от недосыпания, немолодой полковник уходил с неясной улыбкой, натываясь, как слепой, на стулья.

Генералы остались вдвоем; командарм — генерал-лейтенант — подождал, пока дверь за участниками совещания закрылась, и перевел взгляд на командующего фронтом, своего однокашника — вместе в одном году поступили в Академию Фрунзе, вместе переходили с курса на курс. «Ну, а теперь давай без чинов, по душам...» — было во взгляде командарма, сразу изменившем замкнутое выражение его большого, в толстых морщинах лица. В продолжение всего совещания он говорил мало, больше слушал, держась как бы даже в стороне. И с неодобрением — это было замечено многими — покачал головой, когда генерал-полковник — командующий фронтом проговорил своим однотононно-звучным, без оттенков голосом:

— Противник накапливает в данный момент силы на магистралях, ведущих к Москве. Но на его пути стоим мы, и у нас задача ясная: не пустить фон Бока к Москве, остановить и жесткой обороной в тактической полосе... — командующий сделал короткое сверху вниз движение выпрямленной кистью руки, будто подсекая что-то в воздухе, — ...разбить наступающего противника!

Далее он сказал, что хотя армия, в которой он сейчас находится, держит оборону на важном для всего фронта южном фланге, он не обещает ей ни свежих дивизий, ни сколько-нибудь значительного усиления боевыми машинами — танками и авиацией.

— Маневрируйте, создавайте резервы из своих наличных сил,— сказал он,— и выполняйте задачу. Мне Ставка Верховного тоже ничего не обещает в ближайшем будущем.

Все это для командарма не было новостью. И теперь, с глазу на глаз, ему хотелось выложить командующему фронтом свою обиду. «На твоём месте я, вероятно, говорил бы то же самое: остановиться и разбить,— мысленно готовил он целую речь.— Я, как и ты, приказываю комдивам: выполняйте задачу!.. Но ты лично сегодня убедился: в полках у меня некомплект, в иных не наскребешь и батальона — моя линия обороны недопустимо растянута. А против танков мое главное оружие — бутылки КС, слезы горючие, как говорят бойцы... Мы с тобой учились по одним и тем же книжкам, наши столы в академии стояли рядом. Мы, как азбуку, затвердили: «Лучшая стратегия в том, чтобы быть сильнее противника в решающий момент и в решающем пункте». И это так точно — азбука! Ответь мне теперь, мы старые товарищи! Что ты говоришь себе самому, когда остаешься один? Что ты говоришь себе ночью, когда не спишься? Я вот совсем сна лишился...»

Не отрываясь командарм следил за всеми движениями генерал-полковника, выбирая момент для своих вопросов. Командующий что-то вписывал в толстую, в черной клеенчатой обложке «общую» тетрадь; кончив писать, он сунул тетрадь в полевую сумку.

— Ну, пора,— объявил он,— хочу добраться до ночи..

И, подняв голову, не договорил: в окно к ним уже светил тонкий месяц, позолоченный, как на поздравительной открытке; небо полиловело, помутнело.

— Засиделся как! — подивился он.— Время, время! Вот чего нам не хватает — времени.

Встретившись со взглядом командарма, он умолк; несколько мгновений они оба молчали, и в узких, цвета зеленоватого льда глазах командующего, подпертых выдававшимися скулами, появилось выражение безучастного, чистого внимания — он приготовился слушать.

— Ты через Малиновку к нам ехал? — неожиданно для себя самого спросил командарм.— Там сегодня «юнгерсы» мост повредили. Поезжай на Арсеньевск — вернее будет.

— Восстановить мост,— приказал командующий.

— Восстанавливают, само собой.— И командарм тоже умолк.

Генерал-полковник подождал еще несколько секунд.

— Да, времени у тебя маловато, учти, Федор! — сказал он.

...Весь этот день с утра и вот до вечера генерал-полковник провел здесь, в войсках одной из армий своего фронта. Вместе с командармом и членом Военного совета армии он побывал в дивизиях, слушал доклады командиров и комиссаров, расспрашивал, указывал, требовал. Оставив машину на лесной просеке, он вышел на опушку и долго смотрел, как сотни людей в пилотках, в расстегнутых гимнастерках, окутанные, как туманом, красноватой пылью, били лопатами в зачерствевшую глину и валили зеленые сосны — строили блиндажи. По овражку, на дне которого прозрачно поблескивал на камешках родничок, он прошел на полковой НП, откуда за переключением стереотрубы ему открылось ровное, по-осеннему бледное пространство с молочно-голубой речушкой в щетинистых камышовых берегах, с желтой, как восковая свечечка, чуть двоившейся колоколь-

ней на радужном горизонте. Было относительно тихо: слабо подвывая, проплыли низко над горизонтом немецкие самолеты, где-то в тылу дробно, похоже на дятлов, постукивали зенитки. За речушкой была уже ничья земля, а за нею — немецкие линии, и неведомая угроза таилась и зрела в этом безмолвии переднего края.

Командующий походил по окопам, приглядываясь к бойцам: люди посерели, почернели, на их выгоревших гимнастерках пятнами выступила белая соль, страшны были их костистые руки в ссадинах, с обломанными ногтями, темные, как железо, лоснившиеся от ружейного масла, — шутка ли: с июня месяца эти солдаты находились в боях!.. Там же в полку он и пообедал из полевой кухни, сидя на березовом пенке с котелком борща между колен. А возвратившись в штаб армии, он созвал это закончившееся только что совещание. Все, таким образом, было выяснено и обо всем, практически осуществимом, было говорено:

— и о необходимости по всей линии обороны — глубже, глубже! — зарыться в землю, копать траншеи полного профиля, с ходами сообщений, с огневыми позициями, а не сажать солдат в одиночные, вырытые на скорую руку, тят-ляп, стрелковые ячейки («одиночные могилки», как назвал их командующий);

— и об усилении разведки всеми доступными средствами: наземными и воздушными, войсковыми и агентурными («Противник не явится к вам самолично с докладом: буду атаковать такого-то числа на таком-то участке, — сказал он начальнику разведки, — ваши сводки с большим успехом можете пустить на туалетную бумагу...»);

— и о лучшем использовании артиллерии, в которой, как и в танках и в самолетах, была острейшая нехватка («Маневр огнем — вот к чему вам надо готовиться, — наставлял он артиллеристов. — Тяга у вас конная, берегите коней!»);

— и об армейском резерве («Прочная траншейная оборона позволит вам высвободить живую силу в резерв», — повторил он несколько раз);

— и еще о многом другом, что понадобится для близящегося боя.

Говорил он и с политработниками: «Мы слишком много отступали, и люди привыкли уже отступать. Надо переломить это похабное настроение... Души людей в ваших руках, товарищи комиссары!»

Словом, ничего не было забыто, а то, что говорилось, было и важно и разумно. Но командующему все казалось, что чего-то самого важного, самого необходимого он еще не сказал, на главный вопрос не ответил. А этот вопрос был в мыслях у каждого: командующий слышал его и в молчании своего товарища по академии, генерала, командовавшего армией, и в докладах командиров на штабном совещании, просивших в один голос о пополнениях, и в короткой поданной ему справке о наличии в армии противотанковой артиллерии. Этот вопрос стоял и перед ним самим, командующим фронтом...

Лучше, чем все здесь, он, командующий, понимал: близилось решающее, быть может, сражение этой войны — сражение за Москву! Но после трехмесячных боев, после всех жестоких потерь армии фронта, в командование которым он лишь недавно вступил, откатились сюда хотя и непобежденными, но ослабленными и численно и в огневой мощи. А дальше пятиться было уже нельзя, некуда! И отступавшие от границы до Смоленска, а от Смоленска в Подмоскovie его солдаты тоже, должно быть, мысленно к нему обращались с верой в то, что ему точно известно, как, чем и когда они остановят врага. В Ставке Верховного, в Москве, также, веро-

ятно, считали, что он больше, чем многие другие, осведомлен в секрете военной победы. И в терпеливом ожидании победы простиралась за спинами его солдат в белых от соли гимнастерках вся страна — командующий словно бы кожей ощущал на себе ее огромное давящее ожидание... Втайне от всех он и сам спрашивал сегодня себя: когда, чем и какими силами?.. Но он знал пока лишь, что ответ должен быть, не может не быть, что ответ непременно где-то имеется. И ему, командующему, требовалось очень много твердости, этого дисциплинированного мужества, чтобы не показать своим солдатам, что и он только еще ищет ответ...

— Времени мне точно не хватает, — нарушил молчание командарм, — мне бы еще недельку-полторы на всяческую инженерию.

— Федор, — сказал генерал-полковник, — обращаю твое внимание на стык с южным соседом. Смотри на юг! Не упускай из виду юг.

— Сосед у меня вот где сидит. — Командарм качнул головой и хлопал себя по толстому затылку. — Я тебе докладывал: у соседа на стыке со мной и войск почти что нет.

— Поставь там на уступе дивизию в резерв, — сказал командующий.

— А ты дай мне эту дивизию!

— Найди ее у себя, — сказал командующий.

Вошел адъютант командарма — чубатый, простоватого облика старший лейтенант в кубанке; рукой, отведенной назад, он не оборачиваясь прикрыл за собой дверь.

— Что тебе? Что там? — недовольно спросил командарм.

— Товарищ генерал-полковник, разрешите обратиться к генерал-лейтенанту, — хмуро, в тон общему настроению, царившему в штабе, проговорил адъютант.

Командующий молча махнул рукой.

— У нас все готово, товарищ генерал, — доложил хмурый адъютант. — Майор Сысоев волнуется — ужин стынет.

— Нет, нет, — сказал командующий. — Спасибо! Передай там, — последнее относилось к адъютанту, — сейчас поедем.

Он встал, прямой, худощавый, с жилистой тонкой шеей и от этого казавшийся моложе своих сорока с лишним лет; гимнастерка вздулась у него на спине пузырем, и, оттянув ее, он резким заученным движением обеих рук согнал назад, на спину, складки под ремнем. Следом за ним медленно поднялся командарм.

— Едешь уже? — Командарм расстроился: их разговор по душам так и не состоялся. — Не останешься поужинать?

— Мне в Ставку докладывать, — сухо сказал командующий.

Адъютант попятился и скрылся за дверью; командующий пошел из-за стола, но вдруг остановился, словно бы заколебавшись; а не поужинать ли, в самом деле?

— Может, все-таки закусишь накоротке? — спросил с надеждой командарм.

— Нет, никак не могу, — сказал командующий.

Он еще раз мысленно поискал: не упустил ли он чего-нибудь в своих указаниях и требованиях? Нет, он позаботился как будто обо всем... Однако же от его забот не прибавилось в армии ни штыков, ни танков, ни пушек. И ни он, командующий фронтом, ни командарм, ни начальник Генштаба не были чудотворцами — не был им и Верховный! — тяжелейшие бои шли и на юге, и на юго-западе, и на севере.

— У меня, доложу тебе, лапшу знаменито готовят, — сказал генерал-лейтенант, — Все уже на столе...

Его подмывало: а не спросить ли вот сию минуту у старого товарища: «Ты-то сам убежден, что мы в состоянии жесткой обороной разбить противника? Ты веришь в свой приказ?..»? И его остановила мысль, что, чего доброго, он будет обвинен в малодушии... Да и какой другой приказ мог быть отдан сегодня, на подступах к Москве?!

Плотный, с выпуклой молодецкой грудью, но и с обозначившимся животом, генерал-лейтенант был приземист и, глядя снизу вверх, просительно искал на лице командующего согласия.

— В другой раз отведаю твою лапшу,— сказал тот.— У тебя все ко мне?

Генерал-лейтенант тяжело задышал — слабый свет месяца, проникавший в комнату, блестел на его седоватом виске, обращенном к окну, на складках подбородка, на шитых золотой ниткой звездочках в петлицах его генеральского кителя,— но так ничего не выговорил, не отважился.

— Ну что же... Счастливо, Федор! — сказал командующий и протянул руку, прощаясь.— Уверен, друг, в тебе и в твоей армии. Будь здоров!

— И выполняй задачу,— договорил за него командарм.

— Точно: выполняй задачу! — повторил командующий.

Но затем случилось то, что и предвидеть было трудно — он и сам со всей своей твердостью не смог больше молчать о главном. Лишь на какое-то мгновение он утратил свой постоянный, ставший автоматическим контроль воли над собой, и что-то сразу раскрылось в нем, высвободилось. Наклонившись к командарму, испытывая ту же потребность в поддержке и в совете, он проговорил:

— Учили нас с тобой, готовили... Надежды возлагали... Ведь это что же получается?! Федор! Товарищ дорогой!

И командарм чуть было не стал его благодарить: радуясь, что они могут наконец высказаться не как два больших военных начальника, а как два близких, одинаково мучающихся человека, он тут же с поспешностью отозвался:

— Я... Я с двадцать второго июня в боях... На мне вины нет.

— На тебе нет, верно! На мне тоже будто нет...— сказал командующий; какое-то минутное изнеможение овладело им.

— Ты о причинах-следствиях думал? — горячо зашептал генерал-лейтенант.— В дивизии, с которой я начинал в июне, сменился уже, поди, весь личный состав командиров и политработников... Вот и гадай теперь на ком...

И они оба замолчали, подумав в эту минуту об одном и том же человеке. Их доверие к Сталину, к его мудрости, предвидению, к его полководческому таланту было безграничным. Но тем более трудно-объяснимыми были опустошительные неудачи начала этой войны.

— Не успели мы... Да, вот так. Нельзя же сказать, что мы не готовились... не успели с перевооружением,— глухо сказал командующий.— А сейчас мы все в ответе... Я с восемнадцатого года в Красной Армии! Я Ильича слышал, когда еще нас на Деникина посылали. Владимир Ильич с балкона в Москве...

Командующий замолчал, пораженный этим воспоминанием; оно относилось к той поре, когда он, деревенский хлопец, пришел к своему облезлому треуху вырезанную из кумача красноармейскую звезду, а в руки получил трехлинейку. Конечно же, он тогда уже взвалил на свои плечи ношу, что так непомерно отяжелела сейчас, но выразить это он как-то затруднился.

— Да ты все сам понимаешь, Федя! — после молчания сказал он.— Тогда мы пели много... Сапог не было, босые чесали, но пели: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов!..»

— «И как один умрем в борьбе за это!» Молодые были, веселые! — сказал командарм.

Они еще помолчали, потом генерал-лейтенант негромко, раздумчиво проговорил:

— Что только в силах будет, сделаю... сделаем. Армия свой долг выполнит.

Он был удовлетворен: ничего, в сущности, особо важного и нового не сказали они друг другу, а ему сделалось между тем спокойнее, яснее: «И как один умрем в борьбе за это...»

— Не пустим немца к Москве, пока живые, — сказал он вслух.

— Если пустим, то ни тебе, ни мне лучше бы вовсе не родиться, — сказал командующий.

И почему-то огляделся... Месяц в окне висел теперь под верхним краем рамы, побелел, светил ярче, и в комнате стало как будто холоднее.

На улице командующему пришлось подождать: водитель увел его машину, чтобы заправиться горючим. Прогуливаясь, генералы отделились от своих спутников, столпившихся в воротах... Побелевший месяц струнно блестел на повисшем над улицей проводе «шестовки», было сумеречно, туманно. Командарм, помягчевший, благодарный за душевный разговор, спросил:

— Семейство где твое?.. Уехали из Москвы, нет? Что жена пишет?

Думал он сейчас и о своей жене и о своей единственной дочери... В последнем письме жена спрашивала у него: уезжать им из Москвы или оставаться? «Многие уже эвакуировались», — писала она. И он ответил категорическим «уезжайте!», что было всего лишь разумным; наверно, по зрелому размышлению он повторил бы: «Уезжайте» — и сейчас. Но что-то уже беспокоило его в этом ответе: словно он невольно высказал в нем неуверенность в своей же армии, в себе самом.

Командующий ответил не сразу, он удивился: оказывается, в эти последние дни он попросту позабыл, что у него где-то есть жена, есть и другие близкие... Правда, он и жена еще до войны отделились друг от друга — дело, по-видимому, шло к разводу. И может быть, главная, первая вина, с которой обычно начинается семейное неблагополучие, лежала на нем — он, вероятно, с точки зрения жены, был неинтересным мужем, она так и не смогла примириться с тем, что в его жизни, отданной службе, она занимала слишком небольшое место. Другая, вернее — единственная его любовь, с молодости завладевшая им, становилась все требовательнее, по мере того как он поднимался по лестнице чинов и званий. Он был только солдатом, и он не искал ничего иного — эта его любовь дарила ему и самые большие радости. Но женщины находили его, кажется, нетонким и скучным.

— Жена — это жена, — сказал командующий и усмехнулся про себя: получилось совсем по Чехову.

— Точно: жена — это жена! — подхватил с удовольствием генерал-лейтенант. — Без семьи человек не человек! У меня дочка, способная, понимаешь, девчонка, особенно к музыке!

Он просто не понял командующего, но тот не стал его вразумлять. Две черные машины с узенькими щелочками синего света в фарах неслись уже к ним по темной улице — наконец можно было ехать. Командующий козырнул командирам, вышедшим его проводить, и повернулся к командарму.

— Смотри на юг,— сказал он своим однотонно-звучным, негибким голосом,— не упускай юг! И — разведка, разведка! Займись сам разведкой. Желаю успеха!

С адъютантом и с автоматчиком он сел в первую «эмку»; во второй поместились два сопровождавших его полковника из штаба фронта и еще один автоматчик. Машины тронулись, и облака пыли, заголубевшей в свете месяца, закрыли их.

2

К себе в штаб командующий добрался лишь незадолго до полуночи и некоторое время знакомился с новостями, смотрел карту и читал донесения, пришедшие в его отсутствие, затем он отправился в аппаратную. Докладывая по телеграфу начальнику Генштаба, он еще раз перечислил то, в чем нуждался его фронт.

— Повторяю: плотность обороны у нас недостаточная, фронт жидкий, обеспеченность противотанковыми средствами неудовлетворительная,— продиктовал он телеграфисту и еще раз прочитал на бумажной ленте неутешительные ответы маршала; в конце переговоров тот сказал, что доложит обо всем Верховному.

Оставив в аппаратной вороха телеграфного серпантина, командующий поработал потом со своим начальником штаба и уже глубокой ночью совещался с членом Военного совета фронта, только что приехавшим с правого, северного, фланга,— там также назревала тревожная ситуация. Вместе с членом Военного совета он вновь прошел на узел связи и разговаривал с командармом, стоявшим на правом фланге; не сказав ему, в свою очередь, ничего утешительного в ответ на его просьбу усилить армию, он потребовал доклада о ходе траншейных работ. А вернувшись, опять вызвал к себе начальника штаба, подписал донесение в Ставку и еще несколько документов о дислокации частей, об их переподчинении, о награждениях, об отдаче под суд в трибунал...

К счастью, командующий был завидно телесно здоров, мог по суткам не спать и вообще спал мало, мало ел и мало обращал внимания на то, что он ест, не курил и лишь в особых случаях немного выпивал; никогда не жаловался на усталость, на головную боль, вот только рановато стал лысеть. И удивительной и как бы даже неправдоподобной была неиссякаемая, тренированная работоспособность этого худощавого, не столь уже крепкого по виду человека со скуластым крестьянским лицом и зеленовато-светлыми, как ледок, глазами.

Поздней ночью командующий распорядился привести к нему пленного немецкого летчика, доставленного сегодня во фронтовой штаб. Этот немец вызывал к себе серьезный интерес. Перелетев на истребители линию огня и углубившись несколько в наш тыл, он неожиданно посадил свою машину где-то на колхозном выгоне. И без сопротивления сдался бойцам строительного батальона и колхозникам, набежавшим с огородов. Те его все-таки слегка потрепали, стащили с него шлем, порвали куртку, но он и тут только закрывался и увертывался. А на допросе в штабе батальона попросил отправить его в высший штаб, где бы он мог сообщить нечто весьма важное; назвать свое имя он отказался. И действительно, как доложили командующему, сведения, полученные от этого летчика, были исключительно важными, если только они были правдивыми.

Сейчас на столе у генерал-полковника лежало отпечатанное на машинке донесение с его показаниями, а перед столом в конусе света, падавшего с потолка от сильной верхней лампы, стоял он сам,

фельдфебель германских военно-воздушных сил, вытянувшись «смирно», прижав к тощим бедрам руки. Это был молодой, лет двадцати двух — двадцати трех, парень; безбровое лицо его масляно блестяло от пота, губы часто беззвучно приоткрывались, и он был похож на бегуна-стайера, еле уже дышавшего на финише своего долгого бега.

— Переведи ему — он может сесть, — сказал командующий подполковнику из разведывательного отдела, который привел пленного. — Пусть сядет.

Подполковник перевел, показал на стул, и пленный, подождав немного, как бы не сразу уразумев, чего от него хотят, опустился нерешительно на сиденье. Составив вместе под прямым углом ноги, он симметрично положил на колени худые кисти, испачканные землей.

Генерал-полковник снова пробежал глазами запись показаний пленного. Было не исключено, конечно, что летчик преувеличивал, потому что сам неточно знал, не исключалось и то, что он перелетел с заданием ввести в заблуждение противную сторону. Во всяком случае, было трудно поверить, что для нового наступления немцы в короткий срок сосредоточили в армейской группе «Центр» ни много ни мало сто дивизий и до тысячи танков; дивизии, как показывал пленный, были полностью укомплектованы, а с воздуха их поддерживал флот в тысячу самолетов, в том числе пятьсот бомбардировщиков. Нацелившись на Москву, враг собирался нанести нокаутирующий удар, после которого оставалось бы только «подчищать остатки». И день «Х», то есть день атаки, был уже, по показаниям пленного, назван — 1 октября. А это означало, что фронт, прикрывавший прямую дорогу к Москве, опаздывал с завершением подготовки к жесткой обороне.

— Спроси у него, — командующий обращался к подполковнику, но смотрел на пленного, — откуда ему, фендрику, все так хорошо известно? Или немецкое командование информирует о своих планах младший комсостав?

Подполковник — голубоглазый рыжеватый грузин в щегольском, обузженном в талии кителе — не скрывал своего отличного настроения. Никто не мог оспорить того, что ему первому посчастливилось получить эти особо ценные сведения, и он чувствовал себя их добытчиком, «автором». Вообще этот буквально с неба свалившийся «язык» был дорогой находкой для разведки. И что-то похожее на симпатию, на ласку появлялось в глазах подполковника, когда он смотрел на пленного.

— Мы у него тоже интересовались — откуда?.. — Подполковник словно бы обрадовался такому совпадению. — Фендрик пояснил, что у него есть хорошее знакомство в штабе корпуса. Он пояснил еще, что о близости генерального наступления знает вся немецкая армия.

— Переведи ему мой вопрос, — сказал командующий, — и его ответ дословно.

Услышав вопрос от переводчика по-немецки, пленный вскочил и вновь окаменел в стойке «смирно». Он догадался, что русский генерал настроен подозрительно и, не уверенный в точности перевода, все возвышал голос, повторяя по нескольку раз одно и то же.

— Он говорит, что адъютант командира корпуса есть его лучший друг, — перевел подполковник. — Они из одного города, земляки по-нашему, из Кенигсберга. Говорит, что он узнал содержание секретной директивы, полученной в штабе корпуса. Директива подписана фельдмаршалом фон Боком, который есть командующий группой «Центр». Он поясняет, что готов отвечать головой.

И подполковник опять обласкал глазами пленного летчика, довольный им, как охотник бывает доволен своим трофеем. Спыхватившись, он потупился; предпочтительнее, конечно, было бы, если б в данном случае «язык» приврал в своих слишком тревожных показаниях.

Командующий всматривался в немца открыто и холодно — чересчур нервный, потеющий от волнения парень не походил на агента, переброшенного для дезинформации, его трепет выглядел безыскусственным. Но кто его, в конце концов, знает. А то, что он сообщил, было почти невероятно; ведь и немцам совсем не дешево обошелся этот их марш на восток! Командующий отлично еще помнил недавние смоленские бои; солдаты, которыми он там командовал, навалили перед своими позициями горы гитлеровских гранатеров. Да и в приграничных боях и на всем пути от Бреста к Москве немецкие армии непрерывно таяли — это не было прогулкой от Седана к Парижу... Откуда же, из какой прорвы взялись эти сто полных дивизий, тысяча самолетов, тысяча танков?!

— Спроси у него: с каких направлений переброшены сюда новые дивизии? — нетерпеливо приказал командующий. — Пусть назовет номера.

И, отвечая, летчик заметался взглядом от офицера-переводчика к генералу.

— Он поясняет, что есть дивизии, прибывшие из-под Киева, есть из самой Германии. — Подполковник повторил несколько номеров. — Об авиации он говорит, что имел встречи с летчиками, летавшими на бомбежку Ленинграда. В настоящий момент, говорит, их части имеют базу на аэродроме в районе Орши.

Командующий кивнул — это последнее подтверждалось донесением, которое он получил из штаба военно-воздушных сил: по данным разведки ВВС, противник перебросил с Ленинградского и Юго-Западного фронтов на московское направление до четырехсот самолетов. Пленный летчик говорил, как видно, правду.

— Спроси, не может ли он поподробнее изложить директиву фон Бока? — сказал командующий.

— Он говорит, что имел желание, но не имел случая добыть копию директивы, — перевел подполковник, — говорит, что у него нет никаких документов, ничего, кроме слова чести.

— Чести? Вот как!..

Командующий так взглянул на летчика, что тот его понял: во взгляде генерала было: «Какая у тебя честь? Ты же изменяешь своим».

И на лице пленного отразился испуг: глаза стали словно бы невидящими.

— Он просит вас поставить его под расстрел, если он дал фальшивую информацию, — перевел подполковник.

С удовлетворением, как на свое создание, он оглянулся на пленного. Тот слизнул с верхней губы капли пота и проглотил — кадык на его вытянутой шее подскочил к подбородку.

— Что еще он хотел бы нам сказать? Давайте, давайте, — поторопил командующий.

И допрос продолжался: в других показаниях летчика заслуживало внимания то, что руководство всей операцией поручено фельдмаршалам Кейтелю и Герингу. Как и следовало думать, Гитлер придавал новому наступлению решающее значение, торопясь закончить войну до зимних холодов. Кейтель и Геринг, по словам пленного, прилетели уже в Смоленск.

— Разрешите заметить, — возбужденно проговорил подполковник

из разведки,— это что же получается? Фельдмаршала Бока побоку, так выходит? — не удержался он от каламбура.

Командующий не оценил, однако, его остроумия, даже не поглядел в его сторону.

— Пусть он сядет, я же разрешил, чего он вскакивает поминутно,— сказал недовольно командующий.

И когда пленный вновь принял свою напряженно-аккуратную позу — колени вместе, руки с набившейся под ногти землей на коленях,— он, не меняя недовольного тона, спросил:

— Почему у нас приземлился? Или с мотором что-нибудь?.. Осмотрели самолет?

— Самолет в абсолютном порядке — ни одной пробоины и горючего вполне хватало. Новенькая машина,— доложил подполковник.

— Какие же у него были мотивы? А ну, переведи ему! — приказал командующий.— Пусть не опасается!

В донесении, лежавшем перед ним, было сказано, что о причине своей добровольной посадки летчик на первом допросе говорить отказался. Он заявил, что открыть эту причину он может одному только командующему русскими войсками, ему он откроет и свое имя.

Но и сидя в кабинете командующего фронтом, пленный летчик не сразу отважился на признание. Он привстал было и, не произнеся ни слова, опять поспешно сел, вспомнив, что ему приказано сидеть. Может быть, его смущало присутствие третьего лица — переводчика,— и командующий прикрикнул, повернувшись к подполковнику:

— Чего он танцует на стуле? Переведи ему, что без тебя нам вообще будет трудно объясниться. Переведи, что мы не собираемся его выдавать.

На взмокшем лице пленного было такое выражение, словно перед ним разверзлась пропасть; словно бросаясь в нее, он выкрикнул:

— Ich bin Franz Sinqvoqel! ¹⁴

— Зингфогель? — переспросил командующий: эта немецкая фамилия ничего ему не сказала.— Ну и что же, что Зингфогель?

— Sinqvoqel — певчая птица,— перевел подполковник и улыбнулся; у него родился новый каламбур: «Послушаем, птичка, что ты споешь нам».

Впрочем, в этот раз он поостерегся и счел за лучшее промолчать.

— Ich bin der Soon Carl Sinqvoqel! ¹⁵ — прокричал летчик.

— Сын Карла Зингфогеля, понятно,— сказал командующий.— Давай дальше!

И ослабевшим вдруг, заикающимся голосом пленный стал рассказывать — он как будто лежал уже, разбившись, на дне пропасти. Но затем речь его убыстрилась, в ней зазвучали просящие ноты, и он опять все порывался вскочить, а его растопыренные пальцы вжимались в колени.

— Он говорит, что он есть немецкий патриот... И еще поясняет про честь солдата. Говорит, что он любит свой фатерлянд... Но он не имеет желанья, чтобы в этой войне победил Гитлер...— едва поспедал со своим переводом подполковник.— Я был, говорит он, три дня в отпуске дома. Я хоронил свою несчастную мать, я видел своего отца. У меня есть один уважаемый отец, он доктор философии, профессор... он читает лекции по истории немецкой философии. Но теперь он уже не читает лекций...

¹⁴ Я Франц Зингфогель.

¹⁵ Я сын Карла Зингфогеля.

И далее выяснилось, что отцу Франца Зингфогеля грозило сейчас нечто худшее, чем увольнение из университета, и что только чиновные связи его родного брата, члена нацистской партии, спасали его покамест от концлагеря: дело в том, что профессор Зингфогель в студенческие годы состоял в «Союзе Спартака». Мать Франца была родом из Словакии, и ее славянское происхождение стало, по словам Франца, причиной ее смерти — она умерла после вызова в гестапо... Отец, провожая сына, возвращавшегося в армию, ничего не потребовал от него, он только сказал, что победа Германии в этой войне означала бы гибель всех человеческих надежд.

— «Дух Фауста смертельно болен и уже издает зловоние,— перевел несколько неуверенно подполковник запомнившиеся Францу слова его отца.— В фашистской Германии мы видим закат европейской культуры». Хорошо поясняет, научно обоснованно,— добавил подполковник от себя.

Все же лишь вернувшись на фронт, в полк, летчик принял окончательное решение; здесь от адъютанта командира корпуса, товарища школьных лет, он узнал, что и сам он взят под наблюдение секретной службой — из фатерлянда пришло о нем специальное указание. И при первой же представившейся возможности он предпочел не дожидаться неминуемого развития событий.

— Он просит русское командование не называть нигде его имени,— перевел подполковник.— Он имеет желание, чтобы в его полку считали, что Франц Зингфогель погиб, как погибают пилоты,— в небе, что его самолет был сбит снарядами. Он имеет страх за своего отца.

У пленного пересохло в глотке, он давился, кадык скользил у него под кожей, как поршень, но глоток все не удавался ему. Подполковник взял со стола для заседаний графин с водой, налил в стакан и подал.

— Попей вот... Молодец, Франц,— похвалил он немца.— Орел, а не певчая птичка...

Зингфогель не отрываясь выпил весь стакан. Потом достал из кармана штанов вместе с раздавленной пачкой сигарет грязный, влажный комок носового платка, отер лоб, оставив на нем табачные крошки, и длинно вздохнул.

...Все теперь было кончено — он, Франц Зингфогель, больше не воевал, он сделал свое дело, как задумал: перелетел через фронт, сдался русским и выдал им, вчерашним врагам, важную военную тайну. Его отец будет доволен им, когда узнает о его бегстве, но узнает ли?...— И его мать — если только есть та, другая, лучшая жизнь — с любовью смотрит сейчас на него с небес, он отомстил за нее. Но в эти первые минуты Зингфогеля охватила тоска — тоска одиночества, он почувствовал себя как после бури выброшенным на незнакомый берег, где он был один среди чужих. А все, с кем до этого дня он жил общей жизнью: учился, служил, ел, летал, пил водку, мечтал, ругал втихомолку старших офицеров, радовался письмам из дома, поминал павших,— все его однополчане, больше чем братья, все остались на покинутом им родном берегу, куда он никогда уже не сможет вернуться. В их понимании он заслуживал теперь только веревки на шею, пуля в лоб была бы для него милосердием! И он ничего уже не мог им объяснить, да они не поняли бы его, просто не стали б слушать...

Вдруг Зингфогелю ярко вспомнилось, что его самой прекрасной мальчишеской мечтой было получить на войне, когда он станет солдатом, железный крест; он много и сладко, как и все в их школе, размышлял о военном подвиге и о завидной солдатской награде, даже написал на эту тему сочинение. Он увидел мысленно и свою

школу, эту истинно прусскую школу, построенную еще королем Фридрихом II, старым Фрицем,— желто-серую казарму с узкими окнами в мелком переплете, сводчатые каменные гулкие коридоры, почерневший от времени портрет Фридриха в актовом зале, кайзеровскую каску в суконном чехле, которую принес однажды в класс их учитель истории, потерявший руку под Верденом, увидел каменный, пропахший мочой и окурками нужник, где они собирались, чтобы покурить и помечтать... Было невероятно глупо, конечно, что это детское мечтание о железном кресте не покинуло его и когда он подросток и стал читать книги из библиотеки отца. Но и сейчас, в самую смятенную, самую безжалостную минуту, оно вновь ему блеснуло бог весть зачем, как вспоминается, говорят, перед смертью все то, о чем напрасно мечталось в жизни. Ибо было уже несомненно, что он никогда не получит своего креста.

Подполковник попросил у командующего разрешения курить и, получив его, протянул Зингфогелю открытую коробку «Казбека».

— Бери, бери, не стесняйся! — подбодрил он «языка».

Но пальцы плохо повиновались Зингфогелю, он долго не мог уцепить папиросу, а когда наконец вытащил одну и стал разминать, она лопнула и табак высыпался. Зингфогель прикусил губу, он испугался, что расплатится. Русский офицер, улыбаясь, закрыл коробку и положил ему на колени, отдавая ее всю целиком.

— Спасибо... — через силу выговорил Зингфогель; он испытывал стыд и за свою неловкость, и за свои грязные пальцы, и за свой ужасный носовой платок, и за разорванную куртку, и за то, что он, как милость, принял эту коробку с папиросами, и за свою нетвердость, немужественность. Все уже было кончено, а значит, надо было держаться — он совершил лишь то, чего не мог не совершить.

— Чудак, Франц! — услышал он голос русского офицера. — Что голову повесил?..

Симпатия, которую чувствовал подполковник к этому во всех отношениях редкостному «языку», сделала его пронизательным: с «языком» творилось неладное. И, положив по-приятельски руку ему на плечо, подполковник сказал по-немецки негромко, чтобы не помешать замолчавшему в раздумье командующему:

— Встряхнись-ка! Да ты сегодня для своего фатерлянда больше сделал, чем когда-либо! И война для тебя кончилась, жив останешься — тоже не мелочь.

Зингфогель снизу поднял на русского офицера опасно-искаженные глаза: уж очень нуждался он сейчас в участии, пусть только в добром слове!

Подполковник чиркнул спичкой, поднес к папиросе огонь... И Зингфогель с надеждой подумал, что и вправду, может быть, то, что произошло сегодня, было его, Зингфогеля — немецкого юноши с его ребячьими нибелунговыми грезами, со всей этой нордической дребеденью, — настоящим подвигом.

Командующий, неподвижно смотревший куда-то мимо, позабыл уже, казалось, что в кабинете у него все еще находятся пленный немец и подполковник из разведотдела. Подполковник осторожно покашлял, чтобы напомнить о том, и командующий, вновь их увидев, нахмурился.

— Можешь увести Франца. Займитесь им там, покормите, пускай отдохнет, — распорядился он. — Переведи ему, что советское командование его благодарит и все что надо, о чем просил, обеспечит. Идите!

Он, надо сказать, не держал уже в голове историю этого немецкого фельдфебеля. То, что его действительно интересовало — можно ли доверять показаниям пленного, — он для себя выяснил: немец производил впечатление искреннего человека, он не лгал. А отсюда следовало, что обстановка к началу сражения за Москву сложилась даже более невыгодная, более тяжелая, чем он, командующий фронтом, да и Ставка Верховного Главнокомандования оценивали ее. Командующий потянулся к телефону, чтобы пригласить к себе члена Военного совета, и даже не бросил взгляда на уходивших подполковника и пленного летчика.

На несколько минут командующий остался один. Способность к трезвому размышлению, привычная для него, как походка, испытанная во многих критических положениях, оставила его. С мечтательной яростью, с тем чувством, что день за днем в эти военные месяцы росло и кристаллизовалось, с тихим бешенством он выговорил:

— Мы разобьем их!..

Когда две недели назад его назначили сюда командовать фронтом на центральном, московском направлении, он пережил честолюбивое удовлетворение. О, он вовсе не был равнодушен к чинам, к наградам, к воинской славе — воздержанный трезвенник, аскетически нетребовательный во всем другом. Но в эту минуту он освободился даже от своего честолюбия, он был снова тем давним невероятно упрямым, злым хлопцем в треухе с кумачовой звездой. В мыслях его, как заклинание, повторялось: «Мы будем драться — здесь и везде! В Вязьме, в Гжатске, в Можайске!.. На всех рубежах! Будем драться в Перхушкове, в Филях!.. И мы их остановим!.. И разобьем!»

Члена Военного совета, вошедшего к нему, он встретил, прохаживаясь по кабинету из угла в угол, он был необычно возбужден. Ответ на самый главный вопрос «как, когда и чем?», ускользавший так долго от него, был наконец-то найден! Командующий не догадывался еще, что его отрешенная от всего личного решимость драться — везде, в любых условиях, в любой час, тем, что есть, — и была этим ответом.

— Будем готовить контрудар! Садитесь, прочтите вот эти показания, — сказал он армейскому комиссару.

...Пленный летчик лишь немного ошибся в сроке. Ранним утром 2 октября крупные соединения немецких бомбардировщиков повисли в посветлевшем небе над советскими линиями. Массированной бомбежке подвергся также штаб фронта; старая княжеская усадьба, где находился командный пункт, была объята пожаром. В первый же час наступления противник попытался таким способом обезглавить войска фронта, по которым наносил удар. Одновременно его наземные дивизии двинулись в атаку — сражение за Москву началось...

(Продолжение следует)



МАРАТ КАРТМАЗОВ



ТАЕЖНАЯ ТИШИНА

Россия не имела глубже тыла,
Когда была войной оглушена.
Здесь бывшего солдата приютила
Сибирская густая тишина.

Вокруг тайга, колеблемая ветром,
И птице здесь и зверю — благодать.
До станции — сто сорок километров,
До старости — совсем рукой подать.

Сибирь кладет на стол алмаз и уголь,
Сибирь гудит, покоя лишена...
А здесь еще пока медвежий угол,
А здесь еще покуда тишина.

А здесь сверчок, второй хозяин дома,
Звенит, не нарушая тишины,
Однообразно, длинно и знакомо,
Как стук часов, как жалобы жены.

Едва заденет тишину двустволка,
Вздохнет лесник, той тишине не рад:
Гром новостроек, гибельный для волка,
Необходим для отставных солдат.



МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ*

Воспоминания

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДОМ ФЕРРАРИ

4

Москва. Мы вышли с сестрой из нашего молодежного зеленого вагона (тогда первый класс был синим, второй — желтым, а третий — зеленым) и, сдав на хранение свои пожитки, вышли на вокзальную площадь. Известно, что голос меняется в своем развитии (ломается, как чаще говорят) у всего живого и неживого, человека и машины. Сломался он и у города Москвы. Современнику трудно себе представить, как звучала Москва три четверти века назад. Сразу, как ветер, охватывала вас кричащая симфония грохота железных колес извозчиков по неровным булыжникам мостовых; выклики уличных торговцев с лотками сезонного товара, — «морквы», «десяточка слив за три копейки», копченой рыбы, горячих филипповских пирожков; приятного вклинивания в них звоночков конки и старинного перелива шарманки, крутимой за ручку слепым шарманщиком; оголтелого карканья ворон с облетающих сучьев осенних деревьев из-за ограды; пьяной ругани выползавших из ближайшего трактира; а над всем этим — звончайшего уханья колоколов со всех знаменитых московских «сорока сороков». Звуки были пронзительной свежести — может быть, от редкостной чистоты воздуха, не загрязненного никакими дымами, никаким отработанным газом. А простая, мокрая от ночного дождичка грязь под ногами, оставленные на мостовых золотистые кучки навоза и лужицы лошадиной мочи пахли даже как-то приятно — дачей, деревней, проселочными дорогами. Воздух сентябрьской Москвы хотелось пить, как прохладный глоток из родника. А вода... в те далекие годы по чистоте и незараженности питьевой воды Москва стояла на втором месте в Европе — лишь Вена занимала место перед нею.

Но кроме этого внешнего «привокзального» облика Москвы, в те годы она отличалась еще кое-чем необычным. Не только модные писатели-«декаденты», а даже самые прозаические москвичи-обыватели, чьи отцы, деды и прадеды вели на широкую руку оптовую торговлю дерюгой, кожами, свечным, скобяным и прочим серьезным товаром, заметили это «кое-что». И если символист Андрей Белый откликнулся на него музыкой своих странных и увлекательных «Симфоний», то оптовые торговцы выражались трезвыми словами. Я сама слышала однажды от одного из них: «Зарева в нынешнем году, не со-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир», 1971, № 4; 1972, №№ 1, 2; 1973, № 4.

лгать, очень пригожие, как бы к урожаю». Московские необыкновенные закаты первых десяти лет нового века!

Старая Москва с ее кривыми улицами и переулками-тупичками почти не проглядывалась насквозь, к горизонту; в ней, как это ни странно, было мало неба не потому, что его загораживали дома, — наоборот, не было тогда ни высотных зданий, ни даже просто очень высоких домов, и даже крохотный нынче грибок Дома союзов, где раньше было Благородное собрание, казался нам внушительным; нет — просто не смотрели пешеходы наверх, а меж домами небо как-то не выглядывало, прячась за деревьями. И даже не только поэтому. Напрягая память, я ловлю себя на неинтересности тогдашнего московского неба, как, впрочем, и теперь в Москве по сравнению с Ленинградом. Есть соответствие между небом в городе и рекой, где она протекает. Река Москва казалась темной, невыразительной, грязноватой по берегам, почти не имевшим набережных. И ровным, невыразительным казалось небо, не притягивавшее глаз, словно не оно в реке, а Москва-река отразилась в нем. И поэтому с невиданной, необычайной силой, почти магической, повлияли тогдашние закаты на восприятие пешеходов.

Трудно сказать в одном слове, чем были эти закаты не похожи на обычные. Во-первых, почти телесной теплотой красок. Ярко-красно заходит солнце, предвещая назавтра сильный ветер; но его яркость носит какой-то мясной или сухо-кирпичный оттенок, обжигающий глаз. А тут — проступало нежно-румяное тепло неба, словно шепотом сказанное слово любви, обещания, предсказания. Не глазами, а сердцем схватывал это телесное тепло прохожий и переживал как бы предчувствие чего-то в своей жизни нежданного-негаданного. Вот-вот, казалось ему, оно наступит.

В эту кричащую симфонию дня и необыкновенное — заревое — обещанье счастья по вечерам вступили мы с сестрой сентябрьским утром, оставив вещи на хранение. Как целой армии приехавшей молодежи, нам надо было прежде всего найти жилье. Сделать это в те годы было совсем не трудно. Студенческие районы — Малая и Большая Бронные, Кабаниха, переулки по Садовому кольцу — зывали студентов множеством зеленых билетиков на окнах, где старой орфографией, с тяжелым, ныне покойным «ятем», буквой «ять», там, куда ее не надо ставить, оповещалось: «Здаѣца комната», «Комната соотплѣнием», «ѣсть комнаты». Но я тянула Лину из этих привычных дешевых районов в сугубо аристократические. В воображении моем уже мерещилась поэма «Ипполит», на манер Евгения Онегина, где герой мой должен был жить на Малой Дмитровке и ходить по Петровке в гостиницу «Славянский базар» (там останавливались богатые тетки, закармливавшие нас с сестрой необыкновенным разноцветным пломбиром!). Малая Дмитровка, тихая, важная, в особняках с садами и конюшнями для собственных лошадей, не имевшая магазинов и не тревожимая конками, совсем не пестрела зелеными билетиками.

— Мы тут ничего не найдем, — твердила Лина.

Но вот мелькнул на угловой стене белый наклеенный картон. На нем печатными буквами оповещалось, что за углом, в Успенском переулке, дом Феррари, квартира номер пять, сдается комната на одного. На одного... а нас было двое. И все-таки мы пошли. Пятый номер Успенского переулка, и сейчас не переименовавшего свое название, открылся нам небольшой церковкой по правую руку от ворот. Она стояла во дворе, совсем близко к улице. На широком простенке у добротных, старых ворот под дощечкой, изъеденной временем, с надписью времен Наполеона «Свободен от постоя», была вмонтирована икона божьей матери итальянского письма — розовое с голубым

плащом одеяние, склоненное к младенцу лицо матери, лилия у подола — и лампадка, тоже под стеклом, внизу иконы. Мы прошли в большой двор. В его глубине виднелся еще один солидный кирпичный забор, ограждавший большой запущенный сад. А слева — широкий господский одноэтажный дом с высокими зеркальными окнами без форточек, с двумя чугунными фонарями у подъезда — сырой и старый, но все еще внушительный, — дом бельгийского подданного гражданина Феррари. Его недавно снесли. Но, к счастью, три года назад, печатая свой роман «Первая Всероссийская», где фигурирует этот наш «дом Феррари», я его успела снять и фотографию поместить в книге, а то бы и последний след этого замечательного жилища ушел в небытие.

Много домов в Москве хвастают своими посетителями и даже почетную доску исколотали себе. Разобранный на сырье старый дом бельгийского подданного Феррари и до нас видел, должно быть, много необычного. А при нас кто только не заходил в него! Но не буду забегать вперед. Мы стоим сейчас перед его хозяйкой, вышедшей самолично открыть дверь на звонок. Хозяйка, толстая, рыхлая, в мужском шлафроке, доходящем ей до пят, но широко распахнутом на розовой ситцевой сорочке, в седых кудерьках, со вскинутыми сонливыми глазами, — стоит и смотрит, а у подола ее шлафрока заливается смертным лаем обстриженная собачонка. Мы с сестрой чувствуем запах водки. Он исходит от этой мадам Феррари, домовладелицы. Мы пятимся, уже перепуганные, но хозяйка заговаривает, собака перестает лаять, нас ведут в удивительный мир престарелых вещей, и я тихонько шепчу Лине, отставая на шаг: «Диккенс, «Большие надежды»...» Становится жгуче интересно ото всего, что вокруг, — огромных атласных кресел, отсиженных и потертых до сального блеска; ковров с лезущей бахромой из-под ног; разбитых стеклянных люстр, снятых с цепи и уставленных в угол; картин, висящих криво; засохших пальм в кадках, — и сладковатого мышинного запаха отовсюду. Пройдя сквозь целую анфиладу этого померкшего величия, мадам Феррари остановилась перед кабинкой — вроде вагонного купе, — помещенной в центре коридора, и раздвинула, совершенно как в вагоне, дверь в нее. Это было и впрямь купе, без окон, с раздвижной дверью, и в нем помещались койка, стол и стул, а над столом висело небольшое зеркало в резной оправе.

— Восемь рублей в месяц, — сказала хозяйка. — Можно вытащить стол, убрать стул, поставить вторую койку, а между ними тумбочку. Отлично будет, барышни.

Мы с Линой переглянулись. Дешево! В старом мире жилье было самой дорогой статьей расхода в бюджете. И главное — романтично. Дешевле на два рубля самой дешевой комнаты в студенческом районе. Голос у хозяйки сиплый, но какой-то симпатичный.

— Утром и вечером берите у меня из самовара кипяток. Сама я сплю тут, за коридором. Пью спиртное по рецепту, от ревматизма. Лучше не найдете, о чем говорить! Везите вещи, а я к приезду все сделаю. Может, еще шкаф дам в коридоре. Будем считать с сегодняшнего дня, за полмесяца вперед.

Голос у нее был сиплый, но располагающий. Что «пьет по рецепту», нас успокоило, да и все решительно успокаивало, настраивало тотчас согласиться. Не дай бог упустить! Мысленно, в воображении, мы уже вселились с Линой в эту каюту на волшебном острове, с доброй колдуньей, пьющей по рецепту, и ее грозной собакой... Но собачка уже обнюхивала наши ноги и била хвостом по полу в знак дружбы. А из дверей вышла худенькая девочка лет семи, с белокурыми косицами, в фартучке, и сделала нам книксен (реверанс; русского слова для этого всеобщего приседанья девочек перед старшими в те

годы не существовало). Мы окончательно решились. Лина вытащила кошелек и дала мадам Феррари четыре серебряных рубля.

— А в саду можно бегать, гулять, можно цветы сажать! — сказала девочка, восторженно глядя на нас. — А я к вам буду в гости ходить, рассказывать!

Когда мы на извозчике привезли в Успенский переулок наш сундук и увязанные в одеяло подушки, дивным чувством покоя охватило нас обеих в маленькой волшебной каютке «без окон и дверей». Это был свой дом. Особенный. С огромным садом. С собственным шкафом в коридоре. В каютке уже стояли две койки с матрацами. Откуда-то пахло горьковатым дымком — это, наверное, поспевал самовар. Задвижная дверь, правда, не имела замка, но зато ее нельзя было сразу распахнуть. А раздвинуть — это еще догадайся, за что в ней для этого ухватиться. И пока раздвинут, можно принять меры. Мы были бесконечно счастливы в этот вечер. Мы чувствовали себя разбогатевшими на два рубля, с обеспеченным месяцем впереди. Милая девочка несколько раз взад и вперед прохаживалась возле нашей двери. За нею, стуча хвостом, бегала жирная хозяйкина собака. А сама хозяйка, разжившись «по рецепту», должно быть на все четыре рубля, спала божественным сном на огромной супружеской кровати, наверняка не убиравшейся с тех самых пор, как умер ее супруг, бельгийский гражданин Феррари. Но мы тогда этого еще не знали и тоже заснули, напившись чаю, первым самостоятельным сном в Москве, на собственной квартире, после дедушкиных диванов и пансионского дортуара.

Я написала выше: «Кто только не закахивал!» Дом Феррари и вправду стоил бы почетной доски с надписью. Однажды зимой к его парадному подъехал не простой извозчик, а лихач. В Москве лихачи были особым, привилегированным слоем извозчиков. Летом пролетки их отличали высотой — сиденье вздымалось над рессорами, смягчавшими тряску; колеса были обтянуты резиновыми шинами для той же цели. Зимой лихач ездил на узких санках с высокой спинкой, крытых меховой полостью. Сам он, как и лошадь его, был выхолен, в раздутом сзади новом синем кафтане, вылезавшем из облучка, словно квашня из кастрюли, а лошадь гладкая, с расчесанным хвостом. И не всякого пассажира брал лихач; а двугривенный, за который простой извозчик готов был всю Москву исколесить, шел у него не за плату, а только за «чаевой». Такой вот лихач подъехал к нашему диккенсовскому дому, когда мы с сестрой возвращались с лекции. Откинув меховую полость, вышел из санок высокий широкоплечий мужчина в распахнутой шубе и шапке вроде боярских русских шапок старинного времени, с красноватым, полным, почти безбровым лицом и, как-то брезгливо дернув плечами, вошел в парадное. Таких гостей у мадам Феррари за полтора года не было.

— Федор Иванович, — важно ответил на наш вопрос лихач. — Хотят дом себе купить, да только вряд ли. Смотрели немало, а подходящего по его положенью нету.

Известно ли биографам Шалапина, что он собирался купить в Москве дом? Во всяком случае, наш «дом Феррари» был у него на примете. Но вернулся он от мадам почти тотчас, не сняв даже шубы, и тут же влез в узкие санки, не удостоив нас с сестрой и взглядом.

Спустя полтора месяца по приезде нашем в Москву стал приходить к нам в волшебную каютку худенький, сухой, как кузнечик (он болел тогда туберкулезом позвоночника и его лечили каким-то растяжением, или, как он любил говорить про себя, «распятием»), поэт Владислав Ходасевич.

Отсюда, читатель, в рассказ мой будут вторгаться имена людей,

ставших в будущем нашими врагами, злостными и активными. Нельзя простить их греха перед родиной, их тупого непониманья величайшего события в истории нашей страны, значенья этого события для человечества. Они бежали за рубеж и оттуда вредили и предавали нас. Но в пору моего рассказа они еще не были предателями. И, погружаясь в прошлое, я должна говорить о них с тогдашней интонацией, чтоб показать отношенья и вещи как они были.

Вместе с Ходасевичем молчаливо, не произнося ни слова, втискивался иногда в каютку другой, малоизвестный, поэт — Муни (буддийская кличка была его псевдонимом), добрый, обросший черной бородою, похожий на икону Рублева. Сидели на кроватях; Ходасевич (мы звали его Владей) читал свои стихи, а чаще учил нас читать Пушкина. Он изумительно читал Пушкина; и чтение «Музы» с его голоса, буквально повторенное мною позднее, когда я «зачитала» ее Рахманинову и вслед за ним Николаю Метнеру, вошло в русскую музыкальную классику, отразившись в двух «Музах» этих композиторов. Владя взгромождался для этого на тумбочку, сузив плечи, стиснув коленки, зажав между ними переплетенные пальцы, и, болтая изящнейшими штиблетами, ни на кого не глядя (он знал Пушкина наизусть), начинал страшно просто и разговорно:

В младенчестве моем она меня любила...

Он неожиданно оттенял и замедлял слово «любила» и еще медленней доверительно, почти шепотом:

И се-ми-стволь-ну-ую цевницу мне вручи-и-ла...

Нас обеих пробирала дрожь — мы вдруг перед глазами увидели семь стволов на цевнице богини. А Ходасевич продолжал рассказывать, оживляясь, но как-то робко, дробно, словно становясь неумелым, хотя и нахальным — дай я сам! — ребенком:

Она внимала мне с улыбкой — и слегка,
По звонким скважинам пустого тростника...

Он почти щелкал этими скважинами — трр, трр, трр — мальчишка! Но мальчишка вдруг осмелел, взял дело в толк и:

Уже наигрывал я слабыми перстами, —

последнее «ст» пустых скважин, а дальше нарастающее сильное адажио — на á — á:

И гимны важные, внушенные богами, —

и словно растекаясь по зеленой долине, мягко, опадая с тона:

И песни мирные фригийских пастухов...

Когда я пишу это, мне очень хочется восстановить всю выразительность чтения Ходасевича, но вместо него невольно подражаю гениальному ритму последней «Музы» — Николая Карловича Метнера. Обе они, рахманиновская и метнеровская, не по заслугам посвящены мне. По чести надо бы — милому, старому дому Феррари.

Молчаливый и добрый Муни скоро застрелился. Не знаю причины, не знаю, остались ли после него стихи. А Владя ходил к нам довольно часто, называл нас по немецкому романтику Гофману «гофманские сестры», рассказывал про свою великолепную свадьбу с Мариной, где посаженным отцом был сам Брюсов, а шафером «примазался» издатель «Грифа» Соколов-Кречетов, и он, Ходасевич, тут же на свадьбе сложил на него эпиграмму:

Венчал Валерий Владислава, —
И «Грифу» слава дорога!
Но Владиславу — только слава,
А «Грифу» — слава да рога.

Намек на Нину Петровскую, жену «Грифа» и «спутницу» Брюсова...

Сюда, в бедные развалины, на елку перед наступающим 1909 годом приходил к нам (правда, в другую, приготовленную для такого случая комнату) поэт Андрей Белый. Забегали философы-идеалисты, втискивался толстенький Михаил Александрович Новоселов, создатель «Религиозно-философской библиотеки», сыгравшей в жизни моей большую и страшную роль. А письма! Перебирая свой старый архив, я ужасаюсь: как смогла за первые три месяца в Москве завести обширнейшую переписку, вкладывая в нее всю себя и раскрываясь перед людьми, еще никогда не виденными мною в лицо или не знакомыми лично. Сюда в ноябре пришел первый сине-серый конверт из Петербурга, обыкновенный почтовый конверт с тогдашней семикопеечной синей маркой, — от Зинаиды Николаевны Гиппиус. Сюда шли почтой или с посыльным — с 17 декабря чуть ли не каждый день — письма Бориса Николаевича Бугаева (о самых толстых из этих писем мадам Феррари говаривала: «Опять вам прошение от господина Бугаева...»). Не заходил, потому что был в те годы на отлете и терпел политические неприятности, но почти в каждом письме Новоселова и разговорах его окружения присутствовал у нас — Николай Бердяев. Маленький, черный, как жук, студент Амиров — эсдек, еще из раннего гимназического знакомства — тоже захаживал и окружение Новоселова именовал «клубом ренегатов». То были люди тоже примечательные, каждый на свой лад. Ренегатом — далекой звездой этого кружка — действительно был Николай Александрович Бердяев, прошедший витиеватый путь от социализма к мистическому православию. Исключен из университета за «левые» выступления, выслан; перебежал из марксизма сперва к Бернштейну, потом к легальным марксистам-экономистам, потом в Церковь. Им страшно дорожили в «Религиозно-философской библиотеке». С трепетом сердечным следили в тот год, как его «сняли с кафедры», извещали друзей об этапах этого снятия, подобно бюллетеням о здоровье знаменитости, пускали в ход связи. Вторым знаменитым «ренегатом» был в этом кружке Сергей Николаевич Булгаков, перешедший «из марксизма в идеализм», а из идеализма — в православие (он умер священником в Париже). Своеобразным «ренегатом» — из науки в православие — был Павел Флоренский, фанатик с лицом Савонаролы, острого аскетического типа. И еще — очень солидный «дядя», типичная приземисто-бородатая фигура русского интеллигента, Владимир Кожевников, чьими усилиями и с чьим предисловием был издан в 1906 году в городе Верном (сейчас Алма-Ата) первый том «Философии общего дела» замечательного философа-библиотечника, тогда уже скончавшегося, Николая Федоровича Федорова. Ни он, ни Кожевников ниоткуда не «перебежали», но козырным ренегатом-перебежчиком был последний из этой компании Новоселова, бывший террорист, ставший православным, — Лев Тихомиров. Я перечисляю их так подробно, чтоб возвратиться дальше только к трем из них, с кем развились у меня реальные отношенья.

5

Но сперва надо ответить на вопрос, каким же образом две «почти девочки», впервые самостоятельно устроившись в Москве осенью 1908 года, прямо из пансиона, уже не имея «отчего дома», сумели чуть ли не сразу очутиться в центре «идеологических течений» тех лет, среди известных персонажей русской тогдашней интеллигенции, русской литературы — и даже видеть их у себя в гостях, на крохот-

ном пространстве жилья, где и самим негде было повернуться и где не было даже окон, а по-настоящему и дверей.

Прочной связью, если не говорить о тете-крестной Ашхэн, в то время уже разведенной жене своего богатого мужа, банкира Джамгарова, была для нас при первом самостоятельном въезде в Москву лишь гимназия Ржевской с ее начальницей, учителями и подругами. Но то была связь только по части добычи заработка — уроков и кондидий. Нечто вроде иллюзорных «больших надежд» имелось в еще неведомой и незнакомой редакции газеты «Ремесленный голос». Спившись с ней, я уже знала, что никакой «редакции», собственно, и нет: редактор, Лобанов, принимает писателей у себя на квартире и там же, кажется, собирает номер газеты, печатая его в маленькой ведомственной типографии на ведомственных бумажных отходах.

В первые же дни московской жизни, собрав заготовленные стихи и прозу, я отправилась на квартиру к Лобанову. Это была типичная квартира председателя Ремесленной управы, похожая внешним своим видом на жилища средних профсоюзников и как бы растрепанная от дунувшего вихря свободы и удушающей, медленной, как удав, схватки реакции. Она пахнула на меня растерянным доброжелательством — не первой новизны, пыльной, неприбранной мебелью в чехлах — гостиной, где окна были завешаны среди бела дня, а пальмы в кадучках — не живые, а тоже пыльные, искусственные. Самого Лобанова дома не было. Меня встретила его жена, крупная, рыхлая, с растерянными бесхитростными губами-шлепанцами. Осторожно пухлой рукой в муке (видно, вышла из кухни) приняла у меня мои тетрадки, сказав: «Вот уж спасибо вам!» — и, помолчав, видимо не зная, что сказать: «Не хотите ли пирога с капустой, буквально минутами готов будет», — а потом, еще помолчав и видя, что я переминаюсь с ноги на ногу, собираясь бежать, предложила свою гостиную для ночлега, если еще не найдено комнаты. О гонораре не было сказано ни слова, да я и понимала, что тут, в этом последнем дыханье робкого, рожденного революцией, слабенького голоса московских ремесленников, не до гонорара... Оставался последний «визит».

Еще два года назад, в седьмом классе, у нас в гимназии Ржевской случилось страшное событие: из офицерского революера своего отчима застрелилась приходящая ученица Вавочка Вишневская. Мы, пансионерки, знали о ней очень мало — только то, что она шла на двойках, под угрозой остаться на второй год, часто нервничала, плакала в классе, была всех нас старше, с каким-то взрослым, женским лицом. Шел слух, что мать ее не любила, а отчим, офицер, ремнем бил за двойки и гнал из дому, если останется еще на год. Несколько девочек, тоже приходящих, выбрали меня, чтоб я тайком рассказала об этом случае и о позорном поведении нашего начальства, не желавшего считаться с домашними условиями Вавочки, не кому другому, как популярному в те дни фельетонисту «Русского слова» Сергею Яблоновскому. Раздобыли мне его адрес, узнали час, когда можно застать дома, и я, никому не сказавшись и тихонько выбравшись из пансиона, выполнила тогда эту миссию. На следующий день в «Русском слове» появился фельетон «Бедная Вавочка» с очень едкими выпадами против гимназии Ржевской и бездушия ее учителей. Переполох у нас был огромный. Кто «вынес сор из избы», так и не узнали, но у меня с тех пор завязалось первое мое газетное знакомство с любопытным, внимательно меня допрашивавшим журналистом. Вернувшись в Москву, я решила опять пойти к нему — уже от себя, показать свои литературные опыты.

Сергей Яблоновский был в те годы не так популярен, как Аверченко, Дорошевич и другие известные газетчики, но необыкновенно

плодовит и любим в кругах средней интеллигенции. У Сытина, издателя «Русского слова», он был на хорошем счету: каждый день почти без пропусков появлялся его фельетон — о том, о сем и если не на злобу дня, то непременно этой злобы касавшийся. Как-то я его спросила, не трудно ли ежедневно находить тему для газетного отклика, и он ответил, что ему помогает все: календарь на стене, погода, разговор с дворником во дворе, птицы сезонные, — «лишь бы зацепиться за что-нибудь, а там все пойдет само собой». И у него действительно все шло само собой. Так, само собой, возникло и наше взаимоотношение — в разной форме с ним до его бегства за границу; и в прочной дружбе с его женой, женщиной замечательной, глубоко советской. В долгие годы после его бегства она трудом своим поставила на ноги детей, а как превосходный корректор правила ранние наши книги в Гослитиздате...

Не успела я позвонить, как мне открыла эта крупная, белокурая, веселая Елена Александровна, а за ней, едва достигая ее плеча, взглянул маленький, черный с проседью сам Сергей Викторович Яблоновский. У него одна рука была недоразвита, как-то скрючена с детства; бородака по моде тех лет, тоже с проседью, и страшно любопытные, карие, в густых ресницах глаза, глядевшие, особенно когда он сидел на стуле, будто исподлобья. И часу не прошло, как в столовой, где они приняли меня, как и два года назад (гостиная у них в квартире была очень темная и маленькая, почти всегда бездействовавшая), закипел на столе нарядный тульский самовар, появилась свежая белая булка вечерней выпечки, еще с горячим ароматом пшеницы, желтое масло, взбитое знакомой молочницей, варенье собственной дачной варки. Мы разговорились — и опять, как всегда у него, «о том, о сем», — стихи мой он подверг критике, прочел сам Бальмонта и Северянина (дальше его принятие литературной современности не шло), и я собралась было уходить. Но тут практичная Елена Александровна спросила у меня адрес, где думаю получить работу и когда поступаю на курсы. Все это с очутившимися у нее в руках карандашом и бумагой.

Адрес я дала. Работы у меня еще не было. На курсы поступлю завтра, то есть пойду записываться. Какую работу хочу? Всякую. Уроки давать, писать, переписывать... Елена Александровна достала из ящика большой сверток. Это была «какая-никакая», а все-таки на первых порах работа.

— Любительский театр — вам безразлично знать какой — ставит пьесу, где тридцать действующих лиц. Ну, не все они, конечно, говорят длинно. Многие, кроме «да» и «нет», ничего не говорят. Но надо переписать все тридцать ролей, каждую на отдельных листах, и притом с репликами того, кто говорит раньше, и того, кто за ним, — ну, словом, чтоб действующее лицо выучило свою роль в такт, вроде каждого инструмента в оркестре.

Тут я вспомнила своего барабанщика у Констан-Дюмушель и невольно воскликнула:

— Чтоб каждый слушал целое!

Елена Александровна посмотрела на меня с интересом:

— Работа, конечно, канительная, заплатит они хотя прямо ерунду, но я для вас буду с ними ругаться и авось что-нибудь выторгую. А главное, между прочим, это бумага. Смотрите, сколько бумаги! Вы можете целую половину сэкономить!

Я с благодарностью ухватила пакет. Каждый заработок казался мне отнюдь не ерундовым, — а бумага! Практичная Елена Александровна этим не ограничилась. Она посмотрела на своего мужа:

— Сережа, а ведь ты можешь ей карточку дать в Литературно-художественный кружок. Не платную в партер, а на эстраду, где студенты сидят...

И Сергей Викторович вытащил из кармана визитную карточку, защемил между вторым и третьим пальцами своей скрюченной руки карандаш и быстро набросал отдельными буквами, словно семена сеял, рекомендацию начинающей поэтессе «на посещение вторников» знаменитого в Москве Литературно-художественного кружка.

Так я сразу же по приезде получила вхожесть туда, где собирались известные писатели и утолялась разбуженная митингами страсть крупной московской интеллигенции к общественному говорению. В дирекции Литературного кружка сидели адвокаты; вкладчиками в него были крупные богачи с репутацией либеральных. Где-то наверху, в руководстве, числился Валерий Брюсов. Я и тогда не была осведомлена о структуре и деятельности кружка, кроме пресловутых вторников, и сейчас пишу по памяти о том немногом, что доходило до меня, возможно — ошибочно. В кружке был свой ресторан с великолепным поваром. В кружке играли в карты. Но в карты играли и на Тверской в Английском клубе, где сейчас Музей революции, — и в этом была своя, московская солидность, отличавшая Москву от чинового Питера. А по вторникам наступало царство молодежи.

Кто только мог из студенчества проникал туда всеми правдами и кривдами. Модные барышни, покупавшие книжки стихов и выписывавшие «Весы», проникали туда. Тучные, «шикарные» адвокатские жены в сверкающих брильянтах имели там постоянные нумерованные места. Либеральный поп, известный смелостью своих мыслей и слегка придержавший их ввиду возможного ареста, садился в третьем ряду, забирая к ногам полы своей рясы, пахнувшие тройным одеколоном. Крупные либеральные московские купцы... А среди них — знаменитые писатели, только что засиявшие звезды, их жены, их — никто не произносил грубое слово «любовницы», да еще при «живых женах», — официальные спутницы; в кружке, например, поэтесса Нина Петровская, жена издателя «Грифа» Соколова-Кречетова, сопутствовала Валерию Брюсову, — в своем длинном черном бархате до пят. Платья знаменитостей запоминались — фиолетовое и зеленое, два постоянно чередующихся на неделе платья замечательной красавицы Марины Рындиной — жены Владислава Ходасевича. Не то чтобы все эти мелкие детали рассказывались друг другу. Информация как бы вдыхалась вместе с воздухом кулуаров кружка, вы вдруг сразу становились осведомленным, заглотившим восторженную атмосферу, должно быть исходившую от молодежи. Когда кончались перерывы, зал заполнялся до стояния в коридорах; и на эстраде, где сидел не только президиум вокруг крытого суконкой стола, но и рядами тесно сжатых стульев — счастливы из молодежи, появлялся очередной оратор и выкладывал стопку бумаги перед собой...

Лекции были самые разнообразные. И опять мне приходит в голову словечко «о том, о сем», когда хочу припомнить название хотя бы одной из них. Но присутствовал какой-то такт в них, даже в этих «о том о сем», особенно в первые годы после 1905-го, как если б речь говорилось в комнате, где еще стоит гроб, не вынесенный на кладбище. Руководство кружка и сам кружок не то чтоб держали какую-то связь с остатками революции. Они снисходили к «левым» течениям в искусстве, а левые течения, как и все такие течения в мире, были «сочувствующими». И здесь опять хочется немного отвлечься.

Не раз приходилось мне читать в те годы, да и нынче, в разных западных теоретических книгах и статьях по искусству о том, что

только самыми новыми течениями, только самым «последним словом» можно ярко и убедительно показать революционную действительность, куда ярче и убедительней, чем устаревшими приемами натурализма. Смешно было бы спорить с обновлением форм и приемов во всем видимом мире и внешнем его облике. Это обновление всегда действует остро, отвечает какому-то внутреннему движению вкуса к новизне, к его вечной потребности в трансформации, к его борьбе с наживаемым «иммунитетом» органов чувств и потерей ими яркости восприятия. Все это, разумеется, процесс естественный. И поскольку ломка привычного в искусстве всегда сопряжена с бунтом против устаревшего, ее можно причислить к вещам «революционным». В самом общем плане такая ломка «сочувствует», верней те творцы, кто производит ее, сочувствуют в большей или меньшей степени и социальным сдвигам, восстаниям, революциям. Но между «сочувствием» и «выражением» лежит огромная пропасть — лежит адрес.

Кому этот язык новизны, яркий рывок художественной формы рассказывает о своем «сочувствии»? В революции есть что-то высокопримитивное, недостижимо простое, та стихийная форма неизбежности, то слитное упрощение чувств, о чем только большие гении могут сказать в самых великих своих созданиях, а это, как драгоценная жемчужина, дается редко, — и в форме, о которой никак не скажешь, старая она или новая. Может быть, потому, что форма в них слилась с содержанием, стала вся содержанием. И этим великим созданиям подчас нужно долгое время, чтоб они сделались искусством масс, оружием в руках народа, как, скажем, бетховенские симфонии.

Когда я смотрю сейчас из глубины уже потускневшей своей памяти на себя самое в атмосфере годов 1908—1914, на свои блуждания и заблуждения, мне кажется (может быть, только сейчас кажется), что в восприятии моем тогдашнего «декадентства» недоставало чувства полного доверия, полной юношеской вхожести в молодежные увлечения тех лет. Мне всегда и всюду, при всех обстоятельствах хотелось понять, и это желание понять стеной стояло между мной и стихийным процессом жизни. Сестра частенько дразнила меня басней Хемницера о философе («Веревка, вервие простое...»).

Расскажу для примера об одном случае вот такого тормоза непосредственности, вдруг отделившего меня от стихийно переживаемых настроений моих сверстников и современников и оставившего в каком-то полном одиночестве на «острове размышленья» как своеобразного духовного Робинзона. Этот случай связан, кстати сказать, с атмосферой Литературно-художественного кружка.

Мы все в те годы поклонялись Валерию Брюсову. Сейчас это имя дорого для нас, потому что Брюсов с первых дней революции пришел к нам, в советскую литературу, как коммунист. Он отдал ей на службу свою большую эрудицию и свое мастерство, первый стал работать над связью советских национальных литератур, классически переведя образцы армянской поэзии на русский язык... Но в те времена это был глава течения, вошедшего в историю как «декадентство». Его знаменитый одностроичный стих, странный и непонятный, как бы первый камень заложил в этом течении, вызвав насмешки и восторги, став сразу пародией для одних, догматом для других:

О, закрой свои бледные ноги.

Брюсов, как никто другой, подходил под титул «мэтра». Мастер, мэтр — недостижимый в поэзии, в прозе, в критических оценках. Не-

доступный. Окруженный легендами. Тот, из-за кого молоденькая талантливая поэтесса, полная жизни, — словно в книге — застрелилась и умерла. Тот, кто сказал, что все в этой жизни — лишь средство для «певучих стихов». И в том, как он выглядел, некрасивый и чопорный, жесткий и требовательный, было свое обаяние для молодежи. Характерный штрих в его биографии — это, по-моему, история с Врубелем. Ее сейчас рассказывают по-всякому, и я расскажу только то, что слышала сама: к умирающему, душевнобольному Врубелю Брюсов пришел в больницу и убедил его — написать с него портрет. Он позировал перед больным. И Врубель написал гениальный портрет.

Так вот, во дни очередного юбилея Гоголя Брюсову было поручено одно из выступлений-докладов (а может, и не «поручено», поскольку сам Брюсов был, кажется, одним из организаторов юбилея, — не помню). Выступали докладчики с обычными вариациями на тему Гоголя «смех сквозь слезы». Много звучало давно известным, уже многократно сказанным. Кое-что прозвучало скучновато-банально. А Брюсов вышел на эстраду в своей чопорности «мэтра» и прочел доклад о том, каким «обжорой» был Гоголь в жизни, как он художественно любил поест, и что именно едал, и как именно едал — со вкусом, «с чувством, с расстановкой» — в trattoriaх Рима, за московскими обедами у Погодина; и как вкусно, со вкусом, описывал украинскую еду в своих знаменитых повестях. Доклад прерывался свистом и возгласами возмущенья. Брюсов стоял мертвенно-бледный и спокойно продолжал докладывать. Мертвенная бледность усугубляла необыкновенную «демоническую» романтичность Брюсова и созданную им ситуацию в зале. Почти весь женский пол шипел на свистевших и требовал тишины. А в последующие дни этот случай вызвал целую дискуссию.

Все, кого я знала и с кем общалась, — это было уже много позже первых месяцев в Москве, — студенчество, серьезное и несерьезное, читательницы «Весов», подружки по философскому факультету — живой и непосредственный поток реакций на появившиеся неодобрительные отклики в серьезных газетах и журналах, — был за Брюсова, за его доклад, вообще — за право на такой доклад. Говорили в этом непосредственном потоке мнений как будто умно и даже политически аргументированно: «Кто смеет поставить точку на тематике, выбранной исследователем? Опять узда! Только-только подышали свежим воздухом девятьсот пятого года — и реакция, даже в истории литературы не дают шагу ступить! Мы наслушались этих «смехов сквозь слезы» десятки лет, начиная со школьной скамьи. Чего ради дудеть и дудеть в одну и ту же дуду? Лучше о Гоголе Белинского и Чернышевского перечитать, чем слушать эти азы, сделанные бездарно, скучно, плоско, — кому это нужно?»

Да, бездарное, скучное, плоское никому, кроме потери времени, ничего не принесет. Все это так. Живой протест общества — ведь не в защиту оригинальной темы, выбранной Брюсовым, а в защиту свободного выбора темы для доклада. И в этом есть что-то, оставшееся от «расправленных крыльев», от чувства полета, пережитого так недавно. Ведь хорошо, подъемно на душе, когда читаешь у Пушкина:

... Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай, улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

Вольные птицы... Воля! И не важно куда,—туда. Не важно зачем. Не смеет, не должен человек потерять это великое вольное чувство, эту возможность полета. И когда общество стеной встает против заградиловок, мешающих самому невинному полету мысли,— это ведь значит, что еще есть живые силы в обществе, это хорошо, к этому надо прибавить и свой маленький голос... Как будто все правильно.

Боже мой, если это все правильно, то почему же, почему? Почему я, так страстно любившая свободу, написавшая (и напечатавшая!) десятки рабочих гимнов свободе в «Ремесленном голосе», — разозлилась тут с моими сверстниками, с леваками в искусстве? Дело в том, что, несмотря на всю приведенную выше аргументацию моих сверстников и современников, несмотря на романтическую бледность Брюсова, dokonчившего свой доклад под свистки большинства в зале, я была абсолютно против доклада Брюсова, меня чуть не стошнило от него. Почему это случилось? И вместо непосредственного, «пльвучего» вхождения в эпизод — яркой защиты Брюсова с моими друзьями или яростного свиста вместе со свистунами на дальних скамьях в зале, — я ходила насупившись, отмачиваясь, пытаясь понять, что заключается в происшедшем явлении и какой тормоз сидит во мне самой, мешая окунуться в общую волну. Неужели сижу в яме, как философ из басни Хемницера? Да, но ведь Гоголь... дело касалось Гоголя, великого писателя, автора «Мертвых душ»...

Помню, какие доводы я приводила сама себе в защиту своей странной позиции «отсутствия непосредственности». Помню очень ясно, хотя прошло с тех пор чуть ли не три четверти века, — может быть, оттого, что много раз и позднее и даже в наши дни мне приходилось переживать такие же общественные явления, занимать в них такую же позицию, попадать снова и снова на «остров Робинзона», почти в полной изоляции, потому что ни с одной стороной не могла непосредственно слиться из-за внутреннего несогласия. И всякий раз это было очень тяжело переживать.

Вот в общих чертах тогдашние мои доводы. Начала я свой разговор с собственной совестью так: «Положим, я сама Гоголь. Я умерла. Празднуют мой юбилей. А я сама, сделавшая по Чернышевскому «гоголевский период в литературе», слушаю, что обо мне говорят на юбилее. Была ли бы я довольна правильными, но скучными, чтобы не сказать — бездарными, докладами, повторявшими «азы», или оригинальным докладом Брюсова обо мне как обжоре? Ну, я любила покушать, но почему это выпячивать на юбилее?» А потом — «азы». Их подали серо, скучно, пресно, опорочив этой скукой, плесенью и пресностью самую их сущность. А ведь сущность «азов», открытых статьями Чернышевского, замечаниями о Гоголе самого Пушкина, — сущность этих «азов» сама по себе совсем не заплеснела; «критический период», засверкавший в литературе «Мертвыми душами» и «Ревизором», он ведь совсем не перестал сверкать! Он не исследован до конца, не применен к современности, не сопряжен с действительностью, ушедшей от него не так уж и далеко. Как жалко, что вместо нового проникновенного раскрытия того, что есть гениально-главное в Гоголе, связи этого раскрытия с современностью, движения вперед по этой магистрали (ведь это был бы глубокий глоток кислорода для всех, это было бы продолжением дела Гоголя в эпоху после 1905 года!), вместо всего этого — серый катехизис, топтанье на сказанном как на прошлом.

С другой стороны — символисты... Мэтр Брюсов... Левое течение в литературе, называющее себя революционным, — почему же остро-

той своего видения, новизной своих приемов, яркостью красок, свежестью своего словаря они не проделали революционной работы продолженья? Углубленной тематической работы? Только и взяли у Гоголя, что любовь к галушкам. Чем лучше такие «взмахи крыльев» описанья «неба небес», *coeli coelorum*, или состояний христианского блаженства у Августина Блаженного, совсем забывшего самые важные слова Христа — слова «за други своя», за самаритянина-«инородца», слова нагорной проповеди, слова об «огне», который — как хотел бы сказавший о нем, чтоб этот огонь «возгорелся»?!

Где же магия этих левых форм? На что вообще идет в литературном производстве эта «магия», что именно обновляет она для человечества? Галушки внизу — небеса небес наверху? Именно в эти годы, когда мы жили с Линой бок о бок, делили хлеб и бесхлебицу, недоуменья и радости, я привыкла к общению с ней, почти анонимному, путем размышлений вслух перед сном. Лина в эти годы была очень занята и уставала к вечеру; она не имела времени ходить в кружок. Лекции, два урока подряд со взрослыми девушками, которым она преподавала французский, нехитрая стряпня, потому что нам не всегда были по карману студенческие столовки и заманчивая «Вегетарианская столовая» со своими винегретами и кашами; мытье посуды, — под вечер она, чуть ляжет, сразу же и засыпала. А я, избалованная ею эгоистка, оттягивала эту минуту своими размышлениями вслух. Мне просто невозможно было закончить день без капельки ее мудрости, никогда не назидательной. И в своем раздумье о событии на юбилее, пытаюсь оправдать «левую молодежь», к которой не смогла присоединиться, я прибегнула к Пушкину: ...туда, где синеют морские края, туда, где гуляет лишь ветер... да я! Хорошо это, Линуха? Но Лина, засыпая, ответила:

— А у Пушкина есть еще о воле, помнишь? Прямо противоположное... В «Цыганах»: «Ты для себя лишь хочешь воли, гордый человек»¹. Так, что ли? — И она сразу уснула, вряд ли даже соображая в эту минуту, какой мудростью мне ответила.

6

Биографы часто пишут, по рапповскому трафарету, что в юности я была «символисткой», «идеалисткой», вообще какой-то «исткой», хотя ничто так не противно моей природе, как явления, превращающиеся в «измы». Про древнюю Элладу, когда она распространяла свое культурное влияние, существуют два термина, схожие по языку, но совершенно разные по сути: «эллинская культура» и «эллинистическая культура». Первая рождается, вторая насаждается; первая — у себя дома; вторая — в чужих краях; первая — естественна, вторая — искусственна. Правда, такие определения схематичны, но мне сейчас нужно попроще и понаглядней объяснить, почему я не могла быть ни символисткой, ни идеалисткой. «Изм» заключает в теоретические скобки какую-нибудь дорогу мышления или видения, которая живет и несет в себе хоть зернышко истины именно потому и тогда, когда она открыта вперед, распахнута концами наружу, не заключена в скобки, не отделена от других путей мышления ничем, кроме своей собственной природы. Иначе говоря — когда она остается дорогой! Но ставши «измом» и замыкаясь в скобки, дорога становится

¹ У Пушкина в «Цыганах»:

Оставь нас, гордый человек...
...Ты для себя лишь хочешь воли...

системой, заканчивается на самой себе, приобретает условные границы и так сильно суживает ими свое зернышко истины, что оно перестает произрастать.

Катехизис, детище церкви, сделался таким «измом» для христианства. Мне были очень интересны книги символистов; мне говорило душе само понятие «символа» как сигнала чего-то большего, чему еще нет имени. Своим неугомонным мозгом я тяготела и к воздушной архитектуре идей таких мыслителей, как автор «Критики чистого разума». Мне было дорого понятие «критики» как свободного исследования вещей и явлений. Но чуть доходило дело до последнего принятия того в искусстве и в философии, что, казалось бы, стало мне близким, — то есть безоговорочного вхождения в «изм», — я тотчас шарахалась в сторону. Какой-то кусочек меня оставался в стороне, удерживая свое мышление на свободе, за скобками. Еще не то, чтоб отдалиться этому всей душой! Еще — скользкая, преждевременная недостаточность, чтоб заключить на ней свое мышление в скобки. И я не могла быть и не стала ни символисткой, ни идеалисткой. Я занята была в те годы поисками живого зерна истины, в чем бы оно (вне скобок) ни заключалось, а носителями этих зерен казались мне сами живые люди, их проповедовавшие.

Начитавшись всякого рода «историй» с Геродота до Ключевского, которого мы, курсистки, бегали всем нашим факультетом слушать к студентам на Воздвиженку, я выработала сама себе схему развития человечества и донесла ее до седых волос. Это была не научная, а поэтическая схема, рожденная в образах. Рыжий мальчик Глеб принес мне как-то маленький обрубок коралла, отломленный собственноручно его братом, моряком, где-то на коралловых островах Океании. Обломок был серый и уже затверделый. Глеб пощупал его жесткий кончик и сказал:

— Он был совершенно мягкий, это был росток, — рос мякотью вперед, а тельце его постепенно твердело за ним. Красивые красные кораллы — это уже мертвые части тела; брат говорит, эти отростки, растущие вверх, производят впечатление живых, до того мягкие, телесные какие-то на сщупь. Но тут, наверно, химия.

Наивный рассказ Глеба встал передо мной в образах, как нарисованный. Я записала себе: «Никогда не твердеть мозгом, чтоб он безостановочно рос, а пережитое, остающееся пройденным, пусть его твердеет в красивые кораллы». И этими живыми отросточками, мякотью истории человечества, мне представлялись люди — человеческие массы, — делиться с ними, получать от них, быть вместе, — общение, взаимодействие, — счастье. Счастье вечного продолженья...

К этой еще в детстве созданной для себя картине спустя многие годы прибавилась другая, очень важная и тоже дожившая у меня до седых волос. В Москве, среди современников и «мэтров», книг и лекций, библиотеки и аудитории, всегда занятая по горло, я постепенно перестала думать о «начале начал», забыла своих индусов. Меня стала терзать другая, «конфликтная» мысль, имевшая для меня, ставшейся всякое открытие в мысли тотчас переводить в практику, в действие, жизненно важное значение. Как строить и как понимать взаимоотношение между старым и новым, культурой и революцией? Как поступать самому, если жизнь ставит тебя перед выбором между консерватизмом и революционностью? Всякий ли консерватизм плох, всякая ли революционность хороша? И если я буду решать этот вопрос конкретно, всякий раз исходя из условий времени, обстоятельств, целей, один раз — так, а другой — этак, не превращусь ли я в отвратительный тип философа-релятивиста, спекулятора, жонглера идеями, для которого абсолютной истины нет?

В студенческие годы я как раз и становилась такой релятивистской, смутно чувствуя, что ничего не могу решить окончательно. Как это ни странно, решение все же во мне накапливалось, «всходило» на дрожжах растущего опыта, а явственно определилось оно опять-таки в картине, возникшей из самонаблюденья. Это случилось весной 1917 года в родильной клинике Варшавского университета, куда муж отвез меня на извозчике, когда пришло время рожать. Быть может, чудовищно в самые сильные минуты жизни не просто переживать их, а непременно осмысливать, исследовать, стараться понять, но — или ты пишешь правду, или сочиняешь, а сочиняешь — лучше не пиши воспоминаний! Я говорю правду о себе. Потому правду, что говорю о себе как не только о себе, но как о человеке вообще, — ведь многое, если не всё, мы, люди, в той или иной степени ясности переживаем одинаково, проходим через те же опыты и сознаем одно и то же.

Так вот, лишенная таланта непосредственности, я, в муках рождения своего ребенка, не переставала наблюдать за удивительной тайной природы — всеми перипетиями процесса, называющегося «родами»: и характером схваток, и сменой пассивности и активности матери, вплоть до последнего крика, до появления нового человека. Университет был эвакуированный из Варшавы в Ростов-на-Дону, клиника организована наспех, в палате полно студентов (ведь клиника!), вокруг — толчея, и кричат совестно, и не видно за этими белыми халатами, что они делают, эти набившиеся чужие люди, — но я уже знаю: перерезывают пуповину, то, чем связан был этот новый родившийся индивидуум со мной, его матерью, чем мы были едины с ним, чем вместе дышали, — отделяют новое от старого безжалостно, революционно, хирургическими ножницами, — для того, чтоб он стал дышать самостоятельно, отделился, стал собственным своим бытием. Боль уже прошла, как рукой сняло. Подошедший студент с любопытством нагнулся ко мне: «Думаете небось, девочка или мальчик?» А я думала перед раскрывшейся внезапно огромной тайной: чтоб новому стать бытием, между новым и старым перерезывается пуповина! Кормящая, дыхательная связь! Новое возникает р е в о л ю ц и о н н о. Может, я так и ответила, не помню; студенты — кое-кто, наверное, жив еще — рассказывали потом, что «писательница рожала и философствовала».

Однако это был первый акт возникновения младенца. Спустя несколько часов, а может быть сутки, ко мне принесла няня беленький маленький сверток, удивительно мягкий на ощупь, хоть и крепко спеленатый. Отросток коралла, — но нет. Это был совсем другой отросток — органического мира, не камня, извести или химии. Он был совершенно отдельный. Самостоятельный, отрезанный ножницами от питающей его матери. Он уже сам дышал — через свой собственный носик... Но... его опять дали мне. Ему опять надо питаться. И опять питаться мною, моим материнским молоком. С необычным ясновидением я представила себе великие революции, потрясавшие мир. Да, — возникая, они требовали хирургических ножниц. Да, это совершенно естественно — отказ от всего прошлого вплоть до названий месяцев, начала летосчисления, бытовых форм в великой французской революции. Да, подписываюсь под молотком, разбиравшим статуи Фидия, гениальный продукт греческого искусства, руками невежд, неграмотных иерусалимских рыбаков. Это все — хирургические ножницы, это все необходимо, чтоб новый ребенок, новое общество начали дышать своим собственным носом, своими собственными легкими. Зато, возникнув, ставши исторической явью, они опять припали к прошлому, из которого революционно вышли. Баль-

заки — после гильотины. Великая эпоха Возрождения, — Ренессанс, — после примитивизма первых веков христианства и аскезы раннего средневековья... Диалектика! Может быть, даже наверное, я не сказала тогда этого слова — «диалектика», хотя и штудировала Гегеля. Но ведь и сейчас ясно, что взаимодействие культуры и революции диалектично, и коммунизм мы не построим, не овладев всем лучшим из культуры прошлого...

Я опять забежала вперед, перепрыгнув из октября 908-го в май 917-го. А между тем мне предстоит рассказать читателю об одном из важных, переломных эпизодов эпохи моих блужданий. И опять вернуться в один из октябрьских осенних вечеров на старые бульварники Москвы. Это был удивительный московский вечер, тихий, как в начале зимы, хотя только-только начинался октябрь. Падали редкие дождевые капли, казавшиеся снежинками, потому что медлили в воздухе, как невесомые. Камни на неровных тротуарах темнели влагой, а фонари уличные оставляли в них отблески. У меня был мир на душе, переходивший в вечный диалог, вечный разговор с самой собой наедине, в который я привыкла играть чуть ли не с детства. Говорило чувство счастья, а несчастье, которого я не чувствовала, но допускала в игру, ему возражало. Поздней, начитавшись всяких отцов церкви, я узнала, что такие разговоры действительно ведутся одинокими душами. «Ты думаешь, что тебя так много, что ты можешь задушить счастье в человеке,— говорило во мне счастье, обращаясь к несчастью.— Но ничего ты не можешь. Я (счастье) ни от чего не завишу. Мне (счастью) ничего не надо. Я разливаюсь в человеке, умиротворяя все его мысли. Ему хорошо. Он чувствует, как расширяется, как растет в нем добро. Он знает, что его взгляд может принести сейчас людям это добро, его рука может подняться, чтоб благословить весь мир...» «А вот я сейчас спотыкну тебя на этом самом камне, и ты взлетишь вверх тормашками, да как стукнешься головой об камень, да как чертыхнешься — и все твоё счастье пойдет огненными кругами перед глазами», — отвечает во мне несчастье. Я невольно останавливаюсь, оглядываюсь, обхожу камень. Отвечать несчастью мне вдруг лень. Счастье все равно переполняет душу, переходя в какой-то веселый юмор — над самой собой. За углом Успенский переулок. На воротах — уже знакомая икона богини матери с зажженной внизу лампадкой под стеклом. Огонек ее горит не колеблясь, озаряя позлащенным светом снизу вверх розовое и голубое одеянье. Не знаю почему, но с пронзающей ясностью помню, как, подойдя близко к иконе, я вдруг перекрестилась и прижала губы к стеклу, сплошь заляпанному такими же, как мой, поцелуями. Приятно было не чувствовать брезгливости к этим пятнам. Со всеми, как все...

В темный двор стягивались темные человеческие тени — сутуловатые, в платках. Это в церкви Успения началась всенощная, и я тоже пошла ко всенощной, ощутив потребность продлить свое счастье и побыть с людьми. Потом, вместе с молящимися, длинной очередью подходила к старому толстому батюшке, чтоб приложиться к кресту в одной его руке, а к другой, поднимающей кисточку, подставить свой лоб,— он «миром», а на самом деле сильно разбавленным розовым маслом, набрасывал молящемуся — раз-два, слева направо, справа налево — влажный крестик на лоб. Крестик доносил к носу приятный запах розового масла, а иногда и капля его стекала, и это мне так понравилось, что я встала второй раз в очередь и снова подошла под батюшкин крестик. Он отмахал его своей старой, усталой рукой, но стоявший рядом тип с плешью и лицом, плоско расширившимся книзу, в подбородок, словно круглая лепешка у страшной

головой кобры, похожая на плоский бубен,— этот тип в плисовых штанах продавца Охотного ряда угрюмо погрозил мне толстым пальцем. В поле моего зрения, верней в край моего глаза, попала еще одна фигура — боком, стороной,— тоже толстая, в осеннем пальто, с умилением на лице: кто-то незнакомый явно одобрил мое усердие. И вдруг мне стало страшно противно, от всего противно — и от охотнорядца с плешью, и от священника (толстого), от гражданина в пальто с бархатным воротником (тоже толстого!), а главное, от себя самой.

«Побывать с людьми!» Res ligio — дело связи... Да какие люди и с кем связь? Я смотрела не на соседей, а в себя самое, внутрь своих переживаний, будучи в теплой тесноте церкви. А среди этих множеств увидела только два лица — один пригрозил, другой умилился. Но социально, выражением и обликом, оба они были мне антипатичны. Что толку — воображать себя с народом, если теснота людская, распадаясь на единицы, открывает не близость, а чуждость этих единиц? Кумушки со двора, которых часто вижу днем, как они шушукаются в подворотне, поливая, должно быть, грязью соседей. Ломовые извозчики, — вот они выходят из церкви, надевая на потный лоб картузы, грузные, как их лошади, по субботам, выйдя из трактира, колотящие поленом своих жен. Любители погромов и битв студентов, когда понадобится уряднику или свыше, и вожак их, охотнорядец. Некто в приличном осеннем пальто, но его умильный взгляд, остановившийся на мне, был чем-то оскорбителен. Он что-то такое поощрял во мне, что казалось постыдно и неуместно в студентке — спустя две зимы после Красной Пресни и баррикад на улицах...

Домой я пришла со странным чувством стыда вместо умиления. Сестры не было; и чтоб заглушить это вечное подсматриванье за собой, я стала усиленно хозяйничать, убирать, подметать нашу каютку. Но тут на тумбочке между кроватями я заметила книгу. Кто-то побывал у нас (дверь не запиралась, а только задвигалась), ждал, должно быть, зачитался в ожиданье и, уходя, забыл ее. На книге стояло: «Стихотворения» Зинаиды Гиппиус. Мы уже знали от Ходасевича, кто такая Гиппиус. Она жила в Петербурге в своеобразном «ménage en trois» (браке втроем) с Дмитрием Мережковским и Дмитрием Filosoфовым, — и не только писала и печаталась. Втроем они создали новую практику, свою собственную церковь, — с учением, известным как «новое религиозное сознание». Еще полная пережитым счастьем, перешедшим во что-то стыдное, я раскрыла книгу.

Лампа у нас была маленькая, керосиновая — из тех, что назывались тогда «кухонными», — и зажигалась она в подспорье электрической лампочке, висевшей с общего для нашей каюты и коридора потолка. Она давала очень мало света. Хотя керосин в ней был налит доверху, но в эту ночь бедная усталая Лина, как ни была запаслива, прилечь не смогла: очень скоро керосин весь выгорел. Я как безумная уткнулась в книгу. Лина зажгла свечку — догорела и свечка. Тогда она рассыпала перед собой весь запас имевшихся у нас в доме спичек и всю ночь зажигала их одну за другой, пока я читала и читала, забыв обо всем на свете. Передо мной был ответ: соборность, связь общих по духу людей, бог, революция. По Гиппиус выходило, что революция 905 года не могла победить из-за своего безбожия. А я, не отдавая себе отчета, — быть может единственной тогда чертой непосредственности, сохранившейся у меня на всю жизнь, — тянулась к трудовому народу, к простому обездоленному человеку, к справедливой жизни для него и отдаче себя для правды, тянулась всей своей совестью, а совесть и была чувством бога, высшего на-

чала в человеке. И тут вдруг встретились совесть и революция, бог и революция — в единстве сознательном и продуманном, необходимом, изложенном между строк в самой атмосфере очень новых по форме, тонких, умных, необыкновенных стихов...

Утром, когда еще не забрезжило, но потянуло дымком из кухни от раздуваемого самовара, Лина, как была одета, свалилась на постель досыпать свою круглосуточную работу. А я, захватив чернильницу, ручку и бумагу, пошла искать местечко в кухне, где был свет, и написала первое свое письмо Гиппиус. Совершенно не помню, во что оно вылилось, как вообще не помню своих писем, во множестве писавшихся всю мою жизнь — без черновики, без какого-либо пересказа их содержания в дневниках. Написала — и словно тяжесть с души свалилась. Даже усталости не было. В этот же день, отыскав через Ходасевича адрес какого-то петербургского журнала, я послала письмо заказным. Дня через три пришел серо-сизый стандартный конверт, зеленоватая иногородняя семикопеечная марка на нем с двуглавым орлом в середине, — самый обычный конверт, надписанный твердым ясным почерком с уклоном вправо. Это было первое письмо от Гиппиус, а их у меня хранится свыше сотни за три года переписки. И это первое было, пожалуй, таким же по четкости, твердости, власти и выработанной привычке «наставлять», как и все последующие. Я приведу его здесь в главной части, заменив старую орфографию новой.

«Мариэтте Сергеевне Шагинян. Мал. Дмитровка, Успенский пер., г. Феррари, кв. 5, Москва.

24. XI. 08. СПб. Литейный, 24 (или Пантелеймоновская, 27, это одно и то же)

Милая Мариэтта. Ваше письмо было мне очень радостно. Оно такое хорошее, ваше письмо; такое умное и трезвое. Знаете, очень важно, что трезвое. Так это редко теперь. Мне казалось, когда я читала ваше письмо, что вы поняли все, что я... не писала, а гумала и чувствовала, когда писала. Иного ведь написать не смеешь, да и нельзя, а хочешь, чтобы угадывалось. Вы послушали мою душу. И как верно то, что вы пишете о простом, «обыкновенном»...

Прежде я все-таки говорила больше, а теперь чувствую, что надо быть еще скрытнее, надо уметь выявлять тайное... почти молчанием.

Я гумаю, — чувствую сознанием, — что вам близок «Бог», который близок мне и к которому я хочу все больше, еще больше приближаться. Я все слова и мысли вашего письма принимаю, говорю им «да» с величайшей радостью. Да, у вас хорошая молитва, да, не фетиш, но надо «сквозь» земные явления... И «символ» вы понимаете не как все, а шире, более реально; как я понимаю и еще некоторые, мне близкие...»

В первую минуту по прочтении этого письма я почувствовала огромное счастье. В чем-то жизненно необходимом, очень главном, через несколько сот верст (мы считали тогда расстояние на милые русские «версты полосаты», а не на механически звучащие километры), — через всю эту дальнюю даль радищевского из Петербурга в Москву дотронулось до меня дыхание мысли другого живого человека, и это дыхание почти совпало с моим. На днях один из читателей пожаловался мне, что вот-де «с каждым открытием техническая революция как будто облегчает общение людей друг с другом, приближает их носом к носу, скрадывает между ними пространство и время чуть ли не до нуля, а между тем настоящее человеческое общение, дружба, беседа становятся все более и более трудными, недостижимыми, невозможными и скоро вовсе исчезнут. Исчезнут от развития техники, от цивилизации. Заменятся машиной...»,

Это звучит парадоксом. Но в этом — огромная правда. Письменное и личное общение были в прошлом не то что глубже или сильнее — они были *нужнее* и поэтому необыкновенно реальны. Даже через почерк приближался человек к другому без всякой хиромантии: в извилинах букв, в ритме слов передавался характер — через движение руки, не замененное отстуканным на машинке шрифтом, общим для десятков и сотен тысяч людей. Я написала выше словечко «почти» (почти совпало с моим). Видя сейчас прошлое глазами своей старости, я вспоминаю, до мельчайших движений чувств, тогдашнее мое восприятие первого читанного и перечитанного письма Гиппиус. Все — близко, все — родное, словно эхом повторенное, сокровенное состоянье тогдашней моей двадцатилетней души. А в то же время чуть заметный сквознячок иного, не совсем моего, и отсюда это «почти». Сквознячок веял от совершенства гиппиусовской прозы. В те годы даже от писем, какими обменивалась интеллектуальная часть общества, как бы духом эпохи требовался законченный эстетизм, лишенный всякой манерности или вычуря. В духе времени тяга к молчанию, к скрытности, к уменью «выявлять тайное... почти молчанием».

Я чувствовала в законченном эстетизме этих строк — таких дорогих и близких по смыслу — что-то очень верховодящее, высший класс, превосходство, а потому остановившееся, окаменевшее или каменеющее, как и в почерке. Почерк Гиппиус был похож на мой, но в то время как мой, при всей его точной направленности, носил все черточки нервности, нестабильности, поиска, внутренней противоречивости, словно ровная походка человека, идущего по палубе движущегося парохода, Гиппиус всегда писала элегантно-твердым, почти печатно ровным, с густым чернильным нажимом, ювелирно-красивым почерком, неизменным при всяком содержании письма — хвалила или ругала, соглашалась или спорила. В первом же письме передалось мне это устоявшееся в Гиппиус, хотя я ее никогда не видела и не слышала. Огромная полоса жизни — два с половиной года, последовавших за этим письмом, были историей моей безграничной самоотдачи с крохотным, но постоянно растущим уголком сопротивления, пока он не превратился в огромный ком несогласия. Но об этой полосе будет рассказано отдельно, в четвертой книге. А сейчас я вернусь к узловому 1908 году, точнее к его последней трети (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), когда завязались еще два общения, нити которых перепутались и между собой, а в дальнейшем и с петербургской ниточкой Гиппиус-Мережковских.

7

Еще до получения ответа от Гиппиус я сделала наконец то, что следовало сделать много раньше: пошла окончательно оформляться на курсы Герье, куда была принята студенткой историко-философского факультета. Организован был этот факультет позже всех остальных, и шли туда девушки большей частью из зажиточных семей, обеспеченные и не заботившиеся о «завтрашнем дне». Мне же этот факультет казался единственно важным для человека. Он должен был привести в ясную систему весь хаос моих чтений по философии, дать мне ответ на вопросы о смысле жизни, осветить движение человеческого мышления от древнейшего до нашего времени. Перед канцелярией на стене вывешены были программы и проспекты ближайших лекций и семинаров, и какими они все жгуче интересными показались мне, когда я очутилась наконец перед этой заманчивой стеной! Но судьбе было угодно (выражаясь старым вежливым обо-

ротом речи), чтоб к этой стене я попала не сразу, а через некоторый промежуток времени.

Вход на курсы был с угла Мерзляковского переулка, по небольшой наружной лестнице в несколько ступеней. За входным парадным (старое название наружной двери) шла еще лестница на третий этаж. Я взбегала наверх через ступеньки, сжимая в руках документы, а деньги за право учения все еще пряча в ладанке на груди. Взбегала наверх с величайшим счастьем молодости, перед тем как занять свое место в аудитории, полной черных, светлых, рыжих, гладких и вьющихся голов — будущих подружек единственного в жизни людей времени — студенческого. В первые годы Октября вошло в обиход страшное определение: грызть гранит науки. Быть может, оно соответствовало представлению о жесткой крепости науки, которая неискушенному, нетронутому мозгу казалась почти непреодолимой, но даже и в то время оно вызывало протест. А наше старое поколение пришло бы от этой формулы почти в физический ужас. Не зубы, а мозг обтачивался у нас до остроты привычкой к теории, к отвлеченному мышлению — еще с гимназической скамьи. Этот острый мозг тянулся к науке, мог уже входить в науку — как... мне приходит в голову поэтическое сравнение молодых, бессмертных стихов Николая Тихонова, из другой, правда, «оперы», но органически подходящих к случаю:

... Неслышно, как в ночь игла, —
Для иных — чернее чумы,
Для иных — светлее стекла,
Так в Азию входим мы...

В этом тысячи раз по разным поводам повторявшемся в моей памяти, как напев, тихоновском сравнении речь шла о большевистской «игле» — новом, революционном, ленинском откровении, входившем в неподвижный мир полуспящей Азии и пробуждавшем ее народы. Казалось бы, что общего с первым вхождением в науку двадцатилетней молодежи задолго до революции? Но мозг ее был подготовлен войти в науку, он входил в нее остро, разворачивая, пронизывая ее стандарты, прокалывая ее традиции, — и перед молодым, мыслящим, натренированным мозгом мнимый «гранит науки» оказывался мякотью. Так старая школа, старые университеты готовили в истории человечества людей мыслящих, опрокидывавших ее стандарты. Таким кажется мне молодой мозг Ленина в классической гимназии Симбирска. Не этими вершинными точками, разумеется, а только подготовительной натренированностью и жадным стремлением остро входить в предмет — остро входить не как зубы в гранит, а как игла в ночь, — характерен был мозг нашего поколения. Знай я тогда стихи Тихонова (он был в тот год двенадцатилетним мальчуганом), уж наверное я напевала бы их про себя. Но восхождение мое было остановлено на втором этаже.

Между старыми этажами лестничной клетки располагалась довольно большая площадка. И на этой площадке столпились курсистки, что-то разглядывая. Сам старик Герье, чьим именем был назван наш женский университет, был человек консервативный. В мое время только имя его и было известно курсисткам, как, впрочем, и фамилии тех, кто сидел в начальниках. И я не знаю, кто, когда и почему разрешил — и надо ли было вообще для этого разрешение — ту деятельность на площадке перед третьим этажом, которая невольно и неизбежно останавливала будущих курсисток перед канцелярией курсов. В лестничном простенке была развернута заправская книжная торговля. Над широким прилавком и книжными полками белел печатный

плакат: «Религиозно-философская библиотека». На полках и на прилавке ступенчато расположились книжки типа обычных брошюр с указателем баснословно дешевых цен (копейка, две копейки, пять...) и неожиданными перед входом в «храм науки» названьями. Были тут речи Филарета, размышления восточных «Отцов церкви», жития святых, в том числе святой Мариамны, выдержки из писаний Исаака Сириянина, из писем апостола Павла — в общем, труды теоретиков православия, подобранные, как материал для пропаганды, небольшими брошюрочными порциями.

Хозяин этой книжной лавки находился тут же. Входная дверь внизу все время хлопала, впуская новых и новых посетительниц, а вместе с ними и морозную струю поздней московской осени. На площадке и лестницах стоял почти уличный холод, все мы были в пальто, и сидевший у своих полок человек тоже был в пальто с бархатным осенним воротником. По бархатному воротнику я сразу его узнала — это был вчерашний сосед в церкви, умиленно посмотревший на меня. Так состоялось мое знакомство с издателем и составителем «Религиозно-философской библиотеки» Михаилом Александровичем Новоселовым.

Станным образом память совершенно не сохранила мне его облика. Человек, имевший огромное влияние на мою жизнь, общавшийся со мной полтора года, введший меня в определенный круг тогдашней интеллигенции, ничем — ни глазами, ни даже цветом волос — не запомнился, кроме вот этого воротника, полноты и невысокого роста. Правда, память на лица всю жизнь была у меня очень плоха. Но все же рыжего мальчика Глеба помню и сейчас как живого. И первую свою любовь, худенькую темнокудрую девочку Раю с руками в бородавках, потому что она любила лягушек, брала их в руки и засовывала себе в кармашки — а поэтому казалась мне загадочной, как из сказки, — я тоже ясно представляю себе сейчас, хотя мне было в пору наших встреч на «кругу» бульвара против Петровской больницы всего четыре года. Но Михаила Новоселова вспомнить совершенно не могу, словно это странное круглое белое лицо без черт, без глаз, как в фильме Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». И больше того — я не удосужилась в те месяцы близкого общения, даже познакомившись с его матерью, узнать или услышать от его близких, какого он «роду-племени» если не в буквальном, то в общественном смысле — откуда, из какой партии или мировоззрения вышел, кем был и кем стал. Только сейчас, готовясь к третьей книге воспоминаний, я открыла для себя Новоселова, но об этом позже. Здесь нужно мне покаяться перед читателем: в одной из своих последних книг, вспомнив встречу с Новоселовым, я по ходу рассказа должна была коснуться и его внешности — и слегка сфантазировала, сделав его похожим на Пиквика. Но это было воображаемое, придуманное сходство. На самом деле, как вот сейчас, из всех сил напрягая память, я не могу вспомнить ни его лица, ни даже его голоса.

Не знаю, какой мелкий бес толкнул меня остановиться тогда на площадке возле книжных полок, совсем не заманчивых. Может быть, мелкий бес стадности или, еще хуже, особой опасной уступчивости. Мне кажется, человек теряет чувство внутренней свободы только от одной-единственной вещи — от ф а л ь ш и. Если фальшь происходит даже помимо его желанья, но он ей не противится, допускает ее вместо объективной реальности отношений, он утрачивает драгоценное чувство хозяина над собственной своей личностью. Поэтому, если в потере внешней свободы человек уступает внешней силе, то в потере внутренней всегда и только виноват он сам, потому что уступает своей собственной внутренней слабости. Новоселов

видел меня в церкви у всенощной — молоденькую, верующую, дважды тихонько подбегавшую под благословенье, и, естественно, вообразил церковницей. А я никогда не была церковницей, никогда не думала о церкви, не нуждалась в ней и выросла вне ее.

Отец, атеист, не позволял нас с сестрой водить в церковь, и мы никогда не были в детстве в армянской церкви. Чтоб получить аттестат зрелости по окончании гимназии, надо было сдать среди прочих предметов обязательный закон божий; но инаковерующие приносили из дому свидетельства о «сдаче» от своих священников — немки от пастора, еврейки от раввина, а мы, армянки, от нашего армянского священника Попова, персоны значительной и уважаемой среди московских армян. Он ездил к нам только раз в неделю, по воскресеньям, еще когда мы были в младших классах. Крупный, благообразный, в шуршащей шелковой рясе, с холеными пухловатыми руками, пахнувшими туалетным мылом, он сморкался в большой белый платок, от которого несло морозом, и преподавал с увлечением. От него осталось у нас уважение к армянским буквам, писать которые было все равно что рисовать или чертить, с несколькими ч, ц, дз, тз, тц, дц. Упирая язык в нёбо, мы с трудом усваивали разницу между ними. А бархатистый бас Попова любовно поучал о больших достоинствах древнего армянского языка «грапара» (соответствовавшего церковнославянскому), его точности, его преимуществах перед «ашхарапаром», современным литературным языком Армении. Эти красивые басистые рассужденья да старательно заученная молитва «Хайр мэр» («Отче наш») — вот все, что осталось от его уроков, да еще свидетельство, что мы «сдали», приложенное к выпускным отметкам.

Церковь была для нас скорее предметом архитектуры, образом особого здания, чем духовным понятием; и с ней я никогда не связывала своего религиозного чувства, жившего во мне подобно природным потребностям в еде, пище, движении, ритме и музыке. Зашла я в тот вечер в церковь, как на протяжении долгой жизни заходила и позже в нее, именно как в здание, из охоты побыть с людьми, стоящими вместе, локоть к локтю. И самым естественным было бы для такой, как я есть, послать Новоселову улыбку узнанья, ничего не значащую, и пробежать наверх не останавливаясь. Тогда не возникло бы того длительного фальшивого отношенья, в котором виновата была единственно я сама, — виновата в собственной фальши, да еще не простой, а с ее долгими, ненужными, съедавшими время отрезками. Чтоб отчасти оправдать себя в собственных глазах за сделанную фальшь и вернуть утраченное чувство внутренней свободы, я почти год изо всех сил старалась действительно заинтересоваться «отцами восточной церкви», сущностью православия, его значением для русской культуры, русских писателей и особенными путями развития «православной Руси» в ее отличии от «пагубных западных церквей».

Итак, я не побежала наверх, не послала человеку у книжного прилавка ни к чему не обязывающую вежливую улыбку. Вместо этого я остановилась на площадке и стала покорно отвечать на вопросы, чувствуя себя уступающей, уступающей, теряющей свободу, точь-в-точь как в детстве перед девочкой Верой К., требовавшей, чтоб я поклонилась ей из зеркального окна бельэтажа нашей мнимой квартиры. Сперва это были вопросы, как зовут, какой национальности, какой веры, что именно выбрала слушать на курсах, знаю ли философию Макария Египетского, знакома ли с речами Филарета, с житием моей «одноименницы» святой Мариамны (я была крещена Марианной), не хочу ли заглянуть в них. Потом осторожный вопрос, как я отношусь к бывшему террористу Льву Тихомирову, пришед-

шему, во спасение его души, к матери-церкви? (То есть не из революционерок ли я сама? А я в то время и понятия не имела, кто такой Лев Тихомиров, да и сейчас не знаю, был ли он жив в те дни...) Постепенно в руках моих скопилось несколько десятков брошюр, и на испуганное уверенье, что денег не хватит, Новоселов только улыбался. Мимо нас бежали наши «философички», тоже на секунду оставившись. Когда я наконец двинулась вверх, неся обеими руками свою книжную ношу, меня с завистью окликнула одна из них: «Во-от сколько накупили!» А я получила их все даром. В подарок!

Новоселов стал приходить к нам в гости. Сперва его несколько шокировала мадам Феррари: она его встретила как раз после принятия своего «лекарства», с рычащей собачкой у подола, с повязанной полотенцем наподобие чалмы только что вымытой головой. Потом он умилился нашей каюте, нашей «апостольской» бедности. Из-за своей полноты, раздвигая дверь, он втискивался к нам бочком, и если не заставал нас, то на тумбочке как-то очень скромно, на самом краешке, было оставляемо очередное подношение. У Елисеева тогда продавали деликатесы — греческие маслины или крымский, пересыпанный мелкими пробочными опилками виноград в белых картонных коробках. Так вот, белела в уголку, непременно початая, белая картоночка. Или, тоже вскрытая, длинная плоская цветная коробка с финиками от «Яни Панайота» — был в Москве такой румынский или греческий магазинчик. При встрече, непременно ласковым голосом, объяснялось, что вот были у матери гости или ездил третьего дня к старцу в Оптину пустынь, захватил божью пищу — маслин, — а съестъ не успел.

Но главным подношением были письма. Новоселов не просто писал эти письма. Он начинал издали, с апостольских времен, или поближе — с века «отцов» и Симеона Столпника. Наследие «отцов» он обычно препарировал добрыми словами о моей жажде научиться и приобщиться, о моем редком даре чистоты и смирения, а вот такой-то отец церкви обращает свою духоносную речь именно к такой жаждущей душе, как моя, — и вслед за этим следует длинейшая цитата из Макария Египетского, из посланий апостола Павла или Исаака Сириянина. Разумеется, это письменное общение падает уже на 1909 год. Когда мы с сестрой уезжали на побывку к матери, письма шли в Нахичевань-на-Дону.

Я приведу несколько отрывков из этих писем. Новоселов цитировал восточных отцов из первого тома «Добротолубия», из газеты «Церковные ведомости»; апостола Павла — из Евангелия, издававшегося тогда с апокалипсисом, посланиями, псалтырем. Разворачиваю пожелтевшие страницы из тетрадок в клетку, сплошь исписанные его энергичным крупно-буквенным почерком с легким наклоном влево, — и вся смесь чувств, с какими они тогда прочитывались мной, поднимается, как тошнота, к горлу:

«Вышний Волочок Тверск. губ. 21/6 1909.

...«Как и почему извратился спасительный путь внутренне-опытного богопознания?» Вот как отвечает на этот вопрос преподобный Макарий Египетский:

«К нему (праотцу) нашло доступ и побеседовало с ним лукавое слово: Адам сначала принял его внешним слухом, потом оно проникло в сердце его и объяло все его существо... Со времени Адамова преступления душевные помыслы, отторгшись от любви Божией, рассеялись в веке сем и смешались с помыслами вещественными и земными... Зло до того возросло в людях, что помыслили, будто бы нет Бога... Были праздные мудрецы в мире: одни из них показали свое превосходство в лобомудрии, другие удивляли упражнением в софистике, иные показали силу в витийстве, иные были грамматиками и стихотворцами и писали по принятым пра-

вилам истории. Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах. И все они, обладаемые поселившимся внутри их змием и не сознавая живущего в них греха, сделались пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своего знания и искусства»...

Вся культура от лукавого! Платон, Гомер, Леонардо да Винчи, Бетховен, Гегель, Гёте, Пушкин были одержимы змием-дьяволом, и все созданное ими не принесло пользы ни им самим, ни человечеству. А что принесло пользу? Стояние в столпе? Созерцание своего пупа? Читатель, уже знакомый с моей молодостью по воспоминаниям, дивится, наверное, как я могла всерьез заниматься таким мракобесием. А я еще и не тем занималась. Макарий по сравнению с Исааком Сириянином был еще либералом. Что-то человеческое проглядывало в его грозном перечислении любомудров, витийцев, грамматиков и разных стихотворцев. Даже синтаксис напомнил мне отчасти выступление Ломоносова к его грамматике, читанное нам в гимназии нашим вдохновенным Иваном Никаноровичем. Исаак Сириянин был строже. Цитаты из него пестрели в письмах Новоселова, а самой первой была такая:

«Как невозможно переплыть большое море без корабля и ладии, так никто не может без страха достигнуть любви. Смердное море между нами и мысленным раем можем перейти только на ладье покаяния, на которой есть гребцы страха. Но если сии гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим к Богу, то утопаем в этом смердном море. Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий, любовь же — божественная пристань. Поэтому страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смердному морю жизни и путеводит к божественной пристани...»

Страх, по Сириянину, — путь к богу. Хотя слово «любовь» склонялось восточными отцами чуть ли не в каждой фразе, но путь к этой божьей любви лежал через страх и страхом заполнены «ладьи» и «корабли», везущие через «смердное море», а это смердное море — человеческая жизнь, творчество, борьба, культура, познание. Страх божий оказывался сильнее любви, страх божий был условием спасения, — и темные полотна византийских икон я начинала понимать лучше и яснее через эту «идеологию страха». А на Западе солнечные фрески Фра Беато, дивные жанровые сценки эпохи кваттроцента, где святой Иосиф мирно орудует рубанком, маленький Христос таскает щепки, Мария, склонивши голову, шьет. Каждая церковная идеология отразилась в своей религиозной живописи. Да, я возилась со всем этим, и уже не лицемерно, не для того, чтоб искупить свою фальшь, с которой остановилась у прилавка Новоселова. Именно «натренированный мозг», привычная любознательность, мысль — «неслышно, как в ночь игла» — остро входила в материал, поступавший ко мне для «поучения», а читавшийся мной для исследования.

Как я выше уже призналась, еще задолго до курсов, часами сидя под зеленым абажуром тогдашней Румянцевской библиотеки, я переписывала в свои голубые ученические тетрадки католические «Жития святых» — огромные томища *Acta Sanctorum*. Мне нравилась средневековая латынь, нравилась ее музыка, напоминавшая Баха: еще не мелодичная итальянская речь, но уже не выжженно-сухой, окаменелый латинский классицизм, — еще не мелодия Моцарта, но уже не суровое церковное песнопение. Я чувствовала движение в этой «испорченной» латыни — движение к будущему, к рыцарским романам, канцонеттам, разветвляясь на французский, итальянский. С наслаждением наизусть выучила поэтичную страничку из «Исповеди» Августина Блаженного, и кусочек из нее был взят мной как

эпиграф в самой ранней книге моих стихов, вышедших в 1909 году («Первые встречи». Москва). Правда, средневековую латынь я почти не знала, а старинный русский, на который были переведены восточные «Отцы церкви», изучала, как и церковнославянский, еще в гимназии, но все-таки можно было сравнивать, и я сравнивала. Не строение синтаксиса, не устаревшие, вышедшие из обихода слова, не громоздкие эпитеты и выраженья, заимствованные из Библии, а что-то другое вне их, сквозь них, над ними — некую направленность языка, одного из орудий мысли.

Когда, например, я читала у Августина. «Cum vero etiam de coelis te laudant, laudant te, Deus noster, in excelcic omnes angeli tui, omnes virtutes tuae, sol et luna, omnes stellae et lumen, coeli coelorum, et aquae, quae super coelos sunt, laudant nimen tuum...»², то выраженье «небо небес и воды, которые над небом суть, хвалят имя твое» не казалось мне архаическим. Наоборот, в нем виделось что-то из поэзии будущего, из Вильяма Блейка, например. А вот при чтении Сириянина: «Но если сии гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего приходим к Богу, то утопаем в этом смрадном море», — тоже припоминалась поэзия, но другого типа. Блейк был революционер мысли, образа, душевной настроенности. Как я уже написала выше, одно из его странных и, казалось бы, далеких стихотворений стало гимном нынешнего английского рабочего класса³. А мрачные строки Сириянина по своему словарю напоминают стихи Хомякова, дух и фразеологию славянофильских идеологов, они — реакционны. Они были реакционными даже для своего времени, при всей их критике «смрадного моря».

Пока я возилась с книжками Новоселова, пропуская лекции на курсах, Лина прилежно посещала их. Она выбрала исторический факультет. Она тоже сразу же увлеклась превосходными лекциями Дмитрия Моисеевича Петрушевского по средневековому землепользованию. Вечером, сходясь у чашек с кипятком (заварного чая не было), мы делились своим «рабочим днем», и она могла увлекательно рассказывать о разнообразных «прекариях», формах этого землепользования, аппетитно, словно сахар грызя, произнося свои «*precaria data*» и «*precaria oblata*»⁴. Но описывая их, она всякий раз ухитрялась, словно стеклянную крышку сдвигала с них, знакомить меня с сидевшими внутри этих латинских ячеек живыми средневековыми крестьянами, земледельцами; то военными рабами, то полу- или целиком закрепленными, то постепенно становившимися рабами — в бесконечном разнообразии своих обязанностей, не меньшем, чем средневековый рабочий в своих цехах. Лина имела удивительный дар под каждой отвлеченной вещью, под каждым термином видеть живого человека. А если речь шла о современности, об окружающих нас людях, она очень живо разгадывала их характеры, запоминала мимику, говор, любимые словечки и выраженья и передавала это мне в разговоре. Я всегда чувствовала скрытую ее заботу заменить мой падающий слух передачей всего того, что я не могла услышать сама. Все вокруг нее, и сама она, дышало простым человеческим оживлением и свежей, как горный воздух, внутренней свободой, утрачен-

² «С небес тебя хвалят, хвалят тебя, господь наш, все ангелы твои, все добродетели твои, солнце и луна, все звезды и свет, небо небес, и воды, что за небом суть, хвалят имя твое...»

³ Из предисловия Макса Плумена к английскому изданию Блейка в серии Everyman's Library № 792. «Blake's Poems and Prophecies».

⁴ «*Precaria data*» — когда по просьбе кого-нибудь землевладелец выдает ему участок земли с правом отнять его в любое время; «*precaria oblata*» — когда владелец маленького участка передает его крупному владельцу и взамен утраты земли получает покровительство и помощь.

ной мною самой, барахтавшейся в надуманных, неверных отношениях с Новоселовым. Дело дошло до того, что я как-то с пафосом принялась говорить ей о превосходстве православной церкви над западными церквями, о народности ее служб, о простоте ее быта, о глубине ее проникновения в грешную душу человеческую и о спасении этой грешной души путем...

— Да не перейти ли мне в православие из армяно-грегорианства, которое, в сущности, мы совершенно не знаем?

У Лины было прирожденное свойство никогда не накидываться в споре на противника и совершенно ничему не удивляться, о чем бы ей вдруг ни объявили. Она спокойно ответила, хотя я чувствовала, как она содрогнулась внутренне при этой моей фразе:

— А ты не обратила внимания на особенность сектантства в православии? По-моему, наши православные секты как-то антиобщественны, то есть изолированы, оторваны от истории,— одно хлыстовство чего стоит! А прыгуны! Я не изучала, но даже на простой взгляд видно. И какое в православии подчиненье, поддержка правительства, шли во главе карателей, взяли у Христа не лучшее, не передовое, а вот эту власть от бога, кесарево кесарю. Смирениемудрие. А если сопротивленью, то какой кавардак из-за неслыханной ерунды — двоеперстия или троеперстия, подумай только! Где тут социальная идея? Где хотя бы народность? И такое же изуверство, как в католичестве. Помнишь — у Достоевского рассказ о девушке, старике и молодом жильце, полюбившем девушку? Старик сектант, изувер, страшное изуверство, власть над слабой душой. Иезуитизм, вывернутый наизнанку...

Лина моя задумалась — это был ее любимый у Достоевского рассказ, потому что нигде у него, как она говорила, не было такого изумительного чутья краски, такой живописности, как в этом рассказе: хотя бы описание голубого салопа у девушки в церкви. А я, мгновенно сливаясь с ходом ее мысли, как это всегда у нас делалось, схватилась за идею о сектах, чтоб судить о церквях по характеру их сект, о яблоне — по яблокам. Смирение — даже у духоборцев, близких к толстовству; социальный формализм, вообще — гипертрофия формы: скопцы, прыгуны, хлысты, старообрядцы — особенно старообрядцы, не скрывающие своей сути даже в самом названии, — главная секта православия. Узел связи между сообщниками — не столько идея, сколько форма.

У нас в то время еще не родилось словечко «формализм» в его теперешнем порицающем смысле — разве что в отношении чиновников и соблюдения одежды по чину, — и сейчас, когда я додумываю наш с Линой разговор, — в самом деле, какой был жуткий формализм в старой, допетровской русской истории, в русском сектантстве: бороды, боярское рассаживание за столом, местничество, складывание пальцев — двумя или тремя... Да не затопчут ли за такие мысли как за вольнодумство? А какое это слово, наше, русское, наверно с немецкого переведенное, но получившее совсем неожиданный, совсем обратный оттенок... «Вольнодумство». Нет! С немецкого у нас правильной переведено: «свободомыслие», и это хорошее слово, в похвалу. Кто же и когда пустил в оборот это жуткое, полицейское, осудительное, с обещаньем не оставить без последствий, ни в одном языке с таким оттенком не прижившееся слово «вольнодумство»?

Ухватясь за мысль о сектах, я немедленно засела в Румянцевке за пыльные тома теологии, за историю Византии, историю церковей, русские «Святцы», православных «Отцов церкви», «Добротолубие». Погрузившись в книги заинтересованным, сравнивающим, вольнодумным своим юношеским мозгом, я совсем забыла о жизни сердца,

верней, вдруг почувствовала в том месте, где была восторженная, открытая всем лучшим человеческим чувствам теплота любви к людям, полное какое-то равнодушие. Куда ушла эта любовь к «малым сим»? Жажда борьбы за лучшее будущее для них, для тех, кто трудится, кто обездолен на земле? Та самая теплота любви, согревавшая сердце, дававшая смысл жизни, которая и толкнула меня засесть за «Добротолубие», за чтение тех, кто взял монополию на исцеление души человеческой. Не было ни добра, ни любви в том, что я читала. Сердце оцепенело во мне, как мертвеет иной раз бабочка на цветке, ящерица на сухом камне.

Очнувшись от теологических раздумий и почувствовав вдруг это странное оцепенение сердца, я с ужасом вспомнила, что еще до разговора с Линой, в один из приступов своего подчиненья Новоселову, я послала ему письмо... послала письмо очертя голову, где все та же чудовищная фраза о переходе из армяно-грегорианства, которое так мало знаю, в православие, которое, как я узнала, такое «близкое народу», такое «простое в быту», такую дает людям душевную помощь и умиление, когда тяжела, непосильна ноша народная... Вспомнив об этом письме, я чуть ли не рассыпала все теологические тома, кирпичами высившиеся по обе стороны моего стола в библиотеке, — до того судорожно вскочила с места. Что я наделала! Забыла! И не опровергла тотчас следующим письмом! А возмездие ждало меня, возмездием было ответное письмо Новоселова, пересланное мамой из Нахичевани-на-Дону, куда мы с сестрой чуть запоздали выехать.

Новоселов писал мне (ужас и конфуз!):

«4 июля 1909. День свв. Андрея, еп. Критского и Марфы.

Со слезами радости, хотя и не без тревоги, прочитал я сейчас дорогие строки Ваши. Со слезами благодарности помолился Подателю великой милости, о которой известило меня Ваше письмо. Дорогая моя, хорошая! Забудьте все, Петербург, Москву, нас и устремитесь вниманием туда, куда зовет Вас Господь! Время ли говорить о городах и об отдельных людях, когда сердце почувствовало так ясно призыв на вечерню Господню?!»

И дальше все шло до конечных слов «молитесь обо мне», — это мне молиться о других, когда фальшь отношений, как мутная вода, поднялась к самому горлу, превратившись в фальшь к самой себе, в оболганье себя, оболганье всего лучшего в себе, но: было ли вообще это лучшее во мне или просто безответственная путаница темпераментной девчонки, не знающей, куда деть избыток своей энергии?

(Продолжение следует)



ГЕНРИХ БЁЛЬ

★

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ*

Роман

VIII

Авт., который теперь полностью вошел в роль следователя (и постоянно подвергается опасности быть принятым за вульгарного шпика, хотя у него только одно намерение, одно-единственное: представить в истинном свете столь молчаливую, скрытную, гордую и погрязшую в заблуждениях натуру, как Лени Груйтен-Пфейфер, личность воистину сложную по структуре и достойную воплощения в скульптуре!), — так вот, авт. не без труда разузнал и изучил более или менее досконально положение всех действующих лиц в последние дни войны.

Персонажи, представленные с той или иной полнотой и процитированные на этих страницах, видимо, были едины только в одном: они не хотели уезжать из города. Даже советские военнопленные не хотели, чтобы их гнали неведомо куда. Ввиду того что к городу приближались американцы (Лени в разговоре с Маргарет: «Пора, давно пора, сколько времени они проваландались понапрасну»), ясно было, что в этой местности войне конец; конца этого все жаждали, но в возможность его никто не верил. Начиная с 1 января 1945 года одна проблема была снята — проблема близости Бориса с Лени. На седьмом месяце беременности Лени держалась «молодцом» (ван Доорн), но все же была связана своим положением, поэтому ни о какой близости с Б. «не могло быть и речи» (Лени по словам Маргарет).

Но как и где пережить последние дни? Теперь об этом легко говорить. А тогда каждому приходилось скрываться от всех. Об этом не надо забывать. Маргарет, например, собирались переправить вместе с госпиталем на другой берег Рейна и эвакуировать на восток: будучи сестрой, она должна была подчиняться приказам, как и все военнослужащие. Эвакуироваться Маргарет не пожелала, но и скрываться у себя дома не могла, ее бы оттуда выдворили силой. Лотта Х. находилась в аналогичной ситуации — она служила в государственном учреждении, которое также перебазировали на восток. Куда же ей было деваться? Заметим, кстати: еще в январе 1945 года людей везли почти до самой Силезии, где они немедленно входили в соприкосновение с наступающими частями Красной Армии. Здесь следует, на наш взгляд, привести одну краткую географическую справку: к середине 1945 года неоднократно упоминавшийся выше германский рейх занимал территорию шириной в восемьсот—девятьсот километров и длиной ненамного больше. Вопрос «куда?» был чрезвычайно актуален для самых различных слоев населения. Куда деваться нацистам? Куда девать военнопленных? Куда — немецких солдат? Куда — рабов? Конечно, существовали испытанные способы — повесить и т. д. Но и с этим было не так просто, как кажется. Дело в том, что сами

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 2, 3, 4 с. г.

вешатели придерживались разных точек зрения; некоторые из них охотно переменили бы ампулу и превратились бы даже в спасателей. Многие принципиальные вешатели стали прямо-таки принципиальными противниками виселиц. Как же должны были вести себя их потенциальные жертвы? Назовем их для ясности «недоповешенными». Да, все было непросто! Задним числом кажется, что конец войны с неба свалился, пробил час — и все! В жизни было иначе. Разве человек мог знать в ту пору, в чьи лапы он попал — в лапы раскаявшегося или нераскаявшегося вешателя? А вдруг он и вовсе оказался в руках вновь возникшей категории вешателей, которые считали, что «вот-теперь-то-и-надо-убивать-по-настоящему»; причем часть из этих людей до той поры принадлежала скорее к категории антивешателей. Появились даже целые эсэсовские учреждения, которые боролись против своей репутации вешателей. До нас дошла переписка между СС и победоносным немецким вермахтом, из которой следует, что они спихивали друг другу мертвецов, словно это был картофель с гнильцой. Уважаемые личности и инстанции обвиняли своих адресатов в «устранении» и «ликвидации» целых людских контингентов, ибо сами они — так же, впрочем, как и их адресаты, — хотели вовремя умыть руки и относительно чистенькими прибыть к тому берегу, который ошибочно именуют миром, а в действительности это всего лишь конец войны.

* * *

Авт., например, прочел нижеследующий документ:

«Коменданты концентрационных лагерей приносят жалобы на то, что приблизительно от 5 до 10% всех присылаемых для умерщвления русских прибывают к месту назначения мертвыми или полумертвыми. Поэтому создается впечатление, будто концлагеря ликвидируют соответствующих заключенных именно вследствие вышесказанного.

В частности, установлено, что при пеших переходах, напр. от вокзала к лагерю, немалое число военнопленных падают мертвыми или замертво по причине полного истощения, и их приходится подбирать машине, следующей в конце колонны.

Эти факты невозможно сохранить в тайне от немецкого населения.

Несмотря на то, что подобные транспорты пленных, как правило, организуются вермахтом, население все равно относит упомянутые выше факты на счет СС.

Дабы избежать в будущем возможности подобных упущений, приказываю принять безотлагательные меры к тому, чтобы вызывающие особое подозрение русские военнопленные, т. е. военнопленные, заведомо находящиеся при смерти (напр., в состоянии острой дистрофии) и непригодные даже для самого короткого пешего перехода, были в дальнейшем в обязательном порядке освобождены от транспортировки в концлагеря для последующей ликвидации.

Исполняющий обязан. Мюллер».

Читателю предоставляется право поразмыслить над выражением «падают замертво» в применении к смертникам... Но факт остается фактом: уже в 1941 году существовала «проблема умерщвления», а ведь тогда германский рейх был еще достаточно велик. Четыре года спустя германский рейх стал, черт подери, куда меньше, а ликвидировать и умерщвлять приходилось не только русских, евреев и т. п., но и довольно значительное число немцев — дезертиров, саботажников, коллаборационистов и т. д.; кроме того, надо было вывозить концлагеря и эвакуировать из городов женщин, детей и стариков: ведь врагам решили оставить одни развалины.

* * *

Разумеется, возникли также проблемы морального и гигиенического порядка...

«Взятчники «старосты» нередко поднимали и поднимают среди ночи

заранее намеченных ими лиц из числа квалифицированных рабочих и держат их взаперти в подвалах до последующей отправки. Ввиду того что рабочим и работницам часто не оставляют времени на сборы, многие обученные рабочие прибывают в лагеря-коллекторы для квалифицированной рабочей силы без должной экипировки (без обуви, смены одежды, миски и кружки для еды и питья, без одеяла и т. д.). В особенно вопиющих случаях вновь прибывших приходится незамедлительно отсылать обратно, чтобы исправить допущенную оплошность и дать возможность захватить с собой самое необходимое.

Избиения и истязания квалифицированных рабочих вышеозначенными «старостами» и «полицаями» в тех случаях, когда указанные рабочие не подготовились к отправке достаточно быстро, — обычное явление, о них сообщают из большинства общин; женщин избивают до такой степени, что они уже не могут перенести транспортировку. Об одном особенно недопустимом случае я сообщил офицеру полиции (господину полковнику Замеку) с целью наложения строгого взыскания на виновного (селение Соколиново, окр. Дергачи).

Произвол «старост» и «полицаев» имеет далекоидущие последствия ввиду нижеследующего: упомянутые лица в свое оправдание ссылаются в большинстве случаев на германский вермахт, утверждая, что они якобы действуют по его поручению. Однако последний почти повсеместно проявляет к квалифицированным рабочим, равно как и вообще к населению, исключительное понимание. К сожалению, нельзя сказать то же самое о некоторых органах германской администрации. Для иллюстрации вышесказанного следует упомянуть, что однажды в лагерь-коллектор прибыла женщина, не имевшая на теле ничего, кроме нижней сорочки».

«Основываясь на полученной информации, следует указать на недопустимость содержания рабочих в запертых вагонах в течение многих часов, в итоге чего последние не могут даже удовлетворить свои естественные надобности. Транспортируя рабочую силу, необходимо учесть, что люди через определенные промежутки времени должны запастись питьевой водой, мыться и справлять нужду. Известно, что в некоторых вагонах рабочими были проделаны отверстия для удовлетворения своих естественных надобностей. Однако не рекомендуется давать разрешение покидать вагоны для удовлетворения естественных надобностей при приближении к крупным ж/д узлам; по возможности люди должны совершать указанное подалее от упомянутых узлов».

«Поступили сообщения о беспорядках в дезинсекционных камерах; мужской персонал, а также просто посторонние мужчины находятся в помещениях женских душев, помогая даже при намыливании женщин или, соотв., девушек. Такие же случаи нарушений имеют место и в мужских душах, нередко обслуживаемых женским персоналом. Далее известно, что в женских душах немецкие военнослужащие занимались фотографированием. Поскольку в последние месяцы в основном проводилась транспортировка украинского населения, следует указать, что женская половина этого населения отличается нравственным здоровьем и воспитана в строгих правилах; ввиду вышеизложенного состояние дел в дезинсекционных камерах надо рассматривать как совершенно ненормальное, оскорбляющее национальное чувство транспортируемых. Указанные беспорядки были, согласно нашим сведениям, устранены в результате вмешательства ответственных за переброску рабсилы. О фотографировании сообщено из Галле, о случаях, упомянутых выше, — из Киверце».

Неужели сексуальный взрыв произошел уже в те давние времена? И неужели некоторые фотографии, которые подсовывают нам сейчас, немцы нацеливали в «вошебойках» для восточноевропейских рабов?

Необходимо раз и навсегда понять, что завоевание целых континентов или даже миров отнюдь не такое простое дело. И что у завоевателей возникали свои

проблемы, которые они хотели решить с чисто немецкой основательностью и которые они с чисто немецкой педантичностью заносили в соответствующие бумаги. Никакой импровизации! Естественные надобности остаются естественными надобностями! И негоже, чтобы люди, которые предназначены для казни, прибывали на место казни уже трупами! Это свинство! С этим надо покончить! Негоже, чтобы в «вошебойках» мужчины намыливали спину женщинам, а женщины — мужчинам! И чтобы все это фиксировалось на пленке! Не пойдет! При таких нарушениях неохранишь в чистоте ни руки, ни фотопленку. Как жаль, что деятельность немцев, которая «сама по себе» была, по их мнению, вполне корректной, осквернили развратники и нравственные уроды!

Поскольку трупный спор, то есть спор о трупах, стал типичной приметой классической современной войны и поскольку давно известно, что развратники и нравственные уроды только тем и занимаются, что лезут к женщинам и фотографируют их в голом виде, мы не станем утомлять читателя дальнейшими сообщениями подобного рода.

Вернемся к нашим героям. Каким образом и где могли пережить это время отдельные действующие лица: беременная Лени, сверхчувствительный Борис, энергичная Лотта, чересчур жалостливая Маргарет, червь Грундч и Пельцер, который «никогда не был извергом»? И что произошло в марте 1945 года с нашей Марией, с Богаковым, со старым Груйтенем и со многими-многими другими?

* * *

Прежде всего отметим, что под новый, 1945 год у Лени по милости Бориса возникли совершенно непредвиденные осложнения; сама Лени о них не упоминает, Маргарет рассказывает подробно, Лотта и Мария ничего о них не знают.

Между прочим, за Маргарет установили строжайшую слежку, чтобы авт. не мог передать ей тайком что-нибудь недозволенное. (Врач в разговоре с авт.: «Пациентке необходимо поголодать четыре-пять недель. Понимаете, без этого мы не сумеем привести в порядок — хотя бы в относительный порядок — ее эндокринную и экзокринную систему; в данный момент организм больной настолько расстроен, что я не удивлюсь, если из ее грудных желез потекут слезы, а из носа — моча. Итак, разговаривать с ней я разрешаю, приносить что-либо запрещаю».) Маргарет, которая уже привыкла к полному воздержанию и даже уповала в связи с этим на исцеление, сказала авт.: «Денежек вы мне все же оставьте. (Авт. так и сделал!) Ну вот, в то время я просто возненавидела Бориса, готова была растерзать его. Рассказала я ему об этом много позже, когда мы вместе скрывались и я с ним познакомилась. Он был таким умницей, таким тонким человеком... Ну вот, в конце сорок четвертого — кажется, это случилось на рождество или, может, это было в начале сорок пятого, на крещение, но никак не позднее — Лени явилась домой с новым именем. Она, правда, знала, что на сей раз речь идет о писателе, к тому же умершем. Слава богу, нам не пришлось висеть на телефоне и справляться, кто он такой. Одним словом, Лени опять задалась целью достать никому не известную книгу. Автора звали Кафка, а книгу — «В исправительной колонии». Познакомившись с Борисом, я спросила его: неужели он и впрямь не понимал, какую кашу заваривает? Разве можно было рекомендовать Лени в конце сорок четвертого(!) писателя-еврея? И Борис ответил: «Да, я совсем забыл об этом! Слишком многое надо было обдумать и решить в ту пору». И вот Лени снова помчалась с запиской в библиотеку — одна библиотека чудом еще работала, и, на счастье, в ней сидела довольно разумная пожилая дама, которая взяла записку, разорвала ее на мелкие клочки, отвела Лени в сторону и слово в слово повторила то, что сказала настоятельница монастыря, когда Лени пристала к ней с ножом к горлу насчет Рахели. Вот что сказала библиотекарьша: «Неужели, детка, вы совсем лишились разума? Кто же это послал вас просить в библиотеке такую книгу?» Но, вы не поверите, Лени и тут не унялась. Пожилая дама, конечно, сразу смекнула, что имеет дело не с провокатором; она отвела Лени еще дальше в уго-

лок и ясно объяснила, что этот Кафка был еврей и что его книги запрещены, сожжены и так далее. Могу поклясться, что Лени опять задала ей свой дикий вопрос: «Ну и что?» И тут библиотекаря, очевидно, объяснила ей, хоть и с большим опозданием, но очень обстоятельно, что произошло между нацистами и евреями. И показала Лени «Штюрмер» — эта газета в библиотеке, разумеется, имелась, — показала «Штюрмер» и еще раз все разжевала. Лени страшно возмутилась. Наконец-то она поняла что к чему. Но и тут она не сдалась. Она, видите ли, желала получить своего Кафку, чтобы прочесть его. И она его получила. Недолго думая она поехала в Бонн; решила разыскать нескольких профессоров с большими библиотеками; этим профессорам отец Лени когда-то строил дома. И в самом деле она набрела на одного чудака семидесяти пяти лет; старичок вышел на пенсию и день-деньской копался в своих фолиантах. Знаете, что он сказал: «Неужели, детка, вы совсем лишились разума?.. Именно Кафка? А почему не Гейне?» Чудак проявил к Лени большое участие, вспомнил и ее и папашу, но у него тоже не было этой книги. Пришлось ему обратиться к коллеге, потом к другому; и совсем не так скоро нашелся человек, который доверял ему, которому он сам доверял и у которого к тому же была эта книга. Да, это оказалось вовсе не так просто, весь день прошел в поисках, уверяю вас; она явилась домой глубокой ночью, но с книгой в сумочке. Да, это оказалось непросто, ведь они должны были разыскать человека, которому доверял профессор и который доверял профессору. Ко всему прочему, этот человек должен был довериться Лени, иметь книгу и выразить согласие расстаться с ней на время. Профессор и Лени подобрали две подходящие кандидатуры, но первый не пожелал выпускать из рук книгу. Вся эта история была авантюрой с начала до конца. Подумать только, какие нелепые заботы одолевали Лени и Бориса в то время, когда речь шла о жизни и смерти, о спасении собственной шкуры. К несчастью, как раз в те дни откуда ни возьмись появился мой благодетель, а ведь мы жили в его особнячке. Ну так вот, со Шлёмера сошел весь его светский лоск, и он потерял свои барские замашки. Это был конченный человек; на нем была форма пехотинца, но документами он запастись не сумел. Он с трудом вырвался из Франции, удрал от партизан, которые чуть было не поставили его к стенке. По-своему я была к нему привязана, он всегда относился ко мне очень хорошо, ничего не жалел для меня, и на свой лад он тоже был ко мне привязан, а может, даже любил меня. И вот теперь он вдруг стал таким приниженным, таким жалким и несчастным. Шлёмер сказал мне: «Маргарет, я напозволял себе столько, что теперь мне везде каюк, куда бы я ни сунулся: и у французов, и у немцев — у немцев, которые за, и у горстки немцев, которые против, — и у англичан, и у голландцев, и у американцев, и у бельгийцев. А если меня поймают и опознают русские, то я и вовсе пропал. Впрочем, я пропал и в том случае, если меня поймают немцы, которые пока еще у власти. Помогите мне, Маргарет». Вы бы только видели его в пору расцвета: городской транспорт он не признавал, только такси и служебные машины. Трижды в год он приезжал в отпуск, приезжал, конечно, не с пустыми руками. Эдакий веселый бонвиван! А теперь он вдруг превратился в несчастного маленького мышонка, боялся блюстителей порядка, боялся штатников — в общем, всех. И тут мне впервые пришла в голову мысль, которая могла возникнуть у меня уже давно. В госпитале умирало множество народу, и все воинские книжки мертвых складывали в одно место, регистрировали, а потом отправляли либо в часть, либо еще куда-то; я, конечно, знала, где лежат эти книжки, знала еще, что некоторые солдаты их не отдают, а иной раз книжки просто не находят; я говорю сейчас о тяжелораненых, с которых поспешно сдирают разорванную и окровавленную одежду, тут уж не до воинских книжек... Так вот что я сделала: в ту же ночь украли три солдатские книжки, их там было навалом, большой выбор. Я взяла книжки с подходящими фотографиями, то есть с фотографиями, владельцы которых подходили по возрасту и хоть как-то были похожи кто на Шлёмера, кто на Бориса; в двух книжках были изображены блондины в очках, лет двад-

цати четырех — двадцати пяти, а в одной — миниатюрный брюнет без очков, приблизительно того же возраста, что и Шлёмер, — лет под сорок. Эту книжку я отдала Шлёмеру. Отдала ему также всю свою наличность и еще масло, сигареты, хлеб; собрала вещички и отправила Шлёмера в путь под новым именем Эрнст Вильгельм Кейпер; я даже записала имя и адрес этого Кейпера — как-никак мне хотелось знать, что станет со Шлёмером, ведь мы были почти шесть лет женаты, хотя виделись не так уж часто. Я сказала Шлёмеру, что самым безопасным будет, если он пойдет на фронт, пристроится на каком-нибудь командном пункте, что ли, раз все, буквально все его преследуют. Шлёмер так и поступил. Когда мы расставались, он даже заплакал. Человек, который знал моего супруга до сорок четвертого, не смог бы себе представить плачущего Шлёмера. Да, теперь он плакал, канючил, благодарил, а на прощание поцеловал мне руку. Заскулил, как маленькая собачонка, и исчез. Я его уже никогда больше не увидела. Много позже из любопытства я поехала к жене этого Кейпера в угольный район около Буэра; понимаете ли, хотела узнать, чем все кончилось... Жена Кейпера, конечно, уже опять вышла замуж; я сказала, что, мол, выхаживала ее мужа в госпитале, что он умер и перед смертью просил меня навеститься к ней. Она была бедовая бабенка и довольно нахальная. можете мне поверить. И сразу же спросила: «Кого из моих мужей вы имеете в виду? Мой Эрнст Вильгельм, между прочим, умер два раза — один раз в госпитале, а второй раз в какой-то дыре в горах, в деревне, которая называется Вюрселен». Стало быть, Шлёмер умер! Не скрою, я вздохнула с облегчением. Для него это был, наверное, единственный выход — все лучше, чем быть повешенным нацистами или расстрелянным партизанами. Он оказался самым настоящим военным преступником — набирал рабов для немецких военных заводов во Франции, в Бельгии и в Голландии, занялся этим уже в тридцать девятом; вообще-то он учился на торговца. Из-за него меня таскали на допросы, а потом забрали у меня дом и все барахло, которое в нем было; не разрешили ничего взять, кроме моих шмоток. Видимо, Шлёмер здорово воровал, а потом, когда его поприжали, начал брать взятки. Словом, в сорок девятом я оказалась на улице, в буквальном смысле этого слова — на улице Пожалуй, я до сих пор еще на улице, хотя Лени и все остальные пытались вытащить меня из болота. Полгода я даже прожила у Лени в квартире, но долго это продолжаться не могло из-за того, что ко мне ходили мужчины. Малыш подрастал, и в один прекрасный день он спросил меня: «Маргарет, скажи мне, почему Гарри (это был английский сержант, с которым я тогда встречалась), — почему Гарри ложится с тобой в постель?» (Маргарет снова покраснела. Авт.).

* * *

Читателю уже известно, как провел конец войны Ширтенштейн: он нарывал на пианино «Лилли Марлен» в русском плену. А ведь Ширтенштейн был авторитетом даже для Моники Хаас. «Я жаждал только одного, и притом с лютой, нечеловеческой силой (Ш. в разговоре с авт.), — жрать и, значит, жить. И я готов был исполнять «Лилли Марлен» даже на губной гармонике».

* * *

Д-р Шолсдорф встретил конец войны чуть ли не в ореоле героя. Он забрался в маленькую деревушку на правом берегу Рейна. «Документы у меня оказались в порядке, и в то же время я был человеком с незапятнанной политической репутацией; нацисты не могли мне ничего сделать, американцев я тоже не боялся. Таким образом, я спокойно ждал конца войны. Для полной маскировки я принял командование над подразделением фольксштурма численностью в десять человек. Троиц из моих воинов было за семьдесят, двоим еще не исполнилось семнадцати, у двоих была ампутирована нога до бедра, у одного — до голени; наконец, один потерял руку. А десятый фольксштурмовец оказался психически неполноценным, вернее, это был деревенский дурачок. Наше вооружение состояло из двух дубинок, вся надежда была на белые про-

стыни, каждую из которых мы разорвали на четыре части. Кроме того, нам выдали несколько ручных гранат и приказали взорвать мост. И вот мы двинулись вперед, привязав на палки лоскуты от простынь. Мост мы, понятно, не тронули — боже избави! — и в полной сохранности отдали деревню американцам. Долгое время я был в этой деревне желанным гостем (речь идет о бергской деревушке под названием Ауслер Мюле. Авт.), меня в обязательном порядке приглашали на все ярмарки и прочие праздники; однако два года назад в настроении жителей произошел резкий перелом; теперь я часто слышу, как вдогонку мне кричат: «Пораженец!» Да, меня обвиняют в пораженчестве, обвиняют ровно через двадцать пять лет после того, как я спас церковную колокольню, жизнью поклявшись американскому лейтенанту Эрлу Уитни в том, что церковь не занята и не используется в военных целях. Произошел сдвиг вправо, можете не сомневаться. Во всяком случае, теперь я гощу в этой деревне без особого удовольствия».

* * *

Гансу и Грете Хельценам чрезвычайно просто установить свое алиби. Ганс родился в июне 1945 года; имел ли он комплекс вервольфа уже в утробе матери, авт. неизвестно. Что касается Греты, то она и вовсе родилась только в 1946 году.

* * *

Генриху Пфейферу в конце войны минул двадцать один год, ему ампутировали ногу (левую) по бедро, и он лежал в монастыре в стиле барокко недалеко от Бамберга, монастырь заняли под госпиталь. По словам самого Генриха Пфейфера, он только-только очнулся от наркоза и чувствовал себя препаршиво. «И вот тут-то и явились штатники, к счастью, они оставили меня в покое».

* * *

Старик Пфейфер несколько неопределенно говорит о своем местожительстве в «день поражения», он говорит, что в тот день находился вместе с супругой «недалеко от Дрездена». К этому времени Пфейфер вот уже двадцать семь лет как волочил ногу (к нынешней дате он волочит ее все тридцать пять лет); между тем отец Лени уже в 1943 году, еще до своего ареста, утверждал, что пфейферовская нога — «сплошная ложь и надувательство».

* * *

Мария ван Доорн: «Я думала, что всех перехитрю, уже в ноябре сорок четвертого я переселилась в Толцем, где мне достался в наследство дом и где я подкупила земли на те деньги, что Губерт раздавал пачками. Лени я уговаривала последовать за мной и родить ребенка в спокойной обстановке, на свежем воздухе. Я уверяла, что штатники будут у нас определенно на две-три недели раньше, чем в городе. А что произошло? Как вышло на самом деле? Счастье еще, что Лени меня не послушалась. Толцем сровняли с землей — так это, кажется, называется; нам дали полчаса срока — мы должны были собрать свои манатки, а потом нас на грузовиках перевезли через Рейн. Самое главное, нас ни за что не пускали обратно: ведь на том берегу Рейна уже были американцы, а у нас еще правили наци. Какое счастье, что Лени не приехала! С этим свежим воздухом, покоем и цветочками я здорово обмишулилась. Огромное облако пыли — вот и все! Даже не верилось, что на этом месте стоял Толцем. Сейчас его опять отстроили. Но тогда от него ничего не осталось, кроме огромного облака пыли!»

* * *

Кремер: «После того как они забрали мальчика, я никак не могла решить, куда мне податься — на восток, на запад или, может, лучше пересидеть дома. На запад никого не пускали, разве что солдат и саперные команды... А на восток... Кто знал, что там будет? Нацисты ведь могли еще несколько месяцев, а то и год тянуть с войной. Стало быть, я решила пересидеть это время

у себя в квартире и, таким образом, пережила второе марта. (Речь идет о 2 марта 1945 года, то есть о дне, который часть населения, оставшаяся в городе, до сих пор называет не иначе как просто «второе марта» или «тот день». Авт.) Второго начался этот налет, от которого многие сошли с ума, а многие чуть было не сошли с ума; я сидела в подвале пивоваренного заводика напротив дома и думала, что наступило светопреставление. Честно вам признаюсь, с двенадцати лет, то есть с девятьсот четырнадцатого года я не ходила в церковь и не верила в поповские рассказы. Даже в ту пору когда нацисты для виду (подчеркнуто не нами. Авт.) нападали на попов, даже в ту пору я не встала на их сторону. Как-никак я была немножко обучена диалектике и историческому материализму, хотя большинство моих товарищей считали меня дурочкой и мешаночкой... Но в тот день я молилась, по-настоящему молилась. Вдруг я вспомнила все молитвы: и «Благослови, создатель...», и «Отче наш...», и даже «Под Твоей защитой...». Молилась, и все тут! Это был самый ужасный и тяжелый налет из всех, какие мы пережили... Длился он ровно шесть часов сорок четыре минуты. Потолок нашего подвала ходил ходуном, шевелился и раскачивался, как брезент палатки на ветру... И все эти бомбы были сброшены на город, в котором почти не оставалось жителей; один заход следовал за другим, один за другим. Нас в подвале было шестеро. Две женщины — я и молодая мать с трехлетним малышом. Она непрерывно лязгала зубами — тут я впервые поняла, что значит «лязгать зубами», до того дня я только читала об этом в книгах. Видимо, это происходило помимо ее воли, наверное, она даже не замечала, что лязгает зубами. Под конец она искусала себе губы в кровь, и мы просунули ей между зубами кусочек дерева — короткую отполированную палочку, очевидно, клепку от бочки, палочку мы подобрали на полу. Я думала, эта женщина сойдет с ума, и еще я думала, что тоже сойду с ума... Нельзя сказать, что так уж сильно грохотало, зато все шаталось и потолок у нас над головой прогибался то в одну сторону, то в другую, как дырявый резиновый мячик, который тискают руками. Малыш спал, он измучился, заснул и даже улыбался во сне. Кроме нас, в убежище были еще трое мужчин. Один из них — пожилой охранник в форме штурмовика, подумать только: второго марта он еще не снял мундир СА! Этот дядя, простите, сразу наложил полные штаны, полные штаны, и его трясло как в лихорадке, потом он описался. И вдруг выбежал из убежища; ни с того ни с сего выбежал на улицу, взвыл и побежал. После налета, поверьте мне, от него, как говорится, не осталось даже мокрого места. И еще в убежище сидели два молодых парня в штатском, скорее всего дезертиры. Прятались, видно, в развалинах, а когда начался этот ужасный налет, срухнули. Они были белые как мел и держались очень тихо, но потом, когда охранник выбежал, они стали... Как бы это объяснить?.. Сейчас мне уже шестьдесят восемь, и, наверное, мои слова покажутся вам просто чудовищными, но я все равно хочу рассказать всю правду; тогда мне было сорок три, а той молодой матери, наверное, еще не было и тридцати... Я больше ни разу, ни разу ее не встретила, вообще с тех пор мне не случилось встретиться ни с одним из тех, кто сидел в убежище: ни с теми парнями, ни с малышом... Да, молодой женщине не было еще и тридцати... Ну так вот, эти парни лет двадцати с небольшим вдруг стали... не знаю уж, как это объяснить... нет, они не приставали к нам, не лапали нас... Все это не те слова, не те... С тех пор, как моего мужа замучили до смерти в концлагере, я не смотрела ни на одного мужчину, за три года не посмотрела ни на одного мужчину... Так вот, эти молодые парни не то чтобы на нас набросились... Нет, нет, все было иначе, мы вовсе не сопротивлялись, и они нас вовсе не насильовали... Просто мы захотели быть вместе... И вспоминая это, я все еще чувствую, как песок скрипит у меня на зубах, песок, который сыпался с потолка, ходившего ходуном... И еще я вспоминаю внезапное ощущение радости и то, что я успокоилась. И опять начала молиться. И молодая мать вдруг тоже успокоилась... Мы сели и не сговариваясь выложили все, что у нас было — сигареты и хлеб, — а молодая мать вынула из своей хозяйственной сумки банку с маринованными огурчиками

и земляничное варенье. И мы по-братски поделились куравом и едой, но совершенно молча, а песок по-прежнему скрипел у нас на зубах... Налет кончился приблизительно в половине пятого. Стало тихо. Конечно, не совсем: где-то слышался грохот падения, где-то рушились здания и взрывались бомбы — ведь на нас сбросили около шести тысяч бомб. Когда я говорю — стало тихо, это значит, что не летали самолеты. Вот и все. И мы вышли из подвала, вышли каждый сам по себе, не обменявшись ни словом. Вышли и очутились в гигантском облаке пыли, которое заслонило все небо, в облаке пыли и в клубах дыма. Огня и дыма. Я упала как подкошенная и очнулась только через несколько дней в больнице. Очнувшись, я опять начала шептать молитвы. Но уже в последний раз. Счастье еще, что они не забросали меня землей; можете себе представить, сколько народу они заживо похоронили. А как вы думаете, что стало с подвалом? Он рухнул через два дня после того, как мы вылезли из него... Наверное, свод продолжал прогибаться то в одну сторону, то в другую, как резина в дырявом мячике, а потом взял и обвалился. Я сама это видела, потому что ходила посмотреть на мою квартиру. От дома не осталось ничего, ровным счетом ничего. Не осталось даже приличной груды развалин. А на следующий день после того, как я выписалась из больницы, в город вошли штатники».

* * *

Нам известно, что Ванфт была эвакуирована. Видимо, она пережила много тяжелого и скверного (сама она молчит, поэтому авт. не удалось установить, было ли пережитое ею тяжелым и скверным объективно или только субъективно). Ванфт произнесла лишь одно слово: «Шнейдемюль».

О Кремпе нам известно, что он погиб на шоссе, сражаясь за это самое шоссе, погиб, возможно, даже со словом «Германия» на устах.

* * *

Д-р Хенгенс «исчез» и обосновался на время (Хенгенс о Хенгенсе) в одной деревушке вместе со своим бывшим начальником, графом. «Мы точно знали, что жители этой деревушки нас не выдадут. На всякий случай мы поселились в лесу, в деревянном доме, под видом дровосеков, что ли. Но обхаживали нас по-королевски. Преданные графской фамилии поселянки не отказывали нам ни в чем, даже в любовных ласках, они просто-таки предлагали нам свою любовь. Однако признаюсь честно: эротика и секс баварских женщин казались мне чересчур пресными, я всей душой мечтал о рейнских изысках, и не только по этой части. Мои проступки были не такие уж тяжелые, посему я смог в пятьдесят первом вернуться домой. Господину графу пришлось подождать до пятьдесят третьего, в пятьдесят третьем он добровольно предстал перед судом. Предстал как раз в тот период, когда на дела военных преступников стали смотреть сквозь пальцы. Месяца три он просидел в Верле¹, а потом опять поступил на дипломатическую службу. Лично я предпочел удалиться от всякой политической деятельности. С меня довольно моих филологических знаний, точных знаний, — ими я охотно делюсь за соответствующую мзду».

* * *

Хойзер-старший: «Я был связан по рукам и ногам моими домами; дело в том, что я приобрел не только старый груйтеновский дом, — в январе и в феврале сорок пятого мне удалось купить еще два дома у двух субъектов, которым грозили крупные политические неприятности. Можете назвать это, если хотите, антиаризацией или реантиаризацией — дома, которые продали мне нацисты, принадлежали первоначально неарийцам. Сделку я оформил по всем правилам, с нотариусом и с необходимыми документами, по всем правилам... Да, это была абсолютно законная сделка; в конце концов, никому не возбра-

¹ Известная тюрьма, в которой сидели нацистские военные преступники.

нялось покупать и продавать дома. Разве не так? Второе марта я, слава богу, не пережил, так как на день уехал за город... Но облако пыли видел, видел на расстоянии сорока километров от города... Действительно гигантское облако. А когда на другой день я прикатил на велосипеде обратно, то тут же нашел себе на юго-западе прекрасную, просто безукоризненную квартиру; к сожалению, ее пришлось освободить, после того как в город вошли англичане. Они, между прочим, оказались очень предусмотрительными людьми — не бомбили те кварталы, в которых собирались потом поселиться. А эти... Лени и Лотта... они меня здорово предали. И конечно, не сказали ни слова о «райском уголке» в склепе... Во мне, старике, они, понятное дело, не нуждались — мне уже тогда стукнуло шестьдесят.

Лотта вообще вела себя довольно-таки подло, это выяснилось уже в октябре, когда у меня умерла жена. Тут Лотта вдруг начала переезжать с детьми с места на место — сперва она жила у своих родственников, потом у этой проститутки Маргарет, после у знакомых. Для того, чтобы не эвакуироваться. А почему, собственно? Да потому, что хотела погреть руки, разнюхала, где находятся склады вермахта. Когда они грабили склад поблизости от старого кармелитского монастыря, то и не подумали позвать своего милого дедулю. Они тогда тащили добро мешками, вывозили его на тачках, на старых велосипедах и на полусожженных, брошенных у обочин машинах, которые уже нельзя было завести, их можно было только толкать... Эти мародеры хватили все подряд: яйца и масло, сало и сигареты, кофе и тряпки; они были такие жадные, что жарили себе яичницу прямо посреди улицы на крышках от противогазных коробок; спирт лился рекой... Они устраивали настоящие оргии, как во времена Французской революции. И женщины были заводилами, наша Лотта была заводилой. Сушая мегера! На улице разыгрывались настоящие баталии, поскольку в городе еще оставались немецкие солдаты. Все это я узнал много позже и был рад, что вовремя уехал из нашей общей квартиры. Скоро они превратили ее в форменный бордель — ведь из «райского уголка» в склепе им пришлось убраться. А потом явился Губерт и спутался с Лоттой. Вы бы просто не узнали нашу Лотту, раньше она была сухая, неприступная женщина, язвительная, острая на язык. А в то время стала просто на себя не похожа, ее как подменили. В военные годы мы наслушались от нее достаточно социалистических речей, хотя это было здорово опасно, ведь иногда она ляпала бог знает что. Мы простили Лотте и то, что она втянула нашего сына Вильгельма в свои красные организации. Переживали, но терпели. Как-никак она была порядочной женой и матерью, выполняла свой долг. Но пятого марта Лотта решила, видно, что наступил социализм и все пора делить поровну — и движимое и недвижимое имущество, словом, все. Она в самом деле довольно долго возглавляла жилищный отдел, вначале захватила его явочным порядком, потому что городские власти сбежали, а потом ее туда назначили на том основании, что она не была фашисткой. Ну да, фашисткой она не была, но это ведь еще не резон! Мы скоро в этом сами убедились. Целый год она была у нас царь и бог. Не задумываясь направляла в пустые особняки людей, которые первый раз в жизни видели уборную, где спускалась вода. Эти люди стирали в ванне белье или разводили карпов, а в ванной комнате хранили свекольную ботву. Я говорю вам правду, в некоторых особняках ванны были, как оказалось, до половины заполнены свекольной ботвой. К счастью, у нас относительно недолго путали социализм с демократией. И Лотте опять пришлось вернуться к исходным позициям — стать скромной служащей. Но в дни всеобщего мародерства она вместе со своими дружками сидела в склепе, в ихнем «раю», пряталась там с детьми. Конечно, она знала, где я живу, прекрасно знала; тем не менее не позвала меня, не протянула руку помощи. Благодарности я от нее не дождался. Хотя, если смотреть в корень, она была обязана нам жизнью. Стоило только пикнуть, стоило передать ее высказывания о войне и военных целях, стоило повторить какую-нибудь из ее дурацких острот — и Лотту немедленно упекли

бы куда следует — в тюрьму или в концлагерь, а то и вовсе вздернули бы на виселицу... И за это она нам так отплатила!..»

* * *

Быть может, некоторых читателей заинтересует судьба Б. Х. Т. Сообщаем: манипуляции с мочой по плану, составленному Рахелью, ни разу не окончились неудачей. Однако настало время, когда и они уже не могли помочь Б. Х. Т.: в конце сентября 1944 года его зачислили в батальон желудочников, невзирая на то, что при язве желудка, к примеру, требуется совсем другая диета, чем при диабете. Б. Х. Т. еще успел принять участие в нескольких сражениях, а именно в арденнском наступлении и в битве под Хюртгенвальдом. В самом конце войны Б. Х. Т. угодил из селения по имени Вюрзелен в американский лагерь для военнопленных. Не исключено, что в Вюрзелене он «сражался плечом к плечу» со Шлёмером, перевоплотившимся уже к тому времени в Кейпера. Как бы то ни было, конец войны застал Б. Х. Т. в американском лагере недалеко от Реймса, в обществе примерно двухсот тысяч немецких военнопленных всех рангов. «Могу вас уверить, ничего отрадного в лагерной жизни не было — ни в смысле общества, ни в смысле снабжения всем необходимым. Но самое печальное заключалось в том, что в лагере нам не светило никакое дамское общество, простите за откровенность». (Последнее замечание поразило авт. До этого высказывания он не считал Б. Х. Т. «сексуально озабоченным».)

* * *

Узнавать о дальнейшей судьбе Груйтена у Марии в. Д. показалось авт. несколько неудобным, однако во имя полноты картины он предпринял несколько осторожных попыток в этом направлении; все они кончались неудачей: Мария почему зря ругала Лотту, на которой ввиду «небезызвестных событий» сосредоточилась ее ревность. «Когда он вернулся домой, меня еще не было. Иначе — тут я могу поручиться, — иначе ей не пришлось бы стать его утешительницей, он искал бы утешения у меня и нашел бы его, хотя я на тринадцать лет старше ее. Но я застряла на том берегу Рейна, где-то за Вуппером; сидела в этой вестфальской дыре, где нас, людей с Рейна, честили почему зря и как только не называли: выскочками, лакомками, пенкоснимателями, испорченными, бог знает как еще. Трегировали почему зря. Штатники явились к нам только в середине апреля; вы не можете себе представить, как трудно, просто невысказано было перебраться через Рейн на запад. Мне пришлось, стало быть, просидеть в этом захолустье до середины мая. А Губерт прибыл домой уже в начале мая и, видно, сразу же залез в постель к своей прекрасной Лотте. Когда я вернулась, уже ничего нельзя было поделать. Я опоздала».

* * *

Лотта: «До сих пор еще, когда я думаю о времени между февралем и мартом сорок пятого и о времени между мартом и началом мая, у меня в голове ералаш. Слишком много на нас свалилось, все было непостижимо... Да, я действительно грабила склады на Шнюрергассе, у старого монастыря кармелиток, мы хватали все, что попадало под руку. И уже тогда я предпочла прибегнуть к помощи Пельцера, лишь бы не обращаться к своему свекру. Нас одолевали в ту пору совершенно неразрешимые заботы. Из старой квартиры я должна была выехать, только Лени могла там жить, но Лени оставались считанные дни до родов. И ее нельзя было оставить одну. Словом, всем нам пришлось переселиться на кладбище, в склеп, который мой свекор назвал «райским уголком». Тут мы и узнали, что отец ребенка — русский. Однако сдуру она назвала отцом другого — решила придумать ребенку отца из-за того, что с сентября или с октября сорок четвертого ей полагалась карточка для беременных. Все дело сварганила Маргарет, которая просто-напросто сообщила Лени фамилию одного солдата, скончавшегося в госпитале. Его звали Ендричка. Маргарет и Лени все быстро обделали, не подумав, что покойный Ендричка был

женат и что с его женой, черт возьми, могли возникнуть осложнения, на мой взгляд отвратительные. Нельзя же устраивать такие штуки с мертвецами! Но с середины марта я по поручению военной администрации возглавила жилищный отдел; таким образом, мне нетрудно было все исправить. У нас в отделе хватало печатей и прочей мурлы, кроме того, мы имели доступ к другим официальным учреждениям. Одним словом, ребенка удалось записать правильно — он стал Львом Борисовичем Колтовским. Если вы представите себе, что все городские власти размещались в трех комнатухах, то поймете, что нам ничего не стоило лишить этого несчастного Ендричку его мнимого отцовства и дать ребенку настоящего отца. Все это произошло уже после второго числа и после того, как немецкие кретины смотались из города; еще шестого марта, перед тем как окончательно оставить город и взорвать за собой мост, — еще шестого марта — они вешали на улице дезертиров. Только теперь наконец в город вошли штатники. Мы смогли покинуть наш «рай» в склепе и вернуться к себе в квартиру! Но и штатники были не в силах разобраться во всем этом хаосе, к тому же, разглядев, во что превратился город после бомбежек, они испугались, некоторые даже плакали. Я сама видела, как два ихних солдата плакали у гостиницы рядом с собором; кроме того, неизвестно откуда вынырнула уйма разного народа: немцы-дезертиры, русские военнопленные, югославы, поляки, русские женщины-работницы, узники концлагерей, которым удалось бежать, даже несколько евреев, прятавшихся всю войну, не говоря уж обо всех прочих... Американцы понятия не имели, как установить, кто согрудничал с нацистами, а кто нет и вообще кто к какому лагерю принадлежит. На расстоянии они представляли себе все гораздо проще — я имею в виду насчет нацистов и антифашистов. В их детском воображении это рисовалось совсем не так, как происходило в жизни. А ведь им необходимо было навести порядок и разложить все по полочкам... Но в начале мая, когда наконец-то появился Губерт, жизнь была упорядочена только наполовину, только наполовину, никак не больше. И — не стану скрывать — со своими печатями и удостоверениями я обращалась весьма вольно, помогая многим людям. По-моему, печати и удостоверения только для того и существуют. Разве нет? Губерт, например, явился в итальянской форме, эту форму преподнесли ему товарищи по несчастью в Берлине; он с ними вкальвал на земляных работах и на расчистке туннелей берлинского метро; Губерт и его товарищи рассудили так: идти на запад в качестве немецкого арестанта опасно — между Берлином и Рейном все еще существовало осиное гнездо нацистов и они его наверняка повесили бы; идти в качестве штатского лица тоже нельзя, для этого он в свои сорок пять лет был слишком молод, его обязательно уpekли бы в какой-нибудь лагерь для военнопленных — в русский, английский или американский. И вот он отправился в путь итальянцем. Конечно, о полной безопасности не могло быть и речи, но все же они хорошо придумали; итальянцев нацисты просто презирали, их они не вздергивали на виселицу и не ставили к стенке немедленно. А ведь тогда это было самое главное! Самое главное заключалось в том, чтобы тебя сразу не вздернули на виселицу и не поставили к стенке. Итальянская форма Губерта и его дежурная фраза «Я не понимаю по-немецки» сделали свое дело... Впрочем, повторяю, о полной безопасности не было и речи: из-за итальянской формы Губерта могли препроводить в Италию, а там опознать как немца. И это наверняка стоило бы ему головы! Но как бы то ни было, ему удалось прибыть домой. И он прибыл очень веселый, да, да — веселый, я не оговорила. Трудно даже представить себе, какой он был веселый. Он сказал нам: «Дети, я твердо решил прожить остаток своей жизни весело, смеясь». И всех нас обнял — Лени и Бориса, а внуку ужасно обрадовался. Он обнял Маргарет, моих детей и, конечно, меня. А потом сказал: «Ты же знаешь, что я тебя люблю, иногда мне кажется, что и ты меня любишь. Так зачем нам жить врозь?» И вот мы с ним заняли три комнаты; Лени, Борис и их ребенок тоже три, Маргарет — одну, а кухня у нас была общая; никаких трений между нами не возникало, все мы были достаточно разумные люди. И еды тоже хватало, мы ведь получили солидное наследство от победоносного

немецкого вермахта, наследство со Шнюрергассе; кроме того, Маргарет не стесняясь тащила из своего госпиталя медикаменты. На первых порах мы сочли самым правильным оставить Губерту его итальянскую форму... К сожалению, я не могла достать итальянское удостоверение личности. Но вскоре он получил соответствующие документы от военной администрации, документы на фамилию Мандзони; фамилию ему придумал Борис, это была единственная итальянская фамилия, которую он знал; Борис читал какую-то книгу этого Мандзони². Объявить Губерта вышедшим из тюрьмы немецким гражданином мы не решились, ведь он считался, в сущности, не политическим, а уголовником. Ну, а штатники в этом вопросе были довольно щепетильны. Им вовсе не улыбалось, чтобы настоящие уголовники разгуливали на свободе. И не было никакой возможности объяснить им, что Губерт и был, по сути, политическим. Словом, проще было выдавать себя за Луиджи Мандзони, итальянца, моего сожителя. Но и тут приходилось все время быть начеку, иначе можно было в два счета угодить в какой-нибудь лагерь, пусть даже в лагерь для репатриантов. Не дай бог! Тем более никто точно не знал, куда в конечном счете отправят составы с лагерниками. До начала сорок шестого, пожалуй, было проще всего числиться итальянцем, в сорок шестом, правда, штатники перестали хватать всех немцев и отправлять их в лагерь. И потом к нам пришли англичане. Вообще-то говоря, с американцами и англичанами я ладила совсем не плохо. Очень многие спрашивали, почему мы с Губертом не поженились официально, ведь я была вдова, он — вдовец. Некоторые уверяют даже, будто я не сделала этого из-за моей вдовьей пенсии. Неправда! Просто мне тогда казалось, что связать себя узами на всю жизнь — скучное дело. Только так я могу это объяснить, брак мне казался слишком скучным делом. Сейчас я раскаиваюсь, что мы не поженились, все равно мои дети полностью подпали под влияние свекра. Лени с удовольствием вышла бы замуж за своего Бориса, и он бы с удовольствием женился на ней, но это было невозможно из-за отсутствия документов. Борис не имел ничего, кроме немецкой солдатской книжки на имя Альфреда Буллхорста, которую достала Маргарет. Но вы, конечно, понимаете, что с такой книжкой двадцатичетырехлетнего немца, страдавшего всего лишь истощением, могли в два счета услатить в Зинциг или Викрат, а этого мы тоже не хотели. Да, о полной безопасности не могло быть и речи. Большею частью Борис сидел дома, вы бы только видели, как они жили втроем — он, Лени и младенец: ни дать ни взять святое семейство. Ведь что ни говори, к женщине нельзя притрагиваться после родов три месяца и до родов начиная с шестого месяца... Полгода они жили, как Мария и Иосиф, только целовались изредка. Вся радость у них была в ребенке. Они его лелеяли и холили, и оба пели ему песни. Ну, а потом он вышел из дому, и его забрали; вышел слишком рано, уже в июне сорок пятого, пошел погулять вечерком к Рейну, конечно, до комендантского часа. Мы их сто раз предупреждали, все мы — и Губерт, и я, и Маргарет. Но удержать не могли — каждый вечер они отправлялись к Рейну. Там в самом деле была благодать. Мы с Губертом тоже ходили с ними. Сидели на берегу и ощущали то, чего, собственно, не ощущали двенадцать лет, — мир. По Рейну не шло ни одного парохода, на воде качались какие-то деревяшки, и все мосты были сорваны — ходило только несколько паромов да американцы навели понтонный мост для военных целей... И знаете, иногда я думаю, что лучше было бы вообще не перебрасывать мостов через Рейн, предоставить запад Германии, так сказать, самому себе... Конечно, все сложилось иначе, чем мы думали.. И с Борисом тоже; однажды вечером в июне его задержал американский военный патруль; самое идиотское заключалось в том, что в кармане у него лежала эта его солдатская книжка. Тут уж ничего нельзя было поделывать. Борису не помогли ни мои друзья — американские офицеры, ни дружки Маргарет. Не помогло даже и то, что я отправилась к военному коменданту и выложила ему всю

² Мандзони Алессандро (1785—1873) — известный итальянский романист, поэт, драматург.

запутанную историю Бориса. Бориса все равно услали; сперва, впрочем, это казалось не таким уж страшным: он попал в американский лагерь для военнопленных, и можно было ожидать, что в недалеком будущем наш Борис вернется оттуда под именем Альфреда Буллхорста. Разумеется, американские лагеря — это не райские кущи, но что поделаешь... Одного мы тогда не учли: летом штатники начали, ну, скажем, отдавать пленных немцев французам... Возможно, точнее будет, если мы назовем это не отдавать, а «продавать»; за этих пленных им должны были заплатить в долларах — заплатить за их питание и содержание... И, уж конечно, мы не знали, что Борис попадет таким образом в лотарингские шахты. А ведь он здорово ослабел за эти годы... Правда, благодаря Лени, или, вернее, благодаря ее закладной на дом, он не умер с голоду, но сил у него, конечно, поубавилось... И вот... Вы бы только посмотрели на Лени: она тут же вскочила на старенький велосипед и бросилась его искать. Зональные границы, даже государственные границы были ей нипочем. Она проникла во французскую зону, в Саарскую область и в Бельгию, опять вернулась в Саар, а оттуда кинулась в Лотарингию; она объезжала лагерь за лагерем и справлялась у комендантов, нет ли у них ее Альфреда Буллхорста; ради него она кланчила и молила, и притом ни на минуту не теряла мужества и упорства. Одного она никак не хотела взять в толк: в Европе было тогда, наверное, пятнадцать или все двадцать миллионов немцев-военнопленных. До самого ноября Лени гоняла на своем велосипеде, только раз заехала домой, чтобы пополнить запасы, и снова отправилась в путь. До сих пор не могу понять, как ей удавалось переезжать через все эти бесчисленные границы, а потом возвращаться обратно, ведь у нее ничего не было, кроме немецкого удостоверения. Но обо всем этом она никогда не рассказывала. Только его песни она все время пела, все время пела малышу!

«В сочельник мы, бедняки, сидим полны тоски. В доме гуляет мороз. Приди же, наш милый Христос, взгляни на нас, любя. Нам так тяжело без тебя». И когда она пела, невозможно было удержаться от слез. Несколько раз она проехала через весь Эйфель туда и назад; проехала Арденны и опять вернулась к себе; из Зинцига она прикатила в Намюр, из Намюра в Реймс, потом обратно в Метц, обратно в Саарбрюкен и из дома опять в Саарбрюкен. О безопасности не могло быть и речи: в этом уголке Европы не рекомендовалось мельтешить с немецким удостоверением в кармане... И что вы думаете? В конце концов она все же нашла своего Бориса, своего Ендричку, своего Колтовского, своего Буллхорста, называйте его как хотите. Она нашла его. Нашла на кладбище, но не в «раю», не в склепе. Нет. Он лежал мертвый в могиле. Борис попал в катастрофу и погиб. Он лежал в могиле между Метцем и Саарбрюкеном, в лотарингском захолустье... В этот год Лени как раз стукнуло двадцать три. И если припомнить все, что с ней стряслось, то она в третий раз овдовела. Тут она действительно превратилась в статую. И вечером, когда она напевала малышу те стихи, которые так любил его отец, нас бросало то в жар, то в холод.

И мрамор предков одряхлел,
Сегодня мы сидим здесь так.
Язычества вокруг нас мрак.
Снег до мозга костей проник,
Снег хочет оставаться в них,
Входи же, говорю я сам,
Ты, как и мы, чужд небесам³.

А потом внезапно она начинала петь совсем другим, задорным голосом: «Вперед же, в Махагони, где воздух свеж и чист, где виски, девки, кони и счастлив покерист. Сегодня под рубашками забито все бумажками, и хватит заплатить, чтоб весь твой глупый рот вовсю нам улыбался». И тут вдруг она опять переходила на торжественный лад и пела так проникновенно, что нам становилось просто не по себе: «Когда я был мальчиком, часто спасал меня бог от криков и от побоев людских, беспечно и радостно играл я тогда с цветами дубрав, и играли со мной небес ветерки, и, если нежные руки свои они протя-

³ Первая строка — из стихотворения Тракля, далее стихи Врехта.

гивали мне, сердце мое, словно сердце цветка, радовалось им». Эти строчки я буду помнить даже через пятьдесят лет, ведь она пела их все время, почти каждый вечер и по нескольку раз в день. Трудно поверить, но Лени пела эти стихи, безупречно выговаривая каждое слово, выговаривая почти неестественно правильно, хотя обычно она шпарила на своем чудесном сухом рейнском диалекте. Уверяю вас, ее пение невозможно забыть, невозможно! И мальчик его тоже не забыл. Даже Маргарет, даже ее английские и американские хахали запомнили ее песни надолго. И они не могли насмотреться на Лени, не могли наслащаться, когда она пела, а особенно когда декламировала мальчику стихи о Рейне... Да, Лени была прекрасная девушка, она прекрасная женщина, и я считаю, что из нее получилась прекрасная мать. Не она виновата в том, что на мальчика сыплются такие напасти; в этом виноваты подлецы, к ним, кстати, относятся и мои неудавшиеся сыновья, в этом виноваты «объединенные Хойзеры» и их неумная злость, особенно злость старика, моего свекра. Губерт доводил старикана до белого каления; каждый раз, когда тот являлся к нам взимать квартирную плату, сорок шесть марок пятнадцать пфеннигов за наши три комнаты, каждый раз Губерт громко хохотал, ей-богу, он смеялся сатанинским смехом... В конце концов они стали общаться только в письменном виде, и Хойзер, этот болван, заявил, будто не домовладелец должен взимать квартирную плату с жильца, а жилец вносить ее домовладельцу. Тогда Губерт начал вносить ему эту плату; каждое первое число месяца он приходил на загородную виллу старика и опять-таки смеялся сатанинским смехом. Хойзер не выдержал и потребовал, чтобы ему отсылали квартплату. Тогда Губерт подал на него в суд, суд должен был решить, как поступать с квартплатой: взимать, вносить или отсылать? Губерт утверждал, что никто не может заставить его тратить лишние десять — двадцать пфеннигов на почтовые переводы при том, что он работает разнорабочим, а это, между прочим, соответствовало истине. Они в самом деле пошли в суд, и Губерт выиграл тяжбу. Теперь Хойзеру пришлось решать, где ему приятней выслушивать сатанинский смех Губерта — у нас или у себя дома; этот смех он выслушивал каждое первое число сорок месяцев подряд; потом его осенило, и он нанял управляющего. Но, уверяю вас, этот сатанинский смех до сих пор отдается у него в костях, и теперь за смех Губерта расплачивается Лени; Хойзер не дает ей спуску, и, если мы не примем меры, он выбросит ее на улицу. (Вздых, глоток кофе, сигарета — см. выше; Л. Х. проводит рукой по своим коротко остриженным волосам с проседью.) Вплоть до сорок восьмого мы жили счастливо, а потом Губерт Груйтен попал в ту ужасную катастрофу и погиб. Какая нелепость! С тех пор я не могу видеть Пельцера, не хочу о нем слышать. Не хочу. Слишком трудно мне тогда пришлось. Вдобавок вскоре после этого у меня забрали детей. Старик постарался, он не брезговал никакими средствами; каждого мужчину, который у нас жил или просто заходил к нам в дом, он приписывал мне; он делал буквально все, чтобы лишить меня детей; вначале их поместили в монастырский приют, а потом он взял их к себе. Кого он только не называл моим любовником, даже этого беднягу Генриха Пфейфера, несчастного парня, которому тогда еще не сделали протеза; именно потому он у нас изредка ночевал — от нас ему было ближе в больницу и в инвалидный отдел. Кроме того, сам Хойзер вынуждал нас сдавать комнаты, сам Хойзер, он ведь повысил плату за квартиру и не давал никаких поблажек... И вот ко мне начала навеваться инспекторша по делам опекунства. Что там навеваться — она приходила чуть ли не каждый день и все норовила нагрянуть неожиданно. Да, черт возьми, думайте что хотите, но ей удалось трижды застать меня с женщиной; два раза она застала меня, как она изволила выразиться, «в недвусмысленно двусмысленной ситуации», говоря попросту, я лежала в постели с этим Богаковым, знакомым Бориса, который иногда заходил к нам в гости. Ну вот, а в третий раз она застала меня просто «в двусмысленной ситуации»: Богаков стоял в нижней рубашке у окна и брился, держа на подоконнике мое зеркальце и мисочку с водой. «Данная ситуация, — написала инспекторша в своем отчете, — заставляет предположить

о наличии интимных отношений, что не может не отразиться на подрастающих детях». Курту было в то время девять, а Вернеру четырнадцать; может, это и впрямь для них не годилось. Тем более я не любила Богакова, он мне даже не очень нравился. Нас свело горе. Детей они, конечно, тоже исподволь выспрашивали. И вот мне пришлось с ними расстаться, расстаться навсегда. Когда их забирали, мальчики плакали, но позже, после того как они переехали от монахинь к деду, они уже не желали меня знать, я была для них падшая женщина, да еще и коммунистка. В одном, однако, я должна отдать старику справедливость — он послал их в университет, дал им высшее образование. Да и тем земельным участком, который госпожа Груйтен подарила Курту, он ловко распорядился; сейчас, тридцать лет спустя, на нем выросли четыре квартала жилых домов плюс торговые помещения в подвальных этажах; участок стоит добрых три миллиона и приносит такой доход, что все мы, включая Лени, могли бы жить припеваючи. А ведь когда-то эта земля казалась безделицей, обычным подарком наподобие позолоченной ложечки, которую дарят младенцу «на зубок»... Где уж мне с ним тягаться, с Хойзером! Теперь я старая, уставшая, перетрудившаяся кляча, которая по-прежнему должна тащиться каждое утро на службу за тысячу сто двенадцать марок в год... Да, в одном я должна отдать ему справедливость: так ловко я не сумела бы распорядиться этим участком, нет, не сумела бы. А история с Богаковым была просто глупостью: я махнула на все рукой, не могла прийти в себя после того, как Губерт так ужасно погиб; да и бедняга Богаков все время пребывал в тоске и печали и пел свои грустные песни, как Борис... О боже, просто нас несколько раз потянуло друг к другу. Много позднее я узнала еще одну деталь, узнала, кто настучал на нас немецкой полиции, кто заявил, что у нас склад дефицитных товаров. Это опять-таки оказался Хойзер. В свое время он не принимал участия в грабеже на Шнюрергассе и не мог этого перенести. И вот в один прекрасный день, кажется в начале сорок шестого, к нам вдруг нагрянули эти паршивые немецкие ищейки и, конечно, нашли в подвале наш склад: присоленное масло, копченую грудинку, сигареты, кофе и целые кипы носков и нижнего белья. Все было тут же конфисковано. А ведь с этим добром мы могли бы просуществовать еще года два-три. И притом безбедно. Только одно они не могли нам пришить — на черном рынке мы не спекулировали, не продали ни грамма, разве что меняли. И очень много продуктов раздарили, об этом, слава богу, позаботилась Лени. Наши англо-американские связи не помогли, черный рынок был в ведении немецких ищеек, которые, ко всему прочему, устроили у нас форменный обыск и нашли у Лени эти ее дурацкие грамоты, где она провозглашалась «самой немецкой девушкой в школе». Тогда эти подонки решили донести, что она нацистка. И все из-за вонючих грамот, которые она получила двенадцатилетней девочкой. Хорошо еще, что я совершенно случайно обнаружила среди них типа, который разгуливал в свое время в мундире СА. Пришлось ему держать язык за зубами. Иначе у Лени были бы большие неприятности; попробуйте объяснить англичанину или американцу, что можно получить грамоту «самая немецкая девушка в школе» и все же не быть ею... В ту пору один только Пельцер вел себя порядочно; свою долю добра со склада на Шнюрергассе он надежно припрятал, и никто на него не донес. А когда он выяснил, что у нас все конфисковали, то по собственному почину начал нам кое-что подкидывать и не просил взамен ни денег, ни каких-либо услуг; наверно, хотел войти в доверие к Лени. И все же этот гангстер вел себя куда приличнее, чем старик Хойзер. О том, что мой собственный свекор настучал на нас, я узнала позже, намного позже, кажется, в пятьдесят четвертом году. Мне рассказал об этом один из тех немецких полицейских, которые у нас шуровали.

* * *

На сей раз авт. условился встретиться с Хельтхоне в очень модном и дорогом маленьком кафе, и не только для того, чтобы показать, какой он кавалер, но и для того, чтобы не испытывать ограничений: в куреве ни чисто

внешних, ни внутренних. Хёльтхоне, по ее словам, пережила конец войны в уже упоминавшемся выше монастыре кармелиток, а именно в подвале под бывшей монастырской церковью, в сводчатом подземелье, которое монахини, очевидно, использовали раньше как темницу. «О грабеже склада вермахта я не знала, да и второе марта, можно сказать, не пережила; я просто слышала очень далекий, зловещий, долго не смолкавший гул наверху; это было не очень приятно, но происходило, казалось, за тридевять земель. Нет, я не хотела покидать свое убежище до тех пор, пока не была бы твердо уверена, что американцы и вправду вошли в город. Мне было страшно. В те дни людей расстреливали и вешали направо и налево; конечно, у меня были хорошие, надежные документы, комар носу не подточит, но я все равно боялась. А вдруг какой-нибудь патруль заподозрит неладное и расстреляет меня? Я сидела в своем убежище, последние дни в полном одиночестве, в то время как там, наверху, грабили и пировали. Только узнав, что американцы и впрямь заняли город, я вышла на свет божий, вздохнула полной грудью и заплакала от радости и боли. Я радовалась свободе, но мне было больно за наш город, за ужасные и бессмысленные разрушения... А потом я разглядела, что все рейнские мосты уничтожены, и опять заплакала, на этот раз от радости. Наконец-то Рейн снова стал границей Германии, наконец-то... Это был единственный в своем роде шанс, и им следовало воспользоваться: не строить никаких мостов, и баста! Пусть бы по Рейну ходили взад и вперед паромы, да и то под строгим надзором. Так вот: я немедленно наладила контакты с американскими властями и после ряда телефонных переговоров разыскала своего друга, французского полковника; мне разрешили свободно передвигаться по английской и французской зонам. Поэтому мне и удалось раза два-три вызвать маленькую Груйтен — я имею в виду Лени — из весьма неприятных переделок; с наивностью ребенка она разъезжала тогда по окрестностям, разыскивая своего Бориса. Уже в ноябре я получила лицензию, взяла в аренду участок, кое-как залатала оранжерею, открыла цветочный магазин и тут же устроила у себя Лени, дочку Груйтена... Итак, я получила лицензию и новый паспорт, это был важный этап, мне предстояло решить — стать ли опять Эллой Меркс из Саарлуи или жить дальше под именем Лианы Хёльтхоне? Я решила остаться Лианой Хёльтхоне. В моем паспорте записано: Хёльтхоне, бывш. Меркс... Мне кажется, чай у меня дома вкуснее, чем здесь, в этом псевдопроцветающем заведении. (Авт. галантно и решительно подтвердил это.) Но пиффуры здесь действительно хороши. Придется, пожалуй, узнать рецепт. А теперь несколько слов о так называемом «райском уголке», кажется, так называют убежище в склепе лица, с которыми вы связаны. Меня и Грундча тоже пригласили в этот «рай», но мы побоялись в нем жить, мы боялись не мертвых, а живых; и еще нас не устраивал тот факт, что кладбище находилось как раз между старым городом и новыми районами; из-за этого его без конца бомбили; что касается мертвецов, то они не помешали бы мне поселиться в «раю», известно, что люди во все века встречались в катакомбах и даже устраивали там пиры, но в ту пору подземелье монастыря кармелиток казалось мне более надежным убежищем, там бы я не испугалась даже патруля, явись кто-то проверять мои документы. Кладбище и склепы были, на мой взгляд, довольно сомнительным местом. Впрочем, в те дни никто не знал, что безопасно, и что опасно, и кем лучше быть: еврейкой, которая скрывается от нацистов, сепаратисткой, немецким солдатом, который не дезертировал из армии, или немецким солдатом, который дезертировал, узником, который бежал, или узником, который не бежал! Город кишмя кишел дезертирами, но браться с ними не рекомендовалось — в них стреляли, и они тоже стреляли! Даже Грундч, который, можно сказать, уже лет сорок — пятьдесят не покидал кладбища, — даже Грундч и тот перепугался; примерно в середине февраля сорок пятого он изменил кладбищу и уехал в сельскую местность, а в самые последние дни записался в фольксштурм. Это было очень правильно. В то время любая форма легальности являлась лучшей защитой, но мой лозунг был — никаких эскапад, самым надежным я считала забраться в какой-нибудь укромный уголок, запасшись более

или менее приемлемыми документами, и сидеть там, не высовываясь. Я совершенно сознательно не участвовала в разграблении склада, совершенно сознательно, хотя мне трудно было устоять, соблазн был велик — на складе хранились такие деликатесы, о которых мы не могли и мечтать, уверяю вас. Но акция эта была, разумеется, противозаконная, мародерство каралось смертной казнью; в ту пору, когда грабили склад, власть в городе еще принадлежала немцам. И я не хотела считаться преступницей, я хотела жить, жить... Мне тогда исполнился сорок один, и я хотела жить. Да, в эти последние дни мне казалось глупым рисковать жизнью. Поэтому я держалась тише воды, ниже травы; за три дня до прихода американцев не осмеливалась сказать, что война окончена, а тем паче что она проиграна. Ведь начиная с октября во всех плакатах и листовках черным по белому объявлялось, что немецкий народ, сплотившись, гневно требует заслуженной кары для подручных врага — паникеров, пораженцев, критиканов... А кару они признавали только одну — смерть. И с каждой минутой их безумие росло; говорят, они застрелили женщину, которая выстирала свое постельное белье и повесила его сушить; они решили, что она вывесила белый флаг, и застрелили ее, дали пулеметную очередь прямо в окно. Нет, я предпочитала еще немного поголодать и дожидаться своего часа. Таков был мой лозунг. А этот дикий грабеж второго марта, сразу же после бомбежки... Мне он представлялся слишком опасным, но еще более опасным было, по-моему, тащить награбленное добро на кладбище. Как-никак город находился в руках нацистов, и они приказали его защищать. Зато когда немцы наконец убрались, я не мешкала ни минуты: тут же обратилась к американцам, тут же восстановила контакты с моими французскими друзьями. Мне дали маленькую, очень милую квартиру, и я первая получила лицензию на цветоводство. До тех пор, пока старый Грундч отсутствовал, я пользовалась его помещением и, разумеется, чин чином вносила арендную плату на его лицевой счет; в сорок шестом он вернулся, и я также чин чином передала ему цветоводство, передала в полном порядке и открыла собственный магазин. Между прочим, уже в августе сорок пятого на горизонте появился наш бравый Пельцер. Конечно, он был хитрее всех, но сейчас оказался на мели: ему срочно требовалась справка о том, что он чистенький. Как вы думаете, кто помог Пельцеру выхлопотать эту справку? Кто выступил в его защиту на суде по денацификации? Ну конечно же, Лени и я. Да, мы отмыли этого черного кобеля добела. Хотя я сделала это вопреки моим убеждениям; во-первых, совесть мне говорила, что, несмотря на все, Пельцер — подлец; во-вторых, это противоречило моим деловым интересам, обеленный Пельцер автоматически становился моим конкурентом. Он был им до середины пятидесятых годов. (В этом месте опрашиваемое лицо, то есть госпожа Хельтхоне, вдруг ужасно постарела, стала прямо-таки дряхлой старушкой; кожа на ее лице, до тех пор гладкая, внезапно обвисла, рука, машинально вертевшая ложечку, затряслась, голос дрогнул, стал прерывистым.) До сегодняшнего дня не могу сказать, правильно ли я поступила, помогая ему отмыться добела и пройти через это чистилище, через суд... Но меня, видите ли, преследовали с девятнадцати лет до того дня, когда мне стукнул сорок один; меня преследовали со времени злосчастной битвы при Эгидинберге и до той поры, пока в город не вошли американцы. Двадцать два года я подвергалась гонениям — по политическим мотивам, по расовым, словом, по всяким, если хотите знать... И этого Пельцера я выискала совершенно сознательно, я сказала себе: самое надежное для тебя спрятаться под крылышком нациста и лучше всего, если этот нацист будет продажная душа и жулик. Я знала, какая у Пельцера слава, да и Грундч рассказывал иногда о его проделках... А потом вдруг он пришел ко мне белый как мел, напуганный до смерти и выставил перед собой жену, которая и впрямь была не виновата и ни о чем решительно не знала, не знала, что он творил до тридцать третьего. И еще он показал мне своих очаровательных детишек, мальчика и девочку, десяти и двенадцати лет, прелестных ребят... Мне стало жаль их и его жену — бледную, немного истеричную особу, которая ни о чем не догадывалась. И вот я спросила себя: а видела ли ты и

можешь ли доказать, что за те десять лет, что ты работала в цветоводстве Пельцера, он хоть раз проявил бесчеловечность, сделал какую-нибудь, пусть самую малую, гадость тебе и другим служащим, сделал гадость в мастерской или за ее стенами?... И еще я спросила себя: разве за давностью лет не следует простить человеку его юношеские грехи — так он называл свои прежние проступки, — простить грехи и забыть их? Пельцер был достаточно хитер, он не пытался меня подкупить, зато он исподволь старался подобрать ко мне ключи, например, напомнил, что поставил меня на приемку венков и тем самым сделал своим доверенным лицом; конечно, он намекал на то, что у меня самой рыльце в пушку — как-никак я знала, что мы подновляли ворованные венки и даже использовали старые ленты... В конце концов я уступила, выдала Пельцеру «санитарно-гигиеническую» справку, а за меня поручились мои французские друзья и так далее. То же самое он проделал с Лени; политически она тогда высоко котировалась, как и ее приятельница Лотта; обе эти женщины могли далеко пойти; но такой уж характер у Лени — карьера ее никогда не прельщала, никакая карьера; Пельцер предложил Лени войти в его дело компаньоншей, позднее это же предложила Лени и я... Потом Пельцер предложил отцу Лени стать его компаньоном, но и тот отказался; теперь Груйтен играл в пролетария, не желал и слышать о делах, смеялся в ответ на все предложения и советовал Лени выдать Пельцеру «эту самую штуку», он имел в виду «санитарно-гигиеническую» справку; Лени так и поступила, разумеется ничего не потребовал взамен. Все это случилось уже после смерти Бориса, когда Лени окаменела, превратилась в статую. Да, она дала Пельцеру нужную справку... как и я. Таким образом, он мог считать себя спасенным, ибо к нам обоим прислушивались. Если вы спросите, жалею ли я, что помогла Пельцеру, я не скажу ни да, ни нет, не скажу даже «может быть». Я скажу только одно: на душе у меня муторно, когда я вспоминаю, что он был всецело в наших руках. Вы понимаете? Да, он был в наших руках, его судьбу решал клочок бумаги, две строки, нацарапанные авторучкой, и несколько звонков в Баден-Баден и в Майнц. То было диковинное время... Лени тогда немного помогала КПГ, а в суде, конечно, был коммунист. Итак, этого черного кобеля мы отмыли добела, вызволили из всех бед. И должна вам сказать: в делах он вел себя как первостепенный жох и хищник, спекулировал и жульничал почему зря, но фашистом он уже никогда больше не был и никогда не выдавал себя за фашиста, хотя через несколько лет стало выгодно, или, точнее, опять стало выгодно, показать, что когда-то ты не чуждался и этого... Нет. Чего не было, того не было. Это надо признать, в этом Пельцеру надо отдать справедливость. И он никогда не вел себя некорректно по отношению ко мне как к своей конкурентке и по отношению к Грундчу тоже. И это надо признать... Но все же на душе у меня становится муторно, когда я думаю, что он был у нас в руках. Даже Ильза Кремер в конце концов помогла Пельцеру, он и ее сумел обвести вокруг пальца. Кремер считалась лицом преследуемым при фашизме, это было нетрудно доказать; к ее голосу прислушивались так же, как к моему голосу и к голосу Лени. Пельцеру хватило бы и нас с Лени, но он пожелал получить справку и от Кремерши и добился своего. Ильзу Кремер тоже не интересовала карьера и все прочее, она отклонила выгодное предложение Пельцера, отклонила мое выгодное предложение. Ильзу не волновало даже то, что ее старые товарищи опять вышли на сцену. Уже в ту пору на все у нее был один ответ: «Больше я не хочу, больше не хочу». Желаете знать, что с ней стало? Ильза Кремер опять поступила работать сперва к Грундчу, потом к Пельцеру, и в конце концов я забрала ее к себе, и она вместе с Лени снова начала делать то, что мы делали всю войну: плела венки, отделяла венки, прикрепляла ленты, влетала цветы — всем этим она занималась до тех пор, пока не вышла на пенсию по старости. Эти две женщины — Лени и Ильза — держались тихо, не позволяли себе ни одного намека, и все же я почему-то воспринимаю их как живой укор; они ничего не выиграли, не получили никаких привилегий; после войны они вели себя точно

так же, как в годы войны, — Кремерша варила в мастерской кофе на завтрак, и соотношение натурального кофе и суррогата было у нее довольно долго, даже очень долго, еще более плачевным, чем раньше. И обе они приходили, как встарь, повязанные платком, с бутербродами и с кулечком кофе... Все как встарь. Кремер пробыла у меня до шестьдесят шестого, Лени до шестьдесят девятого; к счастью, Лени протрубила на производстве свыше тридцати лет. Но одного она не знает и не должна знать: о ее пенсии позаботилась я, частным порядком. Я даже кое-что доплатила за нее; только потому она и имеет свою скромную пенсию. Но Лени совершенно здорова... И не знаю, что с ней произойдет, когда внесенная мной сумма иссякнет. Она будет получать около четырехсот марок, может быть, немного меньше или чуть больше. Теперь вы догадываетесь, почему я воспринимаю ее как живой укор? Конечно, это полная чепуха! Ведь она меня ни в чем не укоряет, только заходит время от времени и делает робкую попытку стрелнуть немного денег. Это значит, что судебный исполнитель забирает у нее вещь, которая ей особенно дорога. Да, я энергичная женщина, неплохой организатор, когда надо, провожу рационализацию, управляю моими магазинами твердой рукой. Мне это нравится, нравится расширять дело. И все же... Что-то по-прежнему гложет меня. Гложет. И еще меня гложет мысль о том, что я не сумела помочь Борису, не сумела спасти его от дурацкой судьбы: его ведь схватили на улице как немецкого солдата и он погиб в катастрофе на шахте. Именно он... Почему? И почему я не смогла ничего сделать? Ведь у меня в самом деле были хорошие друзья среди французов; ради меня они бы вызволили не только Бориса, но и немца-нациста. Мне стоило только попросить их. Но когда стало наконец ясно, что он больше не у американцев, а у французов, было уже поздно... он уже погиб. Вдобавок никто не помнил толком его фиктивную немецкую фамилию, не то Беллхорст, не то Бёлльхорст, а может, Буллхорст или Баллхорст. Ни Лени, ни эта Маргарет, ни Лотта не запомнили его фамилию. Да и зачем им было запоминать? Для них он был Борис, а в его солдатскую книжку они не удосужились заглянуть. Тем более не стали записывать его новую фамилию».

* * *

Авт. пришлось провести еще много бесед и заняться серьезным дознанием, чтобы составить себе ясную картину «рая» на кладбище. Прежде всего удалось точно узнать, сколько продолжался так называемый «райский период». Лени, Борис, Лотта, Маргарет, Пельцер и сыновья Лотты Курт и Вернер (одному было пять, другому десять лет) жили в некоем подобии катакомб, в «целой подземной системе» (Пельцер) на Центральном кладбище с 20 февраля до 7 марта 1945 года. Заметим, что любовные встречи Бориса и Лени происходили еще на земле, в часовенке склепа Бошанов, но позднее всем действующим лицам пришлось срочно «уйти под землю» (Лотта). Идея эта принадлежала Пельцеру, который, можно сказать, создал психологическое обоснование подземного житья.

Пельцер принял авт. еще раз (и далеко не последний) все с тем же неизменным радушием; принял в комнате, где предавался своему хобби рядом с «музеем» венков; подведя авт. к встроенному бару с вращающейся стойкой, он угостил его виски long⁴ и предоставил в его распоряжение гигантскую пепельницу размером с лавровый венок средней величины. Авт. поразила меланхолия этого человека, который без всякого ущерба для себя пережил различные, в высшей степени противоречивые исторические периоды. В семьдесят лет Пельцер, не боясь инфаркта, раз в неделю играл свои две партии в теннис, каждый день, действительно каждый день, совершал традиционную утреннюю пробежку по лесу, «в пятьдесят пять (П. о П.) начал ездить верхом» и, «говоря доверительно, как мужчина с мужчиной» (П. в разговоре с авт.), только понаслышке знал, что такое импотенция. Тем не менее авт. казалось, что меланхолия Пельцера раз от разу возрастает. И здесь авт. хочет позволить себе некое психо-

⁴ Разбавленное виски (англ.).

логическое умозаключение: по его мнению, меланхолия Пельцера была вызвана совершенно удивительной причиной, а именно любовной тоской: П., несомненно, до сих пор испытывает к Лени нежное чувство, ради нее он готов «достать луну с неба, но она предпочитает шиться с немывтым турком; ко мне она не проявляет никакой благосклонности. И все это из-за той старой истории, в которой я абсолютно не виноват. Что я сделал? Если хотите знать, я спас жизнь ее Борису. Разве ему помогла бы немецкая форма и солдатская книжка, если бы ему негде было спрятаться? А кто знал, что штатники панически боятся мертвецов и кладбищ, боятся всего, что связано со смертью? Мой опыт, опыт, который я получил еще во время первой мировой войны и в годы инфляции, работая в эксгумационных командах, говорил, что американцы будут искать нацистов повсюду, только не в склепах — это уж точно! Да и нацистские подонки тоже не полезут по доброй воле под землю на кладбище. Им всем надо было где-то укрыться: и Лени, и Лотте, и этой Маргарет. К тому же Лени никак нельзя было оставить одну, того и гляди мог появиться ребенок. Да, Лени никак нельзя было бросить одну в квартире. Что же сделал я, единственный трудоспособный мужчина среди них всех?.. Свою семью я давно отправил подальше, в Баварию. Конечно, я и сам не хотел угодить ни в фольксштурм, ни в американский лагерь... Так что же я сделал? Соединил штольнями могилы Герригеров, могилы Бошанов и огромный семейный склеп фон дер Цекке; пришлось переквалифицироваться в землекопа, ей-богу; я копал, ставил подпорки, опять копал, опять ставил подпорки. В результате у нас получилось четыре совершенно сухих, хорошо облицованных помещения, каждое два метра на два, настоящая четырехкомнатная квартирка! Потом я провел электричество, протянул провод от моего садаводства. От него до ближнего склепа было всего пятьдесят, а до самого дальнего шестьдесят метров. Ради детей и беременной Лени я достал обогревательные приборы. И еще — не вижу смысла скрывать, — и еще в нашем распоряжении оказались уже облицованные, но не заполненные могилы, так сказать, резервные могилы Бошанов, Герригеров и Цекке — идеальные складские помещения. Мы натаскали в свое убежище соломы, принесли матрасы, и я на всякий случай поставил чугунную печурку — конечно, ее можно было топить только ночью; растапливать эту печку днем, как пыталась делать Маргарет, было чистейшим безумием. Но Маргарет понятия не имела о правилах маскировки. Во время земляных работ Грундч охотно помогал мне — ведь речь шла о наших постоянных клиентах, их склепы старик знал как свои пять пальцев. Поселиться с нами Грундч, однако, не пожелал; со времени первой мировой войны у него остался один бзик: пуще всего он боялся, что его засыплет землей и он окажется заживо похороненным. Ни за какие блага мира старик не соглашался спуститься в подвал, даже в подвальный ресторанчик. Я стоял в яме и подавал ему корзины с землей, сам он ни за что не хотел лезть в могилу, никогда этого не делал. И не пожелал жить с нами в подземелье. На земле — пожалуйста; мертвецы его не пугали, но под землей он боялся сам стать мертвецом. Когда в воздухе запахло жареным, Грундч, значит, отправился к себе на родину, на запад; он держал путь в свою деревню где-то между Моншо и Кроненбургом. И это в конце января сорок пятого! Ничего удивительного, что он угодил в ловушку, попал в фольксштурм, а потом просидел некоторое время в лагере для военнопленных. И это в его-то годы! Одним словом, примерно в середине февраля моя четырехкомнатная квартира под землей была совершенно готова; февраль оказался спокойным месяцем, тревогу объявили всего один раз на полчаса, самолеты сбросили несколько бомб, взрывов почти не было. И, стало быть, однажды ночью я въехал на новую квартиру с этой Лоттой и с ее двумя детьми; вскоре к нам присоединилась Маргарет. Люди болтают, что я с ней сошелся, на это я скажу: и да и нет. Мы с ней поселились в двух каморках — под склепом Цекке, Лотта с детьми заняла соседнюю комнату у Герригеров, а Лени и ее Борису мы предоставили их старое гнездышко — склеп Бошанов. Устроились мы все не хуже, чем в бомбоубежище; у нас были матрасы, солома, электрокамины и плитки, сухари, вода, молочный по-

рошок, немного табака, сухой спирт, пиво... Иногда до кладбища доносились артиллерийская канонада — с фронта под Эрфтом; незадолго до этого нацисты еще успели отправить туда на рытье окопов русских военнопленных, в том числе Бориса. Но у Бориса в вещевом мешке уже лежала немецкая форма со всеми орденами и нашивками, какие только значились в этой его солдатской книжке, черт бы ее побрал! Стало быть, русские рыли траншеи и строили оборонительные сооружения, а сами жили в сараях, однако охраняли их уже не так свирепо, как раньше. И вот в один прекрасный день Лени прикатила к нам на краденом велосипеде, а на раме у нее сидел Борис в немецкой форме, с забинтованной головой — ведь Борис обзавелся справкой о ранении, справка была составлена по всем правилам, с печатями и подписями. Только благодаря справке его пропустили нацистские цепные псы; двадцатого февраля Лени и Борис въехали, так сказать, к себе в дом. И я оказался прав — ни один патруль, ни немецкий, ни американский, не осмелился проникнуть в подземелье на кладбище... Много дней у нас царила полная идиллия: мы ничего не слышали, ничего не видели. Ради проформы я работал днем у себя в садоводстве; как-никак люди по-прежнему умирали и их по-прежнему хоронили, конечно, уже далеко не так торжественно, без прощальных залпов и даже без настоящих венков; иногда мы клали на гроб несколько еловых веток, иногда даже цветок, хотя это было в ту пору абсурдно! Ну, а вечером я шел к себе в склеп. Позже я для виду уезжал с кладбища на краденом велосипеде Лени, но тут же сворачивал в сторону и незаметно возвращался. Много неприятностей доставляли нам, конечно, эти проклятые сопляки — хойзеровские мальчишки; ужасно нахальные бестии, таких я сроду не встречал, хитрые и бесцеремонные, унять их можно было лишь одним: обещанием научить чему-нибудь полезному. А учиться они хотели, само собой, только тому, как делать деньги. Эти прохиндеи вытянули из меня все жилы: требовали, чтобы я объяснил им, как проводить калькуляцию, как вести бухгалтерские книги и так далее. Уже тогда они в буквальном смысле слова сидели у матери на голове. Если бы в то время существовала такая игра, как «монополия», они бы замолкли на много недель. Разумеется, они быстро смекнули, что надо сидеть смиренно и не высовывать носа наружу — эвакуироваться в принудительном порядке эти хитрецы вовсе не хотели. Отнюдь нет. На это у них ума хватало. Зато у нас в подземелье они вытворяли бог знает что! Я хочу сказать, что существуют известные границы; хоть какое-то почтение к мертвым надо испытывать. И каждый человек его испытывает, уверяю вас, даже я... Но эти мальчишки буквально бредили кладами, зарытыми в могилах; они готовы были снять все гробовые крышки и искать клады чуть ли не в гробах, черт бы их взял. Меня еще обвиняют в том, что я разбогател на золотых коронках мертвецов; да эти парни, уверяю вас, согласились бы разбогатеть и на коронках живых. Сейчас Лотта говорит, что дети отбились от рук из-за свекра, а я говорю, что они никогда не были у Лотты в руках. Их покойная бабушка и их дедушка, здравствующий и поныне, натаскали этих щенков только на одно: извлекать из всего выгоду и приумножать свое имущество... Все обитатели кладбищенского «рая» — Маргарет, Лени, Лотта и даже Борис собирали окурки, все, кроме меня; я никогда не собирал окурков — ни своих, ни тем более чужих. Просто мне это было противно. Всю жизнь я любил порядок и чистоту; тогдашние мои товарищи могут подтвердить, что по ночам, несмотря на службу, я выходил на улицу, разбивал лед и мылся с ног до головы в огромном чане, где держали воду для обмывки надгробий... то есть я хочу сказать для поливки цветов, а когда появлялась малейшая возможность, я делал традиционную утреннюю пробежку; правда, теперь это была скорее ночная пробежка. Ну так вот, собирать окурки казалось мне, черт возьми, отвратительным занятием. Однако примерно в конце февраля, незадолго до второго марта, когда мы отхватили грандиозный кусок на Шнюрергассе, в конце февраля настали довольно трудные времена. Мы попросту просчитались, ждали штатников на неделю раньше; и вот у нас стало туго и с сухарями, и с маслом, и даже с суррогатным кофе, но хуже всего обстояли дела с куревом. И тут вдруг являются мальчишки

с аккуратно набитыми сигаретами — машинку для набивки они взяли у своей матери, а папиросную бумагу дала им не в меру добрая Маргарет, — являются и предлагают купить по десять марок за штуку эти сигареты, которые они, как потом выяснилось, смастерили из моих же собственных чинариков. По их мнению, десять марок была божеская цена. Женщины весело смеялись и хвалили щенков за практичность. Но лично меня мороз по коже подирал, когда я торговался с этими чертенятами, хорошенькими, как ангелочки. Не в деньгах было дело, этого добра у меня хватало. И я с удовольствием заплатил бы по пятнадцать марок за сигарету. Важен был принцип. Принцип казался мне почрочным. Нельзя умиляться и нельзя посмеиваться, если видишь, что такие малыши одержимы жаждой наживы. Один только Борис озабоченно качал головой. А после второго марта, когда мальчишки принялись устраивать свой собственный маленький склад, который они называли своим «капиталом», стала качать головой и Лени. Эти мальчишки хватали все, что плохо лежит: тут — банку свиного сала, там — пачку сигарет... Но нам, конечно, было не до них, мы слишком нервничали. Ведь в тот же самый день, второго числа, Лени родила младенца. И она не пожелала — здесь я ее вполне понимаю, — Лени не пожелала производить его на свет в склепе. И ее святой Иосиф тоже не пожелал этого. Таким образом, целая процессия направилась по разбомбленному кладбищу в мое цветоводство — впереди шла Лени, у которой уже начались схватки, за ней Маргарет с необходимыми медикаментами. Из торфа, старых одеял и соломенных циновок они устроили ей ложе, и она родила своего ребеночка там, где, наверное, зачала его. Мальчик оказался вполне доношенным, в нем было три с половиной кило! Родился он, стало быть, второго марта, и, согласно всем расчетам, его должны были зачать второго июня... А в это время не было ни одного дневного налета, ни одного! И мои служащие не работали в ночную смену, я могу это доказать на основе платежных ведомостей; Бориса я, во всяком случае, не оставлял тогда на ночь. Одним словом, они, видно, нашли возможность побыть вдвоем среди бела дня... Ну да ладно, что об этом толковать... Однако глупо говорить и о каком-то «рае» в склепе. Вы бы только посмотрели, во что превратилось кладбище второго марта после налета! Повсюду валялись головы ангелов и святых, могилы были разворочены, в одних еще виднелись гробы, из других их повыбрасывало. Впечатляющая картина! Что касается нас, то мы были совершенно измучены, весь день таскали на себе и возили на тачках добычу со Шнюрергассе, надрывались, а тут еще вечером эти роды. Впрочем, сами роды прошли быстро и без всяких осложнений. А Борис был замечательный юноша. Уверяю вас. И если бы он меня слушался, то дожил бы до сегодняшнего дня. Но он переселился в город с женщинами и детьми уже седьмого днем. Отчаянная глупость! Ведь у него ничего не было, кроме этого дурацкого солдатского удостоверения. Парню надо было просидеть еще несколько месяцев в склепе, пусть бы читал своего Клейста, своего Гельдерлина и разные другие книги, почему я знаю какие. Я достал бы ему даже Пушкина! Борису надо было сидеть на кладбище и ждать, пока женщины раздобудут ему настоящую или фиктивную справку о том, что он отпущен из лагеря. Ведь уже летом людей, связанных с земледелием, начали выпускать из американских лагерей. Борису необходимо было получить такую справку по всей форме от англичан или от штатников, но женщины об этом даже не подумали, при слове «мир» у них голова закружилась; они радовались жизни, они перестали беспокоиться. Как оказалось, слишком рано. Что же они делали? Целый месяц сидели себе каждый вечер на берегу Рейна и еще выходили на берег днем с ребеночком, с хойзеровскими сорванцами и со старым Груйтенем, который вечно скалил зубы. Борис и сейчас мог бы сидеть на берегу Рейна или на берегу Волги. Где бы хотел, там и сидел бы! Именно такой справкой — справкой об освобождении с доподлинным номером, с печатью соответствующего лагеря — я и запаса и только потом открыто появился в городе; как-никак наше ремесло тоже связано с землей. Все было логично, все было сработано в лучшем виде. А дел у нас и впрямь оказалось невпроворот; я хочу сказать не о том,

что люди все еще умирали, а о том, что их уже перемерло до черта. И, хочешь не хочешь, всех надо было отправить под землю. Но ни Лотта, ни Маргарет со всеми своими знакомствами не подумали о том, чтобы заменить Бориса липовую справку об освобождении. А между тем им обоим ничего не стоило это сделать: Маргарет надо было разок вильнуть бедрами, а у Лотты навалом лежали всякие печати и бланки и у нее были связи. Но она не хотела пошевелить мозгами. Уже в мае или в июне парня необходимо было легализовать все равно под каким именем, пусть даже под именем Фридриха Круппа. Не сделать этого было вопиющим легкомыслием! За деньгами я бы и сам не постоял... ведь к этому юноше я не просто хорошо относился, я его любил. Можете смеяться надо мной, но, познакомившись с Борисом, я понял одну истину: все разговоры о низшей расе — чушь. Низшая раса засела у нас в Германии...»

Авт. не знает, верить ли слезам Пельцера, но он может засвидетельствовать, что на глазах у Пельцера появились слезы, которые он украдкой смахнул рукой. Пельцер даже не допил своей рюмки виски. «И разве я виноват в смерти отца Лени? Разве я виноват? Неужели от меня надо бегать, как от чумы? Что я, собственно, сделал? Ведь именно я дал отцу Лени возможность начать все сначала. Каждый ребенок, каждый профан понимал, что он не был хорошим штукатуром, работа у него не спорилась даже с самым лучшим материалом. Конечно, его бригаду нанимали, но нанимали за неимением лучшего. А потом у всех людей, для которых он работал, либо обрушивались потолки, либо крошились стены... Он просто не знал, как надо штукатурить, не было у него настоящей хватки, настоящей сноровки. И вообще он совершенно зря отказывался от предпринимательской деятельности, зря разыгрывал из себя пролетария. Сплошные бредни; этих идей он нахватался не то в тюрьме, не то в лагере, а может, их внушили ему коммунисты, с которыми он вместе сидел. Должен признаться, что Груйтен меня разочаровал. Большой человек, скандальная история, а на поверку оказалось, что он ни черта не умеет, не может как следует даже стену сложить. И все-то он делал с гонором; начал вдруг ходить от дома к дому со старой тачкой, с цинковыми ведрами, со шпателем и лопаткой, предлагать свои услуги как штукатур; за работу брал картошку, хлеб, иногда сигару. А по вечерам сидел у Рейна с дочерью, внуком и с зятем, пел, видите ли, песенки и любовался пароходами при его-то колоссальных организаторских способностях и при его смелости. Я не раз делал ему выгодные предложения, говорил ему: «Груйтен, послушайте меня, у меня есть триста—четыре-реста тысяч марок, при всем желании я не могу превратить их сейчас во что-нибудь стоящее, в незыблемые ценности; возьмите у меня эти деньги, откройте свое дело, а когда инфляция кончится, отдайте их мне не один к одному, даже не один к двум, а один к трем и без всяких процентов. Вы же человек умный, вы понимаете, что сигареты не валюта, это чистое ребячество, и верить в них могут только возвратившиеся из лагерей нигилисты, у которых долгое время не было курева, подростки и отравленные никотином бабы, пострадавшие от бомбежек, да еще вдовы фронтовиков. Вы понимаете так же хорошо, как и я, что в один прекрасный день сигареты опять будут стоить пять пфеннигов, самое большее десять. И если вы намерены вложить в одну сигарету пять марок пятьдесят, а потом продать ее на ближайшем углу за шесть пятьдесят, то это просто детская забава. Впрочем, еще глупее хранить сигареты до тех пор, пока в стране не установятся твердые цены; я вам точно предсказываю: за свои пять марок пятьдесят вы получите тогда пять пфеннигов, да и то в том случае, если ваши сигареты от долгого лежания не заплесневеют». Груйтен смеялся, он, кажется, думал, что я предлагаю ему торговать сигаретами, хотя сигареты я привел просто в качестве примера. Я, конечно, считал, что он опять откроет строительную контору. Если бы он оказался ловчее, то пользовался бы и правом свободного передвижения, ведь он мог выдавать себя за лицо, которое преследовали при нацизме по политическим мотивам. Но он вообще ничего не хотел предпринимать. А я, в свою очередь, должен был вложить куда-нибудь свои капиталы. С земельными участками в то время не стоило связываться. Конечно,

Лени могла продать мне за полмиллиона свой дом, и я бы специально обусловил в договоре, что ей пожизненно предоставляется право совершенно бесплатно владеть своей старой квартирой. А что она получила от Хойзера? Четыре взноса — шестьдесят тысяч марок за все про все. И получила она их в декабре сорок четвертого. Просто невероятно! Ну так вот, я засел со своими деньгами и ни тпру ни ну... Вкладывал их куда только мог: скупал мебель, картины, ковры, даже книги, ей-богу. Но у меня все еще оставались те же самые триста — четыреста тысяч, которые лежали у меня дома in cash⁵. И тут мне пришла в голову мысль, над которой все потом потешались. И все говорили: «Наконец-то в Пельцере прорезалось нечто человеческое — в первый раз в жизни он бросает деньги на ветер». Что я делал? Я скупал металлолом, и не какие-нибудь там железяки, а стальные конструкции высшего качества; конечно, я делал все вполне официально, обеспечивал себе, так сказать, право на разборку развалин — договаривался каждый раз как положено. Люди только радовались, что их владения очищают от обломков, да еще приплачивают. Собрать стальные балки оказалось нетрудно, только вот куда их складывать? Но у меня, слава богу, было достаточно земли. Итак, я принялся за дело. Знаете ли вы, сколько получал тогда за час работник в садоводстве, скажем Лени или Ильза Кремер? Пятьдесят пфеннигов. И ни гроша больше. А разнорабочий на стройке? По-моему, марку. Ну, а если ему очень повезло, то марку и двадцать пфеннигов. Единственное, что могло облегчить жизнь рабочему, это так называемая «прибавка за трудность производства», тут ему давали дополнительные талоны на жиры, хлеб, сахар... Чтобы обеспечить эту прибавку, следовало создать фирму, так я и поступил; фирма моя называлась «Демонтаж АГ.». Полгорода смеялось надо мной, когда я начал подбирать стальной лом. Лома было до черта. Вся Европа оказалась заваленной ломом. За покореженный танк никто не давал и двух пачек сигарет. Но я не обращал внимания на то, что стал мишенью для острот. У меня работало две бригады, инструментами я их обеспечил, достал разрешение на разборку развалин и принялся за дело — начал планомерно собирать стальные балки. Про себя я думал — смейтесь, смейтесь, друзья! Металл всегда останется металлом. А время было такое, что вам отдавали задаром старые боевые суда, танки и самолеты, просили только об одном — увезите их поскорее. Я так и делал — увозил танки, благо земли у меня хватало и она была тогда незастроенная. Таким манером я за три года, с сорок пятого до сорок восьмого, сумел вложить весь свой капитал и приобрести сто тысяч погонных метров стального лома наилучшего качества; он был тщательно сложен и тщательно хранился. С самого начала мои люди работали не за какие-нибудь восемь—десять марок в день. Я не жмотничал и платил аккордно: три марки за погонный метр. Некоторые мои рабочие свободно зарабатывали сто пятьдесят марок в день, а то и больше — выработка зависела от местоположения участка. К тому же все получали карточку с прибавкой за «трудность производства». И это было дополнительной льготой. Мы планомерно продвигались от окраинных районов к центру города, где когда-то находились многоэтажные универмаги и административные здания. Тут наша работа стала немного трудней, так как на балках зачастую еще висели глыбы бетона, а иногда и целая паутина железных перекрытий. Все лишнее приходилось снимать сварочным аппаратом. В таких случаях я, конечно, платил за погонный метр пять-шесть марок, а то и все десять. Это было заранее обусловлено, как в шахтах, где плата зависит от залегания пласта. Вот так! Отца Лени я поставил во главе одной из бригад, ну и, конечно, сам он тоже не сидел сложа руки. А вечером, когда мои ребята выдавали на-гора свои погонные метры, я платил им, отсчитывал деньги прямо в руки. И что вы думаете? Некоторые уходили домой с тремя сотнями в кармане, бывало, конечно, что и с восьмьюдесятью марками, но никак не меньше. И не забывайте, что в то время рабочие в моем садоводстве с трудом зарабатывали шестьдесят марок в неделю! Полгорода все еще

⁵ Наличными (англ.).

потешалось над тем, что я собираю стальные балки, которые ржавеют на огромных пустырях. Ведь в то время в Германии демонтировали домны! Но я не отступал — возможно, просто из упрямства. Конечно, я признаю, работа наша не всегда была безопасной. Но я ведь никого не принуждал, никого не неволил. Мы ударили по рукам, и, как говорится, все было ясно и просто. Кстати, я не лез ни во что, и мои рабочие могли подбирать в развалинах всякое барахло: мебель, шмотье, книги, домашнюю утварь и так далее. Это давало им дополнительный заработок. А город все еще хохотал до упаду, и люди, проходя мимо моих земельных участков, каждый раз говорили: «Здесь ржавеют капиталы Пельцера». Среди моих приятелей-шутников из увеселительного ферейна «Вечные гуляки» нашлись особо дотошные, главным образом техники, которые не поленились и точно высчитали, сколько денег у меня пожирает ржавчина, — формулы они взяли из учебников по строительству мостов, а общую поверхность балок без труда высчитали. Честно говоря, я сам начал сомневаться в том, что сделал выгодный бизнес. Но удивительное дело: в пятьдесят третьем году — к тому времени мои балки пролежали от пяти до восьми лет, — в пятьдесят третьем году, когда я захотел продать стальные конструкции, потому что в городе обнаружилась острая нехватка жилья и я наконец-то решил застроить мои участки, — так вот в пятьдесят третьем году, когда я продал собранный лом и получил за него полтора миллиона чистоганом, все начали кричать, что я подонок и спекулянт, что я нажился на войне и еще черт знает что! Тут вдруг оказалось, что деньги дают и за старые танки и за грузовики — словом, за весь тот металлолом, который я попутно натаскал к себе — разумеется, на совершенно законном основании, — натаскал только потому, что у меня были крупнейшие пустыри и водились деньжата... Но задолго до этого произошла катастрофа, которую женщины не могут простить мне до сих пор. Отец Лени погиб во время разборки развалин бывшего управления по охране здоровья... Сам я ни минуты не сомневался, что наша работа опасная, а в некоторых случаях даже сверхопасная. За опасность я платил особо, повышал аккордную плату за метр; фактически это соответствовало надбавке за опасность. Что же касается старого Груйтена, то я неоднократно предостерегал его, особенно когда он сам стал орудовать автогенном. Но скажите на милость, как я мог предположить, что именно Груйтен ничего не смыслит в статике, что именно он вырежет своим сварочным аппаратом, так сказать, почку у себя из-под ног и грохнется с восьмиметровой высоты на груды железного лома! Боже мой, ведь этот человек всю жизнь занимался строительством, имел диплом инженера, ведь его фирма установила стальных балок в десять раз больше, чем мне удалось извлечь за пять лет моей деятельности! Неужели я мог предположить, что он сам, так сказать, собственными руками столкнет себя в пропасть с помощью этого злосчастного сварочного аппарата? Разве я мог это знать? Разве я виноват в его смерти? И неужели люди не понимают, что добывать стальные балки в разбомбленном городе, извлекать их из бетонных коробок — дело рискованное? И разве я не доплачивал за этот риск? Говорю вам как на духу: даже при этой работе, даже при сборе лома, при том, что балки вырубали из домов или вырезали автогенном, даже при этой работе Груйтен — великий легендарный строитель Груйтен — не проявил особой сноровки и особых теоретических и технических познаний... Я платил ему немножко больше только из-за Лени. Потому что принимал близко к сердцу ее историю с Борисом, ее несчастье».

Теперь из глаз Пельцера слезы лились потоком, авт. счел бы кощунственным усомниться в их физической подлинности, и в то же время он не может ручаться за их подлинность психологическую, это выходит за пределы его компетенции. Теперь Пельцер заговорил очень тихо, не выпуская из рук рюмку с виски и озираясь по сторонам, словно он в первый раз в жизни видел комнату с баром и соседнюю комнату, где хранилась коллекция венков. «Да, это было ужасно, его словно насадили на вертел; тело проткнул целый пук стальных прутьев, который торчал из бетонной плиты. Путья его не разорвали,

а именно проткнули насквозь, и притом в четырех местах: шею, низ живота, грудь и еще правую руку... Ужасное зрелище! Самым чудовищным было то, что он улыбался. Все еще улыбался! Дикая картина! Он походил на безумного, распятого на кресте. Кошмар! Но почему они винят в этом меня? Почему? (В голосе нерешительность, в глазах — мука, руки дрожат. Авт.) А сварочный аппарат, который повис на обломке балки, срезанной Груйтенем, еще долго шипел, разбрасывал искры и плевался... Ужас! И вся эта история произошла за месяц до денежной реформы, когда я и без того собрался свернуть работу по коллекционированию балок... Кроме всего прочего, я истратил свою наличность. Разумеется, после несчастного случая с Груйтенем я немедленно ликвидировал фирму. Правда, женщины уверяют, будто я сделал это только потому, что хотел покончить со стальным бизнесом, но это неправда, вернее, дьявольское извращение правды — клянусь вам, я бы ликвидировал фирму, даже если бы несчастье произошло в середине сорок шестого. Но попробуйте доказать! Ведь это действительно произошло за месяц до денежной реформы, из песни слова не выкинешь... И вот за спиной я чувствовал ненависть женщин, а в лицо мне смеялись все кому не лень; горы железного лома продолжали ржаветь на моих пустырях, они лежали там еще пять лет! Старый Груйтен не был застрахован, он поступил ко мне не как постоянный рабочий или служащий, отношения у нас строились, так сказать, на договорных началах. Но я добровольно вызвался платить Лени и Лотте небольшую пенсию. Какое там — они и слушать не хотели! Раз я встретился с ними, и Лотта демонстративно плюнула мне вслед. И прокричала «кровосос», «палач» и другие еще более некорректные слова. А ведь я спас ей жизнь, устроив тот самый «рай». И еще раз я спас Лотту во время грабежа на Шнюрергассе; она вдруг начала как безумная выкрикивать социалистические лозунги. Тогда я заткнул ей рот. Я возился с ее сопляками, а в конце февраля, когда все мы оказались на мели, покупал у этих хитрых маленьких бестий собственные чинарики, из которых они заново набивали сигареты... Второго марта мы просидели вместе почти семь часов подряд, просидели, сцепившись друг в друга и стуча зубами от страха. Поверьте мне, даже атенстка Лотта шептала «Отче наш»... Да и хойзеровские прохиндеи притихли, испугались, стали благостные. Потом обнялись, как братья и сестры обнимаются в минуту смертельной опасности. Казалось, весь мир гибнет. И никого уже не интересовало, кто что делал во времена оны; важно было только одно — жизнь или смерть! Не так уж усердно все мы ходили в церковь, но каждый из нас был с ней по-своему связан, она стала частью нашего быта, частью нашей жизни. И вот — за один день все храмы превратились в прах, и песок еще много дней скрипел у нас на зубах, висел в нашем небе... Но не успел налет кончиться, как мы пустились в путь, пустились в путь, чтобы сообщая — я подчеркиваю это слово, — чтобы сообщая вступить во владение наследством германского вермахта. И в тот же день, как только немного стемнело, в тот же день мы помогли появиться на свет божий сыночку Лени и Бориса».

В глазах у Пельцера все еще блестели слезы, и голос его становился все мягче и мягче: «Один-единственный человек меня понимал, хорошо ко мне относился. Один-единственный человек был мне как сын; этого человека я взял бы к себе в семью, к себе в дело, я сделал бы для него все возможное и невозможное, он был мне ближе, чем жена, он был мне ближе, чем мои родные дети... Догадываетесь, о ком я говорю? Я говорю о Борисе Львовиче. Я тянулся к нему всей душой, хотя он увел у меня из-под носа девушку, которая нравится мне до сих пор... Быть может, только он по-настоящему узнал и признал меня. И, представьте, он захотел, чтобы я окрестил младенца. Этими моими руками. Да. И, уверяю вас, меня вдруг обуял смертельный страх, за секунду я вспомнил все, что успели натворить эти самые руки, все, что они делали с живыми и мертвыми, с женщинами и мужчинами, с векселями и наличными, с венками и лентами и так далее и так далее... Но именно я — и никто другой — должен был крестить его малыша, крестить этими самыми

руками. Тут даже Лотте пришлось заткнуться, и она не решилась болтать свои обычные глупости. Лотта прямо остолбенела, она сразу прикусила язык, когда Борис сказал мне: «Вальтер (после второго числа все мы начали говорить друг другу «ты»), Вальтер, у меня к тебе просьба: возьми на себя срочное крещение нашего сына». И я все сделал как надо: пошел в контору, открыл кран, дождался, пока сойдет ржавчина и пока вода станет прозрачной, помыл стакан, налил туда воду и окрестил младенца — ведь когда-то я был служкой в церкви и очень часто присутствовал при крестинах... Крестным отцом я в этом случае уже не мог стать — это я твердо усвоил; ребенка держали маленький Вернер и Лотта. И я окрестил его, говоря такие слова: «Во имя отца, сына и святого духа нарекаю тебя именем Лев Борисович...» Тут даже этот маленький плут Курт захлюпал носом, да и все остальные заплакали, даже ехидная Лотта. А Маргарет уже до этого ревмя редела... Только Лени не плакала, она лежала и смотрела на всех широко раскрытыми, воспаленными от пыли глазами, но лицо у нее сияло. И она сразу приложила младенца к груди. Да, вот как все это произошло. А теперь извините меня, я хотел бы побыть один. Слишком многое во мне всколыхнулось».

* * *

Авт. откровенно признает, что и в нем многое всколыхнулось; садясь за руль своей машины, он с трудом удерживался от слез. И чтобы окончательно не расчувствоваться, прямым путем поехал к Богакову. С виду Богаков наслаждался полным комфортом. Он сидел, укутанный одеялом, в кресле-коляске на веранде со стеклянной крышей, и взгляд его задумчиво блуждал поверх растянувшегося дачного поселка. Богаков разглядывал пересекающиеся железнодорожные пути, между которыми был втиснут гравийный карьер, огород и пустырь, заваленный металлоломом. Где-то в середине выделялось яркое пятно — теннисная площадка, совершенно не подходившая к этому пейзажу; на тусклом красном песке площадки поблескивали лужи. В небе гудел «спит-файер», с шоссе доносился шум машин, а с дорожек между садовыми участками — возгласы мальчишек, которые играли в хоккей пустыми жестянками из-под молока. Богаков, пребывавший, как оказалось, в меланхолии, сидел один на веранде, на сей раз без своей курительной гильотины. Авт. угостил его сигаретой, он отказался и взял авт. за руку, словно он (Богаков) хотел пощупать его (авт.) пульс.

«...В феврале сорок пятого они послали нас на фронт под Эрфтом, мы должны были рыть окопы, щели и строить укрепления... Помню, как-то раз ночью мы лежали в сарае, народу была тьма-тьмущая: русские, немцы, солдаты, пленные, женщины... И еще там оказалось несколько полузамерзших раненых американцев; какой-то немецкий солдат должен был отвести их не то в госпиталь, не то на командный пункт, но потом он дезертировал, или, как у вас говорят, «ушел из-под своего знамени», и бросил американцев на произвол судьбы, а они, бедняги, не знали ни слова по-немецки и только все время неприлично ругались по-английски. Для нас это была встреча на Эльбе, вернее встреча на Эрфте, на жалкой речушке, которую можно было легко переплюнуть в буквальном смысле этого слова. Здесь они собирались создать пресловутый «фронт на Эрфте» — цепь укреплений между Рейном и западной границей. Десятилетний мальчишка, стоя на одном берегу, мог пустить струю на другой... В темноте мы пришли в этот сарай и в темноте же покинули его... Я увидел только большие крестьянские дворы и разложенные костры, на которых жарили и варили, увидел полузамерзших штатников. Мы лежали с ними рядом, и Борис тоже. Лени тогда неотступно следовала за Борисом, как девочка с семью парами железных башмаков и с семью дубинками. Надеюсь, вы помните эту замечательную сказку... Тьма кромешная, ноги облеплены глиной... Сядьте поближе, мой мальчик, не убирайте руку, очень приятно держать руку на пульсе другого... Я попал к немцам в плен уже в начале августа сорок первого. Не

очень-то классно оказалось у вас в плену, мой мальчик... Мы шли не то три, не то четыре дня подряд через деревни, через поля и чуть не обезумели от жажды; когда мы видели колодец или маленькую речушку, то лизали пересохшие губы; о жратве мы вовсе перестали вспоминать. Потом всех нас, пять тысяч человек, загнали на скотный двор в каком-то колхозе; мы лежали под открытым небом и все еще подышали от жажды, а когда наши собственные соотечественники, мирные жители, порывались дать нам попить и поесть, то их к нам не подпускали. Конвоиры тут же начинали пулять в этих добрых людей. А если кто-нибудь из нас поднимался к ним навстречу, они давали пулеметную очередь. Так-то, мой мальчик. И смельчаки падали. Как-то раз одна женщина послала к нам девчущку, наверное, лет пяти, не больше, с хлебом и молоком. Такая хорошенькая девчущка! Женщина, наверное, думала, что милую маленькую девчущку с кувшином молока и с хлебом не тронут... Но женщина ошиблась. Застрочил пулемет, и девчущка упала мертвая. Краюха хлеба так и осталась лежать в луже крови и молока. Нас гнали от Тарновки к Умани, от Умани к Иван-горе, от Иван-горы к Гайсину и к Виннице; на шестой день мы подошли к Жмеринке, потом нас погнали в Раково, недалеко от Проскурова, и здесь мы застряли; два раза в день нас потчевали жидким гороховым супом, баки с супом просто ставили на землю в толпу. И все к ним бросались, суп приходилось черпать руками, и если тебе вообще что-нибудь перепадало, то ты вылизывал еду, как собака... Иногда нам швыряли полусырую свеклу, капусту или картофель, те, кто ел эту гниль, маялись животом, заболели дизентерией и в конце концов помирали где-нибудь на обочине дороги. Так мы тянули почти до марта сорок второго, за день умирало восемьсот—девятьсот пленных. Побой и издевательства, издевательства и побой... И время от времени они еще пуляли в толпу... Ну хорошо, допустим, у них не хватало жратвы, жаль было тратить на нас съестное... Но почему в таком случае они не подпускали к нам мирных граждан, которые хотели нам помочь?.. Потом я попал к Круппу в Кенигсберг на завод, где изготавливались гусеничные цепи... Ночью мы работали по одиннадцать часов, днем по двенадцать. Подремать удавалось только в уборных; некоторые счастливики залезали в собачью конуру — там было тесно, но тебе, по крайней мере, удавалось побыть одному. Больше всего мы боялись заболеть или прослыть лодырями... Лодырей пересдавали эсэсовцам. А если ты заболел и не мог больше работать, то тебя отправляли в огромный лазарет, где под видом лечения людей умерщвляли, больницы были самыми настоящими лагерями смерти; в них загоняли вчетверо больше народу, чем они могли вместить, палаты были совершенно загажены. Дневная норма в больнице состояла из двухсот пятидесяти граммов эрзац-хлеба и двух литров баланды, в свою очередь эрзац-хлеб состоял в основном из эрзац-муки, а эрзац-мука — из плохо размельченной соломы и мякины, в которой попадались и волокна дерева; мякина, солома и солома раздражали кишечник, организм не получал питания, наоборот, его все время истощали... И все это перемежалось побоями и издевательствами, дубинка не переставая гуляла по спинам больных... А потом для нас начали жалеть и мякину, мякину заменили опилками, иногда в хлебе было до двух третей опилок. Баланду варили из гнилой картошки и различных отбросов, и все это приправляли крысиным дерьмом... За день умирало иногда человек по сто. Выйти живьем из этой больницы было почти невозможно, для этого надо было родиться в рубашке. Я один из тех, кому дьявольски повезло, — я попросту перестал есть их жратву; пух от голода, но, по крайней мере, не сдох; я быстро смекнул, что эта жратва — яд... Теперь ты, мой мальчик, можешь понять, какими счастливицами оказались те пленные, которых послали в город подбирать трупы и разбирать развалины. И еще ты можешь понять, почему мы считали Бориса сказочным принцем, который в конце концов взойдет на королевский престол. Ведь ему разрешили работать в садоводстве, плести венки, хотя он этому никогда не обучался; специальный конвойный каждое утро отводил его туда и каждый вечер приводил обратно; его не били, наоборот, одаривали разными разностями.

И еще — правда, этого не знал никто, кроме меня, — и еще он был любим и сам любил. Ну чем не сказочный принц?.. Что касается нас всех, то мы не были сказочными принцами, но все же оказались баловнями судьбы. Нам, например, строго запрещалось дотрагиваться до трупов немцев и уносить их; такой чести русские не удостоивались; обязанности наши заключались в том, чтобы убирать обломки с улиц, складывать их на тачки, чинить железнодорожные пути и так далее. Но когда мы разгребали развалины, время от времени происходило неизбежное: рука русского или лопата, зажатая в руке русского, натыкалась на труп немца. И тогда наступал столь же неизбежный перерыв в работе. Какое редкое счастье! Мы дожидались, пока не уберут труп, в садоводстве Бориса для него уже плели венки и украшали их цветами и лентами. Случалось также, что мы находили в развалинах сплюсненные кухонные шкафы и буфеты, где еще лежала еда, конвойный глядел в другую сторону и ничего не видел. А в иные дни на нашу долю выпадало тройное счастье: мы находили еду, конвойный ничего не замечал и вечером нам не устраивали шмона. Однако стоило человеку попасться — и крышка! Припрятывать еду запрещалось даже немцам. Что уж тут говорить о русских! С русскими расправа была короткая, с ними поступали так, как поступили с Гаврилой Иосифовичем и Алексеем Ивановичем: передали эсэсовцам, а те сделали им чик-чик... Если ты находил что-нибудь съедобное, то лучше было сразу все съесть. Жевать, впрочем, следовало осторожно; правда, жевать во время работы не запрещалось, такой запрет не имел смысла... Что вообще мог жевать несчастный пленный? Разумеется, только краденую жратву. Нам еще здорово повезло с майором, начальником нашего лагеря; он сажал нас в карцер только по соответствующей жалобе и передавал в руки эсэсовцев лишь по настоящему требованию фельдфебеля. Кроме того, он следил, чтобы нам хотя бы аккуратно выдавали наши пайки. Однажды во время очередного обыска я собственными ушами слышал, как он ругался по телефону с каким-то своим начальством: майор утверждал, что нашу работу следует считать о с о б о в а ж н о й; при особо важной работе пленным давали примерно двести двадцать граммов хлеба, двадцать два грамма мяса, восемнадцать с половиной граммов жиров и тридцать два грамма сахара в день, а при не особо важной всего лишь сто двадцать пять граммов хлеба, пятнадцать граммов жиров и мяса и, кажется, двадцать один грамм сахара. А это означало разницу в сто граммов хлеба, в три с половиной грамма жиров, в семь граммов мяса и в одиннадцать граммов сахара — ни больше ни меньше! Майор был энергичный дядя, но, строго говоря, его нельзя было назвать полноценной личностью, для этого у него многого не хватало: не хватало одной руки, одной ноги и одного глаза... Меня как раз обыскивали, когда он орал в трубку. Здорово орал! Ну, а потом, перед самым концом, он спас нам жизнь, спас жизнь двенадцати пленным, которые оставались в лагере. Во время тяжелых бомбежек тридцать наших сбежали, часть из них попряталась в развалинах, но большая часть отправилась на запад, навстречу наступающим американцам, они шли под командованием неутомимого Виктора Генриховича... Что стало с этими тридцатью, я до сих пор не знаю... Ну, а мы, двенадцать человек, включая Бориса, который радостно ждал очередной встречи с Лени,— мы, двенадцать человек, проснулись как-то раз утром у себя в бараке и обнаружили, что вся наша конвойная команда, так сказать, дружно и сплоченно драпанула из-под своего знамени; часового не было, в караульном помещении двери стояли настежь, решетчатые створки ворот были открыты, только колючая проволока осталась на месте... И вид, который расстился перед нами, был точно такой же, как с этой веранды: железнодорожные пути, садовые участки, гравийный карьер, свалка металлолома... Ну, так вот, свобода свалилась на нас как снег на голову, притом момент был неподходящий, и мы сидели в полной растерянности. Что нам было делать со своей свободой, куда податься? Положение хуже губернаторского. Сами понимаете, как опасно было советским военнопленным разгуливать в те дни по окрестностям. Конвой наш

закончил войну не официальным порядком, а, так сказать, сепаратно. Не сомневаюсь, что несколько стражников еще успели попасться в руки тем и те вздернули их на виселицу или поставили к стенке. Мы держали совет и решили сообщить обо всем руководству шталага; если майор не дезертировал, он поможет нам выжить при этой не вовремя свалившейся на нас свободе, смертельно опасной свободе. Бежать было бесполезно, первый же патруль, первые же цепные псы схватили бы нас. Все дело в том, что в Германии существовал тогда очень простой способ освободиться от людей, которых было хлопотно охранять, держать за решеткой, судить по закону,— этих людей расстреливали на месте. Но как ты, наверное, догадываешься, нас это вовсе не устраивало... Иногда до лагеря уже доносилась артиллерийская канонада. Значит, не за горами была настоящая свобода. Однако бежать просто так, куда глаза глядят, казалось смерти подобным. Виктор Генрихович и наши товарищи тщательно подготовили свой побег, достали карты местности, собрали продукты. Кроме того, у них было несколько явок, которые им передали подпольщики; уходили они маленькими группками, с тем чтобы встретиться в Гейнсберге, на голландской границе, откуда они намеревались пробраться в Арнхейм. Это еще куда ни шло! Другое дело мы — мы просто обалдели от свободы, которая наконец-то пришла к нам. Пятеро все же набрались храбрости и решили воспользоваться тем, что конвой драпанул,— они кое-как переоделись и перешли через железнодорожное полотно под видом рабочей команды с лопатами и кирками через плечо. Недурственная идея! Но еще семеро, вернее шестеро, боялись идти на такую авантюру, а Борис, понятно, не хотел расставаться со своей милой. Не мог он бросить ее на произвол судьбы. И вот Борис не мешкая сел на телефон и добился соединения с садоводством, поднял тревогу, и, глядишь, через полчаса его девушка уже стояла с велосипедом на углу Неггератштрассе и Вильдсдорфштрассе, ждала его. После этого Борис связался с лагерем и сообщил, что стража разбежалась: не прошло и получаса, как к нам прибыл грузовик с этим одноруким, одноногим и одноглазым майором и с несколькими солдатами. Сперва майор молча прошел весь пустой барак насквозь; у него был великолепно пригнанный, безукоризненный протез; наверное, он даже мог ездить на велосипеде... Потом он зашел в караульное помещение и снова вышел оттуда, подозвал Бориса и поблагодарил его по всем правилам — крепкое мужское рукопожатие, прямой взгляд и так далее. Все это было проделано в чисто немецком вкусе, но выглядело не так дурачки, как при пересказе. Ведь происходило это, черт возьми, за две недели до того, как в город вошли штатники. Что же сделал майор? Послал нас навстречу им, послал на фронт под Эрфтом, где они уже фактически хозяйничали. Борису он сказал: «Колтовский, к сожалению, с вашей работой в садоводстве теперь покончено». Но я заметил, что девушка Бориса беседовала с водителем; от него она, понятно, узнала, куда нас направляют. Достаточно было взглянуть на Лени, чтобы увидеть, что она беременна на последнем месяце; она была как подсолнух, из которого вот-вот начнут выскакивать семечки. Насчет ее беременности у меня были свои соображения. Через двадцать минут нас, значит, отправили на грузовике сперва в Гроссбюллесхейм, потом в Гроссферних, а ночью отвезли в Балкхаузен; когда нас привезли во Фрехен — опять же ночью,— то из пленных остались только Борис и я; все другие поняли намек майора и в темноте перебрались ползком через свекловичные поля к американцам, а нашего принца его принцесса обрядила в немецкую военную форму, обмотала марлей, обмазала куриной кровью и бодренько увезла к себе на кладбище. Ну, а я, я совершил просто-таки безумный поступок: побрел обратно в город — один, глубокой ночью, в конце февраля; побрел в этот покалеченный, разрушенный город, где я целый год разбирал развалины и откапывал трупы, где меня унижали, где надо мной издевались и где изредка какой-нибудь случайный прохожий, заметив, что конвойный смотрит в сторону или делает вид, будто смотрит в сторону, бросал мне под ноги окурки или целую сигарету, яблоко или кусок хлеба; да, я побрел назад в город и забрался на разрушенную виллу,

спрятался в подвале, который наполовину обвалился, потолок в нем походил на косую чердачную крышу; спрятался в дальнем углу и приготовился ждать. Еду я добывал себе воровством — воровал хлеб и яйца у крестьян, воду пил дождевую, из лужи в бывшей прачечной; днем я собирал дрова — как выяснилось, лучше всего горит паркет, — и шарил среди поломанной мебели; шарил до тех пор, пока не нашел курева — шесть толстых, благородного вида сигар, какие курят только миллионеры, в кожаном портсигаре; на портсигаре была тисненая надпись: «Люцерн, 1919»; этот портсигар сохранился у меня до сих пор, могу показать; из шести благородных толстых миллионерских сигар, если не больно роскошествовать, можно сделать тридцать шесть вполне приличных самокруток. К тому еще у меня оказались спички. Словом, я мог считать себя богачом. Тем более что у меня были не только спички, но и папиросная бумага — из молитвенника, который я подобрал в Гроссфернихе; пятьсот страниц, на титульном листе надпись: «Катарина Вермельскирхен. Первое причастие. 1879 год». Понятное дело, прежде чем скручивать сигареты, я прочитывал то, что было написано на соответствующей странице.

«Обратись к совести своей, не оскорбил ли ты господу в помыслах, в словах или поступках. Я грешен, отче, я тяжко согрешил против неба и против тебя, я блуждал как отбившаяся овечка, и я недостоин называться твоим чадом».

Да, я как бы считал себя обязанным прочитывать страницы молитвенника, прежде чем они превращались в пепел. Так я сидел на вилле, закутавшись в тряпье — в рваное и не рваное, — в занавеси и в обрывки скатертей, в нижние юбки и в дырявые ковры, так я коротал ночи перед маленьким костром, разложенным из паркета... Именно там я и пережил второе марта: гром небесный, крошечный ад, светопреставление... А теперь я хочу признаться тебе в том, в чем еще никому не признавался, даже самому себе: я влюбился в этот город, в его прах, который скрипел у меня на зубах, в его землю, которая дрожала у меня под ногами, в его колокольни, которые рушились на моих глазах, в его женщин, с которыми я после спасался в холодные, ледяные зимы, когда меня ничего не могло согреть, кроме женщины, случайно оказавшейся рядом. Нет, я не мог покинуть этот город, да простят мне мои близкие, да простят они мне грехи, о которых я вычитал в том молитвеннике:

«Вел ли ты себя в освященном церковью браке, как тебе повелевал твой долг? Не погрешил ли ты против него мыслью, словом или поступком? Не пожелал ли ты злонамеренно и умышленно, пусть это было лишь в помыслах, согрешить с чужой женщиной, замужней или незамужней, или с чужим мужчиной?»

На эти вопросы, заданные Катарине Вермельскирхен, я должен ответить словом «да», в то время как она, надо надеяться, отвечала словом «нет». И еще я говорил себе: быть может, если ты хочешь научиться молиться, как раз и надо использовать страницы молитвенника на курево и потому чувствовать себя внутренне обязанным внимательно прочитывать каждое слово, прежде чем скрутишь сигарету. А теперь не вырывай своей руки из моей». (В высшей степени смущенный авт. послушался и при этом заметил, что Богаков был близок к Сл. и чуть не П.; можно почти с полной уверенностью утверждать также, что он ощущал Б₂ и испытывал С₂.)

* * *

Желая по мере своих скромных сил дополнить достоверные показания Богакова, авт. позволяет себе привести несколько — не так уж много — доподлинных выдержек из высказываний высокопоставленных лиц, взятых из соответствующих протоколов и записей речей вышеупомянутых высокопоставленных лиц; авт. приводит эти выдержки, так сказать, в виде иллюстративного материала.

«Розенберг. У некоторых создалось впечатление, что дорога в Германию представляет собой подобие дороги на каторгу.

Совершенно ясно, что когда дело идет о 3,5 млн. человек, то их нельзя устроить очень хорошо. Вполне закономерно, что тысячи людей плохо устроены и подвергаются плохому обращению. Из-за этого не стоит особенно волноваться. Однако существует чрезвычайно важная сторона этой проблемы, надеюсь, гаулейтер Заукель уже говорил о ней или еще скажет, — людей с Востока пригоняют в Германию для того, чтобы они работали, чтобы они давали как можно более высокую производительность труда. Вполне законное требование. Но для того, чтобы иметь высокую производительность труда, нельзя привозить три четверти людей обмороженными или заставлять их стоять на ногах по 10 часов, им надо обеспечить питание, чтобы они накопили резервы сил...»

«Каждому руководителю предприятия предоставляется право применения телесных наказаний в отношении сельскохозяйственных рабочих польской национальности. По данному вопросу руководитель предприятия не обязан отчитываться ни перед одной вышестоящей инстанцией.

Сельскохозяйственные рабочие польской национальности должны по возможности размещаться в некотором отдалении от всех других работников; их рекомендуется держать в хлевах, конюшнях и т. д. Никакие моральные соображения не должны препятствовать проведению этого правила в жизнь».

«**Шпеер.** При современной технологии, связанной с конвейером, рабочий день должен быть весь месяц одинаковый. Однако из-за воздушных налетов происходили задержки в снабжении заводов деталями и сырьем. Таким образом, рабочий день на предприятии колебался между 8 и 12 часами. Средняя продолжительность рабочего дня, согласно нашим данным, сохранилась на уровне 60—64 часов в неделю.

Доктор Флекснер. Сколько часов продолжался рабочий день у рабочих, которых набирали из числа заключенных концлагерей?

Шпеер. Столько же, сколько продолжался рабочий день у всех остальных рабочих. Как правило, рабочие из концлагерей составляли всего часть персонала и эту часть нагружали не больше, чем всех остальных рабочих данного предприятия.

Доктор Флекснер. Как это можно доказать?

Шпеер. Эсэсовцы требовали, чтобы заключенные из концлагерей были собраны в каком-либо одном цехе завода. Производственный надзор за ними осуществляли немецкие мастера и бригадиры. Рабочее время заключенных уже по производственным причинам должно было соответствовать рабочему времени всего предприятия, поскольку, как известно, на предприятии должен сохраняться единый ритм работы.

Доктор Флекснер. Из двух документов, которые я представлю в свое время по другому поводу, явствует, что рабочие из концлагерей на военных предприятиях, производящих оружие для армии и флота, равно как и для авиации, работали в среднем по 60 часов в неделю.

Но почему же, господин Шпеер, в таком случае при военных заводах создавались особые концлагеря, так называемые «рабочие лагеря»?

Шпеер. Эти «рабочие лагеря» создавались для того, чтобы сэкономить рабочему долгий путь на предприятие; благодаря им заключенный приходил на свое рабочее место свежим и охотно трудился» (подчеркнуто авт.).

«Большевизм — смертельный враг национал-социалистской Германии... Таким образом, большевистский солдат не может претендовать на то, чтобы к нему относились как к честному противнику, согласуясь с Женевской конвенцией... Чувство гордости и чувство превосходства, испытываемые каждым немецким солдатом, охраняющим советских военнопленных, необходимо неустанно и открыто демонстрировать. Исходя из этого, предписывается при малейших при-

знаках неповиновения действовать решительно и беспощадно, особенно по отношению к большевистским подстрекателям... Охраняя советских военнопленных, следует в совершенстве владеть оружием, это необходимо для поддержания дисциплины».

«Вермахт должен срочно освободиться от всех тех элементов среди военнопленных, которых надо рассматривать как активных большевиков. Специфика восточного похода, требует специфических мероприятий, которые должны проводиться без всяких бюрократических и ведомственных помех и без всякой боязни взять на себя ответственность за проделанное».

«Расстрелы советских военнопленных. (Секр. док.)

Начиная с сего дня не сообщать ни в письменной, ни в устной форме вышестоящему начальнику о расстрелах советских военнопленных или о происшедших с ними несчастных случаях со смертельным исходом как о ЧП».

«Военнопленным, которые работают с полной нагрузкой полный рабочий день, выплачивается вознаграждение за один раб. день в размере:

0,70 марки всем, кроме сов. военнопленных;

0,35 марки сов. военнопленным.

Минимальное вознаграждение за один раб. день выплачивается в размере:

0,2 марки всем, кроме сов. военнопленных;

0,1 марки сов. военнопленным».

* * *

Для получения дополнительной информации, а также для того, чтобы в той или иной степени уточнить и проверить некоторые данные, авт. пришлось снова побеспокоить уже упомянутое высокопоставленное лицо; когда он попросил по телефону об аудиенции, лицо само взяло трубку и без всяких колебаний и околнностей согласилось на встречу, а «в случае необходимости и на дальнейшие встречи». В этот раз голос лица звучал приветливо, почти дружески, и авт. пустился в новое путешествие — тридцать шесть минут по железной дороге — уже без каких-либо опасений. Потом он взял такси, но, как выяснилось, напрасно — высокопоставленное лицо послало за ним на станцию машину «бентли»; авт., конечно, не мог рассчитывать на такую любезность, более того, лицо не предупредило его о ней; это недоразумение обошлось авт. в семнадцать марок восемьдесят пфеннигов, а вместе с чаевыми в целых девятнадцать с половиной марок, поскольку высокопоставленное лицо живет довольно-таки далеко от станции. Авт. бесконечно жаль, что он нанес ущерб финансовому ведомству на сумму от 1,75 до 2,20 марки. И на сей раз авт. счел необходимым потратиться на подарки. Он приобрел вид Рейна — гравюру, похожую на те гравюры, которые поразили его у госпожи Хельтхоне своей филигранной работой и четкостью. Цена 42 марки, в раме — 51 марка 80 пфеннигов. Супруга лица, которую мы позволим себе называть в дальнейшем для краткости Киска, была просто-таки «восхищена таким милым подарком». И сказано это было не только для протокола. Самому лицу авт. раздобыл первое издание «Коммунистического манифеста», правда, не оригинал, а копию (на самом деле это была простая фотокопия, сделанная «под графику»); подарок вызвал у лица довольную улыбку.

Во время второго визита обстановка была куда менее натянутой. Киска, отбросив подозрения, сервировала чай примерно такого же качества, какой подавали в кафе, — госпожа Хельтхоне сочла его не очень хорошим; на стол было поставлено печенье (сухое), шерри (сухое) и сигареты; черты обоих чувствительных супругов омрачило легкое облачко грусти: конечно, о слезах не могло быть и речи, но глаза супругов все же как бы увлажнились. Беседа протекала мирно, без всяких скрытых подвохов, хотя и с некоторыми явными подвохами.

Авт. уже описал парк и гостиную, но не успел описать террасу; она была причудливо изогнута и с обеих сторон заканчивалась беседками, увитыми плющом; середина террасы глубоко выдавалась в парк, на лужайке виднелась крокетная площадка, на кустах роз распустились первые бутоны сорта «Форсайт». А теперь перейдем к Киске. Она брюнетка, выглядит никак не старше сорока шести, хотя на самом деле ей все пятьдесят шесть. Ноги у нее длинные, губы тонкие, грудь — в пределах нормы; в тот раз на ней было платье джерси цвета ржавчины; искусно подкрашенная, она казалась чрезвычайно бледной, что ей очень шло. «Ваша история, право же, чрезвычайно мила; молодая девушка ездит на велосипеде из лагеря в лагерь, ищет своего любимого и в конце концов находит его на кладбище. Разумеется, я не хочу сказать, что мило найти своего возлюбленного на кладбище, конечно, нет; речь идет о другом — молодой женщине удалось проехать на велосипеде через весь Эйфель, через Арденны до Намюра, она добралась до Реймса, снова доехала до Метца, вернулась домой, опять пересекла Эйфель; ее не остановили ни зональные границы, ни государственные. Да, я знакома с этой молодой женщиной. И если бы я знала, что в прошлый раз вы говорили о ней, я бы... я бы... трудно сказать, впрочем, что бы я сделала... во всяком случае, попыталась бы доставить ей какое-нибудь удовольствие, хотя она особа весьма скрытная. Уже в пятьдесят втором, как только мой муж вышел из тюрьмы... уже в пятьдесят втором мы сразу отправились к ней, предварительно разыскав садовника и узнав ее адрес. Удивительно привлекательная особа... Даже я, женщина, понимаю (??? Авт.), что перед ней трудно было устоять. И ребенок у нее тоже был прелестный, с длинными светлыми гладкими волосами. Моего мужа он очень растрогал — ребенок напомнил ему молодого Бориса, хотя Борис был худой и носил очки; и все же сын казался копией отца. Правда? (Высокопоставленное лицо кивнуло. Авт.) Конечно, ее система воспитания оказалась в корне ложной. Ей вовсе не надо было держать мальчика дома, его следовало отдать в школу; что ни говори, ему уже минуло тогда семь с половиной. А как она обращалась с мальчиком! Это был просто бред, романтический бред. Она пела ему песни и рассказывала сказки. К тому же в голове у нее самой была каша из Гёльдерлина, Тракля и Брехта. Полное смешение стилей. И я не уверена, что «В исправительной колонии» Кафки — подходящее чтение для ребенка, которому только-только исполнилось восемь. Не знаю также, не ведут ли грубо-натуралистические изображения всех, буквально всех человеческих органов к излишней, ну, скажем, материалистическому взгляду на жизнь... И все же, повторяю, в этой женщине было море обаяния, хотя в доме у нее царил полный хаос. Должна признать, что изображения некоторых органов, к тому еще увеличенные... да, пожалуй, она немножко забежала вперед, хотя сейчас сказали бы, что она здорово отстала. (Оба супруга засмеялись. Авт.) Но мальчик был душка, просто душка и держался очень непринужденно. Конечно, судьба ее ужасна. Тогда ей как раз исполнилось тридцать лет, и она уже, можно сказать, потеряла трех мужей; да к тому еще брата, отца и мать. А какая гордыня! Нет, у меня не хватило мужества встретиться с ней еще раз, так гордо она вела себя. Позже мы обменялись письмами; это было в пятьдесят пятом, когда мой муж ездил с Аденгауэром в Москву; он разыскал в Министерстве иностранных дел одного знакомого — еще по Берлину — и спросил о Колтовском. Результаты были плачевны: бабушка и дедушка этого милого малыша умерли, а тетка Лидия пропала без вести».

Высокопоставленное лицо: «Думаю, не будет преувеличением сказать, что в смерти Бориса виноваты западные союзники. Я имею в виду не злосчастную группу историю с солдатской книжкой и не тот факт, что Борис погиб в катастрофе на шахте... Не в этом суть дела. Вина западных союзников в том, что они арестовали меня и на семь лет изолировали, иными словами, посадили за решетку, упрятали за тюремную стену; правда, решетка была не очень частой, а стена не очень высокой. И все же! Первоначально у меня с Эрихом фон Камом существовала договоренность; он должен был моментально сообщить, когда положение Бориса станет опасным; однако ввиду того, что конвой дезер-

тировал, Кам растерялся. Хотя в данной ситуации он принял максимально верное решение: послал Бориса на фронт под Эрфтом, где тот мог при первом удобном случае без всяких трудностей перебежать. Договорились мы, однако, иначе: Кам должен был достать Борису английскую или американскую военную форму и сунуть его в лагерь для английских или американских военнопленных; пока начальство разобралось бы, войне бы уже пришел конец. Вместо этого они достали ему эту немецкую книжку и немецкую форму, да еще приписали мнимое ранение. Идиотизм! Полный идиотизм! Но, конечно, ни Кам, ни я не могли предположить, что в этой истории замешана женщина. И что вот-вот появится ребенок. При этих ужасных бомбежках! Сумасшедший дом! Из девушки мне в ту пору не удалось вытянуть почти ничего. Правда, узнав, что именно я устроил Бориса в цветоводство, она меня поблагодарила. Но весьма небрежно! С таким видом мало-мальски воспитанная девица благодарит за плитку шоколада! Нет, она ничего не поняла, не поняла, какому риску я подвергался и как мне помогло бы свидетельство Бориса в Нюрнберге и вообще. Когда я заявил на суде, что спас жизнь некоему Борису Львовичу Колтовскому, такого-то года рождения, то опозорился навеки. Опозорился и перед судом, и перед моими товарищами по процессу. Советский обвинитель тут же сказал: «Прекрасно! Мы попытаемся разыскать этого Бориса Львовича Колтовского, тем более что вы даже назвали номер концлагеря». Но прошел год, а его так и не нашли... Я счел, что меня подло обманывают. Если бы Борис оказался жив и если бы ему разрешили, он мог бы мне здорово помочь. На суде вашему покорному слуге приписали просто-таки чудовищные высказывания. Эти высказывания действительно имели место на совещаниях, в которых я участвовал, но принадлежали не мне, а другим людям. Неужели вы можете поверить, что я произнес, к примеру, такую фразу (высокопоставленное лицо вытаскило свой блокнот и прочло вслух): «Неуместно проявлять мягкость даже по отношению к тем военнопленным, которые желают работать и ведут себя послушно. Они истолкуют это как слабость и сделают свои выводы»? Кроме того, на одном совещании, которое состоялось в сентябре сорок пятого у начальника, ведающего вооружением сухопутных сил, я будто бы предложил строить многоэтажные нары и тем самым увеличил число заключенных в каждом бараке ИТП (ИТП — «Имперская трудовая повинность»). Авт.) со ста пятидесяти человек до восьмисот сорока. На одно из моих предприятий русских будто бы транспортировали раздетыми и голодными. И будто бы я завел карцеры. А между тем не кто иной, как я в марте сорок второго громко жаловался на то, что русские заключенные у нас на заводах настолько ослабели из-за скудных лагерных пайков, что уже не в силах правильно установить, к примеру, простой токарный резец. Присутствуя на совещании у генерала Рейнеке, ведавшего всеми военнопленными, я выразил протест против утвержденной рецептуры так называемого хлеба пленных, который состоял на пятьдесят процентов из ржаной муки грубого помола, на двадцать процентов из жома сахарной свеклы, еще на двадцать процентов из целлюлозной муки и на десять процентов из соломенной сечки или зеленой массы. По моей инициативе процент ржаной муки повысился до пятидесяти пяти процентов, а жома — до двадцати пяти процентов; таким образом, процентный состав этих ужасных примесей — целлюлозы, соломы и зеленой массы — соответственно уменьшился. Во всяком случае, на наших предприятиях... И между прочим, это было проделано за счет наших предприятий. Люди склонны забывать, что подобные вопросы было не так-то легко ставить в ту пору. Я указал Бакке — статс-секретарю в имперском министерстве продовольствия — и директору Моритцу на то, что работа в военной промышленности совсем не обязательно равнозначна смертному приговору и что этой промышленности требуются здоровые люди. И наконец, именно я ввел так называемые «мучные дни», знаменитые «мучные дни», когда пленным давали болтушку из муки. По этому поводу Заукель устроил мне форменный скандал, ссылаясь на многочисленные распоряжения ВКА, ВКВ и ГИВБ (верховного командования армии, верховного командования вермахта и главного имперского ведомства безопасности. Авт.).

Поскольку вся эта бесчеловечная система голодных пайков должна была оставаться секретом для немецкой общественности, я намеренно разглашал кое-какие сведения и тем самым тайком передавал необходимую информацию в Швецию. Я хотел поставить в известность мировую общественность, подвергал себя серьезной опасности. А как меня отблагодарили? Два года лагерей, пять лет тюрьмы из-за наших филиалов в Кенигсберге, к которым я действительно не имел никакого отношения. Что поделаешь! Многие вообще погибли, многим нанесли еще больший ущерб, чем мне. В конце концов, я жив-здоров и не так уж сильно обижен (??? Чем? Авт.). На прошлом надо поставить точку, забыть всю эту лицемерную комедию с судом, где мне буквально совали в нос документы, о которых я понятия не имел, и приписывали высказывания, которых я не делал. Увы, мне так и не удалось осуществить свою мечту — провести этого юношу сквозь все опасности войны... Не удалось мне также разыскать его родителей и его сестру. Но самое главное — это то, что мне не удалось повлиять на воспитание его сына. Хотя, в конечном счете, я доказал, что мое влияние на Бориса было не таким уж плохим. Кто, как не я, приобщил его к Трактору, к Кафке и в известной мере к Гёльдерлину? И разве я не пополнил более чем сомнительное образование этой недалеконивидной женщины? Ведь с Трактором, Кафкой и Гёльдерлином она познакомилась через Бориса, а потом уже познакомилась с ними своего сына. Неужели я и впрямь такой самонадеянный человек? Да, конечно, я считал себя обязанным взять своего рода шефство над единственным известным мне отпрыском Бориса Колтовского. Уверен, что, будь сам Борис жив, он не отказался бы принять мое предложение, сделанное от чистого сердца. Неужели я заслужил, чтобы меня так грубо отстранили? Особенно отличилась та наглая особа, которая с ней жила... Забыл ее имя... Словом, особа, проповедовавшая вульгарно-социалистические взгляды, она ополчилась против меня, а под конец фактически выгнала; насколько мне известно, эта особа тоже не смогла справиться со своими сыновьями; и она все время балансировала где-то на грани асоциальности, если не сказать — на грани проституции. И разве господин Груйттен, отец этой странно молчаливой женщины и любовник той нахалки, той левой особы сомнительной нравственности, разве он вел себя во время войны как невинная овечка? У них не было никаких оснований столь презрительно указывать мне на дверь — вот что я хочу сказать. Нельзя, не разобравшись, принимать на веру решения суда, некомпетентность которого понимают теперь все... Нет, нет, благодарности я так и не дождался».

Все это было сказано тихим голосом, скорее с обидой, нежели агрессивно. И время от времени, когда у супруга набухали вены, Киска брала его за руку и успокаивала.

«Мои письма отсылались назад нераспечатанными, на открытки мне не отвечали, к моим рекомендациям не прислушивались. А потом в один прекрасный день та нахальная особа, я имею в виду ее подругу, написала мне черным по белому: «Неужели Вы не понимаете, что Лени не желает иметь с Вами ничего общего?» Что ж... Я отстранился от всего. Правда, меня продолжали информировать, я был в курсе дела... Разумеется, меня интересовал только мальчик. Ну, и что они из него сделали? Не хочу сказать, что они сделали из него преступника; я считаю, что человеку моего масштаба не подобает слепо доверять судебным решениям, не разобравшись во всем самостоятельно. Я ведь тоже числился преступником, меня карали за то, что я на собственный страх и риск повысил содержание ржаной муки и жома сахарной свеклы в хлебе пленных, повысил на пять процентов и, соответственно, понизил содержание целлюлозной муки и листьев, чтобы сделать этот хлеб более съедобным. В свое время меня могли посадить за это в концлагерь. Да, да. А к преступникам меня причислили лишь потому, что я был одним из владельцев комплекса заводов, и потому, что благодаря сложному стечению обстоятельств — сложным семейным связям и сложным экономическим факторам — принадлежал к избранному кругу видных промышленников, которые действуют в сфере или, скорее, в атмосфере, недоступной пониманию аутсайдеров. Да, в разные периоды я сам попадал в такие

ситуации, что меня считали преступником. Поэтому-то мне не хотелось бы клеймить этим словом мальчика. Но одно могу сказать — он оказался моральным банкротом, явным банкротом. То, что он наделал, — безумие, результат безумного воспитания. Мальчишка в двадцать три года, видите ли, хочет с помощью поддельных чеков и фальшивых векселей вѡвь вернуть собственность, которая в свое время была законным путем приобретена другим лицом, пусть проявившим жесткость. Это другое лицо вело себя некрасиво, пожалуй, даже нечестно. Согласен! Но что промотано — то промотано, что продано — то продано. Выражаясь терминами психоанализа, у мальчика оказался опасный эдипов комплекс, усугубленный травмой, связанной с отцом. Мать не догадывалась, что она натворила своим Кафкой... Она не подозревала, что столь полярных авторов, как Кафку и Брехта, если их читать в неумеренных дозах, невозможно освоить и совместить... И к этому еще добавился Гельдерлин с его пафосом радикализма и Трагль с его завораживающей упадочнической лирикой; ребенок буквально всосал все это с молоком матери; это было первое, что он услышал, лишь только научился лепетать. Приплюсуем к этому наивный материализм с чертами мистики. Я и сам против всяких табу, но стоило ли так углубляться в биологизм с его прославлением буквально всех органов человеческого тела и всех их функций?.. В конечном счете человек по своей природе слаб, да, слаб!.. О, как горько, когда тебе не позволяют помочь, как больно, когда тебя отстраняют!»

И тут авт. увидел то, что он уж никак не ожидал увидеть: Сл. как следствие П., а П., в свою очередь, как следствие скрытого С₂.. Однако как раз в эту секунду, пробежав по прелестному газону, на террасу вскочили собаки, афганские борзые воистину королевской красоты. Наспех обнюхав авт., они, как видно, сочли его недостойным внимания и перекинулись на хозяина, дабы осушить его слезы. Почему это, черт побери, все стали вдруг такими сентиментальными? И Пельцер, и Богаков, и высокопоставленное лицо? Даже глаза Лотты подозрительно блестели, а Мария ван Доорн плакала не таясь; что касается Маргарет, то она просто ревела белугой. Только у самой Лени в глазах было ровно столько влаги, сколько необходимо человеческим глазам, открыто и ясно глядящим на мир.

Прощание с Киской и высокопоставленным лицом прошло в дружеской обстановке, в голосах хозяев все еще звучала грусть, особенно когда они попросили авт., если возможно, выступить в роли посредника. Ведь они по-прежнему готовы — и всегда будут готовы — помочь сыну Бориса именно потому, что он сын Бориса и внук Льва Колтовского, помочь «снова встать на ноги».

* * *

Невыясненным и неясным для авт. по-прежнему было физическое и психическое состояние Грундча в последние дни войны. Нанести ему визит не составляло труда: авт. позвонил по телефону, договорился, и вот уже Грундч собственной персоной стоит после закрытия кладбища у ржавых железных ворот, которые раскрываются лишь тогда, когда с кладбища вывозят бранные останки венков и букетов, которые нельзя использовать для компоста, так как они из пластмассы. Грундч — по натуре человек гостеприимный — обрадовался гостю и взял его под руку, чтобы здоровым и невредимым провести «по особенно осклизлым участкам». За истекший период положение Грундча на кладбище изменилось к лучшему, неузнаваемо изменилось. Не так давно ему вручили ключ от общественной уборной, а также ключ от душа для рабочих кладбища. Сам он приобрел транзистор и телевизор и уже предвкушал, как будет наслаждаться предстоящей выставкой гортензий, которую устраивали на красную горку (встреча с Грундчем произошла под пасху). В этот прохладный мартовский вечер не рекомендовалось сидеть на скамейках, зато можно было погулять по кладбищу, на сей раз и по главной аллее, которую Грундч называл «главной улицей». «Наш самый богатый квартал, — сказал он, хихикая, — наши самые

дорогие участки. Если вы не доверяете Вальтерхену, могу показать вам несколько вещественных доказательств, которые подтвердят его рассказ. Дело в том, что он никогда не врет, так же как никогда не был извергом». (Хихиканье.) Грундч показал авт. остатки той электропроводки, которую он сам и Пельцер тянули в феврале 1945 года; это были куски провода, обмотанного темной изоляционной лентой довольно низкого качества; провод шел от цветочного до оббитого плющом дуба, от дуба до куста сирени (на нем все еще видны были ржавые скобы), от куста сирени к живой изгороди из бирючины, а оттуда к фамильному склепу фон дер Цекке. На стенах этой достойной усыпальницы также остались скобы и клочки провода с черной изоляционной лентой низкого качества... И тут вдруг авт. оказался лицом к лицу с массивной бронзовой дверью (и что скрывать — почувствовал легкий трепет!), с той самой дверью, которая вела когда-то в «райский уголок», а ныне, в этот неласковый вечер ранней весны, была, к сожалению, закрыта. «Вот мы куда тянули этот провод, — сказал Грундч, — а дальше он шел уже внутри, сперва к Герригерам, а потом к Бошанам». Склепы фон дер Цекке и Герригеров оказались в прекрасном состоянии. Земля вокруг них была выложена мхом, на нем стояли горшки с анютиными глазками и розами. Грундч прокомментировал это так: «Да, оба семейства — наши постоянные клиенты, в свое время Вальтерхен передал их мне. А проемы, соединявшие склепы, он после войны велел замуровать и заштукатурить; к несчастью, это делал старый Груйтен. Типичная калтурал! Вскоре появились трещины и штукатурка начала крошиться, но Вальтерхен все свалил на бомбежки. И это даже не было ложью, второго марта кладбище, говорят, здорово перепахало. Тут неподалеку все еще стоит ангел с осколком в голове, будто на него обрушилась секира».

Несмотря на сгущавшиеся сумерки, авт. разглядел упомянутого ангела и может подтвердить подлинность слов Грундча. «Да, конечно, часть этих дешевых украшений в стиле назарейцев на склепах отлетела, сами понимаете. Герригеры это добро реставрировали, а фон дер Цекке модернизировали. Зато Бошаны, вернее, Бошан оставил все как есть. Малыш, — впрочем, сейчас ему уже, наверное, лет шестьдесят пять, но я его помню таким, каким он был в начале двадцатых годов, — помню, как он в матросском костюмчике плакал и молился; вообще-то он с приветом; дело в том, что уже тогда он был стар для своего матросского костюмчика, но ни за что не хотел с ним расстаться... Может быть, он до сих пор бегает в матросском костюмчике там, внизу, в Меране, в своем санатории. Время от времени его адвокат раскошелится и посылает какую-нибудь мелочь, чтобы выполоть хотя бы самые злые сорняки. Адвокат настаивает на праве своего клиента, диковинного господина в матросском костюмчике, быть похороненным здесь; кстати, этот чудак все еще живет на доходы от фабрики гильз. Если бы не адвокат, город, наверное, уже снес бы это сооружение. Из-за места на кладбище идет настоящая судебная тяжба. (Хихиканье. Авт.) Как будто нельзя похоронить господина в матросском костюмчике там, в Тироле. А вот и часовня. Дверь почти истлела, если хотите, можете заглянуть внутрь, не остались ли там следы вереска, который натаскали Лени и Борис».

И авт. на самом деле вошел в маленькую полуразрушенную часовню и внимательно оглядел очень красивый в архитектурном отношении полукупол с почти стершимися фресками в стиле назарейцев. В часовне было грязно, холодно и сыро, и, чтобы увидеть алтарь, авт. пришлось много раз чиркать спичками. (Ему до сих пор не ясно, вправе ли он потребовать компенсацию за эти спички у финансового ведомства, поскольку, будучи заядлым курильщиком, он постоянно тратит большое количество спичек; думается, высокооплачиваемые государственные и частные эксперты должны решить, не следует ли возместить авт. стоимость приблизительно тринадцати — шестнадцати спичек, определив затраты на них, так сказать, как служебные издержки.) За алтарем, с которого неизвестные воры сняли украшения из цветных металлов, авт. обнаружил странное, отливающее красно-сиреневым цветом облако явно органического проис-

хождения; облако это могло образоваться из вереска, превратившегося в труху. Происхождение предмета дамского туалета, который женщины носят обычно под платьем или под свитером, на верхней части туловища, объяснил авт. Грундч. Он поджидал у часовни, посасывая свою трубку! «Ах вот оно что! Наверное, это оставила какая-нибудь парочка; изредка они наведываются на кладбище и блуждают здесь, не зная дороги; сюда приходят только те, у кого нет ни кола ни двора, у кого нет денег на гостиницу и кто не боится покойников».

Несмотря на неласковый вечер, прогулка авт. с Грундчем получилась приятной и долгой, и самым лучшим ее завершением была бутылочка вишневой наливки в доме у Грундча.

«Ну да. — сообщил Грундч, — под самый конец, когда я услышал, что у меня на родине идут тяжелые бои, я все же не выдержал и решил отправиться туда, хотел повидать мать, может быть, даже помочь ей. Матери моей было тогда уже под восемьдесят, и я не навещал ее целых двадцать пять лет. Правда, всю свою жизнь она подпевала попам, но это была не ее вина, а вина определенной социальной (хихиканье) системы. Моя затея была, конечно, безумием, но я все же выбрался на родину. Выбрался слишком поздно. Да еще понадеялся на свое знание местности. В детстве я там пас коров и по лесным стежкам да по опушкам доходил иногда до белых и красных песков. Но эти кретины поймали меня сразу за Дюреном, сунули мне в руку винтовку и послали в лес с целым взводом желторотых юнцов. Я сделал вид, будто мы годимся для разведотряда, — эту науку я хорошо знал еще с первой войны... Взял ребятишек и пошел. Но моя ориентировка на местности не помогла, местности там вообще уже не оказалось — одни воронки, головешки вместо деревьев и мины. Если бы нас в скором времени не сцапали америкашцы, мы бы взорвались, к чертовой матери. Только американцы знали, какие дороги не заминированы. К счастью, моих сопляков все же удалось спасти, и я тоже спасся, хотя прошло немало времени, прежде чем они меня отпустили; четыре месяца я голодал и холодал, валялся в палатке и зарастал грязью. Да, роскошной жизни штатники мне не предоставили, но зато у них в лагере я наконец-то излечился от ревматизма, который мучил меня всю жизнь. А мать я так и не увидел. Какой-то немец, эдакий бандит, застрелил ее, потому что она вывесила белый флаг... Эта ихняя дыра довольно долго переходила из рук в руки: то там хозяйничали американцы, то германцы, а эвакуироваться старуха не желала. И вот эти самые германцы буквально прошли из автомата мою восьмидесятилетнюю родительницу; наверное, те самые негодяи, которым у нас ставят сейчас памятники. А наши попы до сих пор ничего не предпринимают против этих вонючих памятников. Да, признаюсь вам, в июне, когда союзники отпустили меня домой вместе с земледельцами, я почти что дошел до ручки. Добиться освобождения мне было очень не легко, хотя я и впрямь принадлежу примерно к той же бражке. Но весть об освобождении земледельцев сыны святого Колпинга, те же лагерники, держали в строжайшей тайне — они передавали ее по секрету только своим товарищам. Что же пришлось и мне сделать ставку на организацию христианских рабочих и на их святого патрона папашу Колпинга; опустив очи долу, я бормотал библейские тексты. Только благодаря этому меня уже в июне отпустили на все четыре стороны. Дома я нашел безукоризненно чистую, очень милую, хотя и небольшую мастерскую, которую Хельтхоне вела по всем правилам искусства. Она тут же передала ее мне очень вежливо, заплатив даже арендную плату. Этого я ей никогда не забуду; по сей день она получает от меня цветы по себестоимости. А теперь насчет Вальтерхена. Ко мне он никогда не обращался за «санитарно-гигиенической» справкой; будь я на месте Лени и других, я бы заставил его поплясать и попотеть хотя бы несколько месяцев. Ведь этот хитрец во все трудные времена как сыр в масле катался. Да, я бы заставил его немножко попрыгать хотя бы из чисто медицинских соображений. Ему бы это не повредило. Ко мне он тоже отнесся по-хорошему; округлив мою долю земли, выделил ее и предоставил мне кредит, чтобы я наконец-то мог открыть собственное дело. Часть наших постоянных клиентов он тоже передал

мне и помог с семенами; Вальтерхен никогда не мелочился. Но если бы он просидел в каком-нибудь исправительном заведении, в том же лагере, эдак с полгода, ничего, кроме пользы, это ему не принесло бы».

Авт. пробыл у Грундча еще некоторое время (примерно часа полтора) и свидетельствует, что Грундч ни в коей мере не проявил слезливости; в дальнейшем он помалкивал с самым безмятежным видом. В берлоге у Грундча было весьма уютно; на столе стояли пиво и вишневая наливка. Главное же, здесь, в берлоге, авт. было разрешено то, что на кладбище Грундч запрещал из-за топографических особенностей местности («Горящая сигаретка видна здесь на километр»), — ему было разрешено курить. А когда Грундч провожал авт. к воротам по осклизлым дорожкам, он сказал голосом, в котором хоть и не слышались слезы, но который явно свидетельствовал, что старик расчувствовался: «Надо сделать все возможное, чтобы вызволить из тюрьмы сына Лени, этого Льва. Ведь то, что он натворил, просто глупость. Хотел заставить паршивца Хойзера возместить хотя бы частным порядком ущерб, который тот нанес его матери. Парень он замечательный, точь-в-точь как его мать и как его отец. И не забудьте, он здесь родился, как раз в той халупе, где я теперь живу. И он проработал у меня три года, прежде чем поступить в управление кладбищ, а потом в городское управление по очистке улиц. Замечательный малый и совсем не такой молчаливый, как его мать. Парню надо помочь. Когда он был малышом, то часто играл здесь, ведь в особо горячие месяцы Лени работала сезонной рабочей сперва у Пельцера, а потом у меня. Если дело дойдет до крайности, я могу спрятать его здесь, на том же самом кладбище, где прятал его отца. Тут Льва никто у меня не найдет, тем более склепов и подземелий он не боится, как в свое время боялся я».

Авт. самым сердечным образом попрощался с Грундчем и обещал ему прийти еще раз — обещание это он намерен сдерживать. Кроме того, он обещал подсказать молодому Груйтену, как только тому удастся выйти из тюрьмы, «вариант с кладбищем», как это назвал Грундч. «И скажите ему, — крикнул Грундч уже вдогонку авт., — скажите ему, что у меня в доме для него всегда найдется чашка кофе, тарелка супа и курево! Всегда».

(Окончание следует)

Перевела с немецкого Л. ЧЕРНАЯ,



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

*Дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза*
А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ



ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ*

ВРАГ ПОД МОСКВОЙ

Стратегическое положение Красной Армии к первой военной осени оставалось крайне напряженным. В Генеральном штабе считали, что накал боевых действий на фронтах в первую военную осень будет не меньшим, чем в начале войны. Гитлеровские войска еще не растратили полностью своих преимуществ. Несмотря на огромные потери (с начала агрессии они составили к концу сентября 1941 года более 530 тысяч человек), враг продолжал продвигаться на восток. Фашистская армия по-прежнему владела стратегической инициативой, имела превосходство в силах и средствах, удерживала господство в воздухе. На северо-западе мы не сумели предотвратить прорыв фашистов к городу Ленина. Началась ленинградская блокада. Серьезная неудача, постигшая наши войска на южном крыле советско-германского фронта, создала реальную угрозу Харьковскому промышленному району и Донбасу. Под ударом оказались отрезанные от своих соседей наши войска в Крыму.

Предметом большой заботы Ставки и Генерального штаба являлось центральное направление. К осени здесь обозначилась некоторая стабилизация. Было очевидно, что это произошло только после того, как наши войска беспримерной стойкостью в обороне и решительными контрударами нанесли крайне чувствительный урон войскам группы армий «Центр» и сорвали их первую попытку с ходу прорваться к Москве.

Вместе с тем в Генштабе отдавали себе ясный отчет в том, что переход врага здесь от наступления к обороне носил сугубо вынужденный и временный характер. Центр развернувшейся борьбы продолжал оставаться на западном стратегическом направлении. Именно на московском направлении гитлеровцы намеревались быстро решить судьбу войны в свою пользу. Военное и политическое руководство нацистской Германии не без основания полагало, что, пока Москва остается вдохновляющим и организующим центром борьбы (не говоря уж об огромном экономическом и военно-стратегическом ее значении), победа над Советским Союзом невозможна.

Гитлеровское руководство начало планомерную подготовку наступления на советскую столицу. План этот являлся составной частью большого осеннего наступления гитлеровцев на Восточном фронте. Общая его цель заключалась в том, чтобы решительными ударами на всех трех стратегических направлениях добиться разгрома оборонявшихся войск Красной Армии и завершить войну до зимы. Главный удар, как и летом, решено было нанести на московском направлении; одновременно продолжались наступательные операции по захвату Ленинграда и Ростова-на-Дону.

Генеральный штаб, к сожалению, точно не предугадал характера действий противника на московском направлении. Гитлеровское военное руководство планировало прорвать оборону советских войск ударами трех мощных танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки, окружить под Вязьмой и Брянском

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

основные силы Западного, Резервного и Брянского фронтов, после чего без всякой паузы пехотными соединениями наступать на Москву с запада, а танковыми и моторизованными нанести удар в обход города с севера и юга. На совещании в штабе группы армий «Центр» осенью 1941 года Гитлер говорил, что Москва в ходе этой операции должна быть окружена так, чтобы «ни один русский солдат, ни один житель, будь то мужчина, женщина или ребенок, не мог ее покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой». 6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву № 35 на проведение этой операции. Для ее осуществления немецкое командование стянуло на московское направление свои лучшие силы. Группу армий «Центр» пополнили 4-й танковой группой и двумя армейскими корпусами. Сюда же возвратили с юга 2-ю армию и 2-ю танковую группу, а также бросили большое количество маршевого пополнения, боевой техники и 8-й авиационный корпус. Численность пехотных дивизий группы армий «Центр» к концу сентября была доведена до 15 тысяч человек в каждой. Против трех наших фронтов — Западного, Резервного и Брянского — враг сосредоточил 77 дивизий общей численностью более миллиона человек, 1700 танков и штурмовых орудий, свыше 14 тысяч орудий и минометов, 950 боевых самолетов.

Дав этой операции кодовое наименование «Тайфун», правители третьего рейха не сомневались в том, что выделенные для нее столь значительные силы, детальная разработанный план «генерального наступления» на Москву и тщательная подготовка войск обеспечат им успех. Подводя итоги приготовлениям к этому наступлению, Гитлер в своем приказе по Восточному фронту, как всегда самоуверенно, подчеркивал: «Создана наконец предпосылка к последнему огромному удару, который еще до наступления зимы должен привести к уничтожению врага... Сегодня начинается последнее, большое, решающее сражение этого года...»

Над Москвой нависла опасность. Центральный Комитет партии и Советское правительство принимали все меры к тому, чтобы отразить вражеский удар по столице. Но наши войска, действовавшие на московском направлении, количественно значительно уступали врагу. Здесь в составе Западного, Резервного и Брянского фронтов находилось к тому времени около 800 тысяч человек, 6800 орудий и минометов, 780 танков и 545 самолетов. Отсутствие в распоряжении Ставки готовых стратегических резервов не позволило нам сделать большего. Принимались также неотложные меры к созданию в тылу войск Западного фронта дополнительных оборонительных полос и рубежей. Были осуществлены меры и по отражению авиационных ударов противника. Хотю подчеркнуть, что усилия ГКО направлялись не только на создание глубоко эшелонированной обороны и надежного прикрытия Москвы с воздуха, но и на то, чтобы ускорить формирование и подготовку стратегических резервов. Наряду с завершением формирования армий, включенных в состав Резервного фронта, создавались новые войсковые части и соединения на Урале, в Средней Азии, Поволжье и на юге страны. Словом, организации прочной обороны на западном направлении Ставка уделяла первостепенное внимание. Здесь советское командование сосредоточило главные силы. Однако количественное и техническое превосходство врага было все еще очень значительным...

30 сентября — 2 октября гитлеровцы нанесли сильные удары по советским войскам, прикрывавшим московское направление. Все три наших фронта вступили в тяжелое, кровопролитное сражение. Началась великая Московская битва.

Противнику удалось прорвать оборону советских войск и окружить наши 19-ю, 20-ю, 24-ю и 32-ю армии в районе Вязьмы. На рубеж Осташков — Сычевка были отеснены 22-я, 29-я и 31-я армии. Советские войска, оказавшиеся в окружении, ожесточенно сопротивлялись. Неудача, постигшая нас под Вязьмой, в значительной мере явилась следствием не только отсутствия необходимых резервов, но и неправильного определения направления вражеского удара со стороны Ставки и Генерального штаба, стало быть, и неправильного построения обороны. Вместо того чтобы выделить Западному и Резервному фронтам самостоятельные полосы с полной ответственностью каждого за эти полосы как по фронту, так и в глубину, 24-ю и 43-ю армии Резервного фронта к началу наступления противника поставили в оборону в первом эшелоне, между левобланговой армией Западного и правобланговой армией

Брянского фронтов. Остальные три армии Резервного фронта, растянутые в одну линию на широком участке, находились на позициях в непосредственной глубине обороны Западного фронта, по линии Осташков — Оленино — Ельня. Такое оперативное построение фронтов крайне затрудняло управление войсками в ходе сражения. В результате на направлении главных ударов врага ни Западный фронт, ни войска направления в целом так и не имели необходимой глубины обороны.

Бессмертной славой покрыли себя наши войска, сражавшиеся в районе Вязьмы. Оказавшись в окружении, они своей упорной, героической борьбой сковали до 28 вражеских дивизий. В тот необычайно тяжелый момент их борьба имела исключительное значение, так как давала нашему командованию возможность, выиграв некоторое время, принять срочные меры по организации обороны на Можайской линии. Сюда спешно перебрасывались силы с правого крыла Западного фронта, с других фронтов и из глубины страны: 11 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 арtpолков и другие соединения и части. К середине октября в 16-й (частично), 5-й, а также 43-й и 49-й армиях, прикрывавших основные направления на Москву, насчитывалось 90 тысяч человек. А затем на Западный фронт перебросили три стрелковые и две танковые дивизии с Дальнего Востока.

Я уже отмечал, что весьма неудачно сложилась обстановка на участке Брянского фронта. 30 сентября 2-я танковая группа врага в районе Шостка — Глухов нанесла сильный удар на Севск, в тыл войскам 13-й армии. 2-я немецкая армия прорвала оборону 50-й армии, рвалась на Брянск и в тыл 3-й армии. Брянский фронт оказался в крайне тяжелом положении. Управление войсками было потеряно. Связь Ставки с командованием фронта временно нарушилась, и Ставка вынуждена была, не имея ясного представления о событиях, происходящих в районе Брянска, взять управление некоторыми армиями фронта непосредственно на себя. Согласно распоряжению Верховного Главнокомандующего, в ночь на 2 октября я дал указания командующему ВВС Красной Армии П. Ф. Жигареву, командующему Брянским фронтом А. И. Еременко и некоторым другим лицам немедленно создать для Брянского фронта авиационную группу во главе с заместителем начальника штаба ВВС полковником И. Н. Рухле (четыре авиадивизии дальнего действия и одна авиадивизия особого назначения). Со 2 октября группа должна была принять участие в разгроме танковой группировки противника, прорвавшейся в район Севска. Боевую работу группы приказывалось прикрыть истребителями. За это отвечал командующий ВВС Брянского фронта генерал-майор авиации Ф. П. Польшин.

3 октября моторизованные соединения 2-й танковой группы фашистов ворвались в Орел и попытались развить наступление вдоль шоссе Орел — Тула. Для прикрытия орловско-тульского направления Ставка в спешном порядке выдвинула из своего резерва 1-й гвардейский стрелковый корпус, усилив его двумя танковыми бригадами, авиационной группой, полком РС и несколькими другими специальными частями. Командование этим корпусом возложили на заместителя начальника Автобронетанкового управления РККА генерал-майора Д. Д. Лельющенко. Подчинялся он непосредственно Ставке. Корпусу приказали не позднее 5 октября сосредоточиться в районе Мценска, Отрады, Черни¹. А к 6 октября рубеж обороны Брянского фронта был прорван в трех местах. Начался отход его войск в очень трудных условиях.

Советский народ, руководимый Коммунистической партией, отдавал все свои силы на защиту родной столицы. В ночь на 5 октября ГКО принял решение о защите Москвы. Главным рубежом сопротивления советских войск стала Можайская линия обороны. Сюда теперь направлялись все возможные силы и средства. ЦК партии и Советское правительство мобилизовывали усилия народа и государства на быстрое создание крупных стратегических резервов в глубине страны, их вооружение и скорейший ввод в дело. Для помощи командованию Западного и Резервного фронтов и для выработки вместе с ним конкретных, скорых и действенных мер по защите Москвы ГКО направил в район Гжатска и Можайска своих представителей — К. Е. Ворошилова, В. М. Молотова, Г. М. Маленкова. В качестве представителя Ставки туда же отбыл вместе с членами ГКО и я. Одной из основных задач, возложен-

¹ См. Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1534, д. 91, лл. 308, 311—312.

ных на меня, была срочная отправка войск, оторвавшихся от противника и отходивших с запада, на рубеж Можайской линии и организация обороны на этом рубеже. В помощь мне выделили группу командиров из Генштаба и две колонны автомашин. В мое распоряжение прибыл генерал-майор артиллерии Л. А. Говоров с группой командиров. Они должны были принимать прибывавшие сюда войска с фронта и из тыла. Леонида Александровича я знал еще по Академии Генерального штаба. Он был старшим в нашей учебной группе и пользовался всеобщим уважением. Ранее он участвовал в борьбе с белогвардейцами, успешно служил в РККА, получил два высших военных образования. К началу Великой Отечественной войны он являлся начальником Артиллерийской академии имени Дзержинского, а в дни войны быстро выдвинулся как превосходный артиллерист и впоследствии общевойсковой командующий. В великой битве за Москву Л. А. Говоров успешно командовал 5-й армией, а затем его направили в блокированный Ленинград, где летом 1942 года он стал командующим войсками этого легендарного фронта.

5 октября 1941 года мы прибыли в штаб Западного фронта, размещавшийся непосредственно восточнее Гжатска. Вместе с командованием фронта за пять дней нам общими усилиями удалось направить на Можайскую линию из состава войск, отходивших с ржевского, сычевского и вяземского направлений, до пяти стрелковых дивизий. О ходе работы и положении на фронте мы ежедневно докладывали по телефону Верховному Главнокомандующему. Вечером 9 октября во время очередного разговора Верховный принял решение объединить войска Западного и Резервного фронтов в Западный фронт. Все мы, в том числе и командующий войсками Западного фронта генерал-лейтенант И. С. Конев, согласились с предложением И. В. Сталина назначить командующим объединенным фронтом генерала армии Г. К. Жукова, который к тому времени уже был отозван из Ленинграда и находился в войсках Резервного фронта. Утром 10 октября вместе с другими представителями ГКО и Ставки я вернулся в Москву. В тот же день Ставка оформила решение ГКО об объединении войск Западного и Резервного фронтов и о назначении Г. К. Жукова командующим войсками Западного фронта, а И. С. Конева — его заместителем.

12 октября на заседании ГКО вновь рассматривались проблемы, связанные с обороной Москвы. Помню, какими уставшими и напряженными были лица участников заседания. Решался вопрос об укреплении ближних подступов к Москве. ГКО принял решение о строительстве непосредственно в районе столицы третьей оборонительной линии — Московской зоны обороны. Руководство строительством рубежей, организация обороны и управление войсками Московской зоны были возложены на командующего МВО генерал-лейтенанта П. А. Артемьева и Военный совет округа. Итак, враг подошел к воротам столицы. Пружина сжалась до отказа... Дни сливались с ночами. Мы забыли о сне и отдыхе. Все помыслы об одном — отстоять Москву. Ставка энергично наращивала силы Западного фронта. В его состав наряду со многими другими соединениями передали и войска, находившиеся на Можайской линии. К 13 октября положение здесь сложилось такое: на калининском направлении вели ожесточенные бои 29-я, 31-я и 30-я армии; на волоколамском оборонялась воссозданная 16-я армия под командованием генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского; на можайском направлении стояла 5-я армия, созданная 11 октября на основе войск Можайского боевого участка и резервных дивизий Ставки. Командовать ею после ранения Д. Д. Лелюшенко стал Л. А. Говоров. На наро-фоминском действовала 33-я армия генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. На малоярославецком сражалась 43-я армия генерал-майора К. Д. Голубева, на калужском — 49-я генерал-лейтенанта И. Г. Захаркина.

14 октября враг, возобновив наступление, ворвался в Калинин. 17 октября Ставка создала новый, Калининский фронт под командованием генерал-полковника И. С. Конева. В его состав вошли действовавшие на этом направлении три армии правого крыла Западного фронта (22-я, 29-я, 30-я), а также 183-я, 185-я и 246-я стрелковые дивизии, 46-я и 54-я кавалерийские дивизии, 46-й мотоциклетный полк и 8-я танковая бригада Северо-Западного фронта. Упорной обороной войска Калининского фронта остановили наступавшего врага и заняли выгодное оперативное

положение по отношению к его северной ударной группировке на московском направлении.

Наступила вторая половина октября. Гитлеровцы продолжали рваться к Москве. На всех основных направлениях к столице разгорелись ожесточенные бои. Опасность неизмеримо возросла. В связи с приближением линии фронта непосредственно к городу ГКО принял и осуществил в те грозные дни решение об эвакуации из Москвы некоторых правительственных учреждений, дипломатического корпуса, крупных оборонных заводов, а также научных и культурных учреждений столицы. В Москве оставались Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования и минимально необходимый для оперативного руководства страной и Вооруженными Силами партийный, правительственный и военный аппарат. Эвакуировался и Генеральный штаб. Возглавлять Генштаб на новом месте должен был Б. М. Шапошников. Между ним по месту новой дислокации и Ставкой устанавливалась прочная, надежная и постоянная связь. Оставшийся в Москве первый эшелон Генштаба — оперативная группа для обслуживания Ставки — не должен был превышать десяти человек. Возглавлять ее было приказано мне. Вопросы об обязанностях, ответственности рабочей группы и ее персональном составе Б. М. Шапошников и я решали, исходя из содержания задач, которыми прежде всего необходимо было заниматься этой группе. Остановлюсь несколько подробнее на этом и расскажу, что же за вопросы входили в круг обязанностей данной группы. Прежде всего она должна была всесторонне и правильно оценивать события на фронте; постоянно и точно, но без излишней мелочности информировать о них Ставку; в связи с изменениями во фронтовой обстановке своевременно и правильно вырабатывать и докладывать Верховному Главнокомандованию свои предложения; в соответствии с принимаемыми Ставкой оперативно-стратегическими решениями быстро и точно разрабатывать планы и директивы; вести строгий и непрерывный контроль за выполнением всех решений Ставки, а также за боеготовностью и боеспособностью войск, формированием и подготовкой резервов, материально-боевым обеспечением войск. Вот то основное и, как ясно из перечня, немалое, чем должна была заниматься группа. В результате обстоятельных размышлений в ее состав были включены начальники основных оперативно-стратегических направлений Оперативного управления и по одному работнику от основных управлений Генерального штаба.

16 октября должен был отбыть из Москвы Генеральный штаб. Я позвонил И. В. Сталину и попросил разрешения проводить на вокзал Б. М. Шапошникова и других работников Генштаба. Однако в ответ получил указание прибыть в Ставку, где и проработал до поздней ночи. Так мы и не попрощались. Почти не покидал я Ставку все последующие дни. С каждым часом нарастало напряжение. Участились бомбежки. ЦК ВКП(б) и Советское правительство продолжали наращивать силы для защиты Москвы.

19 октября ГКО постановил ввести с 20 октября в Москве и прилегающих к ней районах осадное положение. Жители Москвы сутками не выходили с заводов, не покидали строительства оборонительных рубежей. Усиленный выпуск военной продукции, форсированное возведение оборонительных рубежей, дополнительные формирования соединений и частей народного ополчения, коммунистических и рабочих батальонов — все это явилось неоценимым вкладом москвичей в дело защиты города.

К концу октября советские воины остановили врага на рубеже Волжского водохранилища, восточнее Волоколамска и далее по линии рек Нара и Ока, а на юго-западных подступах к Москве — в районе Тулы, где 50-ю армию стойко поддерживали отряды тульских рабочих.

Итоги октябрьских событий были очень тяжелы для нас. Армия понесла серьезные потери. Враг продвинулся вперед почти на двести пятьдесят километров. Однако достичь целей, поставленных планом «Тайфун», ему не удалось. Стойкость и мужество защитников советской столицы, опиравшихся на помощь тружеников тыла, остановили фашистские полчища. Группа армий «Центр» была вынуждена временно

прекратить наступление. В этом — главный итог октябрьского периода Московской битвы, очень важного и ответственного во всем сражении за Москву. И забывать об этом периоде неправильно. Еще и еще раз хочу отметить, что советские воины выстояли, сдержали натиск превосходившего нас численностью и вооружением врага. Большую роль сыграла твердость руководства со стороны Центрального Комитета партии и ГКО во главе с И. В. Сталиным. Они осуществляли неустанную деятельность по мобилизации и использованию сил страны.

Хочется сказать также и о том, что даже в эти исключительно тяжелые дни правительство нашло возможным отметить работу нашей группы работников Генерального штаба, обслуживавших Ставку в оперативном отношении. В ночь на 29 октября во время одного из телефонных разговоров И. В. Сталин спросил, не смог ли бы я написать постановление о присвоении очередного воинского звания одному из генералов. Я ответил согласием и в свою очередь спросил, о присвоении какого звания и кому идет речь, совершенно, конечно, не подозревая, что будет названо мое имя. Услышав свою фамилию, я попросил освободить меня от выполнения этого поручения. Сталин шутя ответил: «Ну, хорошо, занимайтесь своими делами, а уж в этом мы как-нибудь обойдемся и без вас». Поблагодарив за такую высокую оценку моей работы, я заинтересовался, можно ли отметить также и заслуги моих прямых помощников, отлично работающих в столь напряженное время. Сталин согласился с этим предложением и обязал меня сообщить А. Н. Поскребышеву, кого и как следует отметить. 29 октября 1941 года постановлением СНК СССР четвертым из нашей оперативной группы были присвоены очередные воинские звания: мне — генерал-лейтенанта, А. Г. Карпоносову, В. В. Курасову и Ф. И. Шевченко — генерал-майора.

Это внимание, проявленное к нам, тронуло нас до глубины души. Уже говорилось, что И. В. Сталин бывал и вспыльчив и несдержан в гневе. Тем более поразительной была эта забота в условиях крайне тяжелой обстановки. Вот один из примеров противоречивости личности И. В. Сталина. Припоминаются и другие факты. В особо напряженные дни он не раз говорил ответственным работникам Генштаба, что мы обязаны изыскивать для себя и для своих подчиненных как минимум пять-шесть часов в сутки для отдыха, иначе, подчеркивал он, плодотворной работы получиться не может. В октябрьские дни битвы за Москву Сталин сам установил для меня отдых от 4 до 10 утра и проверял, выполняется ли это его требование. Случаи нарушения вызывали крайне серьезные и в высшей степени неприятные для меня разговоры. Разумеется, то была не мелочная опека, а вызвавшая обстановкой необходимость. Напряженнейшая работа, а порой и неумение организовать свое время, стремление взять на себя выполнение многих обязанностей зачастую заставляли ответственных работников забывать о сне. А это тоже не могло не сказаться на их работоспособности, а значит, и на деле. Иногда, возвратившись около 4 часов утра от Сталина, я, чтобы реализовать принятые в Ставке решения, обязан был дать исполнителям или фронтам необходимые указания. Порою это затягивалось далеко за 4 часа. Пришлось идти на хитрость. Я оставая у кремлевского телефона за письменным столом своего адъютанта старшего лейтенанта А. И. Гриненко. На звонок Сталина он докладывал, что я до 10 часов отдыхаю. Как правило, в ответ слышалось: «Хорошо».

Говоря о тяжелых и опасных для нашей столицы и страны в целом октябрьско-ноябрьских днях, когда враг стоял у стен Москвы и Ленинграда, не могу не сказать о том огромном значении, которое имело для москвичей, для советского народа и Вооруженных Сил состоявшееся 6 ноября торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся совместно с партийными и общественными организациями столицы, посвященное двадцать четвертой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, а 7 ноября — традиционный парад войск на Красной площади. И у нас, в Генштабе, чувствовалось какое-то особенно торжественное настроение. Призывы Коммунистической партии, прозвучавшие в выступлениях И. В. Сталина, отдать все силы для защиты родины и победы над врагом, да и сам по себе парад вызвали могучий патриотический подъем в стране, вдохновили наших людей на новые героические подвиги на фронте и в тылу, уси-

лили в них твердую уверенность в неизбежном переломе в ходе войны, в победе над фашистами.

Выигранное в конце октября время советское командование использовало для дальнейшего усиления войск западного направления и укрепления оборонительных рубежей. Крупным мероприятием явилось завершение подготовки очередных и вне-очередных резервных формирований. На рубеже Вытегра — Рыбинск — Горький — Саратов — Сталинград — Астрахань создавался новый стратегический эшелон для Красной Армии. Здесь на основании решения ГКО, принятого еще 5 октября, формировалось десять резервных армий. Создание их на протяжении всей Московской битвы стало одной из основных и повседневных забот ЦК партии, ГКО и Ставки. Мы, руководители Генерального штаба, ежедневно при докладах Верховному Главнокомандующему о положении на фронтах детально сообщали о ходе создания этих формирований. Без всякого преувеличения должен сказать, что в исходе Московской битвы решающее значение имело то, что партия и советский народ своевременно сформировали, вооружили, обучили и перебросили под столицу новые армии...

В Генеральном штабе не сомневались, что гитлеровское командование готовит войска к возобновлению наступления. Действительно в течение первой половины ноября оно создало две мощные ударные группировки. 15—16 ноября они перешли в наступление, стремясь обойти Москву с севера — через Клин и Солнечногорск, и с юга — через Тулу и Каширу. Тяжелые оборонительные бои продолжались всю вторую половину ноября. К концу ноября фашистским войскам удалось северо-западнее столицы продвинуться к каналу Москва — Волга и форсировать его у Яхромы, а на юго-востоке достичь района Каширы. То был предел фашистского наступления. Дальше враг не прошел. Утратив свои наступательные возможности, обескровленные и измотанные активной обороной советских войск, соединения группы армий «Центр» в первых числах декабря всюду вынуждены были перейти к обороне: 3 декабря — войска 4-й немецкой армии, 5 декабря — войска 3-й, 4-й танковых групп и 2-й танковой армии. Этим завершился наиболее трудный для нас оборонительный период битвы под Москвой. В течение двадцатидневного второго наступления на Москву фашисты потеряли более 155 тысяч убитыми и ранеными, около 800 танков и не менее 300 орудий. Весть о провале фашистского наступления под Москвой была встречена всеми работниками Генштаба с нескрываемой радостью и с чувством удовлетворения. Это событие значило для армии и страны очень многое. Сложился необходимые условия для перехода Красной Армии в контрнаступление. К началу декабря изменилось соотношение сил воюющих сторон. В составе нашей Действующей армии было около 4,2 миллиона человек, до 22 тысяч орудий и минометов, 583 установки реактивной артиллерии, 1730 танков и 2495 боевых самолетов (правда, почти две трети наших танков и до половины самолетов — еще старых типов). Вражеская армия (включая германских союзников) имела в то время около 5 миллионов человек, 26,8 тысячи орудий и минометов, почти 1,5 тысячи танков и до 2,5 тысячи боевых самолетов. Превосходство противника сохранялось в людях и артиллерии, но он уже уступал нам по количеству танков при равенстве по самолетам. В начале декабря наше Верховное Главнокомандование располагало крупными стратегическими резервами, которые Ставка могла использовать для усиления Действующей армии. Наличие резервов врага на советско-германском фронте были в основном израсходованы. Таким образом, на нашей стороне имелся ряд благоприятных факторов. Однако некоторые обстоятельства осложняли обстановку: блокада Ленинграда, наметившийся прорыв врага на Кавказ, непосредственная близость линии фронта к Москве. Перед нашим народом и его Красной Армией стояла задача не только ликвидировать угрозу Ленинграду, Москве и Кавказу, но и вырвать стратегическую инициативу из рук врага, создав перелом в ходе войны. Ставка предусматривала сосредоточить основные усилия на западном направлении, где предполагалось подготовить решительное контрнаступление. Сюда, естественно, и перебрасывалась большая часть резервов Ставки, маршевых пополнений, боевой техники и боеприпасов.

В конце ноября — начале декабря в район Москвы прибыли 1-я ударная и 20-я армии, начали подходить 10-я, 26-я и 61-я резервные армии. Они выдвигались на фланги Западного фронта и на стык его с Юго-Западным фронтом. Часть сил этих армий приняла участие в нанесении контрударов севернее Москвы. На Западный фронт прибыли также соединения из других резервных армий и военных округов. Пополюялись и войска Калининского фронта. Значительное усиление войск западного направления, хотя оно и не создавало общего превосходства над группой армий «Центр», явилось одним из важных условий для перехода в контрнаступление. В начале декабря противник имел в своих боевых порядках под Москвой свыше 800 тысяч человек, около 10,4 тысячи орудий и минометов, тысячу танков и более 600 самолетов, а мы — 720 тысяч человек, 5900 орудий и минометов, 415 установок реактивной артиллерии, 670 танков и 760 самолетов. Как видим, ни о каком нашем преимуществе в силах говорить не приходится.

Самая идея контрнаступления под Москвой возникла в Ставке Верховного Главнокомандования еще в начале ноября, после того как первая попытка противника прорваться к столице сорвалась. Но от нее пришлось тогда отказаться вследствие нового фашистского натиска, для отражения которого потребовались имевшиеся у нас резервы. Лишь в конце ноября, когда противник исчерпал свои наступательные возможности, его ударные группировки оказались растянутыми на широком фронте и он не успел закрепиться на достигнутых рубежах, Ставка возвратилась к идее контрнаступления. Уверенность в успешности контрнаступления под Москвой у ГКО и Ставки была настолько велика, что 15 декабря, то есть через десять дней после его начала, приняли решение о возвращении в Москву аппарата ЦК и некоторых государственных учреждений. Генеральный штаб во главе с Б. М. Шапошниковым возвратился еще в двадцатых числах ноября и тут же включился в работу по подготовке контрнаступления.

Нельзя не отметить, что проведение контрнаступления под Москвой в значительной мере облегчили успешные наступательные действия, предпринятые в ноябре и декабре на тихвинском и ростовском направлениях. Разгром вражеских группировок под Тихвином и Ростовом, хотя он и потребовал от Верховного Главнокомандования посылки туда части резервных сил, позволил решить не только эти локальные задачи, но и сковать противника на северо-западном и южном направлениях. Тем самым фашисты были лишены возможности перебросить войска с этих направлений на усиление своей центральной группировки. 29 ноября И. В. Сталин направил 9-й и 56-й армиям, их командующим генерал-майору Ф. М. Харитонову и генерал-лейтенанту Ф. Н. Ремизову приветствие, а главнокомандующему Юго-Западным направлением маршалу С. К. Тимошенко и командующему Южным фронтом генерал-полковнику Я. Т. Черевиченко — поздравление в связи с освобождением Ростова. Это одно из первых поздравлений такого рода. Почти полгода, с самого начала войны, все ждали момента, когда мы начнем громить фашистов не отступая, а заставляя их обороняться. И вот наконец дождались! В дальнейшем приветствия Верховного Главнокомандующего войскам-освободителям стали традицией.

Ставку и нас, работников Генштаба, очень беспокоило положение под Тихвином. Между Ленинградским и Северо-Западным фронтами осенью, когда немецкие войска прорвались с юга к Ладожскому озеру, возник огромный разрыв. Его заполнила 54-я армия Ленинградского фронта, оказавшаяся вне кольца блокады, а также 4-я и 52-я отдельные армии (подчинявшиеся непосредственно Ставке). Эти армии должны были организовать оборону вдоль реки Волхов на юг, к озеру Ильмень. Но ни эти армии, ни восточный фланг Ленинградского фронта, ни правый фланг Северо-Западного фронта, начинавшийся у озера Ильмень, не сумели воспрепятствовать вражескому удару на Тихвин. Город пал. Появилась угроза прорыва немцев с юга в тыл 7-й отдельной армии, которая на реке Свирь затормозила наступление финнов. Соединение немцев с финнами означало бы двойное кольцо блокады вокруг Ленинграда и общее их наступление в сторону Вологды.

Командующий 7-й армией К. А. Мерецков, возглавив по указанию Ставки одновременно и 4-ю армию, сумел стабилизировать положение восточнее Тихвина. Затем этот город был освобожден.

Чтобы наладить здесь управление войсками, Ставка Верховного Главнокомандования 17 декабря образовала Волховский фронт, в состав которого вошли 4-я, 52-я, 59-я и 26-я (2-я ударная) армии, а командующим войсками фронта назначила К. А. Мерецкова. До Нового года войскам этого фронта удалось очистить от фашистов часть нашей территории, существенно ослабить силы немецкой группы армий «Север» и сохранить за нами тот плацдарм, опираясь на который Большая земля наладила снабжение голодавшего Ленинграда через Ладогу. А пока враг отбивался от серьезных контрударов советских войск на севере и на юге, Ставка готовила, а затем и руководила гигантским контрнаступлением под Москвой.

Замысел этого контрнаступления сводился к тому, чтобы ударами войск правого и левого крыла Западного фронта во взаимодействии с Калининским и Юго-Западным фронтами разгромить ударные группировки врага, стремившиеся охватить Москву с севера и юга. Ставка заранее довела до командующих Западным и Юго-Западным фронтами общие задачи, потребовала конкретных предложений по их реализации. Основную роль в контрнаступлении должен был сыграть и сыграл в действительности Западный фронт.

30 ноября командующий этим фронтом Г. К. Жуков попросил меня «срочно доложить Народному Комиссару Оборона т. Сталину план контрнаступления Западного фронта и дать директиву, чтобы можно было приступить к операции, иначе можно запоздать с подготовкой»². К этому прилагались объяснительная записка за подписями Г. К. Жукова, члена Военного совета фронта Н. А. Булганина, начальника штаба фронта В. Д. Соколовского и план-карта. Хочу подчеркнуть, что Василий Данилович Соколовский, возглавлявший этот штаб с июля 1941 года до января 1943 года, внес немалую лепту в разработку представленного Георгием Константиновичем плана. Суть его сводилась к тому, чтобы в первую очередь разгромить фланговые группировки противника на Московском направлении: севернее столицы — усилиями 30-й, 1-й ударной, 20-й и 16-й армий на участке от Рогачева до Истры, в общем направлении на Волоколамск; южнее столицы — усилиями 50-й и 10-й армий на участке от Тулы до Михайлова, через Сталиногорск (Новомосковск) и Богородицк, с поворотом затем в направлении на Калугу и Белев.

Действия войск Западного фронта следовало активно поддержать соседними армиями. Было очевидно, что стоявший правее Западного фронта Калининский фронт должен нанести удар 31-й армией южнее города Калинина, в сторону Старицы, а левее Западного фронта Юго-Западный фронт — ударом 3-й и 13-й армий на участке Ефремово — Волово, в обход города Елец, в сторону Верховья.

30 ноября Ставка утвердила соображения Военного совета Юго-Западного фронта, а 1 декабря — план Военного совета Западного фронта.

В конце ноября заболел Б. М. Шапошников, и обязанности начальника Генерального штаба Ставка временно возложила на меня. Поэтому директиву в адрес командующего Калининским фронтом от 1 декабря подписали Верховный Главнокомандующий и я. В ней указывалось, что частные атаки на разных направлениях, предпринятые войсками фронта 27—29 ноября, неэффективны; фронту приказывалось, сосредоточив ударную группировку, в течение двух-трех дней нанести удар южнее города Калинина, на Тургиново, чтобы содействовать уничтожению 1-й ударной армией генерал-лейтенанта В. И. Кузнецова клинковой группировки врага. Командующему фронтом И. С. Коневу рекомендовалось использовать для этой цели пять наиболее боеспособных дивизий, мотобригаду, основную часть артиллерии Резерва Главного Командования, все реактивно-артиллерийские системы и танки³.

Утром 1 декабря по указанию Верховного Главнокомандующего состоялся мой разговор с И. С. Коневым относительно этой директивы. Командующий, ссылаясь на отсутствие у него танков и нехватку сил, предлагал вместо оказания помощи Западному фронту провести местную операцию по овладению городом Калинином. С таким заявлением нельзя было согласиться, оно преследовало только локальные интересы и шло вразрез с общей целью. Я вынужден был заявить И. С. Коневу следующее: «Товарищ командующий! Известны ли вам события под

² Архив МО СССР, ф. 16-А, оп. 947, д. 36, лл. 70—72.

³ См. там же, ф. 132-А, оп. 2642, д. 30, л. 108.

Ростовом? Сорвать наступление немцев на Москву и тем самым не только спасти Москву, но и положить начало серьезному разгрому противника можно лишь активными действиями с решительной целью. Если мы этого не сделаем в ближайшие дни, то будет поздно. Калининский фронт, занимая исключительно выгодное оперативное положение для этой цели, не может быть в стороне от этого. Вы обязаны собрать буквально все для того, чтобы ударить по врагу, а он против вас слаб. И, поверьте, успех будет обеспечен. Товарищ Сталин разрешил немедленно перебросить вам для этой цели еще одну, 262-ю стрелковую дивизию Северо-Западного фронта. Она начинает погрузку сегодня в 18.00. Дивизия имеет в своем составе свыше 9 тысяч и неплохо вооружена. Ставка Верховного Главнокомандования считает не только возможным, но и необходимым снять с фронта и сосредоточить для этого удара указанные мной дивизии. Мне непонятно ваше заявление, что все эти дивизии имеют в своем составе всего лишь по 2—3 тысячи человек. Передо мной донесение вашего штаба, полученное 24 ноября 41 г., по которому 246-я стрелковая дивизия имеет 6800 человек, 119-я — 7200, 252-я — 5800, 256-я — 6000 и так далее. Если в этих дивизиях, как вы заявили, действительно слаба артиллерия, то вы сможете усилить их за счет артолков Резерва Главного Командования, которых вы имеете 9. По вопросу о танках буду докладывать Верховному. Ответ дадим позднее...»

После этого началось конкретное обсуждение предлагаемой Ставкой операции. И. С. Конев, прося все же усилить его фронт, заверил, что будет действовать так, как требует Ставка, нанося удар по Тургинову с целью «обязательно прорвать оборону и выйти в тыл противнику»⁴.

4 декабря я прибыл в штаб Калининского фронта. Штаб фронта находился в деревне Большое Кушалино, в сорока километрах северо-восточнее города Калинина. Там, на месте, я передал его командующему последние указания Ставки по переходу в контрнаступление. Ставка была очень озабочена обеспечением точного выполнения приказа.

Нельзя не сказать здесь о тех крайне невыгодных и тяжелых для Западного фронта условиях, в которых протекала его подготовка к переходу в контрнаступление. На большинстве участков фронта она осуществлялась в обстановке напряженнейших и непрерывных оборонительных боев с наседавшим противником и лишь на отдельных участках постепенно перерастала в контрнаступление в результате успешных контрударов наших войск. На правом крыле фронта 1-я ударная армия с 29 ноября по 3 декабря вела трудные бои с вражескими войсками, захватившими мост через канал Москва—Волга у Яхромы и вышедшими на восточный берег. В центре фронта немцы неожиданно для нас прорвали линию обороны в стыке 5-й и 33-й армий и повели наступление на Кубинку. Только 4 декабря этот прорыв удалось ликвидировать. Еще сложнее была обстановка у войск Юго-Западного фронта, ибо подготовка к контрнаступлению его правого крыла велась в условиях, когда инициатива находилась еще полностью в руках противника и наши войска продолжали пятиться на восток. 4 декабря, иными словами на четвертый день после утверждения представленного командующим I фронтом плана перехода в наступление, на участке 13-й армии фашисты захватили Елец, очень важный, особенно в период подготовки войск к контрнаступлению, железнодорожный узел.

Начало контрнаступления Ставка определила на 5—6 декабря. Фактически же события развивались так. После ударов авиации и артиллерийской подготовки выполнение плана контрнаступления началось в разные числа: Калининским фронтом — 5 декабря, Западным фронтом севернее и южнее Москвы — 6 декабря, Юго-Западным фронтом — 7, а кое-где и 8 декабря. 8 декабря Гитлер подписал так называемую директиву № 39, предусматривавшую общий переход немецких войск под Москвой к обороне. Развернулась грандиозная битва. Успех нарастал с каждым днем. Инициатива бесспорно переходила к нам. Внезапный удар советских войск произвел ошеломляющее впечатление на фашистское командование. Это полностью подтвер-

⁴ Там же, ф. 96-А, оп. 2011, д. 5, лл. 185—190.

дило правильность выбранного Ставкой момента перехода в контрнаступление. Верховное Главнокомандование внимательно следило за ходом событий и по мере продвижения войск ставило фронтам дальнейшие задачи. Нередки были случаи, когда в ходе борьбы отдельные решения и действия командующих фронтами поправлялись. Например, 12 декабря 1941 года, когда Б. М. Шапошников уже выздоровел, Верховный Главнокомандующий в его и моем присутствии передал командующему Калининским фронтом по прямому проводу: «Действия вашей левой группы нас не удовлетворяют. Вместо того чтобы навалиться всеми силами на противника и создать для себя решительный перевес, вы... вводите в дело отдельные части, давая противнику изматывать их. Требуем от вас, чтобы крохоборскую тактику заменили вы тактикой действительного наступления». Командующий попробовал сослаться на оттепель, трудности переправы через Волгу, получение немцами подкреплений и прочее, но в заключение сказал: «Понял, все ясно, принято к исполнению, нажимаю вовсю»⁵.

15 декабря Генштаб подсказал главкому Юго-Западного направления С. К. Тимошенко, что у него правое крыло Юго-Западного фронта отстает от наступающей на левом крыле Западного фронта 10-й армии на сто километров, оголяя ее фланг и подставляя армию под фашистский удар со стороны Мценска⁶. 16 декабря Западному фронту было указано, что он неоправданно сосредоточил перед Волоколамском сразу четыре армии и что 30-ю армию необходимо повернуть для удара по врагу в городе Старица, подчинив эту армию Калининскому фронту⁷. Не забывала Ставка и о других фронтах, где также готовились и проводились различные операции. 19 декабря Генеральный штаб указал командующему Закавказским фронтом генерал-лейтенанту Д. Т. Козлову, что у него распоряжения «о проводимых мероприятиях писались открытым текстом, в результате чего о них знали даже писаря»⁸.

В ходе контрнаступления под Москвой выявился ряд крупных недостатков в управлении войсками и в их действиях. В течение первых десяти дней правое крыло Западного фронта, ведя упорные бои за вражеские узлы сопротивления и опорные пункты, продвигалось медленнее, чем запланировали. Правда, продвижению мешал довольно глубокий снежный покров. Однако главное заключалось в нехватке танков, авиации, боеприпасов на нужном направлении. Соединения, части и подразделения строили свои боевые порядки двухэшелонно и атаковали после короткой, недостаточной по силе артподготовки; сопровождение атакующих пехоты и танков в глубине обороны противника артиллерийским огнем применялось не совсем удачно и не всегда. Танковые части использовались обычно для непосредственной поддержки пехоты, почти не получая самостоятельных задач. Постепенно, однако, советские войска накопили опыт, начали действовать более успешно. Врага преследовали подвижные отряды, которые прорывались в фашистский тыл, отрезая пути отхода и сея панику. Широко стали применяться ночные действия со скрытными, внезапно наносимыми ударами. Существенную помощь оказывали войскам Западного направления другие фронты. Отбито второе наступление на Севастополь. Продолжала отступать тихвинская группировка фашистов. Успешно проведена Керченско-Феодосийская десантная операция, и в Восточном Крыму мы захватили крупный плацдарм.

К началу января 1942 года Западный фронт вышел на рубеж Наро-Фоминск — Малоярославец — селения западнее Калуги — Сухиничи — Белев, где его контрнаступление и завершилось. Это была первая в Великую Отечественную войну крупная наступательная операция стратегического значения, в итоге которой ударные группировки врага под Москвой были разгромлены и отброшены к западу на сто, а в ряде мест и до двухсот пятидесяти километров. Непосредственная угроза Москве и всему Московскому промышленному району была ликвидирована. Финал великой битвы под советской столицей имел исключительное морально-политическое значение. Ведь

⁵ Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 30, лл. 202—203.

⁶ См. там же, ф. 48-А, оп. 1554, д. 10, л. 234.

⁷ См. там же, ф. 132-А, оп. 2642, д. 29, л. 160.

⁸ Там же, ф. 48-А, оп. 1554, д. 10, л. 246.

с 1933 года Гитлер не знал неудач. Он захватывал одну страну за другой, овладел чуть ли не всей Западной Европой. Немецкая армия в глазах значительной части человечества была окружена ореолом непобедимости. И вот впервые «непобедимые» немецкие войска биты, и биты по-настоящему. Такого поражения фашистская армия еще не знала.

Гитлеровские оккупанты были изгнаны из Московской, Тульской и из ряда районов других областей. От противника освободили более 11 тысяч населенных пунктов, в том числе свыше 60 городов. Оказались разгромленными до 38 дивизий противника. Окончательно рухнул пресловутый план «Барбаросса».

Советские люди радовались успехам Красной Армии. Они еще более укрепили их веру в неминуемую победу над врагом, вдохновляли на новые боевые и трудовые подвиги. Большое впечатление произвели наши успехи и за рубежом. В оккупированных фашистской Германией странах усилилось движение сопротивления нацистскому режиму. Тот факт, что Москва с честью выдержала тяжелое испытание и не только устояла перед натиском врага, но и нанесла гитлеровским армиям первое серьезное поражение в войне, был воспринят во всем мире как общая победа прогрессивных сил над фашизмом. По образному выражению одного из виднейших деятелей международного рабочего движения У. Фостера, контрнаступление Красной Армии под Москвой знаменовало общий переход к великому народному наступлению на фашизм.

Поражение германского вермахта под Москвой надломило дух и боеспособность немецко-фашистских войск, в которых впервые стали проявляться панические настроения и снижаться дисциплина. В гитлеровской руководящей верхушке выявились резкие разногласия в оценке причин поражения под Москвой и в вопросах дальнейшего ведения войны против Советского Союза. Гитлер постарался переложить вину за поражение и общий упадок боеспособности войск на своих генералов, занимавших наиболее видные посты. Зимой 1941/42 года было заменено почти все высшее командование сухопутных войск, 35 генералов сняты с занимаемых постов. «По болезни» ушли в отставку командующие группой армий «Центр» фон Бок и 9-й армией Штраус; удален со своего поста главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал фон Браухич, а также командующие: группой армий «Север» — фон Лееб, группой армий «Юг» — фон Рундштедт, армией «Норвегия» — фон Фалькенхорст, 2-й танковой армией — Гудериан, 17-й армией — Штюльпнагель и длинный ряд дивизионных командиров.

Ныне бывшие гитлеровские генералы выдвигают различные субъективные и объективные причины, «объясняющие» грандиозную катастрофу их планов под Москвой. Они обвиняют Гитлера, который якобы не внял их умным советам и с опозданием нанес удар по русской столице. Это утверждает Меллентин, а за ним Манштейн, Рендулич, Бутлар и многие другие генералы и западногерманские военные авторы, пытающиеся спасти «честь» германского генералитета. Гот, Гудериан, Типпельскирх и другие немецко-фашистские генералы стремятся с той же целью доказать, что основной причиной поражения под Москвой наряду с ошибками Гитлера явилась суровая русская зима. Этой же «зимней теории» придерживался и бывший премьер-министр Великобритании Черчилль. Однако даже он не смог отрицать очевидный факт и был вынужден признать, что Красная Армия, а отнюдь не зима гнала немецкие войска прочь от Москвы.

Московская победа показала всему миру, что Советская страна способна сокрушить агрессора. Это сыграло неоценимую роль в укреплении антигитлеровской коалиции. Героическая Москва стала признанным центром международной прогрессивной политики. Здесь в последующем состоялись важные встречи и совещания с нашими союзниками и нередко координировались военные усилия участников антифашистской коалиции.

Московская победа свидетельствовала о том, что Советский Союз, ведя войну против гитлеровской Германии практически один на один, внес огромный вклад в дело борьбы с фашистским агрессором. В результате победы под Москвой укрепился и возрос авторитет СССР, его влияние на решение международных проблем. Позволю себе напомнить в связи с этим лишь некоторые события первой половины

1942 года, прямо вытекавшие из нашей победы под Москвой. 1 января 1942 года в Вашингтоне подписана Декларация 26 государств (СССР, Великобритании, США, Китая, Югославии и других), получивших название Объединенные нации и поклявшихся довести до победы борьбу против участников тройственного Берлинского пакта 1940 года и их союзников. 26 мая 1942 года в Лондоне подписан советско-английский договор о союзе в войне против Германии и ее сообщников в Европе и о послевоенном сотрудничестве. 11 июня 1942 года в Вашингтоне подписали советско-американское соглашение о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии. Так начал складываться фронт Объединенных наций. Я лично твердо убежден, что, не будь нашего торжества в Московской битве, история человечества пошла бы тогда другим путем.

Победа Красной Армии под Москвой, означавшая важный поворот в войне, обострила противоречия внутри фашистского блока и сорвала расчеты гитлеровского командования на вступление Японии и Турции в войну против Советского Союза. Она явилась решающим фактором, заставившим правительства этих государств воздержаться от агрессии против СССР. Попытки фашистской Германии распространить свое влияние на Иран и использовать его территорию как плацдарм против Советского Союза также были решительно пресечены.

Значительно осложнились отношения фашистской Германии с ее сателлитами. Гитлеровское командование, оказавшееся перед неизбежностью затяжной войны, весьма нуждалось в укреплении своих ослабленных поражением войск. Поэтому оно требовало от Венгрии, Румынии, Италии и других вассальных стран новых войсковых соединений, а также увеличения поставок сырья и продовольствия для Германии. Это, конечно, ложилось тяжелым бременем на союзников Гитлера, которые и без того уже понесли большие потери и основательно подорвали свою экономику. Отсюда нарастание недовольства войной и их пассивное сопротивление немецко-фашистскому диктату. Ухудшились отношения между Финляндией и Германией. Никакой нажим и пропаганда тогдашнего финского правительства не были в состоянии подавить недовольство населения, вызванное тяжелой войной, большими потерями и все усиливавшимся нажимом Германии на экономику страны.

Ни мобилизация внутренних ресурсов, ни наглый грабеж оккупированных стран и давление на своих союзников не помогли фашистской Германии укрепить пошатнувшееся положение. Гитлеровская армия после понесенного ею под Москвой поражения вынуждена была на всю зиму и весну перейти к обороне и уже больше не смогла вести стратегическое наступление сразу на всем советско-германском фронте. Такова сила удара, нанесенного ей Красной Армией. Именно это явилось наряду с устранением смертельной угрозы столице СССР важнейшим стратегическим результатом одержанной победы. Она свидетельствовала о мощи Советского Союза и вошла в историю Великой Отечественной войны как величайший патриотический подвиг народов первого в мире социалистического государства и его армии.

Москвичи свято выполняли свой долг перед родиной не только участием в борьбе против врага на полях сражений, но и самоотверженным трудом на фабриках и заводах. Никогда не забудется, какой была Москва в те дни. Трудящиеся столицы превратили ее в крупный арсенал, который и в дни битвы под Москвой и в дальнейшем поставлял фронту автоматы, минометы, пулеметы, снаряды и другие виды вооружения. Среди дорогих моему сердцу реликвий я берегу грамоту, которая вручена мне в Генштабе 27 сентября 1943 года автозаводцами; вот несколько строк из грамоты: «Коллектив Московского ордена Ленина автозавода в грозные дни октября месяца 1941 года по заданию партии начал производство автоматов-пулеметов образца 1941 года. Почетную и ответственную задачу, поставленную партией перед коллективом завода — дать как можно больше автоматов Красной Армии, — коллектив завода выполнил. Из месяца в месяц перевыполняя задания Государственного Комитета Оборона, коллектив к 27 сентября 1943 года обеспечил выпуск одного миллиона ППШ, ставших массовым оружием Красной Армии». Грамоту сопровождал юбилейный, миллионный экземпляр автомата. Вот и теперь смотрю я на подписи директора завода И. Лихачева, парторга ЦК ВКП(б)

И. Горошкина, председателя завкома Н. Баранова, секретаря комитета ВЛКСМ Т. Морозовой и думаю о том, какой же труд стоит за этими короткими словами «миллионный автомат». Сколько ночей недоспали и руководители завода и его славные труженики — автозаводцы! А сколько было в Москве таких предприятий, коллективы которых, как и автозаводцы, не считаясь ни с чем, работали дни и ночи, чтобы дать фронту все необходимое...

Москвичи успешно выполнили разработанный на четвертый квартал 1941 года Центральным Комитетом партии и правительством план перестройки столичной промышленности. Этот напряженный план, несмотря на всю сложность военной обстановки, был даже перевыполнен. В защиту Москвы, в разгром врага у стен города-героя особенно достойный вклад внесли московские женщины и молодежь. Их благородные дела навсегда останутся в памяти советского народа. И когда я думаю о нашей победе под Москвой, еще раз неизменно вспоминаю слова бессмертного Ленина: «Во всякой войне победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь. Убеждение в справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести»⁹.

ЗИМА — ЛЕТО 1942-го

Успешное контрнаступление советских войск, завершившееся разгромом немецко-фашистских войск под Москвой, по инициативе советского Верховного Главнокомандования переросло в общее наступление на всем советско-германском фронте. В результате этого наступления войска Ленинградского, Волховского и правого крыла Северо-Западного фронтов при содействии Балтийского флота должны были разгромить главные силы группы армий «Север» и ликвидировать блокаду Ленинграда; Калининский и Западный фронты во взаимодействии с армиями Северо-Западного и Брянского фронтов — окружить и разгромить главные силы группы армий «Центр»; Южный и Юго-Западный фронты — нанести поражение группе армий «Юг» и освободить Донбасс; Кавказскому фронту совместно с Черноморским флотом предстояло в течение зимы освободить от врага Крым.

Как рождался этот замысел? Остановлюсь на этом несколько подробнее. 10 января 1942 года Ставка направила Военным советам фронтов и армий директивное письмо. Инициатор его — И. В. Сталин. Во вступительной части письма Ставка обращала внимание на то, чтобы войска при переходе в общее наступление всемерно учили опыт, полученный при контрнаступлении под Москвой и в других зимних наступательных операциях 1941 года, и избегали бы недочетов, которые наблюдались там. Это особенно относилось к созданию ударных группировок, обеспечивающих превосходство над противником на основных направлениях; требовалось более рационально использовать артиллерию, чтобы, отказавшись от отжившей свой век артиллерийской подготовки в старой форме, перейти к практике артиллерийского наступления, обеспечивавшего наступление пехоты и танков непрерывно от начала и до конца боя. Работники Генштаба считали эти указания очень важными. Для командования и войск в целом, но понимали также и то, что одних рекомендаций недостаточно. Для выполнения поставленных Ставкой огромных задач прежде всего требовались дополнительные, притом весьма значительные, силы, вооружение, боеприпасы, боевая техника. Все это фронт получал, но пока что до полного удовлетворения его нужд было далеко. Для создания и накопления необходимых резервов Ставка нуждалась во времени. Вот почему войска вынуждены были, не завершив начатых тогда наступательных операций, переходить к обороне. Даже к моменту перехода советских войск к общему наступлению мы в танках и авиации превосходили врага примерно в полтора раза, а в пехоте и артиллерии наши силы вообще были равны.

⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 121.

Чтобы читатель полностью представил себе, как Верховное Главнокомандование оценивало к тому времени обстановку в целом, обращу его внимание снова на директивное письмо. «После того как Красной Армии удалось достаточно измотать немецко-фашистские войска, она перешла в контрнаступление и погнала на запад немецких захватчиков,—говорилось в нем.—Для того чтобы задержать наше продвижение, немцы перешли на оборону и стали строить оборонительные рубежи с окопами, заграждениями, полевыми укреплениями. Немцы рассчитывают задержать таким образом наше наступление до весны, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти в наступление против Красной Армии. Немцы хотят, следовательно, выиграть время и получить передышку.

Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Но для осуществления этой задачи необходимо, чтобы наши войска научились взламывать оборонительную линию противника, научились организовывать прорыв обороны противника на всю ее глубину и тем открыли дорогу для продвижения нашей пехоты, наших танков, нашей кавалерии. У немцев имеется не одна оборонительная линия — они строят и будут иметь скоро вторую и третью оборонительные линии. Если наши войска не научатся быстро и основательно взламывать и прорывать оборонительную линию противника, наше продвижение вперед станет невозможным»¹⁰.

В директивном письме правильно отмечалось, что наши войска уже приобрели немалый боевой опыт, опираясь на который и используя уязвимость вражеской обороны, они могут гнать врага с нашей территории. Однако, верно оценивая к началу 1942 года фронтовую обстановку как благоприятную для продолжения наступления, Верховное Главнокомандование недостаточно полно учло реальные возможности Красной Армии. В результате имевшиеся в распоряжении Ставки девять армий резерва были почти равномерно распределены между всеми стратегическими направлениями. В ходе общего наступления зимой 1942 года советские войска истратили все с таким трудом созданные осенью и в начале зимы резервы. Поставленные задачи решить не удалось. Неоправданными оказались некоторые надежды, высказанные и в цитируемом выше директивном письме, на то, что резервы Германии иссякнут к весне 1942 года. Да, мы все страстно желали этого, но действительность оказалась суровее и не все прогнозы подтвердились.

Как же проходило наше зимнее, а потом и весеннее наступление? Стабилизация положения под Мурманском и в Карелии была достигнута. Ленинградцы и волховчане четыре месяца пытались пробиться навстречу друг другу, чтобы разорвать кольцо блокады, но сделать это не сумели. Северо-Западный фронт окружил в районе Демянска крупную группировку противника, но не смог заставить ее капитулировать, а весной немцы пробили к ней коридор и сохранили демянский плацдарм за собой. На центральном направлении мы глубоко охватили фашистскую группу армий на ее флангах. В середине же охвата возник удерживаемый немцами ржевско-вяземский плацдарм. Несколько раз оборону врага пересекали с боями советские корпуса и целые армии, уходившие во вражеский тыл. Но за ними проход опять закрывался и те, кто пробился в тыл противника, попадали в окружение. Выброска туда наших воздушных десантов не изменила положения. Фашисты несли огромные потери, однако удерживали плацдармы. Нашим соединениям пришлось прорываться из вражеского тыла назад. Тяжелые испытания выпали на их долю. Командующий 33-й армией генерал-лейтенант М. Г. Ефремов вел свою армию на запад по местам неподалеку от Тарусы. Здесь он родился. Это был боевой, опытный генерал. Еще в двадцатые — тридцатые годы Михаил Григорьевич возглавлял войска 12-го стрелкового корпуса, Забайкальского, Орловского и Закавказского военных округов, был заместителем генерального инспектора пехоты РККА. В первые месяцы войны он руководил и фронтом и армиями. Человек большой воли, мужественный воин, он предпочел смерть вражескому плену и покончил с собой.

Генеральный штаб и Ставку очень волновали дела и на юго-западном на-

¹⁰ Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 41, лл. 75—81.

правления, хотя и здесь немецкие войска получили ряд жестоких ударов. Красная Армия в процессе наступления создала Барвенковский выступ западнее Изюма, но далее Юго-Западный и Южный фронты остановились. В Крыму наши войска, потерявшие в январе незадолго до того освобожденную Феодосию, вынуждены были отойти на Керченский полуостров.

В целом в течение зимы 1941/42 года Советские Вооруженные Силы отбросили противника на разных участках на девяносто — триста пятьдесят километров и нанесли ему тяжелые потери. Весной на фронте наблюдалось вначале некоторое затишье, после которого мы попытались, закрепив успехи, сохранить за собой стратегическую инициативу, а фашисты хотели во что бы то ни стало вырвать ее из наших рук.

В апреле 1942 года наше зимнее наступление заглохло: не оказалось необходимых сил и средств для его продолжения.

Отмечая факторы, обеспечившие победу под Москвой, следует прежде всего сказать о массовом героизме советских воинов, воспитанных партией в духе преданности социалистической отчизне, о неодолимой силе советского патриотизма. В ходе нашего зимнего наступления в целом 36 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. В боях отличились не только отдельные воины, но и целые соединения. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество звание гвардейских присвоили десяти стрелковым, двум мотострелковым, пяти кавалерийским дивизиям, двум кавалерийским корпусам, двум стрелковым, двум морским стрелковым и четырем танковым бригадам, двум мотоциклетным, девяти артиллерийским, четырем противотанковым артиллерийским, двум истребительным, одному пгтурмовому авиационным полкам и одному полку связи. Особо отличившимся 110 воинам, в том числе 28 воинам 8-й гвардейской стрелковой дивизии, летчикам Е. М. Горбатьюку, В. А. Зайцеву, А. Н. Катрычу, В. Е. Ковалеву, И. Н. Калабушкину, Н. Г. Лесконоженко, В. В. Талалихину, И. М. Холодову, танкисту В. А. Григорьеву присвоили звание Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы» награждено более миллиона человек. Великий подвиг защитников Москвы и участников разгрома врага на подступах к столице золотыми буквами вписан в историю борьбы советского народа за свою свободу и независимость.

Победа под Москвой свидетельствовала о росте боевого мастерства Красной Армии, и прежде всего ее командных кадров. Весь народ узнал имена участников битвы под Москвой: командующих фронтами и армиями Г. К. Жукова, И. С. Конева, С. К. Тимошенко, К. К. Рокоссовского, Л. А. Говорова, К. Д. Голубева, Ф. И. Голикова, И. В. Болдина, А. И. Еременко, М. Г. Ефремова, М. Г. Захаркина, В. И. Кузнецова, Я. Г. Крейзера, Д. Д. Лелюшенко, М. М. Попова; руководящих работников штабов фронтов и армий В. Д. Соколовского, М. В. Захарова, М. И. Казакова, П. И. Бодина, Г. Ф. Захарова, В. С. Голушкевича, Л. М. Саңдалова, Н. Д. Псурцева; командиров корпусов, дивизий и бригад И. В. Панфилова, В. И. Полосухина, А. И. Лизюкова, П. А. Белова, Л. М. Доватора, А. П. Белобородова, М. Е. Катукова, И. А. Плиева, И. Ф. Петрова, П. А. Ротмистра, П. Г. Чанчибадзе и многих других.

Большую организаторскую и воспитательную работу среди личного состава войск провели Военные советы фронтов и армий, партийные организации, политработники войсковых соединений и частей. Ведущую роль в ходе боев сыграли коммунисты, своим бесстрашием, организованностью и стойкостью цементирующие части и соединения.

Особо хочется подчеркнуть тот факт, что в период Московской битвы выросло наше военное искусство. Нельзя не отметить огромного значения, которое имело своевременное накопление и целеустремленное использование советским командованием стратегических резервов. Надо прямо сказать, что, несмотря на тяжелую, порой критическую обстановку в дни героической обороны Москвы, Ставка Верховного Главнокомандования проявила большую выдержку и волю, сохранив выдвинутые в район Москвы стратегические резервы для перехода Красной Армии в решительное контрнаступление. Опыт Московской битвы в использовании резервов Ставки весьма поучителен.

В период тяжелых оборонительных сражений и в дни контрнаступления, а затем общего наступления достойный вклад в дело разгрома врага внесли партиза-

ны Подмосковья, Тульской, Смоленской, Калининской областей и Белоруссии. Своими ударами по коммуникациям вражеской армии, по тылам и штабам, узлам связи и гарнизонам они нарушали снабжение и затрудняли боевые действия немецких войск. Партизанские отряды нередко наступали вместе с частями Красной Армии. Партизанский полк имени Лазо, отряд «Северный медведь», отряд Жабо и другие поддерживали радиосвязь со штабом Западного фронта и выполняли его задания. В дни Московской битвы выдающиеся подвиги совершили З. Космодемьянская, Л. Чайкина, В. Карасев, К. Заслонов и другие партизаны. Родина высоко оценила мужество советских людей, действовавших в тылу врага. Многие из них удостоены звания Героя Советского Союза. За выдающиеся заслуги трудящихся столицы, за их мужество и героизм в борьбе с врагом Москва награждена 6 сентября 1947 года орденом Ленина, а в день двадцатилетия победы над фашистской Германией удостоена высокого звания города-героя.

Когда весной фронты перешли к обороне, перед нами встал вопрос о плане военных действий на следующие полгода. Он всесторонне обсуждался в Генштабе. Ни у кого из нас не было сомнений, что противник не позднее лета вновь предпримет серьезные активные действия, чтобы, опять захватив инициативу, нанести нам поражение. Мы критически анализировали итоги зимы. Ставка, Генеральный штаб и весь руководящий состав Вооруженных Сил старались как можно точнее раскрыть замыслы врага на весенний и летний периоды 1942 года, по возможности четче определить стратегические направления, на которых суждено будет разыгаться основным событиям. При этом все мы отлично понимали, что от результатов летней кампании 1942 года во многом будет зависеть дальнейшее развитие всей второй мировой войны, поведение Японии, Турции и некоторых других стран, а быть может, и исход войны в целом.

После завершения зимней кампании наши Вооруженные Силы по численному составу и особенно по технической оснащенности пока еще значительно уступали противнику; готовых резервов и крупных материальных ресурсов у нас в то время не было. К тому времени в основном был закончен перевод мирной промышленности на военные рельсы. Удалось решить главные задачи: успешно завершить эвакуацию основных промышленных предприятий, материальных ценностей и рабочей силы из западных районов страны на восток; в Поволжье, Средней Азии, на Урале и в Сибири создать новые предприятия и отрасли промышленности, преимущественно оборонной. Эти успехи, достигнутые титаническим трудом руководимого Коммунистической партией народа, позволили улучшить обеспечение армии оружием и боевой техникой.

Появилась возможность создать новые воинские формирования и внести существенные изменения в организацию войск. До весны 1942 года стратегические резервы комплектовались преимущественно из новобранцев, сведенных в части и соединения. Теперь Генштаб и Ставка предпочитали выводить с фронта ослабленные дивизии и бригады на доукомплектование, отдых и боевую подготовку, вливая в них свежее пополнение и снабжая всем необходимым. Это улучшило обучение маршевого пополнения. Командные кадры для новых формирований готовили военные академии, училища, а также курсы, количество которых резко возросло.

Ставка уделяла большое внимание перестройке органов тыла. Особая нагрузка легла на железнодорожный, автомобильный и речной транспорт, всецело подчиненный задачам регулярного обеспечения фронта и промышленности соответствующими ресурсами. Ставка отказалась от передачи авиаполков в армейское подчинение, ибо самолетов все еще не хватало и это их рассредоточивало; пришлось вернуться к идее массированного использования авиации в однородных по типу бомбардировочных, штурмовых и истребительных авиадивизиях. А с мая 1942 года мы начали создавать воздушные армии. В принципе каждый фронт имел свою воздушную армию, но при проведении особо важных операций их могли придавать фронту по две и более. Появилась авиация дальнего действия, подчиненная непосредственно Ставке. Возникли оперативные объединения противовоздушной обороны (ПВО). Началось массовое производство истребителей «ЛА-5», «ЯК-7» и «ЯК-9»,

Насыщение инженерных войск специальным оборудованием в большом количестве, чем раньше, облегчило организацию понтонно-мостовых и минерных частей. Саперные армии были частично преобразованы в инженерно-саперные бригады, рассчитанные на обеспечение больше наступления, чем обороны. Заметно, особенно в качественном отношении, изменилась артиллерия. В войска поступали противотанковые ружья (ПТР). Подверглась модернизации 45-миллиметровая противотанковая и другие пушки, появилась 76-миллиметровая «ЗИС-3». В реактивной артиллерии, помимо снарядов М-8 и М-13, с конца весны стали использоваться реактивные снаряды М-20 и М-30. Для стрельбы последними были сконструированы весьма практичные рамные станки, простые и надежные. В Генштабе внимательно следили за ростом числа частей и подразделений «катюш», как окрестили на фронте гвардейские минометы. Части ПВО получили много зенитных орудий калибра 37 миллиметров и пулеметов ДШК. Появились новые армейские полки ПВО, а также противотанковые шестибатареинные артиллерийские полки Резерва Верховного Главнокомандования, десятки отдельных батальонов ПТР, истребительные противотанковые части и соединения (как подвижный фронтовой резерв) и гвардейские минометные полки. В стрелковых частях теперь имелись противотанково-истребительные роты.

В большом количестве на фронт поступали легкие танки «Т-70» и знаменитые, никем в ту пору не превзойденные средние танки «Т-34». При формировании танковых войск Ставка проявляла гибкость: организовывались по мере надобности отдельные танковые батальоны, полки и бригады. С весны 1942 года начали формироваться танковые корпуса; танковые соединения сочетались в них с мотострелковыми. В мае 1942 года появились две первые танковые армии, а летом 1942 года к ним добавились еще две. Напряженнейшая работа тружеников тыла обеспечивала фронт сотнями тысяч винтовок, карабинов и автоматов, тысячами боевых самолетов и танков, десятками тысяч орудий и минометов, десятками миллионов снарядов и мин, сотнями миллионов патронов. Теперь Ставка могла куда более свободно распорядиться всеми резервами, чем во время осенней кампании.

Менялись и штаты стрелковых соединений (в 1942 году — трижды!) с учетом приобретенного фронтового опыта, возросших возможностей в обеспечении их боеприпасами и вооружением. Было воссоздано ликвидированное ранее корпусное звено управления, и в течение года постепенно было сформировано около 30 управлений стрелковых корпусов. Начиная со Ставки Верховного Главнокомандования всюду, во всех подразделениях, частях, соединениях и объединениях, на разных уровнях обобщался и становился всеобщим достоянием опыт ведения войны. Из штабов армий и фронтов, штабов родов войск и командующих видами Вооруженных Сил он доходил до войск в виде инструкций, из Ставки Верховного Главнокомандования — в виде приказов и находил уже непосредственное отражение в воинских уставах.

В Генеральном штабе твердо считали, что основной ближайшей задачей советских войск должна быть временная стратегическая оборона. Ее цель — изматывая оборонительными боями на заранее подготовленных рубежах ударные группировки врага, не только сорвать подготавливаемое фашистами летнее наступление, но и подорвать их силы и тем самым с наименьшими для нас потерями подготовить благоприятные условия для перехода Красной Армии в решительное наступление. Основное внимание по-прежнему уделялось в плане центральному направлению.

Из чего же исходила Ставка, разрабатывая план летней кампании? Враг был отброшен от Москвы, но он все еще продолжал угрожать ей; наиболее крупная группировка немецких войск (более 70 дивизий) находилась на московском направлении. Это давало Ставке основания полагать, что с началом летнего периода противник попытается нанести нам решительный удар именно на центральном направлении. Это мнение, как мне хорошо известно, разделяло командование большинства фронтов.

Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, не считая возможным развернуть в начале лета крупные наступательные операции, был также за активную стратегическую оборону. Но наряду с ней он полагал целесообразным провести частные наступательные операции в Крыму, в районе Харькова, на львовско-курском и смоленском направлениях, а также в районах Ленинграда и Демянска. Это

должно было закрепить успехи зимней кампании, улучшить оперативное положение наших войск, удержать стратегическую инициативу и сорвать мероприятия гитлеровцев по подготовке нового наступления летом 1942 года. Предполагалось, что все это в целом создаст благоприятные условия для развертывания летом еще более значительных наступательных операций Красной Армии на всем фронте от Балтики до Черного моря. Начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников стоял на том, чтобы не переходить к широким контр наступательным действиям до лета. Г. К. Жуков, поддерживая в основном Шапошникову, считал в то же время крайне необходимым разгромить в начале лета ржевско-вяземскую группировку врага.

К середине марта Генеральный штаб завершил все необходимые обоснования и расчеты по плану операции на весну и начало лета 1942 года. Главная идея плана: активная стратегическая оборона, накопление резервов, а затем переход в решительное наступление. В моем присутствии Б. М. Шапошников доложил план Верховному Главнокомандующему, затем работа над планом продолжалась. Ставка вновь обстоятельно занималась им в связи с предложением командования Юго-Западного направления провести в мае большую наступательную операцию силами Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов.

Считая опасным московское направление, Ставка в то же время учитывала, хотя и недостаточно, данные разведывательных органов о возможном развертывании противником наступательных действий на юге. Поэтому, разрабатывая стратегический план на летнюю кампанию, мы старались по возможности так расположить готовые стратегические резервы, чтобы они в зависимости от складывающейся обстановки могли бы быть использованы не только для надежного обеспечения района Москвы, но и на Юго-Западном направлении. В соответствии с принятым решением стратегические резервы соответственно сосредоточивались в основном в районах Тулы, Воронежа, Сталинграда и Саратова. Критически оценивая теперь принятый тогда план действий на лето 1942 года, вынужден сказать, что самым уязвимым оказалось в нем решение одновременно обороняться и наступать.

Соотношение сил на советско-германском фронте к маю было следующее: Красная Армия имела 5,5 миллиона человек, более 4 тысяч танков, свыше 43 тысяч орудий и минометов и более 3 тысяч самолетов. Немецко-фашистская армия имела 6,2 миллиона человек, свыше 3 тысяч танков и штурмовых орудий, до 43 тысяч орудий и минометов и 3400 боевых самолетов. Таким образом, к началу летней кампании превосходство в людях было на стороне врага, в танках — у нас. Летним наступлением гитлеровцы рассчитывали добиться не только переломных военно-стратегических результатов, но и парализовать экономику Советского государства. Они полагали, что в результате решительного наступления на кавказском и сталинградском направлениях, после захвата кавказской нефти, донецкой индустрии, промышленности Сталинграда, с выходом на Волгу и после того, как им удастся лишить нас связи с внешним миром через Иран, они добьются необходимых предпосылок для разгрома Советского Союза.

С середины апреля и до 8 мая 1942 года я, выполняя задания Ставки, работал в войсках Северо-Западного фронта, вместе с его командованием решая вопрос о ликвидации окруженной демянской группировки фашистов. Из ежедневных разговоров с начальником Генерального штаба и из докладов работников Оперативного управления мне было известно, что предпринимавшиеся в то время Крымским фронтом попытки с Керченского полуострова освободить весь Крым, несмотря на большое превосходство в силах над противником, закончились неудачей. Ставка приказала фронту во второй половине апреля прекратить наступление и организовать прочную, глубоко эшелонированную оборону. В распоряжении Крымского фронта находились тогда 21 стрелковая дивизия, 3577 орудий и минометов, 347 танков, 400 самолетов (175 истребителей и 225 бомбардировщиков). Враг же имел здесь десять с половиной пехотных дивизий, 2472 орудия и миномета, 180 танков и тоже до 400 самолетов. Таким образом, наше превосходство было налицо. Тем не менее Крымский фронт топтался на месте.

В конце первой декады мая я в связи с болезнью Б. М. Шапошникову вернулся по приказу Ставки в Москву. 11 мая на меня возложили временное испол-

нение обязанностей начальника Генерального штаба. В это время усложнилась обстановка в Крыму. 8 мая немецко-фашистские войска нанесли удар на Керченском полуострове вдоль побережья Черного моря, прорвали оборону в полосе 44-й армии и вклинились в глубину на расстояние до восьми километров.

В течение двух дней почти все войска Крымского фронта оказались втянутыми в бой. Утром 10 мая Ставка приказала отвести войска фронта на линию Турецкого вала и организовать там оборону, но командование фронта, не выполнив приказа Ставки, затянуло отвод на двое суток и к тому же не сумело правильно организовать его. В результате враг 14 мая прорвался к окраинам Керчи. Начался отход наших войск на восток и переправа через Керченский пролив на Таманский полуостров. Войска несли большие потери.

Ставка детально изучила ход Керченской операции. Мы пришли к выводу, что руководство войсками фронта со стороны командующего Крымским фронтом генерал-лейтенанта Д. Т. Козлова, члена Военного совета дивизионного комиссара Ф. А. Шаманина, начальника штаба генерал-майора П. П. Вечного и представителя Ставки Верховного Главнокомандования армейского комиссара 1-го ранга Л. З. Мехлиса оказалось явно несостоятельным.

Поражение в Керчи влекло за собой тяжелые последствия для Севастополя. Поэтому Ставка отнеслась к этому чрезвычайно строго. В своей директиве от 4 июня 1942 года она указывала: «Основная причина провала Керченской операции заключается в том, что командование фронта — Козлов, Шаманин, Вечный, представитель Ставки Мехлис, командующие армиями фронта, и особенно 44-й армии — генерал-лейтенант Черняк и 47-й армии — генерал-майор Колганов, обнаружили полное непонимание природы современной войны...» Далее конкретно указывалось, в чем это выразилось: командование Крымского фронта растянуло дивизии в одну линию, не считаясь с открытым равнинным характером местности, вплотную пододвинуло всю пехоту и артиллерию к противнику; вторых и третьих эшелонов, не говоря уж о резервах в глубине, не было создано, а потому после прорыва противником линии фронта командование не сумело противопоставить достаточно сил врагу, своевременно задержать его наступление, а затем и ликвидировать прорыв. Командование фронта с самого начала наступления противника выпустило из рук управление войсками, ибо первым же налетом авиация врага разбомбила хорошо известные ей и длительное время не сменявшиеся командные пункты фронта и армий, нарушила проволочную связь, расстроила узлы связи. По преступной халатности штаба фронта о радиосвязи забыли.

Командование фронта не организовало взаимодействия армий и совершенно не обеспечивало взаимодействия наземных сил с авиацией фронта. Неорганизованно происходил отвод войск. В директиве давался анализ тактики врага, совершенно не разгаданной командованием фронта. «Противник, нанося главный удар против левого фланга фронта, — говорилось в ней, — сознательно вел себя пассивно против правого нашего фланга, будучи прямо заинтересован в том, чтобы наши войска на этом фланге оставались на своих позициях, и рассчитывая нанести им удар с выходом своей ударной группировки на тылы наших войск, остававшихся в бездействии на правом фланге. Когда же на второй день после начала наступления противника, учитывая обстановку, сложившуюся на Крымском фронте, и видя беспомощность командования фронта, Ставка приказала планомерно отвести армии фронта на позиции Турецкого вала, командование фронта и т. Мехлис своевременно не обеспечили выполнение приказа Ставки, начали отвод с опозданием на двое суток, причем отвод происходил неорганизованно и беспорядочно. Командование фронта не обеспечило выделения достаточных арьергардов, не установило этапов отвода, не наметило промежуточных рубежей отвода и не прикрыло подхода войск к Турецкому валу заблаговременной выброской на этот рубеж передовых частей».

Ставка резко оценила порочный метод руководства войсками со стороны командования фронта и Мехлиса, называя этот метод бюрократическим и бумажным и считая его второй причиной неудач наших войск на Керченском полуострове. «Т. Козлов и Мехлис считали, что главная их задача состояла в отдаче приказа и что изданием приказа заканчивается их обязанность по руководству войсками.

Они не поняли того, что издание приказа является только началом работы и что главная задача командования состоит в обеспечении выполнения приказа, в доведении приказа до войск, в организации помощи войскам по выполнению приказа командования. Как показал разбор хода операции, командование фронта отдавало свои приказы без учета обстановки на фронте, не зная истинного положения войск. Командование фронта не обеспечило даже доставки своих приказов в армии». Такой факт имел место с приказом для 51-й армии: ей было приказано прикрыть отвод всех сил фронта за Турецкий вал. Однако приказ не был доставлен командарму. «В критические дни операции командование Крымского фронта и т. Мехлис вместо личного общения с командующими армиями и вместо личного воздействия на ход операции проводили время на многочасовых бесплодных заседаниях Военного совета».

Третьей причиной неудач на Керченском полуострове Ставка считала недисциплинированность Козлова и Мехлиса, которые нарушили указание Ставки и не обеспечили его выполнение, не обеспечили своевременный отвод войск за Турецкий вал. Опоздание на два дня с отводом войск явилось губельным для исхода всей операции. Ставка строго взыскала с виновных, сняла их с занимаемых постов, понизила в воинских званиях. Ставка потребовала от командующих и Военных советов всех фронтов и армий, чтобы они извлекли уроки из этих ошибок: «Задача заключается в том, чтобы наш командный состав по-настоящему усвоил природу современной войны, понял необходимость глубокого эшелонирования войск и выделения резервов, понял значение организации взаимодействия всех родов войск, и особенно взаимодействия наземных сил с авиацией. Задача заключается в том, чтобы наш командный состав решительно покончил с порочными методами бюрократическо-бумажного руководства и управления войсками, не ограничивался отдачей приказов, а бывал почаше в войсках, в армиях, дивизиях и помогал своим подчиненным в деле выполнения приказов командования. Задача заключается в том, чтобы наш командный состав, комиссары и политработники до конца выкорчевали элементы недисциплинированности в среде больших и малых командиров»¹¹.

Как я уже говорил, потеря Керченского полуострова поставила в исключительно тяжелое положение наши войска, защищавшие Севастопольский оборонительный район. Против них теперь повернула все силы 11-я немецкая армия. Двести пятьдесят огненных дней и ночей продолжалась оборона героического города. 4 июля 1942 года, когда выяснилось, что третье наступление врага отразить не удастся, часть защитников Севастополя была эвакуирована на Черноморское побережье Кавказа, а часть ушла к крымским партизанам.

После овладения Крымом военная обстановка на южном крыле советско-германского фронта резко изменилась в пользу врага.

Не радовало Ставку и Генштаб положение и в районе Барвенково. Фашисты вновь захватили здесь инициативу и добились крайне выгодных условий для дальнейшего осуществления своих замыслов.

В конце марта, как я уже упоминал, Ставка рассматривала предложение командования Юго-Западного направления о проведении силами Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов крупной наступательной операции с целью разгрома группировки противника на южном крыле советско-германского фронта, с последующим выходом наших войск на линию Гомель — Киев — Черкассы — Первомайск — Николаев. Командование направления просило у Ставки дополнительно значительных сил и средств. Тогда же Генштаб доложил Верховному Главнокомандующему, что не согласен с этим предложением. И. В. Сталин одобрил наше решение, но в то же время дал С. К. Тимошенко согласие на разработку частной, более узкой, чем тот намечал, операции с целью разгрома харьковской группировки врага наличными силами и средствами Юго-Западного направления.

Этот переработанный план 10 апреля был направлен в Ставку. Он предусматривал ударами из района Волчанска и с барвенковского плацдарма по сходящимся направлениям разгромить здесь группировку врага, овладеть Харьковом и создать предпосылки для освобождения Донбасса. Б. М. Шапошников, учитывая рискован-

¹¹ Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 41, лл. 177—184.

ность наступления из оперативного мешка, каким являлся Барвенковский выступ для войск Юго-Западного фронта, предназначавшихся для этой операции, внес предложение воздержаться от ее проведения. Однако командование направления продолжало настаивать на своем предложении и завершило Сталина в полном успехе операции. Он дал разрешение на ее проведение и приказал Генштабу считать операцию внутренним делом направления и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться.

28 апреля командование Юго-Западного направления издало директиву по предстоящей операции; за ней последовали директивы командующих армиями. Рассматривался ли дополнительно в Ставке вопрос об этой операции в период ее подготовки, сказать не могу, так как во второй половине апреля по заданию Ставки, как уже говорилось, я находился на Северо-Западном фронте.

12 мая, то есть в разгар неудачных для нас событий в Крыму, войска Юго-Западного фронта, упредив противника, перешли в наступление. Сначала оно развивалось успешно, и это дало Верховному Главнокомандующему повод бросить Генштабу резкий упрек в том, что по нашему настоянию он чуть было не отменил столь удачно развивающуюся операцию. Но уже 17 мая ударная группировка противника в составе 11 дивизий армейской группы генерал-полковника фон Клейста перешла в контр наступление из района Славянск — Краматорск и, прорвав фронт обороны 9-й армии, начала серьезно угрожать 57-й армии Южного фронта, а затем и ударной группировке Юго-Западного фронта. Как выяснилось, командование и штаб Юго-Западного направления, планируя операцию, не приняли необходимых мер для обеспечения своей ударной группировки со стороны Славянска.

Получив первые сообщения из штаба направления о тревожных событиях, я вечером 17 мая связался по телефону с начальником штаба 57-й армии, моим давним сослуживцем генерал-майором А. Ф. Анисовым, чтобы выяснить истинное положение вещей. Поняв, что обстановка там критическая, я тут же доложил об этом И. В. Сталину. Мотивируя тем, что вблизи не имеется резервов Ставки, которыми можно было бы немедленно помочь Южному фронту, я внес предложение прекратить наступление Юго-Западного фронта, чтобы часть сил из его ударной группировки бросить на пресечение вражеской угрозы со стороны Краматорска. Верховный Главнокомандующий решил переговорить сначала с главкомом Юго-Западного направления маршалом Тимошенко. Точное содержание телефонных переговоров И. В. Сталина с С. К. Тимошенко мне неизвестно. Только через некоторое время меня вызвали в Ставку, где я снова изложил свои опасения за Южный фронт и повторил предложение прекратить наступление. В ответ мне заявили, что мер, принимаемых командованием направления, вполне достаточно, чтобы отразить удар врага против Южного фронта, а потому Юго-Западный фронт будет продолжать наступление...

С утра 18 мая обстановка для наших войск на Барвенковском выступе продолжала резко ухудшаться, о чем я прежде всего доложил Верховному. Последовал ответ, что Верховный Главнокомандующий внимательно следит за ходом событий.

19 мая ударная группировка противника, действовавшая на Барвенковском выступе, вышла в тыл советским войскам, и голько тогда Тимошенко отдал наконец приказ прекратить дальнейшее наступление на Харьков и использовать основные силы нашей ударной группировки для ликвидации прорыва и восстановления положения в полосе 9-й армии. Верховный утвердил это решение. Но, к сожалению, состоялось оно слишком поздно. Три армии Южного и Юго-Западного фронтов понесли тяжелые потери. Погибли в неравном бою или попали в плен командарм-57 генерал-лейтенант К. П. Подлас, начальник штаба генерал-майор А. Ф. Анисов и член Военного совета бригадный комиссар А. И. Попенко, командарм-6 генерал-лейтенант А. М. Городнянский и член Военного совета бригадный комиссар И. А. Власов, командующий армгруппой генерал-майор Л. В. Бобкин и заместитель командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенант Ф. Я. Костенко. Из окружения сумела выйти лишь меньшая часть нашей ударной группировки во главе с членом Военного совета этого фронта дивизионным комиссаром К. А. Гуровым и начальником штаба 6-й армии А. Г. Батюней. В середине июня Юго-Западный фронт был вынужден

еще дважды отступать и отойти за реку Оскол. В результате этих неудач и обстановка и соотношение сил на юге резко изменились в пользу противника. Изменились, как видим, именно там, где немцы наметили свое летнее наступление. Это и обеспечило им успех прорыва к Сталинграду и на Кавказ.

Я пишу все это не для того, чтобы в какой-то степени оправдать руководство Генштаба. Вина его руководителей заключалась в том, что они не оказали помощи Юго-Западному направлению. Пусть нас отстранили от участия в операции. Но это не снимало с нас ответственности: мы могли организовать хотя бы отвлекающие удары на соседних направлениях, своевременно подать фронту резервы и средства, находившиеся в распоряжении советского командования. Руководители Генерального штаба были пассивны и потому ответственны за провал наступательной операции на Юго-Западном направлении.

Неудача постигла нас и на северо-западе. Почти всю зиму, а затем и весну пытались мы прорвать кольцо ленинградской блокады, нанося удары по нему с двух сторон: изнутри — войсками Ленинградского фронта, снаружи — Волховского с целью соединиться после удачного прорыва этого кольца в районе Любани. Главную роль в Любаньской операции играла 2-я ударная армия волховчан. Она вошла в прорыв немецкой линии обороны на правом берегу реки Волхов, но достигнув Любани не сумела и завязла в лесах и болотах. Ослабленные блокадой ленинградцы тем более не смогли решить свою часть общей задачи. Дело почти не двигалось. В конце апреля Волховский фронт по предложению командующего Ленинградским фронтом был ликвидирован и его войска в качестве группы войск Волховского направления подчинили Ленинградскому фронту, а командовавшего Волховским фронтом К. А. Мерецкова назначили заместителем главнокомандующего Западным направлением, а затем командующим 33-й армией. Командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант М. С. Хозин получил возможность объединить действия по ликвидации блокады Ленинграда. Однако очень скоро выяснилось, что руководить девятью армиями, тремя корпусами и двумя группами войск, разделенными оккупированной врагом зоной, необычайно трудно. Решение Ставки о ликвидации Волховского фронта оказалось ошибочным. К тому же командующий фронтом действовал неудачно и не только не добился цели, а усугубил трудное положение 2-й ударной армии, позволив немецким войскам пересечь ее тыловые коммуникации. Ставка приказала М. С. Хозину срочно вывести армию из мешка и дала точные и, главное, выполнимые советы, как это сделать. Приказ не был выполнен, и 2-я ударная оказалась в окружении.

8 июня Волховский фронт был восстановлен; его снова возглавил К. А. Мерецков. Командующим Ленинградским фронтом назначили Л. А. Говорова. «За невыполнение приказа Ставки о своевременном и быстром отводе войск 2-й ударной армии, за бумажно-бюрократические методы управления войсками, за отрыв от войск, в результате чего противник перерезал коммуникации 2-й ударной армии и последняя была поставлена в исключительно тяжелое положение, — распорядилась Ставка, — снять генерал-лейтенанта Хозина с должности командующего войсками Ленинградского фронта и назначить его командующим 33-й армией Западного фронта»¹². Положение здесь осложнилось тем, что командующий 2-й ударной армией А. А. Власов оказался подлым предателем и позднее перешел на сторону врага. В начале июня Верховный Главнокомандующий направил меня и Мерецкова в Малую Вишеру, к волховчанам. Вдвоем мы обдумывали, что можно сделать для помощи 2-й ударной армии. С 10 по 19 июня шли яростные бои. Наконец удалось пробить узкую брешь в немецком капкане и спасти часть этой армии.

Кончался первый год войны. Его итоги, особенно апрельско-июньские события, не радовали советское командование. Однако главные испытания оказались впереди. Предстояли Сталинградская битва и борьба за Кавказ. Там, на юге, ситуация осложнялась с каждым днем. Сосредоточив около 90 дивизий и овладев боевой инициативой, фашисты рвались к среднему и нижнему течению Дона. В этой обстановке ЦК партии 12 июня принял решение о коренном улучшении партийно-

¹² Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 31, лл. 209--210.

политической работы в войсках. При Главном политическом управлении, политуправлениях фронтов и политотделах армий были созданы коллективы агитаторов, при ГлавПУ образовали Совет военно-политической пропаганды. ЦК и советское командование всемерно укрепляли в войсках дисциплину и порядок.

Еще весной мне было присвоено звание генерал-полковника, а 26 июня решением партии и правительства меня утвердили в должности начальника Генерального штаба.

После неудачи под Харьковом наши войска перешли к обороне. 28 июня гитлеровские войска армейской группы «Вейхс» перешли в наступление из района восточнее Курска. Фашистское командование рассчитывало этим наступлением и ударами из районов Волчанска на Воронеж окружить и уничтожить войска Брянского фронта, прикрывавшие воронежское направление, а затем поворотом на юг с дополнительным ударом из района Славянска уничтожить войска Юго-Западного и Южного фронтов и открыть себе дорогу к Волге и на Северный Кавказ. С этой целью врагом была создана за счет группы армий «Юг» группа армий «Б» (возвращенного на советско-германский фронт генерал-фельдмаршала Т. фон Бока) в составе 2-й и 6-й полевых, 4-й танковой немецких и 2-й венгерской армий. Для действий на северокавказском направлении была создана группа армий «А» во главе с прежним командующим оккупационными войсками на Балканах, одним из организаторов фашистских преступлений в Югославии и Греции генерал-фельдмаршалом В. Листом, в которую входили 11-я и 17-я полевые, 1-я танковая немецкие и 8-я итальянская армии. Всего противник сосредоточил для решения первой задачи к 1 июля 1942 года 900 тысяч солдат и офицеров, более 1200 танков, свыше 17 тысяч орудий и минометов, 1640 боевых самолетов. У нас в составе войск Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов к тому времени насчитывалось 655 тысяч человек, 740 танков, 14 200 орудий и минометов, примерно тысяча боевых самолетов. Таким образом, по количеству людей и боевой техники наши войска на этом участке советско-германского фронта уступали врагу примерно в полтора раза.

Перешедшие в наступление войска армейской группы генерал-полковника фон Вейхса в составе 2-й полевой, 4-й танковой немецких и 2-й венгерской армий из группы армий «Б» прорвали оборону на стыке 13-й (генерал-майора Н. П. Пухова) и 40-й (генерал-лейтенанта артиллерии М. А. Парсегова) армий Брянского фронта и за два дня продвинулись в глубину на сорок километров. Управление нашими армиями нарушилось. В некоторых отечественных работах высказывается мнение, будто основной причиной поражения войск Брянского фронта в июле 1942 года является недооценка Ставкой и Генеральным штабом курско-воронежского направления. С таким мнением согласиться нельзя. Неверно и то, что Ставка и Генеральный штаб не ожидали здесь удара. Ошибка состояла в том, как уже об этом говорилось, что мы предполагали главный удар фашистов не на юге, а на центральном участке советско-германского фронта. Поэтому Ставка всемерно и в ущерб югу укрепляла именно центральный участок, особенно его фланговые направления. Наиболее опасным для Москвы мы считали орловско-тульское направление, но не исключали удара врага и на курско-воронежском, с последующим развитием его наступления, однако, не на юг, как это оказалось в действительности, а на север, в глубокий обход Москвы с юго-востока. Уделяя основное внимание защите столицы, Ставка значительно усиливала и войска Брянского фронта, прикрывавшие орловско-тульское и курско-воронежское направления. Еще в апреле и первой половине мая Брянский фронт дополнительно получил четыре танковых корпуса, семь стрелковых дивизий, одиннадцать стрелковых и четыре отдельные бригады, а также значительное количество артиллерийских средств усиления. Все эти соединения, поступавшие из резерва Ставки, были неплохо укомплектованы личным составом и материальной частью.

В результате к концу июня командование Брянского фронта имело в своем резерве четыре танковых и два кавалерийских корпуса, четыре стрелковые дивизии, четыре отдельные танковые бригады. Кроме того, в полосе этого фронта располагалась находившаяся в резерве Ставки полностью укомплектованная и предназначавшаяся для нанесения контрударов 5-я танковая армия.

Можно ли после этого говорить, что Ставка обошла своим вниманием Брянский фронт? Тех сил и средств, которыми он располагал, было достаточно не только для того, чтобы отразить начавшееся наступление врага на курско-воронежском направлении, но и вообще разбить действовавшие здесь войска фон Вейхоа. И если, к сожалению, этого не произошло, то только потому, что командование фронта не сумело своевременно организовать массированный удар по флангам основной группировки противника, а Ставка и Генеральный штаб, по-видимому, недостаточно помогли ему в этом. Действительно, как показали события, танковые корпуса при отражении наступления врага вводились в дело по частям, причем не столько для решения активных задач по уничтожению прорвавшегося врага, сколько для закрытия образовавшихся брешей в обороне наших общевойсковых армий. Командиры танковых корпусов (генерал-майоры танковых войск М. Е. Катукон, Н. В. Фекленко, М. И. Павелкин, В. А. Мишулин, В. М. Баданов) еще не имели достаточного опыта, а мы им мало помогли своими указаниями и советами. Танковые корпуса вели себя нерешительно: боялись оторваться от оборонявшейся пехоты общевойсковых армий, в связи с чем в большинстве случаев сами действовали по методам стрелковых войск, забывая о своей специфике и своих возможностях.

К исходу 2 июля обстановка на воронежском направлении резко ухудшилась. Оборона на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов оказалась прорванной на глубину до восьмидесяти километров. Фронтные резервы, имевшиеся на этом направлении, были втянуты в сражение. Ударная группировка врага грозила прорваться к Дону и захватить Воронеж. Чтобы помешать этому, Ставка передала из своего резерва командующему Брянским фронтом генерал-лейтенанту Ф. И. Голикову две общевойсковые армии, приказав развернуть их по правому берегу Дона на участке Задонск — Павловск и обязав Голикова взять лично на себя руководство боевыми действиями в районе Воронежа. Одновременно в распоряжение этого фронта передали 5-ю танковую армию. Вместе с танковыми соединениями фронта она должна была нанести контрудар по флангу и тылу группировки немецко-фашистских войск, наступавшей на Воронеж. В ночь на 3 июля корпуса 5-й танковой армии заканчивали сосредоточение к югу от Ельца. Немедленный и решительный их удар по врагу, рвавшемуся к Воронежу, мог бы резко изменить обстановку в нашу пользу, тем более что основные силы этой фашистской группировки, понеся уже довольно значительные потери и растянувшись на широком фронте, были связаны боями с нашими войсками.

Однако танковая армия никаких задач от командования фронта не получила. По поручению Ставки мне пришлось срочно отправиться в район Ельца, чтобы ускорить ввод в сражение танковой армии. Предварительно по телеграфу я передал командующему армией и командованию Брянского фронта приказание немедленно приступить к подготовке контрудара. На рассвете 4 июля я прибыл на командный пункт фронта. Уточнив обстановку и выяснив, что можно было бы дополнительно привлечь из фронтных войск к участию в контрударе, мы вместе с начальником штаба генерал-майором М. И. Казаковым направились на КП командующего 5-й танковой армией генерал-майора А. И. Лизюкова. Здесь, произведя вместе с командармом и начальником штаба фронта рекогносцировку, я уточнил задачу 5-й танковой армии: одновременным ударом всех ее сил западнее Дона перехватить коммуникации танковой группировки врага, прорвавшейся к Дону, и сорвать ее переправу через реку; с выходом в район Землянк — Хохол 5-я армия должна помочь войскам левого фланга 40-й армии отойти на Воронеж через Горшечное — Старый Оскол.

В тот же день я получил указание Верховного Главнокомандующего не позднее утра 5 июля быть в Ставке в связи с тем, что осложнилась обстановка на правом крыле Юго-Западного фронта. 6-я немецкая армия вышла здесь к Каменке и развивала удар в южном направлении. Создалась угроза тылам не только Юго-Западного, но и Южного фронтов. Отдав вечером 4 июля указания о порядке ввода 5-й танковой армии в сражение и об организации взаимодействия артиллерии и авиации и возложив ответственность за осуществление задания на командарма и штаб фронта, я отбыл в Ставку. Но, как показал дальнейший ход событий, 5-я танковая армия

задания не выполняла. Ее командование действовало неоперативно, штаб фронта ему не помогал и фактически его работу не направлял; не было поддержки со стороны фронтовых средств усиления — артиллерии и авиации. Поэтому одновременно мощного удара танков по флангу и тылу ударной группировки врага достичь не удалось. Правда, 5-я танковая армия отвлекла на себя значительные силы врага и тем самым позволила другим войскам Брянского фронта выиграть несколько дней, необходимых для организации обороны Воронежа.

Имеет смысл, мне кажется, остановиться на причинах неудач июльских боев 1942 года на воронежском направлении. Ставка, на мой взгляд, делала все, чтобы помочь командованию Брянского фронта. Вот как оценивает события того лета бывший начальник штаба Брянского фронта, ныне генерал армии М. И. Казаков. Касаясь организации контрудара 5-й танковой армии, он в 1964 году писал: «Кто должен был организовать этот удар? Командующий фронтом находился в районе Воронежа, и все его внимание было привлечено к обороне этого направления. Штаб фронта и только что прибывший к нам генерал-лейтенант Н. Е. Чибисов, временно заменявший на основном КП командующего фронтом, не могли предпринять контрудара без решения командующего фронтом. Выда такое положение, инициативу на организацию контрудара 5-й танковой армии взял на себя Генеральный штаб»¹³. Да, это точное изложение фактов. Из них вытекает следующий вывод: командующий фронтом, отбывая в Воронеж, должен был обязать свой штаб, оставшийся возле Ельца, или какое-то конкретное лицо организовать прием и ввод в сражение 5-й танковой армии, продиктовав ему свое решение. Если этого не было сделано, то штаб фронта обязан был взять это на себя по собственной инициативе, докладывая командующему фронтом о принимаемых решениях. Однако ни того, ни другого не было сделано. А объяснение тому лежит в отсутствии инициативы, распорядительности, чем тогда страдали многие наши командармы и штабные работники. Повинны в том, конечно, также Генеральный штаб и Ставка Верховного Главнокомандования.

Нельзя отрицать также, что одной из причин неудовлетворительного исхода июльских боев на воронежском направлении было предшествовавшее ему поражение войск Юго-Западного направления в мае — июне, которое, повторяю, развязало врагу руки и на курско-воронежском направлении.

5 июля я вернулся в Москву и доложил о фронтовой обстановке. В результате было принято решение образовать на воронежском направлении самостоятельное фронтовое объединение. Командующим Брянским фронтом стал К. К. Рокоссовский, а войсками нового, Воронежского фронта — работавший с мая 1942 года в должности моего заместителя по Генштабу генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин. М. И. Казаков в своих воспоминаниях сообщает, что командование Брянским фронтом после передачи в его состав 40-й армии и сформирования 48-й армии еще в двадцатых числах апреля вносило предложение о создании Воронежского фронта, но Ставка с этими предложениями не согласилась. Мне лично об этом ничего не известно. Возможно, потому, что меня в то время не было в Москве. Моя же точка зрения по этому поводу такова. Создавать Воронежский фронт в апреле 1942 года было преждевременно. Ведь основные силы оставались тогда на орловском направлении и севернее него. Что же дало бы образование нового фронта? Целесообразность, а в дальнейшем и необходимость создания самостоятельного фронтового управления на курско-воронежском направлении возникла только в начале июня, когда войска Южного и Юго-Западного фронтов с большими потерями начали отходить на восток. Именно тогда удар противника на Воронеж стал вероятен, и Ставка приступила к подаче сюда значительных сил из своих резервов. Фактически же этот фронт создали с запозданием, 7 июля, когда войска противника уже подошли почти к Воронежу. Вина за это ложится прежде всего на Генеральный штаб и его руководство независимо от того, ставился кем-либо ранее этот вопрос или нет.

Хотя наступление врага на Воронеж было в те дни приостановлено, обстановка для нас оставалась крайне напряженной. 7 июля 6-я полевая и 4-я танковая

¹³ «Военно-исторический журнал», 1964, № 10, стр. 39.

немецкие армии начали наступление из района южнее Воронежа вдоль правого берега Дона, а 1-я танковая армия — из района Артемовска в направлении на Кантемировку. Противник стремился во что бы то ни стало выйти в большую излучину Дона. Юго-Западный и Южный фронты продолжали отход на восток. К середине июля враг захватил Валуйки, Россошь, Богучар, Кантемировку, Миллерово. Перед ним открывалась восточная дорога — на Сталинград и южная — на Кавказ. Переход Красной Армии к стратегической обороне давался нелегко.

Став начальником Генерального штаба, постоянно бывая у Верховного Главнокомандующего и часто находясь на разных фронтах, я нередко вынужден был передавать руководство Оперативным управлением Генштаба в другие руки. К сожалению, начальники этого управления сменялись очень часто. Наиболее способных Верховное Главнокомандование посылало во фронтовые штабы. Я не всегда с этим соглашался, но при всем желании не мог уделять Оперативному управлению достаточно внимания.

При всех неудачах наших войск весной и летом 1942 года главное в событиях того периода состояло в том, что Красная Армия вела активные маневренные оборонительные действия, которые подготовили условия для срыва второго «генерального» наступления гитлеровцев на советско-германском фронте.

Накануне величайшей битвы — битвы за Сталинград, положившей начало коренному перелому на всех участках советско-германского фронта, да и второй мировой войны в целом, осуществлялись операции сравнительно меньшего, местного значения. Начиналась подготовка к новой попытке прорвать ленинградскую блокаду. Периодически возобновлялись атаки по ликвидации демянского плацдарма врага и на других рубежах от Ржева до Ильменского озера.

Фронтальная линия пересекла родину, извиваясь по холмам и долам, от Мурманска к Черноморью. Страна готовилась к решающей схватке.

(Продолжение следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГРИГОРИЙ БРОВМАН



СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Мы знакомимся с Захаром Дерюгиним, крестьянином деревни Густичи, главным героем нового романа П. Проскурина «Судьба», в ситуации, которую можно было бы назвать «форсированно»-драматической. В самом деле: никому не известная нищая женщина, потерявшая силы от голода и долгого изнурительного пути, под ливнем, в предсмертных муках на слежавшемся сене рождает ребенка... Ее предали земле, так ничего и не узнав о ней, а новорожденного в свою и без того немалую семью взял Дерюгин. Начало, располагающее как будто к сюжету намеренно запутанному, полному неожиданностей, удивительных загадок и непредвиденных совпадений.

Но чем дальше, тем яснее — роман об ином. Автора интересует жизнь народа на крутых поворотах бытия, когда с наибольшей остротой раскрывается высокая историческая миссия людей, строящих новый мир. Писатель хочет исследовать разноликие общественные силы и судьбы отдельной личности в широком гражданском спектре, в движении, в противоречиях. В грохоте социальных потрясений и в безмятежной тишине предраусветной поры доброго летнего дня. Хочет за ненавистью и ожесточением кровопролитного боя разглядеть неутраченную способность радоваться любви, красоте. В едином контрапункте — жизнь частная и жизнь всеобщая. В этом идейно-творческом аспекте упомянутый нами первый эпизод романа органично входит в мир реалистического полотна романа.

...Позволю себе небольшое отступление. Лет десять тому назад правление Союза писателей РСФСР пригласило группу литераторов, чтоб обсудить творчество своего молодого товарища, проживавшего, если мне не изменяет память, в Хабаровске.

Нам предложили для ознакомления роман «Корни обнажаются в бурю» и рассказы из сборников «Таежная песня» и «Цена хлеба». Автор, а это был Петр Проскурин, рассказал нам, что родился на Брянщине, тринадцатилетним подростком пережил фашистскую оккупацию, в колхозе трудился каменщиком и плотником, служил в армии, затем потянулся в незнакомые места, на Дальний Восток. Там, на Камчатке, работал сплавщиком, лесорубом, шофером...

Опыты начинающего писателя привлекли внимание. Отмечались, конечно, типичные для человека с нетвердым еще пером недостатки. Не всегда безупречный вкус. Риторические длинноты. Натуралистичность в языке и равнодушие к красотам. Об этом было сказано автору. Но все участники разговора, и я в том числе, согласно и дружно признали несомненное литературное дарование П. Проскурина, его умение заглянуть во внутренний мир своих героев, анализировать сложные, нередко драматические положения. Изображая нравственные конфликты, он неизменно искал их основной корень. Понятием социального психологизма, традиционного для русской литературы видимо, вернее всего можно было обозначить тогда своеобразие творческого поиска П. Проскурина. В этом направлении он и развивался в дальнейшем, именно на этом пути достиг сегодня определенного художественного успеха. Это были как бы ступени к «Судьбе» — романы «Горькие травы», «Исход», «Камень сердолик», повести «Шестая ночь» и «Тайга». Мне доводилось писать об этих произведениях, обращать внимание читателя на психологическую проницательность П. Проскурина, драматизм изображаемых им событий, когда противоборствующие социально-нравственные силы вступают в непримиримый конфликт. Отсюда и главный герой — че

ловец убежденный, своенравный. Характер борца у партизана Трофима в «Исходе», у художника-воина Антона Савичева в «Камне сердолике», у Екатерины Ивановны в «Шестой ночи».

Итак, Захар Дерюгин, похоронив неизвестную, берет только что родившегося ребенка в свой дом. В рецензии на роман В. Гура («Литературная газета») весьма однозначно толкует этот начальный эпизод как символ «неизбежного обновления жизни, закономерности трудных и благотворных перемен в ней». Между тем сцена с ребенком говорит нам еще и о душе Захара Дерюгина — прежде всего о ней! Философский смысл экспозиции романа возникает из нравственного портрета героя. В безыскусном и трогательном движении души Захара можно увидеть отблеск огромности событий на советской земле. Здесь одна из существенных особенностей художнического видения автора «Судьбы»: в глобальном — человеческое, масштабы крупного плана — сквозь детальную прорисовку микромира. Не в разделенных главах или на соседних страницах, нет, тут же — одно в другом.

Задаемся вопросом: где источник гуманного порыва Дерюгина? В солдатском, кавалерийском братстве красной конницы, где он вместе с тысячами других бойцов отстаивал революцию? Или в колхозном товариществе, где он возглавил усилия крестьян-единомышленников, решивших построить общую свободную жизнь? Среди слагаемых, образующих многосложный характер Захара, происшествие с приемышем занимает серьезное место — вне таких движений человеческого сердца нам общих закономерностей не постичь. Ибо они рождены социальной практикой. «Есть трое, ну, четверо будет, времена-то новые пошли, не пропадем».

Новые времена, новые люди, новые отношения... Но не убывают противоречия жизни, ее драматизм. Вечером того трагического для Захара дня, когда при разборе его персонального дела по поводу связи с Марией Поливановой он, не сдержавшись, опрметчиво бросит на стол секретаря райкома свой партийный билет, представитель области заметит: «Значит, говорите, Дерюгин усыновил от умершей нищенки младенца? — Голос Пекарева был мягко-раздумчивым и удивленным. — Ведь своих же

трое, факт из ряда вон выходящий, в мужестве вашему Дерюгину не откажешь...»

Точно, в отваге герою нельзя было отказать — ни тогда, когда он в конном бою врубился в белоказачий эскадрон, чтоб спасти валившегося с лошади раненого Тихона Брюханова, ни теперь, когда секретарь райкома, тот же Тихон Брюханов, по-прежнему любя Захара, требует, чтобы он раскаялся и порвал с Маней Поливановой, ибо председателю колхоза и коммунисту негоже, имея жену и детей, на виду у всех встречаться с возлюбленной... «Без Мани нету мне жизни, не могу без нее, а ты думай как хочешь», — прямо обращается Дерюгин к Тихону на заседании бюро.

Занозистый, крутой, самобытный мужик, сильная, по-своему цельная натура... Так говорят люди о Захаре. Тот же Пекарев, редактор областной газеты, после инцидента в райкоме размышляет вслух: «Конечно, клякса получилась, что-то сделать нужно, такие партии необходимы. Человек — не глина, согласитесь, не весь человеческий материал легко поддается обработке, нужно терпение и время. Его нам и не хватало...».

Наш автор явно питает пристрастие к фигурам многослойным, внутренне конфликтным и умеет правдиво передавать оттенки их мыслей и переживаний. Глиноподобные персонажи его не привлекают. Однако это внимание к типам драматического склада — с норовом, нередко с заскоками, да еще и диковатым, — не от намерения противостоять схеме, не от желания рассказать о необычном, непохожем. Это идет от жизни, от стремления, не обманывая ни себя, ни читателя, бесстрашно заглянуть в глубину души человеческой, увидеть главное, но не скрыть сучка и задоринки.

Так подошел П. Проскурин и к образу Захара Дерюгина. И обнаружил в нем, показал нам не переплетение добра со злом, как может сперва почудиться, не безоглядную запутанность страстей — перед нами живой и цельный облик современника великих общественных потрясений и преобразований, личность с отчетливо выраженной социальной доминантой.

Вряд ли можно согласиться с М. Синельниковым, который в своей, в общем, толковой статье («Комсомольская правда») пишет, что по временам «впечатление создается такое, что у Захара одна-единственная забота — сложности его положения, связанные с Маней. Из жизни деревни, особенно

после ухода из колхозных председателей, Захар оказывается как бы выключенным».

Мне же представляется, что рассказ о Захаре Дерюгине во всех своих звеньях — это рассказ о неизменности, активности его советского мироощущения, ставшего естественством природы.

В годы гражданской войны, в пору классовых борьбы с кулачеством и организации колхозов рождались новые общественные отношения и нормы нравственности. Плодоносные зерна революционных перемен глубоко западали в сердце таких, как Захар. Навсегда памятную душевную зарубку оставила чудом не поразившая Захара пуля злобного кулака Федьки Макашина, впоследствии палача и полицая... Ни избиение у Слепого Брода, учиненное врагами колхоза, ни разгаданное в конце концов двоедушье и предательство замаскированного беляка Родиона Анисимова — ничто не прошло бесследно для внутреннего мира Захара, для его ощущений, получавших действительную социально-политическую закалку.

Не случайно хитрый и опытный враг Анисимов относился к Дерюгину как к непримиримому и принципиально идейному противнику, пытаясь любыми способами нанести ему моральное и физическое поражение: пишет доносы в мирные дни, ожесточенно палит из автомата во время войны, когда предателю привиделось, что среди пленных Захар. Многократные и многообразные встречи и столкновения Дерюгина и Анисимова описаны в романе с полным ощущением баррикады, разделяющей их.

В Мавзолее Ленина, где Захар Дерюгин побывал в дни Первого всесоюзного съезда колхозников-ударников, он словно «увидел свою жизнь, от первого ощущения сильных и теплых материнских рук до холода конных атак и горьковатого, пахнувшего кровью и смертью ковыля степей Приазовья, до мужицких, пропитанных табаком и потом сходок, решавших судьбу земли, судьбу тяжелого мужицкого счастья...».

Такова моральная целостность личности, которую не могут поколебать ни необузданность нрава, ни неоправданные поступки в отношении иных близких людей, ни сумасшедшая любовь к Мане Поливановой, принесшая ему столько страданий. Вспомним сцену избиения Захара Кирьяном и Митреем, исполненное трагизма возвращение Захара в деревню, когда возлюбленная на глазах у односельчан падает перед ним на колени, чтобы на людях разделить

общее безмерное горе.. Нужно быть смелым и уверенным в своем вкусе литератором, чтобы, не побоявшись впасть в слезливую мелодраму, написать этот эпизод в традициях строгого реализма. П. Проскурин сумел показать Захара и Маню, жену его Ефросинью, детей их Ивана и Аленку, да и других деревенских — участников и свидетелей этой житейской драмы, всех вместе и каждого в отдельности, правдиво, в их истинном социально-психологическом существе.

Что касается Захара Дерюгина, то он хотя и потерпел крушение на общественном поприще, а потом и в личной жизни, когда Маня порвала с ним, ничего не утратил человеческого в своем бытии советского человека. Не мог утратить, ибо вместе с миллионами таких же рабочих и беднейших крестьян создавал и отстаивал новый общественный строй. Грянувшая вскоре война по-своему подтвердила это. Ее испытание, тяжкую и грозную проверку герой романа выдержал с честью, как патриот и большевик.

Образ Захара Дерюгина кажется мне не только человечески привлекательным, но и принципиально важным для современного развития нашей прозы. Внимательный читатель заметил, вероятно, что в ряде повестей и рассказов последних лет в изображении деревни обозначился некий странный крен. Авторы этих произведений воспылали каким-то болезненным интересом к ветхозаветным традициям русского крестьянства, не желая разбираться в том, что было в этих традициях ценным, заслуживающим признания и продления, а что отжило, отмерло вместе со старым, дореволюционным сельским бытом. Этаким внеклассовый, внеисторический подход к прошлому привел на страницы «деревенской прозы» неких идиллических «героев».

Нужно ли говорить, насколько малохарактерны подобные персонажи для сегодняшнего села, которое давно стало на путь коллективизации, а ныне в связи с успехами научно-технической революции переживает бурную эпоху комплексной механизации, подъема культуры земледелия. Новые условия жизни и труда рождают и новых героев — разве это не очевидно? Те же, кто придерживается ветхой старины, патриархальности и стародавних внесоциальных нравственных понятий, рискуют

безнадежно отстать от идущего вперед времени и формируемых им характеров.

Не удивительно, что у приверженцев подобных «традиций» и взгляд на коллективизацию сельского хозяйства, на ликвидацию кулачества на ее основе, как и многие другие социальные преобразования в деревне, получается какой-то в высшей степени смутный. Этакая модернизация истории, попытка переосмыслить то, что составляет важнейший положительный опыт революционной перестройки деревни, коренной вклад в строительство социалистического общества. Коснемся последних примеров такого рода.

В одиннадцатой книжке «Звезды» за 1972 год Л. Емельянов выступил с обширной рецензией на первую часть романа Василия Белова «Кануны», которая опубликована в журнале «Север». Так как произведение еще не завершено, судить о нем в целом трудно. Однако Л. Емельянов дает не только оценку «Канунов», но и высказывает попутно множество соображений, прямо скажем, странно звучащих.

Речь идет о северной деревне, изображаемой В. Беловым. Разумеется, в общественной структуре тут было немало специфического, рожденного условиями жизни, быта и самого сельскохозяйственного труда. Неверно полагать, что конкретно-историческая обстановка в те или иные годы была повсеместно тождественной. Нельзя не считаться с тем, что на юге страны, положим, революционные события, завоевание советской власти и коллективизация протекали в иных формах, чем на севере. Нивелировка здесь противопоказана, в особенности художнику. Но отсюда отнюдь не следует отрицание общих социальных закономерностей общественного развития, будто бы совсем не имеющих касательства к северной деревне!

Между тем тут, по мнению Л. Емельянова, господствовали буколические отношения и до пролетарской революции и после нее.

«Имущественное неравенство, порождающее классовые противоречия, здесь почти полностью отсутствовало... Есть, правда, в Шибанихе двое нищих — Носопырь и Тяня, — но бедность их отнюдь не социального происхождения. Объяснение ей находится исключительно в пределах их личных судеб».

Нищие сами виноваты в том, что они бедны, а помещик Прозоров да поп Рыжко

(запросто играющий с мужиками в карты, вот демократ!) не повинны ведь в том, что им привалило богатство. И вдруг, представьте себе, пастораль нарушена: где-то там вдали от северной деревни придумана классовая борьба и навязана прекраснородушным обитателям Шибанихи. В самом деле, читаем:

«В представлении людей, которые и понятия не имели о жизни Шибанихи, но от которых, к сожалению, зависела ее судьба, Шибаниха была «деревней вообще», деревней, где, конечно же, должна быть и классовая борьба, и характерное для «деревни вообще» деление на бедняков, середняков и кулаков. В этом, — с грустью продолжает Л. Емельянов, — собственно, и заключается трагизм ситуации, изображенной в романе. Жизнь, доселе органичная и естественная, как бы ставится под высокое напряжение. Поляризация, ей не свойственная, искусственно в ней вызывается. Рухнутся вековые устои. За жимеры, возникшие в фанатических или просто не способных мыслить головах, кто-то должен расплачиваться кровью...»

Тут уж поистине комментарии излишни!

Еще пример. М. Лобанов в статье «Характер», напечатанной в десятой книжке журнала «Волга» за прошлый год, рассуждая о романе Анатолия Иванова «Повитель», сокрушается по поводу незаслуженного обличения автором одного из персонажей — Григория Бородина, хищника-стяжателя. М. Лобанов сам же приводит слова колхозного ветерана о Бородине: «Всю кровь, все мозги изъела ему жажда собственности. Сперва из человека превратила в зверя, а потом так оплела, что все соки выжала, высушила». Но критику кажется, что писатель упрощенно представил это «иссушение», ему в Григории Бородине видится кряжистый, стержневой характер. «Устранение таких сильных характеров», по мысли критика, «было бы равносильно разрушению генетического ядра нации». Не составляет, разумеется, большого труда понять, что в данном случае мы имеем дело с внесоциальным взглядом на национальность, рассматриваемую как нечто неизменное, классово недифференцированное. Вызывает удивление и попытка увидеть именно в собственничестве генетический признак национального своеобразия...

В споре с подобными ложными суждениями, на мой взгляд, в пользу слау можно

опереться на такую весьма правдивую фигуру энтузиаста коллективизации, каким является в романе «Судьба» Захар Дерюгин. Писатель рисует становление густитинского колхоза. Кулачье, макашины да черепановы, которые, по словам Захара, «соки-то из народа тянули по-паучьи, втихари», высылаются из деревни, и это воспринимается трудовым крестьянством как естественное необходимое явление. А Поливановых, которых к кулакам никак не отнесешь, Захар решительно защищает. Злые языки говорят, что это из-за полюбившейся председателю Мани Поливановой, но мы видим, что действует Дерюгин, руководствуясь прежде всего классовыми принципами, интересами колхоза, который близок и дорог его сердцу. То, что происходит в Густитцах, как и в сотнях и тысячах других деревень, для Захара служит показателем перемен, охвативших всю страну. «Это ж надо, все на дыбы вздернуть, живого места не оставить от вековой жизни!» — говорит он учительнице Елизавете Андреевне, понимая при этом, что не просто, когда «кровища хлещет»...

Коллективизация в Густитцах изображена П. Проскуриным как движение, отвечающее жизненному стремлению трудового крестьянства, поднятого революцией к высотам исторического творчества. В коллективизации оно нашло ту форму совместного, солидарного и товарищеского труда, которая более всего подходила для интенсивного земледелия. Это и было учтено Коммунистической партией, направлявшей социалистическое переустройство сельского хозяйства, жизни и быта тружеников деревни.

Досадно, что, не довольствуясь психологически верным, художественно-конкретным изображением этого явления в его реальном виде, писатель вознамерился передать еще и размышления на эту тему, диалог между секретарем обкома партии Петровым и И. В. Сталиным. Противоречия собственной идейно-художественной концепции, воплощенной в истории густитинского колхоза, в образе его организатора и председателя Захара Дерюгина, как и других его энтузиастов, автор погрузился в туманные, псевдозначительные рассуждения, которые увели его от истины (на что верно указали и В. Гура в «Литературной газете» и Н. Потапов в «Правде»).

П. Проскурин силен в зримом и вещном

изображении жизни. Реальные характеры в их деятельном направлении, в противоборстве и в утверждении своих идеалов — вот стихия его таланта. Отсюда вырастает и философия романа. Абстрактные же силлогизмы, вложенные в уста исторических или вымышленных лиц, часто лишены у писателя плоти, приводят к ложной философичности. Как раз это-то и произошло в сцене беседы Петрова со Сталиным. И напрасно, думается мне, Н. Сергованцев в статье «Эпос и героика» («Огонек») утверждает, что эта беседа «отражала глобальные заботы, волнующие партию». Куда более прав М. Синельников, когда он пишет в «Комсомольской правде», что вообще «иные эпизоды, в которых писатель пытается осмыслить события с «командных высот», дать обобщенную философскую характеристику времени (в авторской ли речи или в высказываниях и раздумьях героев), производят впечатление случайности и искусственности».

Поддержав это принципиальное наблюдение, я бы вообще сказал о сценах, где преобладает, если так можно выразиться, умозрительная фактура. По мере отдаления автора от конкретно-ощутимого изображения действительности, от постижения живых реальных характеров в сторону интеллектуальных абстракций краски романа теряют свою эмоциональную силу, тускнеют, расплываются. Художественная ткань здесь лишается плотности и упругости, становится рыхлой, утрачивает психологическую достоверность. Начинает чувствоваться заданность, рассудочность подхода. Добрые качества стиля «Судьбы» — свободное, раскованное движение, диалектическая аналитичность, смелость наблюдений — куда менее свойственны тем страницам, которые посвящены то ли секретарю райкома партии Тихону Брюханову, то ли тому же Петрову. Чувствуется, что автор встречает здесь сильное сопротивление материала. Скажем, Брюханову совершенно определенно не хватает жизненного полнокровия, непосредственности и непринужденности в самом рисунке, какие отличают в романе персонажей, что называется, ближе стоящих к земле, к земному бытию.

И хоть видим мы Брюханова и в буднях райкома и обкома, и в деловых поездках то на стройку завода, то в колхозы, видим позднее в партизанском штабе — кажется, тут самые различные грани его жизни и деятельности, а все равно сама конструкция

образа во многом остается рассудочной, в его построении нет-нет да и проглянет некое геометрическое начало...

Когда же писатель, пытаясь справиться с этим нелегко дающимся его перу образом, погружает Брюханова в мир интимных переживаний, возникает иная крайность: чувства и поступки теряют логику. Вспомним, с какой проникновенностью рисует автор Захара Дерюгина в сложно-противоречивых ситуациях с женой Ефросиньей, с матерью Авдотьей, со своими детьми (особенно с сыном Иваном), его мучительно-радостную, в конце концов трагическую любовную связь с Маней Поливановой. И какой странной сочиненностью отдают эпизоды личных отношений Тихона Брюханова вначале с Соней, затем с Клавдией Пекаревой, с Аленой Дерюгиной.

Бросаются в глаза недостоверность мотивов, психологическая невыверенность. Не веришь, что Брюханову могла понравиться легкомысленная, никчемная и пустая обывательница Соня, ложна вся история, когда Тихон, находясь в командировке, шлет телеграфный вызов на любовное свидание жене своего товарища и коллеги по работе... Что касается горячо вспыхнувшего будто бы чувства Брюханова к молоденькой дочери Дерюгина, то и тут коробит какая-то несвойственная письму автора «натужность» тона... Конечно, в жизни, как говорят, всякое бывает. Но истинный реализм все же не согласуется с гипотетическими, предположительными или гадательными ситуациями, где преобладают главным образом различные допущения и условности. В изображении любви Брюханова нет той художественно-психологической непреложности, которая характерна для лучших страниц «Судьбы».

То же происходит в романе и с Петровым. Первый секретарь обкома партии показан нам только в деловой плоскости: как он излагает свои мысли, формулирует очередные задачи, ведет рассудительные диалоги с подчиненными и товарищами. Проникновенно в его эмоциональный мир мало помогает то разглядывание фотографий родственников, то описание страданий от болезни печени: — к таким «утеплениям» образа обычно прибегают, откровенно говоря, авторы совсем не того разряда, к которому принадлежит П. Проскурин.

Нужно сказать, что вообще не впервые встречает талантливый писатель сопротивление жизненного материала при обраще-

нии к людям идеологической сферы деятельности. В свое время мне доводилось обратить внимание в печати, что в романе «Камень сердолик» характер художника, главного героя, раскрывался скорее умозрительно, чем в логике духовного развития, идейно-художественных исканий живописца, в индивидуальности его манеры. «Судьба», несомненно, углубила взгляд автора на интеллектуальную деятельность героев, и тем не менее писателю на этом направлении предстоят еще серьезные поиски. Судя по его дарованию, перспективы для них имеются.

Произведение П. Проскурина подкрепляет наши наблюдения над тем, что в книгах последнего времени обозначилась весьма плодотворная тенденция к панорамному исследованию, эпическому воплощению жизни общества.

Нам далеко не безразлично, идет ли речь в художественном произведении о серьезных проблемах современности, о характере героя, стоящего на переднем крае строительства нового мира, или о делах и заботах, не выходящих за пределы тесного круга бытовых отношений, куда не доносится дыхание времени. Нет, мы не возражаем против рассказа о частной, личной, интимной жизни человека. Это было и будет предметом внимания романиста. Но мы хотим, чтобы в судьбах личности, в ее горестях и радостях, в ее надеждах и свершениях виделась и судьба народная с ее великими героическими и драматическими путями и перепутьями. Нас всегда волнует повествование о внутренней жизни человека, об его нравственных поисках и о выборе им своего пути. Но не забудем о том, что решающее значение для нас имеет гражданственное в гражданине, что тип современника в определяющих тенденциях складывается прежде всего в сфере общественного приложения его умственных и физических сил. Поэтому индивидуальность, игнорирующая прогрессивное движение социальных событий, не может, на мой взгляд, претендовать в литературном произведении на сочувственный интерес читателя.

Речь идет о герое и в житейском и в эстетическом смысле слова. О человеке или о людях, которых автор ставит в центр романа, отражая положение их в самой действительности. К ним влекутся, притягиваются все его эпические, конфликтные, ге-

роические линии. Трудно представить себе, что таким средоточием монументального произведения может оказаться узкий и замкнутый бытовой плацдарм. Или отдельно взятая семейная ситуация без выхода на масштабные просторы. Впрочем, это равно относится и к изолированным сюжетам с цеховыми, профессиональными или даже «территориально-этнографическими» границами.

Будущее, несомненно, принадлежит роману, который в многочисленных горизонтальных и вертикальных разрезах, в протяженности во времени и в общественной многоступенчатости раскроет советский образ жизни во всех его проявлениях. К попыткам такого рода можно отнести немало произведений последних лет.

В свете этого становится понятно, почему автор ведет своих героев от начала 30-х годов до событий Великой Отечественной войны, из села в город, от изображения коллективизации к картинам индустриального строительства, показывает в широком диапазоне крестьян, рабочих, интеллигенцию, партийных работников и военных, в том числе партизан, солдат и офицеров переднего края, знакомит с людьми на различных, если так можно выразиться, уровнях жизни, труда и борьбы в мирных и боевых условиях, в деревне Густити, в районном Зежске, в областном Холмске, в столице.

Возвращаясь к событиям и характерам, которые уже не раз бывали предметом художественного освещения, П. Проскурин находит свежие краски для воплощения далекого и близкого прошлого, откуда идут мощные токи жизни в день настоящий и грядущий. Он свободно владеет динамическим и психологическим материалом народного бытия. В образах романа воплощается энергия народа-жизнестроителя.

Действительно, уведя за собой читателей из деревни Густити в городок Зежск, автор нарисовал картину, исполненную героики и трагизма. Люди рабочего класса — от каменщицы Мани Поливановой до начальника стройки Олега Чубарева, замечательного инженера и организатора, — самоотверженно воздвигают социалистическое индустриальное предприятие, которое вскоре будет их собственными руками... взорвано! Писатель запечатлел не только внешние черты этого события, но главным образом нравственные переживания, которые выпали на долю наших людей.

Проскользнула в некоторых рецензиях мысль, что автор намеренно сгущает краски, чрезмерно заостряет сюжет, стремится к искусственному укрупнению драматизма. На мой взгляд, более верно другое: он берет жизнь на ее острых, крутых изломах — в историческом, социальном и в личностном аспектах, вскрывая ее диковинные, подчас ошеломляющие противоречия. Нужно ли в этом случае ограничивать художника, если он верен правде, сохраняет чувство эстетической и моральной меры, такт действительности?

П. Проскурин описывает варварскую акцию фашистов-оккупантов — безжалостное уничтожение людей, находившихся на лечении в холмской психиатрической больнице. Вместе со своими пациентами добровольно идет на смерть и главный врач Пекарев. Художник не хочет уклониться от изображения бедствий, принесенных на нашу землю жестоким врагом, вопиющих к разуму и человечности.

Так же правдиво, с вниманием к деталям психологического свойства рисует автор батальные сцены, в которых участвуют Захар Дерюгин, его односельчане. Жаль, что писателя при этом иногда соблазняет «картинность» изображения, исторические и литературные реминисценции. Критик Н. Пашкевич в «Литературном обозрении», выражая в целом самое доброе отношение к произведению Проскурина («Роман вот так и гнездится и глыбится, но не распадается ни в пространстве, ни во времени»), все-таки упрекает автора за то, что в повествовании о боях под Смоленском вдруг возникает неоправданно длинный рассказ об иноземном нашествии трехсотлетней давности. Справедливо!

Но вот уж где П. Проскурин поистине силен, так это в сценах партизанских. После его романа «Исход», где были даны первые наброски темы, яркие зарисовки характеров, нынешняя партизанская галерея «Судьбы» кажется мне сердечной данью героизму народа, который не смирился, не отказался от борьбы не только в условиях фронта, но и в смертельно опасной лесной партизанской войне, исполненной лишений и страданий, но прекрасной, как все, что делают люди для защиты своей свободы, чести и достоинства. Кто бы и чем бы ни занимался в мирные дни — секретарь обкома, редактор газеты, рабочий, колхозник, школьница, солдат и офицер, вышедшие из окружения, молодой и ста-

рый, здоровый и больной,— здесь, в лесу, все живут одним дыханием, одной верой, одной надеждой. Писатель убедительно показал, что только общество, сплоченное единством политических идеалов и нравственности, руководимое партией коммунистов, способно было так быстро организовать столь мощное партизанское сопротивление оккупантам. Гибнет наш старый знакомый Семен Пекарев, погибает юный, только познавший счастье любви Алеша Сокольников. Многие, многие отдают свою жизнь... А на их место вновь и вновь становятся другие, такие же верные своему оружию, преданные родине, — нескончаемое возобновление народных сил для беспощадной борьбы с врагом!

Автору «Судьбы» можно предъявить немало претензий и в плане построения эпопеи, и в связи с его пристрастием к несдержанному изложению некоторых интимных сцен, и по поводу мелькающих, может быть, чаще, чем то дозволяет строгий вкус, словечек грубого лексикона. (При этом нельзя, кстати сказать, не порадоваться той высокой степени индивидуализации народной речи, которая достигнута автором.) Но перебирая взвихренную бурными событиями жизнь народную, жизнь человеческую, которая запечатлена в романе, я подумал о том, как трудно было найти композиционную и стиливую форму, способную вместить столь невероятное многообразие эпического материала...

Если архитектурным центром первой книги романа («Адамов корень») был образ Захара Дерюгина, то во второй («Не отринь») и в заключительной части («Песня берез») им стала фигура Ефросиньи, жены Захара. Казалось, сколько беспощадных ударов судьбы обрушилось на эту простую, погруженную в семейные и трудовые дела женщину. Непокойной, безрадостной была ее жизнь из-за измены Захара, бесконечных хлопот с детьми и многих других волнений, которые выпадают на долю крестьянки—матери и труженицы.

Потом война, сместившая все с привычной колеи. Захар уходит на фронт, стар-

шая, Аленка, скрывается от преследователей-полицаяв и попадает в партизанский отряд, сына Ивана забирают в Германию на каторжный труд, младшие, Коля и приемный Егор, на руках... А тут еще Федька Макашин, фашистский прислужник, пытающийся в неумной своей звериной злобе искоренить род Дерюгиных. И немецкие сапоги вокруг, безжалостно топчущие землю, политую кровью родных и близких...

Героика и трагедия народной жизни в военное лихолетье как в фокусе воплотилась в мыслях и чувствах, в переживаниях Ефросиньи, нарисованной автором с большой психологической насыщенностью, с абсолютным доверием к читателю, без преувеличений и какой-либо утайки. Вот что думала, вот что чувствовала, вот что переживала, вот что делала русская деревенская женщина-колхозница в эту невысказанно тяжкую пору. Посмотрите, послушайте, откликнитесь душой.

И когда Ефросинья своими руками поджигает недавно при доброй подмоге земляков построенный дом, в котором мечталось пожить с подрастающими детьми, мы видим в этом не одно лишь свидетельство ненависти к заживо сжигаемым оккупантам, но и акт величайшей любви к жизни, к свободе, стремление к счастью — для себя, и своих детей, и для бабки Авдотьи, Захаровой матери, и для крестного Игната Свиридова, для Нюрки Кудели да Варечки Черной, для всех односельчан, для всего народа, для всего человечества... Повествование П. Проскурина завершается не триумфальными аккордами, хотя зарницы победы уже сверкают, а тревожными воспоминаниями Ефросиньи Дерюгиной, ее тихой, но твердой верой в будущее, которую она испытывает, когда бессонной лунной ночью приходит после изгнания захватчиков на пепелище своего жилья.

«Ефросинья постепенно чувствовала прибывающую уверенность; сила словно шла в нее от тех же высохших к зиме бурьянов; луна передвинулась, и тень от высокой, прямой фигуры Ефросиньи еще увеличилась, стала расплывчатой, и уже нельзя было точно определить ее очертания на земле».



Б. САРНОВ



СЕМЕНА, ЛЕТЯЩИЕ НА АСФАЛЬТ

1

В 1897 году в журнале «Русский архив», издаваемом Петром Бартеневым, появилась сенсационная публикация: «Русалка А. С. Пушкина. Полное издание. По современной записи Д. П. Зуева».

Как известно, Пушкин свою «Русалку» не закончил. Драма обрывается в самом начале сцены шестой на словах Князя, обращенных к Русалочке: «Откуда ты, прелестное дитя?»

Сенсация состояла в том, что на самом деле «Русалка» якобы была Пушкиным завершена. Просто окончание драмы каким-то образом затерялось в бумагах поэта. И вот оказывается, что оно целиком сохранилось в памяти некоего Дмитрия Павловича Зуева, инженера и тайного советника.

За несколько лет до публикации в «Русском архиве» Д. П. Зуев читал окончание «Русалки» в Русском литературном обществе. Там он впервые рассказал, каким образом он стал обладателем драгоценного пушкинского текста. Был у Пушкина приятель — Эдуард Иванович Губер, переводчик «Фауста» Гёте. Вот у этого самого Губера в ноябре 1836 года Пушкин и читал полный текст своей «Русалки». Он, Дмитрий Павлович Зуев, присутствовал при этом чтении. Последние сцены «Русалки» произвели на него такое сильное впечатление, что он запомнил их слово в слово. Много лет он хранил эти сцены в памяти и только в 1883 году, то есть спустя сорок семь лет, решил наконец перенести их на бумагу.

Ту же версию высказал Б. Н. Чичерин, передавший текст Зуева Бартеневу.

В «Русском архиве», однако, излагалась уже несколько иная версия. П. Бартнев предварил публикацию своим предисловием, в котором дело выглядело так:

«Дмитрий Павлович Зуев, ныне маститый старец, в то время еще отрок... одарен чудесною памятью, которая в молодые лета его отпечатлевала в себе целые страницы прослушанного или прочитанного. По возвращении от Губера он записал для себя последние сцены «Русалки», наиболее поразившие его и навсегда врезавшиеся в его воспоминание. Они были дважды прочитаны великим поэтом по неотступной просьбе 14-летнего юноши...

Д. П. Зуев сообщил свою дорогую запись, хранившуюся у него с лишком полвека, Борису Николаевичу Чичерину, который любезно передал ее, с согласия Д. П. Зуева, в «Русский архив».

Итак, оказывается, Д. П. Зуев не сорок семь лет спустя, а тотчас по возвращении от Губера, сразу, так сказать, по свежим следам записал запомнившийся ему пушкинский текст.

Это выглядит уже несколько правдоподобнее. Однако и тут много неясного. Непонятно, например, почему все-таки Д. П. Зуев более чем полвека хранил эту свою «дорогую запись» в тайне, никому ее не показывая и никому о ней не говоря. Кроме того, как-то не верится, чтобы Пушкин по просьбе четырнадцатилетнего мальчика два раза подряд читал окончание своей «Русалки», да еще по странной случайности как раз те самые сцены, которым суждено было таинственным образом затеряться.

Но самое удивительное не это. Самое удивительное тут все-таки сами стихи, выдаваемые Зуевым за пушкинские.

Непосредственно после реплики Князя «Откуда ты, прелестное дитя?» в записи Д. П. Зуева следует такой текст:

РУСАЛОЧКА

Откуда?.. Матушка послала. Знаешь,
что в тереме прозрачном, в глубине
Днепра реки, Царицею русалок,

Все о тебе кручиняся живет.
С минуты той, как ты ее покинул..

Далее Русалочка пытается объяснить Князю, с какой именно целью матушка послала ее к нему:

Тебя поцеловать
И приласкать она меня просила.

Сообщение это только еще больше запутывает Князя. И не мудрено. Попробуйте из этой фразы понять, просила ли Русалка, чтобы дочь поцеловала и приласкала своего отца, или же, наоборот, она просила передать Князю, чтобы он поцеловал и приласкал свою маленькую дочь.

Князь, естественно, продолжает недоумевать:

КНЯЗЬ

Но кто же ты?

РУСАЛОЧКА

Не знаешь?.. Дочь твоя,
Русалочка. Припомни, говорила.
Прощаясь, мать: «Нельзя, чтобы навек
Расстались вы; что шутку шутишь: что
Ребенок твой под сердцем шевельнулся»...
— Ах, в кустике там птенчик
встрепенулся!..

— Но кинул ты, уехал, и она
В Днепр бросилась, русалкой вольной
стала,

В Днепре меня, малютку, родила.
Сребристую волною спеленала,
Русалочкой, княжною, назвала
И за тебя любила и ласкала.

Затем появляется и сама Русалка. Она обращается к потрясенному Князю, и речь ее, пожалуй, даже еще более косноязычна и натужна, чем процитированные выше речи Русалочки:

ДОЧЬ МЕЛЬНИКА

Что скажешь, князь?.. Как приглянулась
дочь?

Красавица, красавцем зачатая —
Тобой! В тебя рожденная лицом..

Можно, конечно, подробно разобрать эти стихи, продемонстрировав все их художественное, смысловое и языковое убожество. Но зачем? Разве и без того не видно, что, как выражались Ильф и Петров, писал их не Пушкин, не Александр Сергеевич?

Казалось бы, оставалось только развести руками и подивиться тому, что такие почтенные люди, как Чичерин и Бартенева, дали провести себя на мякине, приняв графоманские вирши тайного советника Зуева за стихи А. С. Пушкина. Тем бы дело и кончилось. Но так не получилось.

Едва только «Русский архив» напечатал так называемый «полный текст» пушкинской «Русалки» и едва только раздались

здравые голоса людей, сразу увидевших, что текст Зуева не что иное, как грубая и весьма неискusstная подделка, как в дело вмешались новые, тоже весьма почтенные, лица.

Завязалась дискуссия. Один из участников дискуссии, обнаруживший себя пламенным защитником версии Зуева, не ограничился участием в журнальной и газетной полемике. Он написал специальное исследование: «Разбор вопроса о подлинности окончания «Русалки» А. С. Пушкина». Методика этого исследования такова: берется какая-нибудь строка из зувевского текста, вызывавшая самые язвительные усмешки скептиков, например реплика Русалочки, которой она ни к селу ни к городу перебивает свой монолог: «Ах, в кустике там птенчик встрепенулся!» Скептики резонно говорят, что строка бессмысленна и даже не слишком грамотна: если бы уж Пушкин написал «в кустике», вряд ли он стал бы еще прибавлять «там». Однако исследователь приводит перечень стихотворных строк, в которых Пушкин употреблял это злополучное словечко «там», скажем в «Графе Нулине» («Наташа! там у огорода мы затравили русака») или в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» («Гроб ее к шести столбам на цепях чугунных там осторожно привинтили»).

На этой основе делается вывод: «Наречие указательное при другом обозначении той мыслительной категории, к которой оно относится, не бывает излишне; когда служит к пояснению или ближайшему определению иначе выраженного обстоятельства. В словах Русалочки «там» гораздо нужнее, чем в двух других приведенных здесь примерах: место огорода было известно Наталье Павловне, если же нет, излишне не «там», а «у огорода»; что шесть столбов были поставлены в пустой горе, ясно из предшествующего, и Пушкин легко обошелся бы без «там», если бы ему не понадобилась рифма к «столбам»; но кустов на днепровских берегах росло и растет много...».

Все это выглядит в высшей степени наукообразно и логично. Но вот беда! Не существует такой железной логики, с помощью которой можно было бы победить живое, непосредственное впечатление, неопровержимо говорящее нам, что реплику «Наташа! там у огорода мы затравили русака» мог написать Пушкин, а реплику «Ах, в кустике там птенчик встрепенулся!»

из всех известных нам русских поэтов мог бы написать разве только один капитан Лебядкин.

А чего стоит наивная уверенность исследователя, будто слово «там» в приведенном отрывке из «Сказки о мертвой царевне...» понадобилось Пушкину исключительно для рифмы к слову «столбам», — уверенность, обнаружившая понимание существа поэтического творчества, достойное в лучшем случае гимназиста пятого класса.

Между тем исследование это написал не гимназист и не какой-нибудь там добродушный любитель. Написал его Федор Евгеньевич Корш, известный русский филолог, лингвист и стиховед, автор многих историко-литературных трудов, посвященных критическому анализу поэтических текстов, а также специальных работ по вопросам ритмики и стихосложения, профессор Московского и Новороссийского университетов, впоследствии даже академик.

Обнаружилась удивительная вещь. Оказалось, что можно быть специалистом-стиховедом, эрудитом и профессионалом высокого класса и при этом совершенно не уметь воспринимать стихи как явление поэзии.

Проще всего решить, что досадная история, случившаяся с Коршем, — всего-навсего комический казус. Но, к сожалению, гораздо больше оснований для другого вывода. История эта в некотором смысле классическая. При всей своей парадоксальности, она выражает не частный случай, но совершенно определенную тенденцию.

Однажды мне довелось столкнуться с этой тенденцией, что называется, носом к носу. Было это так. Лет пять или шесть тому назад один поэт издал очередной сборник своих стихотворений. Сборник этот не стал событием в литературе. И тем не менее он вызвал довольно бурный, хотя и комический интерес. Обнаружилось, что в сборнике среди вполне посредственных стихов посредственного поэта, как жемчужное зерно, притаилось стихотворение Анны Ахматовой. Появился фельетон в газете. Назревало уже обвинение в плагиате. Но вскоре недоразумение разъяснилось. Поэт прислал в редакцию письмо, в котором объяснил причину случившегося. Когда-то ему очень понравилось стихотворение Ахматовой, и он переписал его в свой блокнот. Потом, собирая для издания свои стихи, он вполне искренно принял это стихотворение за свое и включил в сборник.

Прочитав это наивное и трогательное объяснение, я подумал, что не мешало бы припрятать эту газетную вырезку, чтобы как-нибудь прочитать ее на лекции (время от времени мне приходилось выступать перед различными студенческими аудиториями с лекциями о современной поэзии). Каждый лектор знает, что, если аудитория устала и внимание ее начинает ослабевать, надо пустить в ход испытанный способ: как бы невзначай вспомнить и рассказать какую-нибудь забавную историю. Короткая вспышка смеха — и рабочее состояние аудитории восстановлено... Объяснение попавшего впросак поэта годилось для этой цели как нельзя лучше. В то же время оно имело самое прямое отношение к теме моих лекций и легко могло служить поводом для более серьезных обобщений.

Заранее предвкушая громкий эстрадный успех, я достал из портфеля заветную вырезку и, как и полагается в таких случаях, без тени улыбки начал ее читать. Ответом мне было гробовое молчание.

Закончив чтение, я, уже не рассчитывая на эстрадный успех, попытался объяснить своим слушателям, как смехотворна и саморазоблачительна позиция поэта. Один из студентов, недоумевающе пожав плечами, выразил общее мнение: «А что тут особенного? У этого поэта много пейзажных стихов, написанных в том же ключе, что у Ахматовой. Ничего нет странного в том, что он принял стихотворение Ахматовой за свое»... Я уже начал опасаться, не схожу ли с ума, как вдруг мне пришла в голову одна смелая догадка. Чтобы проверить ее, я на другой день прочел тот же текст на семинаре молодых поэтов и на этот раз был вознагражден по заслугам. Чтение мое несколько раз прерывалось смехом. Теперь уже не могло быть двух мнений насчет того, почему в прошлый раз мой «эстрадный номер» так убийственно провалился.

Все дело было в том, что аудитория тогда состояла из будущих литературоведов. Вывод этот может показаться злой и несправедливой шуткой, тем самым «красным словом», ради которого, как известно, не жалеют и родного отца. Но я не шучу.

Казалось бы, человек, занимающийся литературой профессионально, должен понимать ее лучше «простых смертных». Но иногда бывает так, что профессионал-литературовед именно вследствие своей профессии (ведь самая суть его профессиональных занятий состоит в том, чтобы «музыку

разъять как труп») постепенно обретает некий дефект восприятия, мешающий ему отличать талантливое от неталантливое, художественное от нехудожественного, подлинное от неподлинного, то есть живое от мертвого. Вот и выходит, что в ходе этих занятий его способность воспринимать художественное произведение как живой организм постепенно притупляется.

Строго говоря, конечная цель литературоведения — более углубленное постижение смысла и духа произведения — не может быть достигнута, если литературоведом утрачено целостное восприятие искусства.

В русских сказках погибшего героя воскрешают при помощи живой и мертвой воды. Если тело разрезано на куски, их обрызгивают мертвой водой — и куски срастаются. Потом тело обрызгивают живой водой — и герой оживает. Применительно к поэзии обладание этой «живой водой» никакое не чудо. Тут нужно только одно: любить читать стихи. Любить читать их для себя, так сказать, для собственного удовольствия, а не потому, что они необходимы тебе как материал для анализа.

Не скрою, для наглядности я сознательно заострил и слегка окарикатурил свою мысль о том, что среди литературоведов люди, утратившие непосредственность художественного восприятия, встречаются чаще, чем среди представителей других профессий. Но те реальные факты, которым посвящена эта статья, толкнули меня на это.

Откроешь книги иных литературоведов; и поневоле создается впечатление, что авторы этих книг уже давным-давно забыли то время, когда они читали художественную литературу просто так, «для себя».

Вот предо мною две литературоведческие книги: И. Т. Крук — «Поэзия Александра Блока», И. Д. Хмарский — «Народность поэзии А. С. Пушкина».

Прочитав книгу о Блоке, можно с уверенностью сказать, что ее автор изучил почти все, что было написано об этом писателе другими литературоведами. Автор книги о Пушкине, безусловно, прочел немало специальных работ, посвященных основоположнику нашей литературы. Но возникает ли у И. Хмарского время от времени потребность перечитать Пушкина? Случается ли когда-нибудь И. Круку просто так, «для души», снять с полки и раскрыть томик Блока? Иначе говоря, обладают ли авторы этих книг хоть крошечным запасом той

«живой воды», без которой даже серьезный и добросовестный ученый неизбежно превращается в подобие чеховского профессора Серебрякова?

2

Книги И. Крука и И. Хмарского интересуют меня лишь в той мере, в какой они затронуты некой общей болезнью. О характере этой болезни я уже говорил. В чем же она проявляется? Каковы ее симптомы?

Один из симптомов этой болезни — безответственность. Любое утверждение высказывается так, словно читатель обязан принять его на веру. О доказательствах тут мало заботятся.

Вот, например, И. Крук комментирует одну чрезвычайно важную и характерную дневниковую запись Блока.

Поэт записывает у себя в дневнике 4 марта 1918 года:

«Европа безобразничала явно почти четыре года (грешила против духа музыки... Развивать не стоит, потому что опять злоба на «войну» отодвинет более важные соображения).

Ясно, что безобразия не может пройти даром. Ясно, что восстановить погранные суверенные права музыки можно было только изменой умершему... Требуется длинный ряд антиморальный (чтобы «большевики изменили»), требуется действительно похоронить отечество, честь, нравственность, право, патриотизм и прочих покойников, чтобы музыка согласилась помириться с миром».

Смысл этой блоковской записи совершенно ясен. Тут не может быть двух мнений, двух различных толкований.

Все прежние ценности — мораль, нравственность, честь, право, патриотизм — умерли. И прекрасно, что умерли, потому что только ценой окончательной гибели всех этих понятий можно восстановить погранные суверенные права музыки. Но этого еще недостаточно. «Покойников» надо похоронить. От всех этих понятий надо окончательно отрешиться, освободиться изпод их власти, изменить им. Единственная революционная партия, способная отважиться на такую «измену», это большевики. Большевики осуществляют великую историческую миссию: они способствуют тому, чтобы музыка «помирилась с миром», восстановила свои погранные права.

Такова была историческая концепция Блока. Разумеется, можно (и необходимо) спорить с ней, но она именно такова. Тут уж ничего не поделаешь. Но вот что пишет по этому поводу И. Крук:

«Перед нами остро полемический стиль суждений. Отвечая на клеветнические измышления о том, что большевики «изменили», «предали», «погубили» Россию, Блок подхватывает эти слова с тем лишь, чтобы разъяснить, что они хоронят старые идеалы и понятия, старые «священные заветы».

Вот тебе и раз! Блок прямо говорит, что восстановить суверенные права музыки можно только изменой умершему. Он прямо говорит, что большевики привлекают его именно тем, что они единственные, кто способен эту «измену» осуществить. А нас пытаются уверить, что это он отвечает на «клеветнические измышления» тех, кто обвинял большевиков в измене.

Вся штука в том, что Блок в слово «измена» вкладывал свой, совершенно особый смысл. И литературовед, если он не жаждет попасть впросак, должен это ясно понимать.

Но может быть, наш бедный человеческий язык — это такой несовершенный инструмент, что подобные недоразумения неизбежны? Нечто подобное, помнится, утверждал Мендельсон: слово для одного значит не то, что для другого, уверял он, и только музыка может сказать одному то же, что и другому; слово всякий понимает по-своему, а музыку мы все понимаем как следует.

Может быть, великий музыкант был прав? Может быть, во всем виноват Александр Блок, доверившийся такому несовершенному способу передачи информации, как человеческая речь? Может быть, если бы Блок попытался прибегнуть к помощи музыки, как это советовал Мендельсон, его сокровенные мысли оказались бы более понятны для иных литературоведов?

Боюсь, что в этом случае дело обстояло бы еще хуже.

Как вы думаете, к какому стихотворению какого поэта относится эта характеристика?

«...Высокопатриотическое произведение. В нем — и утверждение выдающейся роли Советской России в новой истории человечества, и призыв к защите первого в мире народного государства от империалистов —

врагов мира и демократии... Поэт... призывал к мирному сотрудничеству народы других стран...».

Признайтесь, вы почти уверены, что это о «Гимне демократической молодежи» Льва Ошанина? Не угадали. Это о «Скифах», одном из самых трагических, самых «темных» стихотворений Александра Блока. О стихотворении, уже самые первые строки которого звучат мрачным предостережением:

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы,
и тьмы,
и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

В котором есть, скажем, и такие строки:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Это что? Призыв к мирному сотрудничеству?

Из девятнадцати строф блоковского стихотворения до слуха исследователя дошла, в сущности, только одна:

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятия!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем — братья!

Тут призыв к «мирному сотрудничеству» вроде бы имеет место. Но услышать этот призыв можно, лишь вычленив, выделив эту строфу, искусственно изолировав ее от предыдущих. Тому, кто слышит Блока, такая задача не под силу, потому что в его сознании все строфы стихотворения создают, как сказал бы сам Блок, единый музыкальный напор. Строфа о мирных объятиях входит в наше сознание, еще не успевшее освободиться от гипнотической власти предшествующих, неизмеримо более впечатляющих строк:

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Смысловая и грамматическая логика некоторых строф стихотворения как будто бы и в самом деле свидетельствует о мирных побуждениях автора. Если верить ей, этой логике, все угрозы его, казалось бы, говорят лишь о нежелательном для него исходе событий — о том, что неизбежно произойдет, если Европа отвергнет этот последний при-

звезд прийти к нам, в наши мирные объятия. Но, как известно, не грамматика и не логика, а тон создает музыку. Вся тональность стихотворения, вся музыка его говорит каждому, кто способен ее услышать, что ужасная, трагическая картина неизбежной грядущей гибели всей европейской цивилизации вызывает в душе поэта не только ужас:

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

Тут не только пророчество и не только предостережение. Кажется, что поэт в глубине души испытывает нечто похожее на удовлетворение при мысли о том, что «свирепый гунн» будет шарить в карманах трупов и жарить мясо своих белых братьев.

Найти истоки этого странного удовлетворения не так уж трудно.

Блоку издавна была свойственна инстинктивная неприязнь к духу буржуазности. Неприязнь, подчас доходящая до умоисступления: «Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством... Он обстрижен ежиком, расторопен... под глазами — мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояле, его голос — тэноришка — раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места... Везде он.

Господи, боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли... Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше я или хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана» (А. Блок. Собрание сочинений в 8 тт., т. 7, М.—Л. 1963, стр. 327—328).

Тут уже не просто неприязнь, а ненависть, съедающая душу, мешающая жить. Из процитированного отрывка видно, что истоком этой всепоглощающей ненависти у Блока было отталкивание не столько нравственное или социальное, сколько эстетическое: «...обстрижен ежиком, расторопен... пахнет чистым мужским бельем... дочь играет на рояле...».

Трагическая ошибка Блока состояла в том, что этот чисто эстетический критерий он превратил в фундамент своей философии истории. Истоки такого отношения к истории можно найти еще у Гоголя. Блок недаром любил повторять гоголевские слова: «Если и музыка нас покинет, что будет тогда с нашим миром?»

Блок не сразу понял, как опасен этот эстетический критерий в применении к истории, какими мрачными выводами он может быть чреват. Даже в своем отношении к кровопролитнейшим историческим катаклизмам XX века Блок исходил не из социальных или нравственных критериев («борьба классов», «войны справедливые и несправедливые»), но исключительно из критериев эстетических. Он всерьез верил, что кровопролитие «станется тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием». Таким образом, у него получалось, что, будучи «священным безумием», даже несправедливое кровопролитие оправдано, ибо оно несет в себе дух музыки.

Так он пришел к мрачной апологии скифства, к любованию дикостью, азиатчиной, к эстетизации самого духа насилия:

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И умирять рабынь строптивых...

Мы уже видели, как чисто эстетическая неприязнь к буржуа, к его толстенькому брюшку и запаху чистого мужского белья разрослась в сознании Блока в неистовую, разъедающую душу ненависть. Вот точно так же и его неприязнь к измелъчавшей европейской цивилизации, где «вместо храбрости — нахальство, а вместо подвигов — «психоз», где рог Роланда сменился рожком горниста, а рышарский шлем фуражкой, эта сперва тоже чисто эстетическая неприязнь превратилась в мрачную ненависть, в жестокую уверенность, что спасение человечества придет только вместе с полной и окончательной гибелью всего этого пораженного склерозом мира.

Я далек от того, чтобы считать такое прочтение «Скифов» единственно верным. Мое истолкование «Скифов» ни в коей мере не является результатом всестороннего изучения творчества Блока, его мировоззрения, эволюции его художественных и историко-философских взглядов. Я в данном случае выступаю просто как читатель. Небольшой

экскурс в область историко-философских воззрений Блока понадобился мне лишь для коррекции непосредственного восприятия.

Из этого маленького отступления о мировоззрении Блока, мне кажется, видно, что тот, кто не слышит музыки, может сделать попытку добраться до смысла стихотворения «с другой стороны» — не предвзято изучив взгляды художника, всю последовательную (или непоследовательную) трансформацию его философских, социальных, исторических и нравственных концепций.

Таким путем тоже можно вплотную приблизиться к пониманию смысла стихотворения. Я говорю «приблизиться», потому что в художественном — и особенно поэтическом — произведении сокровенный смысл стихотворения (его эмоциональный смысл) не всегда адекватен даже выношенным, глубоко осознанным концепциям художника, его философским и политическим взглядам. Но так или иначе такой путь тоже существует и никому не заказано идти этим путем. В идеале он должен привести исследователя к тем же конечным результатам, что и первый путь непосредственного восприятия. А в иных случаях он может даже обогатить и дополнить результат, достигнутый теми, кто шел другим путем.

Тому, кто не способен идти первым путем и у кого не хватает терпения и непредвзятости для того, чтобы идти вторым, остается только одно: пытаться «расшифровать» произведение, разгадать его так, как разгадывают ребус.

Вот, например: что означает появление Иисуса Христа в финале поэмы Блока «Двенадцать»? На этот счет, как известно, существует огромная литература. Каждый исследователь волен дать свой ответ на него.

Книга И. Крука замечательна тем, что в ней на этот вопрос дается сразу несколько ответов. Автор книги поступает точь-в-точь как ученик, не умеющий решить заданную ему задачу: он пытается угадать ее ответ.

Сначала он высказывает такую версию: «На образе Христа должно быть сосредоточено особое внимание... Поэт принял Октябрь безоговорочно, приветствовал разрушение старого мира, но он не знал тех, кому предназначено строить новую жизнь. Его герой типа Петрухи ненавидел буржуа, но был далек от понимания подлинных целей революции, не видел ее организующего и созидającego начала. И вот финал поэмы:

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредем,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос».

Мысль выражена с полной определенностью. Иисус Христос в финале поэмы вовсе не является персонификацией философских или этических концепций автора. Он — выражение политической отсталости героя поэмы Петрухи, который был далек от понимания подлинных целей революции. Что же касается самого Блока, то он как раз в отличие от своего героя понимал подлинные цели революции и прекрасно сознавал, что ее организующим и созидающим началом Иисус Христос быть не может. И. Крук так прямо и пишет: «Блок сам понимал, что Христос чужд поэме».

И тут же Крук предлагает другую, прямо противоположную версию: «Маяковский отмечал близость своей поэтики к поэтике «Двенадцати». Блоковские интонации слышны в поэме «Хорошо!», особенно в 7-й главе, в которой описывается стихийное движение крестьянства в революции. Однако здесь заметна и полемика с Блоком. Изображая крестьянское движение теми же красками, какими изображено движение городской гольфильмы в поэме «Двенадцать», Маяковский как бы говорил, что их объединяет правдивое изображение фактов; в раскрытии же организующего начала революции Блок и Маяковский расходились — первый поставил во главе революционных бойцов Христа, второй гениально подытожил:

Этот вихрь,
от мысли до курна,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к Рунам,
направляла,
строила в ряды...».

Мысль автора повернулась на сто восемьдесят градусов. Только что он утверждал, что Блок в отличие от своего героя понимал всю несостоятельность претензий Иисуса Христа на роль движущей и направляющей силы пролетарской революции. Теперь выясняется, что Блок ввел Христа в свою поэму именно для раскрытия «организующего

начала революции», в чем и разошелся с Маяковским.

Нет, все-таки, пожалуй, Блок сознавал, что для должности комиссара и руководителя революционных бойцов Иисус Христос слабават:

«...Недовольство этим образом вытекает не только из несоответствия идеи Христа и идеи пролетарской революции... Образ Христа не устраивал Блока во многом из-за его женственного облика («я иногда сам глухо бою ненавижу этот женственный призрак» — VII, 330), ибо идеалом поэта была... натура сильная, мятущаяся...» И вот возникает третий вариант:

«Образ Христа для Блока означал идею святости революции... Дело, однако, не только в человечности и справедливости нового мира. В образе Христа Блок стремился воплотить также идею активности сил этого мира. Исследователи творчества Блока обратили внимание на то, что во время работы над «Двенадцатью» поэт думал о святости народного мщения... Это отразилось, в частности, в обращении Блока к легенде о разбойнике Кудеяре из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»... Однако аналогия с Кудеяром осталась на полях черновиков поэмы, идея же святости мщения переместилась... в образ для него более «авторитетный», чем двенадцать красногвардейцев, — в образ Иисуса Христа... Иисус Христос и крест трактуются Блоком вопреки церковной традиции, как символы не смирения, а мятежа, бурного вмешательства в жизнь. Иисус Христос из поэмы «Двенадцать», идущий впереди людей, не покорившихся старому миру, может быть соотнесен с Христом непокорных раскольников...»

Как видим, в своих попытках угадать правильное решение И. Крук проявляет весьма недюжинную изобретательность. Но читателя он при этом запутал окончательно. Читатель теперь решительно не знает, что ему и думать. Чужд образ Христа Блоку или близок? Женствен этот образ или, напротив, мужествен?

Нет, пожалуй, все-таки критику следовало выбрать какой-нибудь один вариант ответа. И твердо его держаться. Даже если бы предложенный им вариант был спорным, это выглядело бы куда пристойнее, чем то объективистское благодушие, с которым он пытается сочетать несочетаемое и примирить непримиримое.

Пример этот крайне показателен для методологии автора.

Вот критик размышляет о центральной коллизии поэмы Блока. Петруха убивает свою бывшую возлюбленную Катю. Как мы должны относиться к этому факту? Пожалеть Катю, решив, что она явилась жертвой несправедливости? Нет, это было бы уж слишком просто. Кроме того, ведь Петруха — красногвардеец.

«Немалый резонанс в свое время вызвала статья С. Штут о «Двенадцати» («Новый мир», 1959, № 1), в которой вопрос решается чрезвычайно просто: раз Петруха убил Катю, значит, он исключается из числа красногвардейцев, объявляется уголовником, и количество красногвардейцев, вопреки Блоку, уменьшается до одиннадцати».

Нет-нет, это никуда не годится! Если бы догадка была правильной, Блок назвал бы свою поэму не «Двенадцать», а «Одиннадцать». Итак, этот вариант отпадает.

Может быть, Катю получила по заслугам? Что ни говори, а была она не слишком-то морально устойчива. И «с офицерами блудила» и «с юнкерем гулять ходила». Может быть, смерть Катю — суровое, но справедливое возмездие за все эти грехи?

Поразмыслив, И. Крук отбрасывает и этот вариант. «Катю не может трактоваться как образ сатирический, даже если иметь в виду ее «профессию». Блок умел понять драму женщины и с такой судьбой... И в то же время поэт подчеркивает духовную чистоту Катю... В самой поэме ее телесность ощущается меньше, чем духовность, — потому, очевидно, что о ней чаще всего говорит Петруха, мучительно любящий Катю. Правда, в приступе ревности он произносит немало злых слов, однако даже в пятой главке — в этом надрывно-грубом обращении к Катю — больше любви, чем злости. А сколько нежности вот в этих словах, полных горестного упрека: «Ах, ты, Катя, моя Катя, толстоморденькая».

Какой же выход из этого идейного тупика? С одной стороны, Петруха никак не может быть назван убийцей, но, с другой стороны, Катю все-таки явно не заслуживает столь суровой кары, «даже если иметь в виду ее «профессию». Как же быть?

С присущей ему изобретательностью И. Крук находит выход. Оказывается, Катю была жертвой. Не революции, разумеется, а жертвой сил старого мира:

«...Петруха — на пути слияния с силами нового мира, символически воплощенного в

образе ветра, вьюги. Катька же оказалась жертвой сил старого мира: в борении добра (Петруха) и зла (Ванька) победило зло (если говорить о судьбе Катьки). И именно потому Катька должна рассматриваться как жертва старого...».

Так выглядят героические усилия ученика угадать ответ задачи, решение которой ему неизвестно.

Но это еще не самый печальный вариант. Хуже всего, когда ученик подгоняет свое решение под готовый, заранее известный ответ.

3

У Арсения Тарковского есть стихи об одном русском поэте, нашем современнике. Там такие строки:

Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим...

Эти строки, особенно последняя, представляют собой нечто большее, чем просто рисунок с натуры. Тут присутствует какое-то, быть может, невольное, но очень важное обобщение. Не случайно непосредственно за процитированными строчками следует восторженное: «Так и надо жить поэту...»

Тарковский почувствовал, что эта странная потребность «читать стихи чужим», то есть тем, кто заведомо не способен их понять, отнюдь не простая человеческая слабость. Эта кажущаяся всеядность — органическое свойство художника.

Пушкинский Гринев, как мы помним, читал свои стихи Швабину. Не найдя в нем сочувствия, он поклялся, что уж отроду не покажет ему своих сочинений. Но Швабрин посмеялся над этой угрозой. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом». Следует признать, что негодяй Швабрин был прав.

Поэт одержим желанием читать свои стихи кому угодно. Тут действует сила более грозная, нежели авторское тщеславие. Это своего рода инстинкт. Поэт читает свои стихи «чужим» по той же самой причине, по которой семя одуванчика падает и в море, и на камень, и на городской асфальт... И по этой же самой причине он так напряженно и заинтересованно вглядывается в лица этих чужих ему людей, втайне на-

деясь, что его стихи затронут хоть малой частью, хоть крупницей того, что в них заложено.

Художник Михайлов показывает свою картину Анне Карениной, Вронскому и их случайному знакомому Голенищеву. То, что все эти люди для него «чужие», не вызывает ни малейших сомнений. Толстой высказывается на этот счет с присущей ему ясностью и прямоотой:

«Вронский и Каренина, по соображениям Михайлова, должны были быть знатные и богатые русские, ничего не понимающие в искусстве, как и все богатые русские, но прикидывавшиеся любителями и ценителями...».

Но прошло не более минуты — в душе Михайлова произошла вдруг поразительная перемена:

«В те несколько секунд, во время которых посетители молча смотрели на картину, Михайлов тоже смотрел на нее... В эти несколько секунд он вперед верил тому, что высший, справедливейший суд будет произнесен ими, именно этими посетителями, которых он так презирал минуту тому назад...».

Михайлов ждет суждения о картине.

«— Картина ваша очень подвинулась с тех пор, как я последний раз видел ее. И как тогда, так и теперь меня необыкновенно поражает фигура Пилата. Так понимаешь этого человека, доброго, славного малого, но чиновника до глубины души, который не ведает, что творит. Но мне кажется...».

Все подвижное лицо Михайлова вдруг просияло: глаза засветились. Он хотел что-то сказать, но не мог выговорить от волнения и притворился, что откашливается. Как ни низко он ценил способность понимания искусства Голенищевым, как ни ничтожно было то справедливое замечание о верности выражения лица Пилата как чиновника, как ни обидно могло бы ему показаться высказывание первого такого ничтожного замечания, тогда как не говорилось о важнейших, Михайлов был в восхищении от этого замечания. Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голенищев».

Впрочем, стоило Голенищеву произнести еще только одну фразу, как весь этот восторг Михайлова мгновенно испарился:

«— Одно, что можно сказать, если вы позволите сделать это замечание... — заметил Голенищев».

— Ах, я очень рад и прошу вас, — сказал Михайлов...

— Это то, что он у вас человекобог, а не богочеловек. Впрочем, я знаю, что вы этого и хотели.

— Я не мог писать того Христа, которого у меня нет в душе, — сказал Михайлов мрачно.

Праздник кончился. В одно мгновение мир померк для художника, и Голенищев, которого он только что так любил, снова превратился в одного из тех «богатых русских», ничего не понимающих в искусстве, но прикидывающихся любителями и ценителями. Не сразу понимаешь, что, собственно, произошло. Почему первое замечание вызвало у Михайлова восторг и заставило его полюбить Голенищева, а второе с такой же силой оттолкнуло его от него?

Все объясняет одна фраза: «Он сам думал о фигуре Пилата то же, что сказал Голенищев». Первым своим замечанием Голенищев, быть может нечаянно, попал в цель. То, что его замечание было ничтожно, не имеет для Михайлова никакого значения. То, что это было одно из миллиона верных замечаний, которые можно было бы высказать, тоже не важно. Важно, что это замечание, при всей своей ничтожности, было верным. Оно выражало, пусть в самой малой степени, то, что художник действительно хотел запечатлеть и запечатлел в своей картине. Что же касается второго замечания, то оно было совсем другого свойства. Оно заключало в себе то, что художник должен был выразить, по мнению Голенищева. Вторым своим замечанием Голенищев недвусмысленно дал понять, что ему заранее известна цель, к которой, по его убеждению, должен был стремиться художник. Сразу выяснилось, что Голенищев относится к картине Михайлова как к задаче, ответ которой ему заранее известен.

Нет и не может быть ничего более враждебного самой природе искусства, чем этот подход. Ведь если даже исходить из того, что смысл художественного произведения в принципе может сводиться к какому-то определенному «ответу», этот «ответ» всегда есть нечто сперва еще неизвестное для самого художника, нечто постигаемое им в процессе творчества.

«...ваше суждение о моем романе верно, но не все — т. е. все верно, но то, что вы высказали, выражает не все, что я хотел сказать... это одна из правд, которую можно сказать. Если же бы я хотел сказать

словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала» (Л. Н. Толстой, письмо Н. Н. Страхову, 23 апреля 1876 года).

Н. Н. Страхов не Голенищев. Это был тонкий ценитель искусства, друг и единомышленник Толстого. Но вот оказывается, что и до него дошла только одна из множества правд, заключенных в толстовском романе.

Такой исход не только приемлем, но даже благоприятен для художника. И одуванчику достаточно, чтобы из тысячи семян хотя бы несколько упало на плодородную почву. Но каково одуванчику, все семена которого — все до единого — попали на асфальт? Разумеется, не каждому удастся так прочно «заасфальтировать» свою душу, чтобы ни одно из миллиона семян, заключенных в художественном произведении, в ней не проросло.

Удается это лишь тем, кто, приближаясь к произведению искусства, заранее знает, что он должен от этого произведения получить. Иначе говоря, это удается тем, кому заранее известен «ответ» задачи, которую художник пытался решить для себя.

Известно, например, как важна в жизни созидательная деятельность трудового народа. Вооруженный этим знанием, исследователь раскрывает «Евгения Онегина». Что такое? Нет трудового народа, и все тут! Кругом только представители эксплуататорских классов: дворяне, помещики.

Исследователю, знающему «ответ» задачи, остается только один-единственный выход: искусственно «подтягивать» Пушкина к этому заранее известному «ответу».

И вот — счастливая находка:

Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик.
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный,
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым...

И — вывод: «Каким бодрим контрастом с бестолковой жизнью аристократического мирака выглядит эта картина деятельного, трудового Петербурга» (И. Д. Хмарский. Народность поэзии А. С. Пушкина).

Вдохновленный этой находкой, исследователь под этим углом зрения читает уже весь роман, стараясь не пропустить ни одной строки, в которой был бы упомянут какой-нибудь представитель трудового на-

рода. И не пропускает: «Упоминание о пахаре, пастухе, девушке-пряхе, дворовом мальчишке, крестьянине на дровнях...».

Ну, хорошо. Нашел автор книги все эти упоминания. А дальше что? Роман-то все равно не о пахаре, не о пастухе, не о крестьянине на дровнях. Что ни говори, а главные герои романа — помещики, дворяне. Тут на помощь исследователю приходит спасительное слово «подтекст». Помещичья и дворянская жизнь — это все в тексте романа. А в подтексте его совсем другое: «Отразив (?) поток народной жизни, Пушкин тем самым в подтексте романа показал, что русская действительность не исчерпывается пустой и никчемной жизнью дворянского большинства, что основу ее составляет народ».

Особенно умиляет это словосочетание — «дворянское большинство». В российской действительности дворяне, как известно, никогда большинства не составляли. Очевидно, словосочетание это должно означать, что дворяне составляют большинство среди действующих лиц пушкинского романа. В то же время нам дают понять, что большинство это чисто арифметическое и для подлинного диалектика существенного значения не имеет.

Глубокомысленный анализ этот завершается советом рассматривать «поток народной жизни» («Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик...» и т. д.) как ключ к пониманию романа. Исследователь прямо и недвусмысленно предлагает весь пафос романа, все его сложное содержание подогнать под этот заранее известный ему «ответ»: «Такова народная основа «Евгения Онегина». Она и должна стать целевой установкой в изучении романа».

К счастью, совет этот так и остался советом. Реализовать его в полной мере И. Хмарскому оказалось не под силу. Но на примере другого — менее объемистого — пушкинского произведения И. Хмарский показал, что в принципе он способен справляться с задачами такого рода.

4

Каждый из тех, кто писал о стихотворении Пушкина «Пророк», считал своим долгом оговорить, что его толкование ни в коей мере не претендует на абсолютную точность и полноту, поскольку речь идет об одном из самых глубоких и самых сложных созданий пушкинской лирики. Один из ис-

следователей, писавших на эту тему, заметил, что стихотворение это всякий раз вызывает у него невольный трепет, ибо в тот день, когда Пушкин написал «Пророка», он решил всю грядущую судьбу русской литературы, указал ей «высокий жребий» ее, преопределил ее «бег державный».

Что касается И. Хмарского, то он приступает к анализу пушкинского «Пророка» без всякого трепета. Какой тут может быть трепет, если «ответ» известен ему заранее:

«Пророк» — это одна из самых патетических клятв поэта в верности своим гражданским идеалам после поражения декабристов. В первоначальной редакции первый стих читался так: «Великой скорбию томим», а один из вариантов заканчивался четверостишием:

Встань, встань, пророк России,
В позорны ризы облекись.
Иди, и с вервием на выи
К убийце гнусному явись.

Время, наступившее после трагедии на Сенатской площади, было историческим перепутьем, когда перед каждым неграждански мыслящим дворянином встал неотвратимый вопрос: что делать дальше? Смириться ли перед силой самодержавия, уйти в себя, умолкнуть или продолжать дело повешенных и сосланных? Стихотворение «Пророк» — ответ на этот главный для дворянской интеллигенции вопрос эпохи».

Итак, Пушкин написал своего «Пророка», чтобы призвать дворянских интеллигентов не смириться перед гнусной силой самодержавия, а продолжать дело повешенных и сосланных. Иначе говоря, поэт выступил здесь в роли революционного агитатора и пропагандиста.

Эту свою мысль И. Хмарский подкрепляет ссылкой на известное четверостишие, якобы представляющее собой первоначальный вариант заключительной строфы пушкинского «Пророка». Принадлежность этой строфы Пушкину он не подвергает ни малейшему сомнению. Сообщается об этом так, как будто это хорошо известный, давно установленный наукой факт. Между тем принадлежность этих стихотворных строк Пушкину, мягко говоря, весьма сомнительна. Вот что писал, например, В. Брюсов:

«Существующий реальный комментарий к стихотворению скуден. Весь он построен на весьма сомнительных сообщениях П. А. Ефремова, ссылавшегося на рассказ А. Соболевского. Существенно в этом

рассказе, что стихи написаны перед самым отъездом Пушкина из Михайловского в Москву, и что в рукописи была еще строфа, что Пушкин намеревался передать эти стихи с этой дополнительной строфой царю «в случае неблагоприятного исхода объяснений с ним», что листок с этими стихами Пушкин выронил и боялся, не случилось ли это во дворце. Дополнительную строфу печатали в разных редакциях; наиболее обычная такова:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись
И с вервьем вокруг смиренной выи
К царю российскому явись.

Печатали также:

Иди, и с вервьем на выи
К царю смятенному явись!

Несмотря на явную слабость этих виршей, о них существует целая литература; Н. Лернер, например, посвятил им особую статью...» (Валерий Брюсов. Мой Пушкин. 1929, стр. 280—281).

К этому можно добавить, что П. Ефремов, на которого Брюсов ссылается чуть ли не как на основоположника легенды, в третьем издании собрания сочинений Пушкина (VIII, 1905, стр. 263) сам отказался поместить хотя бы в примечаниях это «плохое и неуместное четверостишие», которое «недостойно даже упоминания» рядом с «Пророком». И даже Н. Лернер, защищавший эту версию и написавший по этому поводу специальную статью, вынужден был признать, что «критика еще не пришла ни к какому единому выводу ни о правдивости этих сообщений, ни о достоверности стихов, ни об отношении их к «Пророку».

Сам он тоже высказывался на этот счет куда осторожнее, чем решительный И. Хмарский.

«Едва ли стоит говорить о достоинствах или недостатках четверостишия, переданного современниками по памяти... Мы должны думать, что стихи дошли до нас в искаженном виде... Остается без ответа, за отсутствием точных документальных данных, которые одни могли бы иметь здесь решающее значение... вопрос об отношении четверостишия... к «Пророку». Быть может, это были две разные пьесы, между которыми единственная общая черта — образ пророка» (Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине. 1929, стр. 99, 103, 106).

Итак, Н. Лернер, единственный из тех, кто до конца склонен был верить в то, что эти «слабые вирши» написаны пушкинской рукой, резонно заключает, что к «Пророку» они скорее всего никакого отношения не имеют.

С этим выводом должны согласиться даже совершенно «глухие» читатели, решительно не способные почувствовать разницы между стихами Пушкина и виршами капитана Лебядкина. Потому что дело тут отнюдь не только в художественном убожестве легендарного четверостишия, а и в том, что четверостишие написано на другую тему, не имеющую с темой пушкинского «Пророка» ничего общего.

При всей сложности этого пушкинского стихотворения, тема его предельно ясна. На этот счет никогда не существовало никаких разногласий. Четко обозначить эту тему легче всего, сопоставив «Пророка» с другим программным пушкинским стихотворением — «Поэт», написанным примерно в это же самое время («Пророк» — 8 сентября 1826 года, «Поэт» — 15 августа 1827 года).

Поэт — таинственное странное существо, в котором как бы одновременно живут два разных человека. Один — самый обыкновенный, такой же, как все. Он малодушно погружен в заботы суетного света. Душа его вкушает холодный сон. И даже «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Но это до той поры, пока не коснулся его чуткого слуха божественный глагол. Едва только это случается, как поэт становится совсем другим человеком. Не только «заботы суетного света» — куда более мощные соблазны не имеют над ним отныне уже никакой власти:

К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы...

Об этом же, в сущности, написан и пушкинский «Пророк». Тут тоже речь идет сперва о самом обыкновенном человеке, который был томим духовной жаждой и влачился в мрачной пустыне. Глаза его хотя и названы зеницами, но пока еще это самые обыкновенные человеческие глаза. И сердце его — это самое обыкновенное трепетное человеческое сердце. И язык его назван грешным, празднословным и лукавым.

Но вот его слуха коснулся «божественный глагол» (кстати здесь почти дословное

совпадение: «И бога глас ко мне воззвал»). И все мгновенно переменялось. Зеницы его в тот же миг стали вещими. Они отверзлись; «как у испуганной орлицы» (еще одно, тоже вряд ли случайное совпадение: «как пробудившийся орел»). Отныне он внемлет «неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Вместо грешного языка у него теперь « жало мудрыя змеи». Вместо бедного трепетного сердца — «угль, пылающий огнем...» и т. д.

Я далек от того, чтобы утверждать, будто стихотворение «Поэт» является всего-навсего повторением мыслей, содержащихся в пушкинском «Пророке». Речь идет не о тождестве этих двух стихотворений, а о несомненном их родстве.

«Пророк» резко отличается от «Поэта» всем своим образным строем. Тут к «священной жертве» требует поэт не светлый языческий бог солнца и покровитель искусств Аполлон, а грозный ветхозаветный бог Саваоф.

«...Видел я Господа, сидящего на престоле высококом...

Вокруг его стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл...

И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами...

Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника.

И коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя...

И услышал я голос Господа...» («Книга пророка Исаии», глава 6).

Аполлон, призывающий поэта к священной жертве, — это почти откровенный художественный символ. Даже не символ, а поэтическое иносказание, своего рода троп. Шестикрылый серафим, превращающий поэта в пророка, отнюдь не символ, а как бы реальное действующее лицо происходящей драмы. Мучительная и кровавая операция, совершаемая им, происходит буквально на наших глазах:

И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул...

Отсюда и конкретное, точное определение места действия: в пустыне мрачной я влачился... Надо ли еще объяснять, о какой пустыне идет речь? Уже с первых строк стихотворения перед нами возникает ветхозаветный, библейский пейзаж...

Но у И. Хмарского свой взгляд на это дело. Прямо и недвусмысленно он дает нам понять, что Пушкин имел в виду совсем иную пустыню:

«...Первые две строки:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился —

рисуют настроение поэта, который после утраты своих друзей по борьбе испытывает чувство одиночества и стремится выяснить свое место в новых условиях, томим духом и жаждою. Он уподобляется одинокому путнику среди безжизненных песков. Можно догадаться, что слова «в пустыне мрачной» символически передают атмосферу политической реакции в России после поражения декабристов, обстановку общественного упадка и подавленности».

Изо всех сил литературовед тичится доказать, будто Пушкин хоть и в замаскированной форме, но все-таки высказал царю свое недовольство его реакционной политикой. Он искренне убежден, что такое прочтение пушкинского «Пророка» является высшим комплиментом поэту. А между тем, изобразив «Пророка» как своеобразную политическую прокламацию, написанную зэповым языком, И. Хмарский бесконечно обеднил не только эстетический, но и нравственный и гражданский пафос стихотворения.

В «Поэте» Пушкин тоже провозглашал духовную независимость художника его высшей добродетелью: «К ногам народного кумира не клонит гордой головы...» Но там эта духовная независимость оборачивается демонстративным невмешательством художника в дела людей, в «суету» их социального, гражданского бытия: «Бежит он, дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, на берега пустынных волн...».

В «Пророке» Пушкин утверждает более высокое, пророческое предназначение поэта: миссия поэта состоит как раз в том, чтобы активно вмешиваться в жизнь, возвещать людям правду, глаголом жесть их сердца!

Но пророк называется пророком не только потому, что у него хватает смелости говорить правду. Пророком он называется прежде всего потому, что он эту правду знает. Для того-то и нужны ему вещи и зеницы, чтобы уметь видеть эту правду, скрытую от глаз простых смертных.

Поэту, о котором говорится в книге И. Хмарского, никакие вещи зеницы не

нужны. Равно как и способность слышать горный ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье.

Представить себе четверостишие о поэте, являющемся к царю «с вервием на выи», как возможный вариант финала пушкинского «Пророка», это значит представить себе, что Пушкин мог написать стихотворение такого странного содержания.

Поэт, томимый духовной жаждой, влачился в мрачной пустыне. Вдруг перед ним явился посланец бога — шестикрылый серафим. Он вырвал из уст поэта его язык, празднословный и лукавый, и вложил ему в уста жало мудрой змеи. Затем он рассек грудь поэта мечом, вынул его трепетное сердце и вложил ему в грудь угля, пылающий огнем. Поэт лежал в пустыне как труп. И тут раздался обращенный к нему голос самого бога. Он объявил поэту, что вся эта сложная и мучительная операция была проделана с ним только для того, чтобы он встал, облекся в позорные ризы, надел на шею веревку и, тотчас покинув означенную пустыню, отправился в таком виде в город Санкт-Петербург, в Зимний дворец, к Николаю Павловичу Романову, дабы всем своим обликом явить нечто вроде наглядной агитации, благодаря которой царь бы понял, как он мерзок и отвратителен.

Контраст между всем содержанием пушкинского стихотворения и таким, мягко говоря, неожиданным финалом получается слишком уж очевидный. Именно этот контраст, надо думать, и смутил в свое время Н. Лернера, самого пламенного сторонника легенды о четверостишии «Восстань, восстань, пророк России...». Именно этот контраст и побудил его, признав эти строки пушкинскими, счесть их все же относящимися не к «Пророку», а к какой-то «другой пьесе».

Но то, что смутило Н. Лернера, ничуть не смущает И. Хмарского. Никакого контраста, судя по всему, он просто-напросто не замечает. А может быть, делает вид, что не замечает. Как бы то ни было, выход он находит крайне простой. Он искусственно подтягивает все содержание пушкинского «Пророка» к этому четверостишию. Насильственно подгоняет под заранее ему известный, но, увы, неверный «ответ».

В меру сил он пытается расшифровать его «эзопов язык», проникнуть в тайный смысл пушкинских иносказаний. При этом выясняются самые неожиданные вещи. Так, например, оказывается, что строки «вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый» относятся не к человеку, сознающему себя одним из «детей ничтожных мира», а прямо и непосредственно к поэзии Пушкина, к тем его произведениям, которые были написаны до встречи с «шестикрылым серафимом», то есть до событий на Сенатской площади.

«...Свой прежний язык он называет «празднословным и лукавым», и это означает не отрицание прежней поэзии, а осознание небывалой ответственности перед народом за каждое слово...».

Вот так бодро и уверенно препарирует И. Хмарский одно из сложнейших созданий пушкинской лирики..

Две литературоведческие книги, о которых шла речь в этой статье, выпущены в свет издательством «Просвещение». Они изданы в помощь педагогам, преподающим литературу в старших классах средней школы, а это значит, что тысячи и тысячи преподавателей должны будут учить по ним огромную армию своих учеников. Остается надеяться на то, что учителя сумеют и сами во всем разобраться.

Разумеется, я не стану утверждать, будто все литературоведческие книги, выпущенные этим издательством, таковы. Да и эти две книги очень отличаются одна от другой. И все же, как мы убедились, есть у них и нечто общее..

«Сейте разумное, доброе, вечное...» — обращался великий поэт к своим собратьям по призванию. Но и семья, брошенное гением, не всегда падает на почву, годную для того, чтобы оно проросло. Иногда оно попадает на асфальт, и, в конце концов, в этом еще нет ничего ужасного.

Скверно другое. То, что в роли энтузиастов, добросовестно и успешно заливающих землю асфальтом, порой оказываются люди, весь смысл деятельности которых, казалось бы, должен состоять в том, чтобы самую неплодородную почву сделать пригодной для посева.



ЖН ИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Д. Гранин. Кольцевой бой. — Н. Анастасьев. В поисках Америки.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Иванов. От хроники к исследованию.

Литература и искусство

КОЛЬЦЕВОЙ БОЙ

Александр Адамович. Хатынская повесть. «Дружба народов», 1972, № 9.

«Не укладывается даже в мыслях, что на этой планете может быть война, несущая горе миллионам людей». Эту фразу из обращения советских космонавтов к людям Земли 22 июня 1971 года Александр Адамович взял эпиграфом к «Хатынской повести».

Из космоса Земля видится голубой. Ее можно охватить глазом всю, как глобус. Наверное, это не только новое видение, но новое понимание цельности нашего мира. С такого расстояния война действительно кажется совершенно нелепой: «Не укладывается даже в мыслях...». Даже из самолета красота и беззащитность Земли поражают.

И минувшая война с расстояния прожитых лет тоже видится иначе. Воспоминания о войне, как ни странно, меняются. Они вовсе не так неизменны, как казалось. Иногда я ловлю себя на том, что мне уже трудно понять, как способны люди были пережить ленинградскую блокаду, выстоять, как сумели наши дивизии народного ополчения задержать в 1941 году наступление немецких войск на Ленинград, измотать, обескровить их... Писатель, который пишет о своей собственной войне, которую он не прочитал, а провоевал, всякий раз решает проблему: как быть с собой нынешним, знающим все, что будет, и, главное, выдающим прошлое с поправками опыта тридцатилетней истории?..

Адамович в «Хатынской повести» видит прошлое — партизанскую войну в Белоруссии — глазами своего героя, ослепшего вскоре после войны, то есть той зрительной памятью, какая сохраняется в душе ослепшего человека. Память эта защищена от времени. Для героя, для Флеры Гайшуна, все люди остались такими, какими он

последний раз их видел, все его соратники, однополчане пребывают для него в тех военных годах, когда сам он был молодым партизаном.

Автобус везет бывших партизан в Хатынь. Спустя четверть века собрались партизаны отряда Косача, косачевцы, посетить партизанские свои края. Обычная поездка ветеранов войны, она необычна лишь для Гайшуна, в том смысле необычна, что он никого из них не может видеть сегодняшними. Он узнает друзей своих по голосам — и Косача, и Костю, и Рыжего — и представляет их такими, какими они были тогда, и самого себя видит молодым. И жену свою — Глашу... Воспоминания сначала беспорядочно, а потом все более связно разворачиваются перед нами, пока автобус едет к Хатыни.

Повесть как бы обрамлена этой поездкой: отъезд — начало, приезд в Хатынь — конец. Путешествие в военную молодость идет в двух временах — нынешнем и прошедшем.

Может показаться, что слепота героя — авторский прием, который помогает изолироваться от тех перемен, что произошли с однополчанами, от сравнений их постаревших с ними же молодыми. Но почему-то менее всего это ощущается как прием. Слепота героя — слишком большое несчастье, это несчастье все время тяготит, так же как все время чувствуется потребность героя видеть людей такими, какие они есть сейчас.

Удивительным образом Адамович сумел «вжиться» в эту слепоту Гайшуна так, что все сцены прошлого обрели стереоскопичность, краски сохранились во всей свежести, подробности не утратились. Как будто извлечен на свет документальный кино-

фильм, сохранившийся с тех лет. Прожитое за эти годы почти не повлияло, не исказило восприятие героя. Нынешний Гайшун, кандидат наук, преподаватель института, существует как бы отдельно от партизана Флеры, его сегодняшние размышления сопровождают события, комментируют их. Эти двое почти не сливаются, Флорин Петрович никак не поправляет и не дополняет Флеру, скорее всего он размышляет над воспоминаниями как над документом. И это придает особую достоверность происходящему.

О партизанах Великой Отечественной войны написано так много хороших, отличных книг, в том числе мемуаров, что создать что-то своеобразное нелегко. Трагедия Хатыни, казалось бы, достаточно известна. Естественно, что Адамовичу приходилось одолевать как бы добавочные трудности. Но к «Хатынской повести» не хочется подходить с меркой чисто литературных достижений (хотя этого и не избежать). Ощущение такое, что книгу эту писатель обязан был написать, она была необходимостью и долгом. Она мучила его, и чем дальше погружаешься в повесть, тем сильнее чувствуется ее настоятельность. Книга эта — страстная потребность рассказать все как было, ничего не смягчая, не приукрашивая.

Партизан Флера Гайшун попадает в деревню Переходы, которая окружена немецкими карателями. Всех жителей ее загоняют в сарай, мужчин, женщин и особенно детей. Сарай заколачивают и поджигают.

Флера Гайшун в этом сарае, его затолкали туда вместе со всеми, он видит не со стороны, рядом умоляющие глаза женщин, слышит крики детей, видит, как мокро бензином начинают чернеть пазы между бревен... Это одна из сильнейших сцен повести: в ней подробно, неумолимо открывается технология бесчеловечности гитлеровского фашизма. Еще немного — и эту сцену сожжения людей читать было бы невыносимо. В этот ужас, в эту жестокость уже невозможно было бы верить.

«Взметнулось от соломы по стене — как крикнуло! — пламя. Оно ударило по глазам, как тогда на острове. Но я все смотрел, как из окошек выбрасывают детей и они падают прямо в горящую солому...» Тут повествование обрывается, и дальше начнутся документальные свидетельства очевидцев. Один за другим свидетельствуют случайно уцелевшие очевидцы из разных

деревень, из разных районов Минской и Могилевской областей. Технология истребления людей была однотипной. Хатынь — это не случайность, примерно то же самое происходило и в других деревнях. Бесхитростные рассказы очевидцев — на мой взгляд, наиболее впечатляющее продолжение писательского повествования. Ю. Тынянов считал, что там, где кончается документ, начинается работа исторического романиста. Здесь наоборот: там, где у художника как бы перехватывает дыхание, мысль продолжает документ...

И все же именно литература, и только литература, может прочувствовать и воссоздать всю полноту былого. Публицистически это сделать невозможно. Сегодняшний Флорин Петрович Гайшун, кандидат наук, психолог, вместе со своим коллегой Борисом Бокием — оба вооруженные и эрудированные и историческим опытом — не в состоянии осмыслить Хатыни. Хотел этого автор или нет, но их диалоги, которыми время от времени прерывается повествование, не могут объяснить, как такое было возможно. Современная психология оказывается беспомощной. Рассудочные их споры словно доказывают, что умом это пережитое не понять. Как только автор выходит из открытого поля публицистики, он теряет убедительность.

Художнически же «Хатынская повесть» представляет мне одним из наиболее сильных изобличений фашизма в нашей литературе последних лет.

Командир карателей разрешает жертвам покинуть горящий амбар, но с одним условием — без детей. Матерям уйти без детей. Детей оставить в огне, а самим уйти... Представляете?

И вот Гайшун при свете воюющего, вопящего костра разглядывает как через лупу лица карателей. И потом, когда его голяют вместе с другими крестьянами через лес, и затем, когда партизаны захватывают в плен карателей во главе с их командиром, Гайшун все время наблюдает в упор, неотрывно, жадно, пытаясь понять этих нелюдей с их наркотической идеей, что сила — это и есть право, цель, справедливость. Он следит за всеми превращениями, какие происходят с этими немцами. За тем, как меняется их поведение. Единственное, что ему страшно, что «им позволят умереть, уйти вот такими — добренькими, удивленно-скорбными, смиренными, как бы переложившими что-то на нас. Точно подставили

нам кого-то вместо себя! Нет, расплатиться должны те, именно те!..».

Есть в этом абсолютная точность, потому что, кроме ощущения художественной правды, вдруг отзывается из собственной военной памяти совпадающее чувство к тем редким пленным, какие попадались нам в зиму 1941/42 года на Ленинградском фронте. Вероятно, неубедительно — ссылаться на личные воспоминания, но они то и дело возникали, когда я читал эту книгу. Они появлялись как подтверждение, как свидетельский отклик, как радость от встречи с однополчанином...

В «Хатынской повести» сама трагедия Хатыни — лишь часть партизанской войны с ее боями, и бытом, и жизнью белорусской деревни, загнанной в леса, в болота; с непрерывной стрельбой, пожарами, гудением висящей в небе «рамы»; и с любовью и со сложностями человеческих отношений и характеров среди самих партизан.

История любви командира отряда Косача и партизанки Глаши, в сущности, знакомая история «военной любви», привычная многим военным повестям и романам.

Глаша, «командирша», влюблена в Косача, и Флера Гайшун тоже по-своему влюблен в командира. Незаметно из этой обоюдной влюбленности возникает чувство между Флерой и Глашей, несмелое, не явное чувство, которое пробивается кодами, неведомыми им обоим. На первых порах любовь к Косачу и к Флере как бы сосуществует у Глаши... При всей своей лирической достоверности, тактичности, любовный этот треугольник не мог бы соответствовать трагической жестокости происходящего. Если бы это была просто любовная история (которая могла быть и которая, несомненно, была в той партизанской жизни), ей не нашлось бы места в этом повествовании о Хатыни. Она оказалась бы лишней.

Беда некоторых книг военной прозы в том и состоит, что авторы не чувствуют этой ненужности. Подобные любовные истории, даже написанные искренне, тем не менее выглядят литературщиной, воспринимаются как прием. Несмотря на подлинность, они кажутся искусственным украшением. Большею частью их губит несоответствие, несовместимость с масштабами происходящего на войне. Стихия войны, где, казалось бы, смешались все чувства, вся полнота жизни, упорно выталкивает эти лирические истории как нечто навязанное.

Исключения, которые, разумеется, есть, тоже весьма поучительны, одно из таких исключений и «Хатынская повесть».

С какого-то трудноопределяемого момента любовь Глаши к Косачу меняется, что-то нездоровое происходит с ее чувством, оно незаметно искажается. И примерно то же происходит с юношеской влюбленностью Флеры в своего командира.

Ненависть омертвила душу Косача. Такое страшное он перетерпел в плену от немцев, что стал «как вымороженный». Оказывается, есть предел для иных натур, когда испытания не сближают с окружающими, наоборот, отдаляют от всех людей, от самых дорогих. От ненависти Косач стал бесчувственным на все — на плохое, на хорошее. С непонятно презрительной высоты взирал он на самых близких людей. На войне в какой-то мере холодная эта готовность к смертельному риску, беспощадность, ироническая отстраненность от людей помогали ему командовать. Хотя и тогда нет-нет, а что-то неприятное поражало в облике Косача. После же войны, когда Глаша встретила с Косачом, это открылось ей в полной мере. Что — это? Неприятное? Никак не соответствующее тому Косачу, какого она представляла? «Не он», — твердит она и тут же признается, что и сама не знает, какой же он настоящий. Внятного ответа нет. Да и сам Флера, и затем Флориан Петрович Гайшун, тоже путаются, не может разобраться в своей неприязни к Косачу. Он имеет на это право. Но имеет ли такое же право и автор? Неприязнь к Косачу остается для нас чисто эмоциональным утверждением, не подкрепленным ни его характером, ни поступками. Путаница не раскрывается противоречием или сложностью его внутреннего мира. Разрушающее действие ненависти, к сожалению, скорее обозначено, чем исследовано. Страдал ли сам Косач от своей замороженности? Ощущал ее или же утвердился в каком-то оправдании? Один за другим возникают вопросы и остаются без ответа.

Правда, есть другие, как бы косвенные примеры. Как бы варианты этой темы. Таков эпизод с казнью карателей. Каратели «ие немцы» по приказу Косача убивают прикладами немцев. И тут партизан Переход-старший, не выдержав этого зрелища и сам перекаленный ненавистью к карателям, бьет и тех и других очередью из автомата. Его пули поражают не только военных, но и Перехода-младшего, его племянника, са-

мого дорогого ему человека... Слепая ненависть оборачивается вдруг бессмыслицей, дикой, неуправляемой силой, разящей своих, преступлением...

Адамович не щадит читателя. Да и своих героев. Да и самого себя. «Хатынская повесть» — вещь жестокая от начала до конца не описанием ужасов и мучений, а жестокостью партизанской войны, безжалостной с обеих сторон.

Гайшуну и Глаше, этим совсем юным, казалось бы, неокрепшим душам, достается не меньше, чем Косачу. И все же любовь сохраняет их души. Человечное не уродуется, а напротив — повышается в цене. Война подвергает косачевцев испытаниям, которые превосходят, казалось бы, пределы людских возможностей. Чего стоит история с коровой, которую гонят партизаны на помощь голодающим. Скольких сил и жизней стоит она, и в последний момент все оказывается напрасным. Зачем же погибли товарищи Гайшуна? Напрасно? Впустую? Но война не терпит подобных вопросов. Так же как не терпит она отчаянья. И жалость у нее своя. Надо обладать особым писательским мужеством, чтобы описать, как перед приходом фашистов Степка Фокусник подорвал себя и раненых партизан... Но надо еще и мужество находить веселое, потому что обязательным считалось — воевать весело, по крайней мере весело рассказывать об этом.

Есть в «Хатынской повести» один удивительный крохотный эпизод, как деревенская тетка приносит партизану постиранные сухие портянки. Где она высушила их среди этого болота и беспрестанного дождя? На себе сушила, под кофтой... И словно вспышкой вдруг озаряется уходящая бог знает в какие душевные глубины народность этой партизанской войны.

Последний бой, венчающий повесть, необычен: долго идут по кругу друг за другом немцы и партизаны. Из преследователей немцы становятся преследуемыми, и нет конца этому непосильному кольцевому бою по горящей земле торфяных болот.

Три сотни измученных людей тащат на себе раненых и убитых, отступая и в то же время наступая, в чадающем дыму пожара. Кто кого пересилит. Не физически одолеет, а духовно. Образ кольцевого боя неожиданно обретает многозначительность. Партизаны не могут позволить себе остановиться, потерять надежду. Слишком много было поставлено, чтобы иметь право усом-

ниться. В этом кольцевом бою, казалось бы, все повторяется вновь и вновь, измученные люди выходят на круги своя, к тем же кровавым следам, к тем же простреливаемым тропам. И все же это не повторение. Колесо боя не крутится на одном месте. Оно движется к победе. История все же чему-то учит людей, доказывает Гайшун в заключительном своем споре с Бокием. Она расставляет знаки — Бухенвальда, Хатыни, Хиросимы... Они хорошо видны и з памяти и человечества. Они должны чему-то учить, и в этом был смысл той далекой победы партизан.

Критика, наверное, отдельно и подробно будет писать о психологичности «Хатынской повести». Кажется странным спустя тридцать лет после войны обнаруживать такую словно не тронутую временем, словно бы вчерашнюю точность впечатлений, мыслей и даже физических ощущений.

«Нет ничего гаже, но и веселее — отходить под огнем, когда не убегаешь, нет, не гонят тебя, а сам должен уходить, по делу, по приказу. От близких пуль что-то в тебе сжалось до точки, но не захватывая всего тела, которое, наоборот, сделалось предельски огромным, неловким, отовсюду видимым. Каждый человек, мимо которого проползаешь, — черта, тобой преодоленная и оставленная, на ней чья-то жизнь и чья-то смерть, но уже не твоя. И в упор или вслед тебе тревожно-вопросительные глаза, взгляды («...Что? Отходим? Так плохо?») или гневные, требовательно-презрительные («Уползаешь? Хочешь, чтобы я тут, а ты...»). Отвечать, объяснять некогда, ты должен видом своим показывать, что не убегаешь, не струсил, что ты послан, тебе приказано ползти назад».

Или: «Ползешь по грядам, пахнущим укропом, наталкиваешься на твердые и холодные головы тыква, но такое ощущение, что не ползешь, а растягиваешься через все поле, как пружина, закрепленная одним концом далеко позади, где остался плащ. И не знаешь, куда тебя в следующий миг — вперед швырнет или отбросит назад. Пружина с каждым метром ту же становится и все сильнее тянет назад. Цепляешься, держишься локтями, коленями за мягкую землю и на каждом метре пути будто оставляешь что-то, как плащ оставил, выползши, вылизавшись из него. Ты уже по всему полю. И уже самому незнакомо, чужое то, что продолжает ползти вперед, крадется к стенам, к окнам хаты. Как поступит, что

сделает в следующий миг человек с тяжелой, нагретой в руке гранатой и с укороченной, без приклада винтовкой, которую он волочит за собой?»

Хочется еще и еще выписывать цитаты — такую они доставляют радость узнавания.

Что это — особая счастливая память писателя? Не знаю, может быть, потому что, наверное, и память входит в понятие та-

ланга. Но главное — это, конечно, талант. Повесть вся, со всеми ее срывами и недосказанностью, цельно талантлива. Нам часто кажется определение «талантливо» слишком неопределенным, или ответственным, или, наконец, ничего не объясняющим. Но тут оно представляется мне единственно уместным.

Д. ГРАНИН.



В ПОИСКАХ АМЕРИКИ

Томас Вулф. Взгляни на дом свой, ангел. Роман. Перевод с английского И. Гуровой и Т. Ивановой. М. «Художественная литература». 1971. 670 стр.

Один из своих романов Томас Вулф озаглавил «О времени и реке», и это название было точным — ничто меньшее, чем вся жизнь, все люди, все океаны и континенты, не казалось писателю достойным творческих усилий.

Драйзер, Хемингуэй, Дос Пассос, Фицджеральд — те сочиняли романы, но он, Томас Вулф, видел себя современным Гомером и потому писал, да нет — складывал Книгу. Книгу бытия. Он оставил после себя четыре романа и сборник повестей, но сам-то писатель всегда помнил, что и десять и тысяча написанных им страниц — это только часть Книги, которую предстоит создать. Этот грандиозный пафос вулфовского творчества чутко уловил его старший современник Фолкнер: «Мое восхищение Вулфом, — писал он, — вызвано тем, что он страстно пытался сказать все; он готов был покончить со стилем, связностью изложения, всеми правилами ясного письма, чтобы сосредоточить весь опыт человеческого сердца, каков он есть, на кончике пера».

Но подобно тому, как Фолкнер стремился раскрыть целую вселенную на маленьком клочке американской земли — графстве Йокнапатофа, — так и Вулф двигался, исходил из живой, конкретной, зримой истории Америки. Недаром план его книги центром своим имел историю американской семьи, которая должна была быть прослежена с пионерских времен до наших дней.

Тайну Времени Вулф искал в «пустыне американского континента», секрет личности для него воплощался в облике соотечественника-американца «с жилистой шеей,

мрачным лицом, выдающейся челюстью, его походкой, худыми бедрами, манерой говорить в нос, сухой уверенностью речи и т. д.»; герой его произведений — это Орест, Телемах, Фауст, но одновременно молодой провинциал из штата Северная Каролина, прокладывающий свой жизненный путь в конкретных условиях Америки 20-х годов.

Эта нерасчленимая двойственность творчества прямо выражена в первых же строках романа, которым Вулф блестяще дебютировал в литературе, — «Взгляни на дом свой, ангел»: «Каждый из нас — итог бесчисленных сложений, которых он не считал: доведите нас вычитанием до наготы и ночи, и вы увидите, как четыре тысячи лет назад на Крите началась любовь, которая кончилась вчера в Техасе». А дальше и начинается, собственно, история, составившая сюжет романа, история, рассчитанная на все века, но совершающаяся в реальных условиях Америки начала XX века.

Роман «Взгляни на дом свой, ангел» появился в 1929 памятном Америке году: невиданной силы кризис потряс экономику страны, но не только — он заметно подорвал самодовольную веру американцев в собственное избранничество, нанес чувствительный удар самому крупному национальному мифу — великой американской мечте.

Серьезное искусство всегда опережает время, улавливает — пытается уловить — в ней некие духовные тенденции, не учитываемые статистикой. Литература США 20-х годов, можно сказать, предвидела катастрофу 1929 года. Ведь ей предшествовало целое десятилетие, которое не зря зовут временем

процветания, — тогда даже чистильщик сапог считал лично к себе обращенным призыв Кулиджа: «Обогащайтесь!» Но материальное процветание сопровождалось страшной девальвацией нравственных ценностей, этика доллара победно утверждала себя в общественном сознании нации. Это вот обнищание духа и стало в те годы главной заботой искусства, не давшего себя обмануть ни демагогическими заявлениями буржуазных лидеров, ни внешним благополучием сограждан. Оно в произведениях самых разных по своей творческой индивидуальности авторов — Драйзера, Хемингуэя, Фолкнера, Андерсона, Фицджералда, Льюиса — честно и тревожно сигнализировало о грядущей опасности, протестовало против распада духовных идеалов.

В ряд таких авторов уверенно встал Томас Вулф. Главный конфликт, движущий его первым романом, — конфликт большой американской литературы 20-х годов: порыв к духовной свободе сталкивается с повсеместной, превратившейся в манию жадной накопления.

Всеобщая страсть накопления воплощена прежде всего в образе и способе жизни матери главного героя Элизе Гант, твердо и неуклонно преследующей одну цель — приобретать недвижимость: «Попирая в себе жену, попирая в себе мать, женщина-собственница... медленно шла вперед».

Мало ли подобных типов возникало в те годы в литературе США? Однако у Вулфа тут был свой интерес, свой угол зрения. Он берет человека земли, человека, исторически приросшего к американской почве (историческая память вообще очень сильна у героев Вулфа), человека не мелкого и случайного, но крупного и значительного, и прослеживает ход отмирания в нем духовных центров, его путь в кабалу собственности. Собственно, даже не просто путь этого человека, этой женщины: писатель ведь исследует историю Америки и потому жизнь Элизы для него — это только часть этой истории; корни ее жизни уходят глубоко в толщу лет. Только тут надо держать в памяти, что «Ангел», при всей своей композиционной завершенности (это явно самое цельное из вулфовских сочинений), тоже только часть Книги. И чтобы верно понять его, надо прочитать, скажем, еще «Паутину земли» (повесть тоже появилась недавно на русском языке) — рассказ о тех временах, когда американское общество было молодо еще, когда жива была память о

пионерах, когда национальный оптимизм не подвергался еще никаким сомнениям, но когда прорастали уже зерна насилия и обмана, расцветшие цветами зла в веке нынешнем.

Книга, задуманная Вулфом, — гигантский эпос жизни, эпос Америки. И в то же время никто, пожалуй, из современников, даже Хемингуэй, не воплощал в своих произведениях столь мощного лирического чувства, каким пронизано все творчество Вулфа. В образе главного героя всех книг Вулфа — сначала он назван Юджином Гантом, потом Джорджем Уэббером — и в судьбе его отразился не только духовный, но чаще всего и непосредственно бытовой опыт автора Натура яркая, яростная, взрывная, Вулф и героя своего наделил мощным темпераментом, характером тонко и болезненно чувствительным. Основная стилистическая стихия романа — пышная риторика, музыкальный темп фразы, резко сменяющийся ритмом рваным, синкопическим, — связана прежде всего с фигурой Юджина Ганта.

И в его же, главного героя, судьбе воплощена тема, обозначенная в подзаголовке романа, — «История погребенной жизни». Да, на фоне торжествующего материального здоровья Элизы — и в трагическом конфликте с ним — разворачивается рассказ о духе, пробивающем себе дорогу через нагромождение буржуазных условностей к абсолютной свободе, или, выражая эту идею в терминах самого романа, к «ненайденной двери». Наделенный могучим творческим инстинктом, врожденным чувством прекрасного, Юджин остро переживает пустоту, жестокость, бесчеловечность общепринятой системы жизни, той «этики успеха», которую исповедует его мать. Потому и чувствует себя существом потерянним и одиноким в мире наживы (недаром в вариантах роман назывался то «Одинок, одинок», то «О, потерян»).

И в облике Юджина, и в истории его конфликта с семьей точно отразилась, повторяю, жизнь самого Томаса Вулфа. Но писатель прав был в том гневе, с каким отвергал упреки многочисленных критиков в автобиографизме: роман его не был, разумеется, просто беллетризованной автобиографией. Образ Элизы Гант — это, можно сказать, типичный образ, в нем отразилось целое десятилетие американской жизни. Образ Юджина — это, конечно, образ прежде всего нетипичный, исключительный;

но одновременно это символ мирового духа, взыскующего свободы в царстве несвободы, и воплощение тех скрытых за фасадом процветания нравственных сил Америки, что противостояли — стремились противостоять — принципам буржуазного миропорядка. Недаром английская писательница Памела Хэнсфорд Джонсон говорила, что роман Вулфа «безудержно» привлекал их, молодую интеллигенцию Запада, «светом маяка, возведенного на каких-то очень прочных основаниях».

Эта оценка, правда, совсем не безусловна (если, конечно, усматривать в ней не просто эмоциональный отклик). Сам-то Вулф в более зрелую пору творчества, когда писателю стали открываться социальные механизмы буржуазного общества, как раз довольно резко отозвался о сочинениях юных лет — назвал бунт героя чисто романтическим, нашел в его жизни черты «романтического самооправдания» и даже обвинил его в бегстве от жизни.

Резон в этой ретроспективной — с высоты новых достижений и нового сознания — самооценке есть. Истинным бунтарем Юджин Гант, конечно, не был. Но вот упрек в бегстве от жизни явно не заслужен, напротив, вся жизнь героя, смысл его яростных поисков направлены в сторону жизни — истинной жизни, возвышающейся над уровнем обыденно-обывательского сознания.

По словам самого автора (они явно противоречат только что приведенным, но в этом весь Вулф — человек, сотканный из крайностей), «Ангел» был вдохновлен «безудержным оптимизмом молодости». Не только «Ангел», впрочем, — все творчество Вулфа представляет собой мощный гимн во славу жизни, равный ему по силе в американской словесности мы найдем только в поэзии Уитмена. Этим ощущением полноты жизни — не ныне протекающей, конечно, скудной и бездуховной, но Жизни, — пронизана вся структура «Ангела». Оно заключено и в стремлении, все время о себе напоминающем, воедино слить все моменты бытия — миг нынешней действительности и «безмянная вавилонская женщина»; оно проявляет себя в самой ярости стилового потока — родной стихии молодого героя; оно сказывается и в своего рода гигантомании: «тысячи улиц, миллионы фонарей»,

«миллионы городов и лиц», «мириадогранный мозг» — да, и таким образом тоже (нередко это оборачивалось холодной риторикой) Вулф хотел выразить свой восторг перед огромностью бытия; им веет и от фигуры старого Ганта, поглощающего пищу в количествах раблезианских и патетически декламирующего шекспировские монологи; ну, и прежде всего, конечно, оно, это ощущение, воплощено в фигуре Юджина.

Позднее Вулф более трезво глянет на жизнь, ему откроется социальное противостояние действительности (этому прояснению вулфовского, как и многих других западных писателей, взгляда на жизнь много способствовала борьба — художественная борьба — с идеологией фашизма), отношение его к современности станет более осознанно-критическим; но восхищение жизнью — ее неисчислимостью и богатством — останется с ним навсегда.

Сохранится в нем и неиссякаемая вера в человека, в его способность преобразовать мир на основах добра и справедливости. Романтически выраженная в «Ангеле», эта вера в последнем, посмертно уже опубликованном (Вулф скончался всего тридцати восьми лет от роду — в 1938 году) романе «Домой возврата нет» запечатлена в слове публицистически-явном: «Сущность всей веры такого человека, как я... заключается в том, что человеческая жизнь может быть и будет лучше, что величайшие враги человека в формах, в которых они ныне существуют... страха, ненависти, рабства, жестокости, бедности и нужды, — могут быть побеждены и повергнуты. Но их низвержение будет означать полную перемену общественной структуры, какой мы ее знаем».

Наше знакомство с Томасом Вулфом только начинается, мы начинаем еще только открывать для себя его Книгу. Непременно надо продолжить знакомство: оно откроет нам новые грани замечательного, ни на что не похожего таланта. К тому же в поисках и движении Вулфа, при всей их неповторимости, отразилось общее идейное развитие американской, а в известной степени и европейской литературы того времени.

Н. АНАСТАСЬЕВ.



Политика и наука

ОТ ХРОНИКИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

П. С. Гусятников, *Революционное студенческое движение в России. 1899—1907.*
М. «Мысль». 1971. 264 стр.

Проблема участия российского студенчества в освободительном движении против самодержавия — одна из популярных в советской историографии. Абсолютное большинство работ содержит множество фактов, составляющих в совокупности достаточно подробную хронику студенческой борьбы за академические и политические права, но, к сожалению, без глубокого социального анализа их. Среди немногих исследований, в которых авторы пытались рассмотреть движение учащихся высших учебных заведений как общественное явление, противоречивое по своей социальной сущности, сложное по политической структуре, следует назвать фундаментальные труды М. К. Корбута и В. И. Орлова. Исследование Корбута «Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина за 125 лет» и труд Орлова «Студенческое движение Московского университета в XIX столетии» стали ныне буквально библиографической редкостью.

Таким образом, автору рецензируемой книги пришлось решать целый комплекс задач. Во-первых, отобрать и обобщить громадный фактический материал уже опубликованных работ, дополнить его новыми архивными данными, теоретически осмыслить в свете последних достижений советских историков. Вот почему книга П. Гусятникова как первая сводная монография о студенчестве за 1899—1907 годы привлекает к себе внимание всех интересующихся общественным и революционным движением в России.

Есть и еще один повод сказать об актуальности данного исследования. Каждое историческое явление диалектически объединяет элементы прошлого и будущего. И сегодня события в университетах Латинской Америки, США, Франции, Испании и других стран мира с большой убедительностью подтверждают непреходящую истинность ленинских слов: «Студенчество... является самой отзывчивой частью интеллигенции, а интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и политических группировок». История российского студенческого движения

может стать для нас инструментом глубокого проникновения в существо проблем, стоящих перед учащейся молодежью Запада.

Главнейшая задача исследования — выяснение места и роли выступлений студенчества в первой русской революции. Однако приходу студентов в революцию предшествовал длительный период, на протяжении которого они прошли путь от академизма до сознательного участия в общенародном штурме самодержавия. В книге дано подробное описание событий студенческого движения за 1899—1907 годы. Важной вехой в их цепи явилась первая в истории отечественного освободительного движения всеобщая стачка учащихся высших учебных заведений (февраль 1899 года). Следствием ее был широкий общественный резонанс, и в первую очередь среди передовых рабочих. Наметившееся в 1899 году взаимодействие пролетарского движения со студенческим стало еще более определенным в последующие 1901—1902 годы во время второй и третьей всероссийских забастовок.

Могучим ускорителем демократизации российского студенчества стала первая русская революция. Она привела к поляризации его, образованию широкого антиправительственного фронта большинства учащихся, противостоявшего черносотенному меньшинству.

В книге с достаточной подробностью изложены события, развернувшиеся в стенах высшей школы начиная с трагического 9 января и по 1907 год включительно.

Сам объект исследования — студенческое движение — неизбежно ставит историка перед необходимостью разрешить следующие вопросы: социальная структура студенчества и его общественно-политическая дееспособность, место и роль студенчества в среде российской интеллигенции, социальная психология студента и его происхождение, факторы формирования идеологии студенческих групп, взаимозависимость и взаимовлияние корпоративных и политических идеалов учащейся молодежи, студенческое движение в общем потоке освободительного движения в России начала XX века. В рецензируемой монографии эти вопросы или обойдены, или освещены лишь вскользь.

П. Гусятников сужает понятие «революционное студенчество», включая в него часть молодежи, «которая состояла в марксистских кружках, в рядах РСДРП или разделяла ее основные программные и тактические лозунги!» Данная посылка не может быть принята. Она противоречит ленинскому пониманию роли и места студенческого движения в освободительной борьбе. Указывая на социальную и политическую многослойность учащейся молодежи, Ленин вместе с тем определял общественно-политическую позицию ее большинства как революционно-демократическую. Он отводил студенчеству авангардную роль среди многочисленной в России мелкой буржуазии, называл его «городской буржуазной демократией», «легкими отрядами» буржуазной демократии, которая, при всей своей неустойчивости, была способна на активную революционную борьбу против самодержавия.

«Революционное студенчество», согласно ленинской трактовке, охватывало широкие демократические слои учащихся, в подавляющем большинстве своем отнюдь не стоявших на позициях большевизма, но разделявших основные его лозунги («Долой самодержавие!», «Да здравствует Учредительное собрание!») в период, когда революция стремительно катилась к высшей своей точке. Однако уже в ноябре — декабре 1905 года начинается массовый отлив студенчества от революции. Оно фактически воспринимает кадетскую альтернативу борьбы с самодержавием (во что бы то ни стало сохранить то, что отвоено) и перекладывает на защиту своих корпоративных прав. На декабрьских же баррикадах остается лишь последовательно-революционное меньшинство.

Ограничительное толкование П. Гусятниковым понятия «революционное студенчество» приводит к противоречивым выводам. С одной стороны, он возражает против оценки студенческого движения только как оппозиционного и, следовательно, утверждает, что выступления учащейся молодежи носили революционно-демократический характер. С другой же — ставит знак равенства между революционной молодежью и социал-демократией, которая в количественном отношении составляла абсолютное меньшинство среди студентов. Автор сам приводит красноречивое свидетельство. В Петербурге из 20 тысяч студентов социал-

демократическая организация насчитывала 100 человек, а число участников социал-демократических кружков достигало 500 человек.

В книге выявлены достаточно полно побудительные причины антиправительственного движения учащихся высших заведений. Автор, однако, обошел очень важный вопрос о воздействии личности профессора на мировоззрение студента. А оно было весьма ощутимым. П. Гусятников дает сугубо негативную, суммарную характеристику профессуре — либерально-монархическая — без указания на то, что среди нее были, по словам Ленина, и «наиболее образованные, наиболее бескорыстные, наиболее свободные от непосредственного давления интересов и влияний денежного мешка», и честные консерваторы, и черносотенные зубры-мракобесы.

Профессор и студент... Связь между ними была гораздо сложнее, чем это рисуется автору, который пишет буквально следующее: «В лекциях большинства профессоров студенты тщетно искали ответы на вопросы, поставленные самой жизнью». Но ведь с университетских кафедр звучала и критика самодержавия, пускай порой завуалированная, но все же критика. В данном случае весьма уместно вспомнить слова А. И. Герцена о Т. Н. Грановском: «Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительном нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России».

Глубокое воздействие на процесс формирования молодого человека оказывала и сама наука. Академик В. И. Вернадский вспоминал, что именно Д. И. Менделеев, «человек очень умеренных, скорее консервативных политических взглядов», своими лекциями по химии «возбуждал в нас дух свободы и оппозиционного настроения».

Таковы некоторые соображения о рецензируемой книге. Дальнейшая разработка проблемы революционного студенческого движения должна, на наш взгляд, идти теперь не столько по линии накопления новых фактов, сколько по линии теоретического осмысления уже освоенного богатейшего материала.

А. ИВАНОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



К. С. МОСКАЛЕНКО. На юго-западном направлении. 1943—1945. Воспоминания командарма. М. «Наука». 1972. 643 стр.

Автор этой интересной книги — выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза, красноармеец с 1920 года, член партии с 1926 года, участник боев с белофиннами, освободительного похода в Бессарабию. Великую Отечественную войну К. С. Москаленко начал в должности командира 1-й артиллерийской противотанковой бригады, затем командовал 15-м стрелковым корпусом, 6-м кавалерийским корпусом, с февраля 1942 года и до конца войны — 38-й, 1-й танковой, 1-й гвардейской, 40-й и снова 38-й армиями, действовавшими на юго-западном направлении советско-германского фронта. За выдающиеся заслуги перед Советским государством и личное мужество Кириллу Семеновичу в 1943 году присвоили звание Героя Советского Союза. Правительство ЧССР удостоило его звания Героя Чехословацкой Социалистической Республики.

В своей книге автор повествует о событиях 1943—1945 годов, продолжая свои воспоминания, начатые в первой части, вышедшей под аналогичным названием в 1969 году. Первая книга охватывает период Великой Отечественной войны на юго-западном направлении с 22 июня 1941 года по март 1943 года.

Начальные главы рецензируемой книги посвящены описанию подготовки и осуществлению знаменитой Курской битвы. Значительное место уделяется анализу обстановки, сложившейся здесь к весне 1943 года, титанической деятельности Верховного Главнокомандования, командований фронтов и армий по организации предстоящих боевых действий. «Никто из нас, — пишет К. С. Москаленко, — начиная с командиров полков и кончая высшим звеном, не сидел в штабах, а стремился постоянно бывать в частях, на передовых позициях, чтобы лично убедиться в прочности обороны или выбрать наиболее выгодные направления для наступления. Это хорошее правило полностью оправдало себя в войну». Много теплых слов сказано о советских воинах — солдатах, офицерах и генералах, чье мужество обеспечило победу под Курском. Провалился полностью летний план немецко-фашистского наступления под кодовым наименованием «Цитадель»; на очередь была поставлена новая задача — контрнаступление. Ее блестяще решила

советские войска, завершив тем самым коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Потерпев поражение, вражеское командование лихорадочно строило оборонительные рубежи и создавало части специального назначения для обороны Правобережной Украины. В ходе зимней кампании Советская Армия продолжала взламывать оборону врага, срывая его расчеты на затяжку войны.

Ярко, образно, с привлечением большого количества архивных материалов повествует автор об одной из интереснейших операций, получившей наименование Проскурово-Черновицкой. В центре его рассказа — люди: Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, генерал армии Н. Ф. Ватутин, командующие армиями П. А. Курочкин, М. Е. Кацуков, Д. Д. Лелюшенко, командиры соединений и частей А. Х. Бабаджанян, А. Л. Гетман, И. Н. Бойко, офицеры, сержанты и солдаты. Замечателен итог операции — наши войска продвинулись от восьмидесяти до трехсот пятидесяти километров, освободили территорию, равную почти сорока двум тысячам квадратных километров.

Памятны трудности и радости, связанные с подготовкой и осуществлением Львовско-Сандомирской операции. Всесторонне анализирует автор творческий замысел командующего фронтом Ивана Степановича Конева, обеспечивший успех всей операции. Вступление советских войск на территорию Польши дано в книге как заключительный аккорд стратегического наступления на юго-западном направлении летом 1944 года. Войска фронта нанесли крупное поражение мощной группировке немецко-фашистских войск (в нее входило в разное время от 48 до 56 дивизий). Характеризуя итоги операции, автор приводит убедительные цифры, факты, в том числе многочисленные высказывания битых фашистских генералов.

Особое место в летописи 38-й армии занимают боевые действия в период Дуклинской наступательной операции, где бок о бок с советскими соединениями сражались и воины Чехословацкого корпуса под командованием А. Свободы. Горная местность, ожесточенное сопротивление противника требовали особых усилий войск для быстрого овладения Дуклинским перевалом, преодоления Карпат и оказания помощи восставшим словакам. «Победа, достигнутая в ожесточенных боях на карпатских перевалах, — пишет автор, — досталась нам дорогой ценой. В горах, лесах и ущель-

ях пали смертью храбрых и пролили свою кровь десятки тысяч советских воинов».

Книга заканчивается описанием боев на польской и чехословацкой земле, рассказом об освобождении Праги, последних днях гитлеровского рейха и параде Победы в Москве.

О многих событиях минувшей войны вспоминает бывший командарм. О многих людях пишет он с большой теплотой, любовью и гордостью. И в то же время это не просто воспоминания участника тех событий, а размышления об истоках наших побед и причинах временных неудач, об истоках силы, героизма и мужества воинов Страны Советов. Крупный военачальник, видный военный теоретик не только повествует, но и анализирует, не только рассказывает, но и исследует многие важные и интересные вопросы советского военного искусства. В этом одна из сильных сторон книги Маршала Советского Союза К. С. Москаленко.

«Пройдут годы, десятилетия и целые века, а наши потомки будут вечно благодарны участникам событий тех лет за то, что они отстояли честь, свободу и независимость родины. Никогда не изгладится из памяти настоящего и грядущих поколений великий подвиг советского народа во имя мира и прогресса», — говорит автор, обращаясь к читателю.

Р. Португальский,
кандидат исторических наук.

ФАБИАН ГАРИН. Запоздалое письмо. Историческая повесть. М. «Советский писатель». 1972. 239 стр.

Новая книга Фабиана Гарина посвящена жизни замечательного пионера русской науки и техники Павла Матвеевича Обухова. Сын смотрителя Серебрянского завода в Пермской губернии, инженера-самоучки, и неграмотной крестьянки, Обухов благодаря случайному обстоятельству попал в институт корпуса горных инженеров на казенный кошт. Это был год, когда система, созданная Николаем I, взяла в клещи всю страну. И в институте к этому времени царь успел навести «должный порядок». Все обучающиеся были разбиты на девять классов — первые пять именовались кадетами, два следующих кондукторами и два старших прапорщиками и подпоручиками. Введены новая форма, военное обучение и в особенности строевая муштра. Однако, как ни старался Николай I науку заменить солдатчиной, и в штабе корпуса горных инженеров и среди преподавателей института было много выдающихся, умных и образо-

ванных инженеров. Одним из них являлся К. В. Чевкин. Он-то и заметил трудолюбивого и способного юношу, прибывшего с дальнего Урала.

В 1845 году Обухов, окончив с золотой медалью институт горных инженеров, был назначен смотрителем Серебрянского завода, через год отправлен в заграничную командировку во Фрейберг, по возвращении назначен управителем Кушвинского завода, а затем Юговского завода, где начал производить свои опыты над выделкой литой стали. Россия не имела своей стали и покупала ее по очень дорогой цене и в незначительных количествах у Круппа. Когда Обухову удалось в 1853 году на Юговском заводе изготовить тонкую стальную пластинку, которая не пробивалась выстрелами из ружей, его спешно перевели в Златоуст. Здесь Обухов начал лить сталь, по качеству превосходящую крупновскую. Он представил проект изготовления стальных орудий новейшего образца непосредственно в России. В 1862 году было начато строительство Обуховского завода под Петербургом, который стал одним из крупнейших предприятий по производству тяжелого вооружения не только в России, но и в Европе...

Книга Фабиана Гарина, посвященная жизни и деятельности Обухова, дает широкую картину жизни Урала в николаевскую эпоху, положения крестьян, заводских рабочих, технической интеллигенции и передового дворянства. Она показывает, что тридцатилетние усилия Николая I ликвидировать влияние идей, вызвавших декабристское движение, не увенчались успехом. Несмотря на репрессии, палочную дисциплину, тупое равнодушие чиновников, во всех слоях общества находились люди честные, любившие родину, сознававшие необходимость реформ, готовые отдать жизнь за процветание России.

Книга Ф. Гарина освещает не только научный подвиг Обухова, но и историю его борьбы со своим временем, с условиями эпохи, в которой он жил. Историческая повесть «Запоздалое письмо» заполняет пробел в серии, посвященной жизни замечательных людей, среди которых П. М. Обухов занимает достойное место. Повесть написана свободным, живым и простым языком, это делает ее доступной для широкого круга читателей. Есть в книге некоторые неточности, которые следует исправить при повторном издании. Однако это отнюдь не мешает рекомендовать читателю повесть Фабиана Гарина «Запоздалое письмо» как книгу полезную и интересную.

Ник. Равич.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Философские тетради. 752 стр. Цена 1 р. 14 к.

Ф. Э. Дзержинский. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах. 95 стр. Цена 1 р. 23 к.

Б. Келдров. К изучению книги В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Ответы на вопросы. 208 стр. Цена 34 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Библин. К широкой дороге. Роман. 543 стр. Цена 31 к.

Будни и праздники. Рассказы и очерки. Составитель А. Медников. 384 стр. Цена 1 р. 8 к.

М. Дальцева. Сестра Конкордии. Рассказы и повести. 343 стр. Цена 49 к.

Д. Мулдагалиев. Шорохи трав. Стихи и поэма. Перевод с казахского В. Савельева. 143 стр. Цена 41 к.

Я. Ниедре. Островок в бушующем океане. Роман. Перевод с латышского Д. Глезера. 296 стр. Цена 57 к.

Л. Первомайский. Древо познания. Стихи последних лет. Перевод с украинского. 168 стр. Цена 44 к.

Ш. Рашидов. Сильнее бури. Роман. Перевод с узбекского Ю. Карасева. 311 стр. Цена 78 к.

В. Росляков. Последняя война. Роман. 263 стр. Цена 35 к.

Сельские страницы. Сборник документальных повестей и рассказов. Составитель Г. Радов. 464 стр. Цена 83 к.

В. Солоухин. Аргумент. Стихи. 111 стр. Цена 1 р. 63 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Благой. От Кантемира до наших дней. В 2-х томах. Т. 1. 559 стр. Цена 1 р. 57 к.; т. 2. 463 стр. Цена 1 р. 32 к.

Китайские народные сказки. Перевод, составление и предисловие В. Рифтина. 334 стр. Цена 60 к.

А. Копыленко. Очень хорошо. Десятиклассники. Роман-диалогия. Перевод с украинского. Предисловие Ю. Смолича. 384 стр. Цена 84 к.

Мао Дунь. Распад. Роман. — Рассказы. Перевод с китайского. Вступительная статья В. Сорочкина. 333 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Овчаренко. Социалистическая литература в современных спорах. 221 стр. Цена 77 к.

Ф. Пинто. Странствия. Роман. Перевод с португальского. 607 стр. Цена 1 р. 28 к.

Ф. Пита Родригес. Серебряный колокол. Стихотворения и рассказы. Перевод с испанского. Предисловие П. Грушко. 223 стр. Цена 79 к.

А. Снафтымов. Нравственные искания русских писателей. Статьи и исследования о русских классиках. Составитель Е. Покусаев. Вступительная статья Е. Покусаева и А. Жук. 543 стр. Цена 1 р. 50 к.

Советские писатели. Автобиографии. Т. 4. Составители Б. Брайнина и А. Дмитриева. 719 стр. Цена 2 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Э. Маазин. Семь дней Таави Туйска. Повесть и рассказы. Перевод с эстонского Г. Муравина. 240 стр. Цена 31 к.

Л. Мартынов. Во-первых, во-вторых и в-третьих. Стихи разных лет. 304 стр. Цена 1 р. 9 к.

А. Сизоненко. Звезды падают в августе. Повести. Перевод с украинского. 166 стр. Цена 27 к.

Я. Смеляков. Работа и любовь. Стихи. 415 стр. Цена 1 р. 63 к.

Шестьдесят девятая параллель. Книга о северном городе. Хроника новейших времен. 352 стр. Цена 62 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Ефетов. Тельняшка — моряцкая рубашка. Повесть. 208 стр. Цена 46 к.

Г. Кубанский. Гвардии капитан. Повесть. 175 стр. Цена 40 к.

С. Михалков. Праздник непослушания. Повесть-сказка. 71 стр. Цена 55 к.

Н. Мор. «Папаша», Феликс, Людвиг Ниц и другие. Несколько выдуманых эпизодов из жизни подпольщиков. 158 стр. Цена 33 к.

Ш. Петерфи. Витязь Янош. Избранные стихотворения. Переводы с венгерского. 144 стр. Цена 55 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин.**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 7/III 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/IV 1973 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 02075. Тираж 175000 экз. Загк. 01221.

Комбинат печати издательства «Радянська Україна»,
Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94.

Цена 70 коп.

70636